



За двухместным столиком с оранжевой лампой сидел Андрей Вознесенский с испанской переводчицей, которая готовила испанский перевод его стихов и поездку по Испании с выступлениями в университетах. Поговаривали, что этот столик оснащен подслушивающим устройством, ибо туда всегда сажали писателя и иностранного гостя. Андрей Вознесенский шевелил пухлыми губами, быть может, читал стихи. Испанская переводчица что-то лепетала, а их обоих записывал тайный магнитофон, делая разговор доступным офицеру Лубянки.

За другим двухместным столиком сидел Владимир Солоухин с молодой красоткой. Уже давно миновала опала, когда писатель-монархист заказал себе перстень из золотой николаевской монеты с изображением царя-мученика. Солоухина вызывали на партийное бюро и грозили исключить из партии. Теперь, в новые времена “перестройки” он свободно носил золотой перстень. Это не считалось проступком, у Солоухина обнаружились единомышленники, не громко, но поговаривали о возрождении в России монархии. Когда Солоухин, обрюзгший, стареющий, появился с молодой красавицей на пороге Дубового зала, стол “деревенщиков” шумно заплодировал, а стол демократов умолк, и там раздались смешки...

*ЦДЛ — московский Центральный дом литераторов — в конце XX века являл собой шумный и задиристый литературный клуб, в который приходили не столько, чтобы выпить и закутить, сколько чтобы размять кулаки в словесных перепалках между писателями разных, зачастую крайне противоположных эстетических направлений и политической мысли. Читайте в следующих номерах новый роман неутомимого труженика пера, яркого живописателя нашей недавней и современной жизни, выдающегося литературного экспрессиониста Александра Проханова. В один из вечеров в ЦДЛ начинается крутая завязка романа, и потому он так и называется: “ЦДЛ”.*

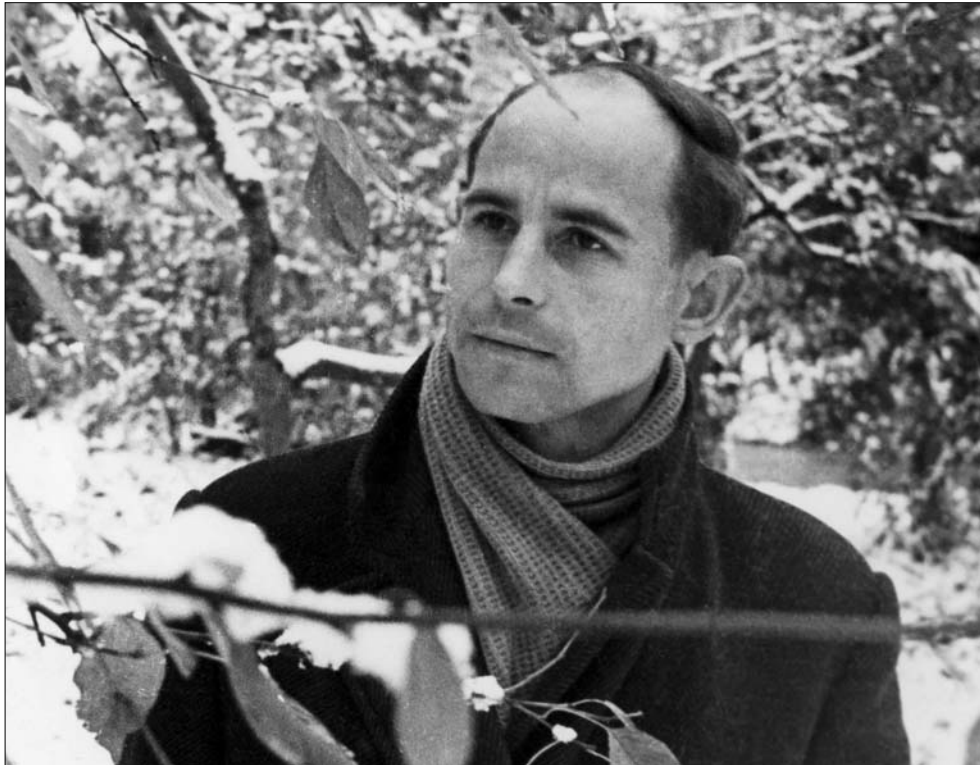
# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## № 1 2021

# К 85-летию со дня рождения Николая Рубцова



*...Когда-нибудь ужасной будет ночь,  
И мне навстречу злобно и обидно  
Такой буран засвищет, что невмочь,  
Что станет свету белого не видно!*

*Но я пойду! Я знаю наперёд,  
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,  
Кто всё пройдёт, когда душа ведёт,  
И выше счастья в жизни не бывает!*

*Чтоб снова силы чуждые, дрожа,  
Все полегли и долго не очнулись,  
Чтоб в смертный час рассудок и душа,  
Как в этот раз, друг другу улыбнулись...*

Наши публикации, посвящённые 85-летию поэта, читайте на стр. 204.

## Премия им. В. В. Кожина



М. Ласуриа

## Премия им. Л. М. Леонова



О. Зюкина

## Премия им. Ю. П. Кузнецова



Д. Ханин

## Премия им. А. Г. Кузьмина



С. Петунин

## Ежегодные премии журнала



А. Грешневиков



Н. Иванов



А. Истомина



Д. Кан



В. Киялков



В. Кирюшин



Г. Красников



В. Круговых



А. Литвинов



Г. Морозов



А. Нестругин



Ю. Перминов



Н. Петрова



М. Попов



П. Ткаченко



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

*Издается с 1956 года*

*Главный редактор*  
**Станислав КУНЯЕВ**

Общественный совет:

**Л. Г. БАРАНОВА-  
ГОНЧЕНКО,**  
**А. В. ВОРОНЦОВ,**  
**Т. В. ДОРОНИНА,**  
**Л. Г. ИВАШОВ,**  
**С. Г. КАРА-МУРЗА,**  
**В. Н. КРУПИН,**  
**А. Н. КРУТОВ,**  
**А. А. ЛИХАНОВ,**  
**Ю. М. ЛОЩИЦ,**  
**С. А. НЕБОЛЬСИН,**  
**Д. Н. НИКОЛАЕВ,**  
**Ю. М. ПАВЛОВ,**  
**И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,**  
**З. ПРИЛЕПИН,**  
**Е. С. САВЧЕНКО,**  
**А. Ю. СЕГЕНЬ,**  
**В. В. СОРОКИН,**  
**А. Ю. УБОГИЙ,**  
**В. Г. ФОКИН,**  
**Р. М. ХАРИС,**  
**М. А. ЧВАНОВ,**  
**С. А. ШАРГУНОВ,**  
**В. А. ШТЫРОВ**

### Проза

**Андрей УБОГИЙ**  
Моя хирургия ..... 23

**Игорь ЧИРКУНОВ.**  
Выживальщик. Повесть..... 81

**Протоиерей Ярослав ШИПОВ**  
Три рассказа ..... 148

### Поэзия

**Михаил ГРОЗОВСКИЙ**  
Сплетенье любви и печали ..... 13

**Николай БРАУН**  
Дождь по тюремным стёклам... .... 17

**Рудольф ПАНФЁРОВ**  
Северный путь ..... 76

**Иван ВОЛОСЮК**  
Памяти Александра Казинцева  
посвящается..... 78

**Андрей ШАЦКОВ**  
И не будет России конца ..... 145

### Память

“Теперь Ваша судьба решена”  
Беседа обозревателя газеты  
“Завтра” Владимира Винникова  
с Александром Казинцевым ..... 3

Скорбим и помним ..... 152

“Остаются только люди –  
и стихи...” ..... 162

**Сергей КУНЯЕВ**  
Вадим Кожинов ..... 180

### Рубцовская тетрадь

**Станислав КУНЯЕВ**  
Эхо трагедии 1971 года ..... 204

**Станислав КУНЯЕВ**  
Пилигримы ..... 207

**Сергей ЛАГЕРЕВ**  
“Именем Рубцова мы будем  
узнавать друг друга” ..... 218

## Редакция

Приёмная —  
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —  
*заместитель главного редактора,*  
*зав. отделом критики* —  
(495) 625-02-81  
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —  
*зав. отделом прозы* —  
(495) 625-30-47  
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —  
*зав. отделом поэзии* —  
(495) 625-02-81  
ns-poetry@yandex.ru

Я. В. Сафронова —  
*редактор отдела критики* —  
(495) 621-48-71

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

## Очерк и публицистика

Борис КУРКИН  
Подавляющее меньшинство,  
или Разгон ..... 222

Александр СМОЛКО,  
Олег СМИРНОВ  
Страна Аэрофлот ..... 261

## Критика

Татьяна НИКОЛЬСКАЯ  
“Давно мы ночами злыми...” ..... 276

## Книжный развал

Александр НЕСТРУГИН  
“По луговой тропинке вдоль  
Млечного пути...” ..... 283

## Патриотика

Евгений ЭРАСТОВ  
“Легенды и мифы  
большому городу нужны...” ..... 286

Творческие итоги 2020 года ..... 288

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 29.12.2020. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 0000-2021. Тираж 3500 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr\_zvezda@mail.ru

## “ТЕПЕРЬ ВАША СУДЬБА РЕШЕНА”

Беседа обозревателя газеты “Завтра”  
Владимира Винникова с Александром Казинцевым

*Когда в середине сентября 2018 года я по заданию редакции созвонился с Александром Ивановичем Казинцевым и договорился о беседе с ним, которая должна была выйти ко дню его 65-летия, то, конечно, даже не подозревал о том, что по ряду причин всё изменится, и вместо неё в газете выйдет статья самого Александра Ивановича. Тем более, не подозревал, что пройдёт чуть более двух лет — и Казинцев уйдёт из жизни, не дожив даже до 68... Можно считать эту беседу поминальным венком на его могилу.*

*Вечная память!*

**“ЗАВТРА”:** Александр Иванович, Вы – литературовед, критик, организатор литературного процесса, вот уже более 30 лет работаете заместителем главного редактора журнала “Наш современник”, можно сказать, что принимали непосредственное участие в судьбах тысяч публикаций и сотен их авторов. 4 октября Вы отмечаете своё 65-летие. Грех не воспользоваться таким замечательным поводом, чтобы не поговорить о пройденном вами жизненном и творческом пути, о людях, с которыми общались, о тех событиях и процессах в истории нашей страны, свидетелем и участником которых Вы были. Есть хорошая русская пословица: “Яблоко от яблоньки недалеко падает, да далеко закатывается”. Поэтому расскажите, если это не секрет, о своей семье, о своих корнях, о своём “родовом древе”.

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Я родился в Москве, поэтому можно сказать, что коренной москвич, хотя матушка моя приехала в первопрестольную из Киева, а отец – из Воронежа. Они работали в авиационной промышленности, были инженерами. Но при этом отец увлекался живописью, писал картины, а стихией мамы была поэзия, она в начале 50-х годов ходила в студию “Молодой гвардии”, где царствовали Семён Гудзенко, Алексей Межиров и Наум Коржавин, который тогда был ещё Менделем. Так что семья была не без гуманитарных традиций, и, разумеется, у нас в доме было много книг: и специальных технических, и художественных. Окончил я спецшколу при Академии педагогических наук, это был такой экспериментальный советский Лицей с классами всех направлений, я учился в литературном. Понятное дело, что там преобладали “номенклатурные” дети из семей работников ЦК, дипломатов, высокопоставленных военных, чекистов, творческой “элиты” и так далее. Настрой в этой среде, был, сразу скажу, антисоветский, особенно после 1968 года, известных чехословацких событий. Кстати, у нас учились и чехи, но их сразу быстро куда-то эвакуировали... И, что меня тогда больше всего поражало, наиболее антисоветски настроенными были дети сотрудников КГБ и МИДа,

начиная от полковников и выше. Это была уже “Берёзка”, чеки, виски, джинсы, девушки – та самая “золотая молодёжь”, которая восхищалась всем западным, особенно американским, от музыки и фильмов до полётов на Луну.

**“ЗАВТРА”:** А в чём заключались их претензии к советской власти? В том, что всё это было нужно скрывать, что они не могли свободно пользоваться запретными, но сладкими плодами “загнивающего Запада”? И вообще, что они были достойны большего, чем ассортимент “Берёзок”?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Конечно, большего. Намного большего! Ведь, понимаете, у человека всегда есть причины для недовольства своей жизнью, а следовательно – и тем миром, в котором ему приходится жить. С одной стороны, не хватало свободы, с другой стороны – справедливости, с третьей – прогресса, а добавок присутствовала ещё и некоторая, я бы сказал, сероватость, причём принципиальная сероватость советской жизни. И, наверное, – это же были молодые, энергичные и достаточно эрудированные люди, не загруженные какими-то бытовыми проблемами, – им хотелось чего-то яркого и необычного для себя. Как я сейчас думаю, нужно было тот же советский дискурс подавать всё-таки более разноцветно и разноформатно, но тогда об этом, к сожалению, совершенно не думали.

Закончил я школу в 1970 году – с нормальными, кстати, оценками, – и отец повёл меня знакомиться к проректору МГУ, который в ходе разговора поинтересовался, где я хочу учиться. Я сказал, что на журналистском факультете. “Почему?” – спросил он. “Потому что там учиться не надо!” – ответил я.

**“ЗАВТРА”:** Так Вы, значит, попали в МГУ по знакомству, “по благу”?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Не думаю, что моя фамилия тогда перешла в какие-то “блатные” списки, учили нас в нашей спецшколе всё-таки очень качественно, поэтому речь, скорее, шла не о том, чтобы я мог успешно сдать вступительные экзамены и получить студенческий билет, а о каких-то более сложных и тонких статусных моментах. Ведь потом, на журфаке МГУ, я действительно почти не учился, зато почти всё своё время проводил в удивительно богатой университетской библиотеке имени Горького в Доме Пашкова на Моховой – почти столь же богатой, как и “Ленинка”, но тогда намного более демократичной и свободной в плане доступа к её фондам. Многие поэты Серебряного века – тот же Ходасевич, например, – у нас были в свободном доступе, а в “Ленинке” – в спецхране, и там всякого, кто проявлял к ним интерес, “брали на карандаш”. Надо сказать, что туда, в Ленинскую библиотеку, я ходил ещё лет с девяти-десяти – отец брал меня с собой, по моей просьбе, и проводил в читальные залы под тем предлогом, что вот ребёнка не с кем оставить. Сердобольные библиотекари, конечно же, пропускали. И я сразу просил отца заказать военные мемуары: Черчилля, Ллойд-Джорджа и так далее. С детства интересовался тем, что сегодня называют “нон-фикшн” – прямыми историческими свидетельствами, даже ходил по букинистическим магазинам и покупал там книги на свои “карманные” деньги. Моим любимым чтением были “Десять дней, которые потрясли мир” Джона Рида, и я до сих пор считаю эту книгу одним из величайших шедевров мировой публицистики.

**“ЗАВТРА”:** Видимо, этим детским интересом и объясняется Ваш выбор журналистики в качестве профессии, а не тем, что “учиться не надо”?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Наверное, вы правы. Причём читал я настолько усердно, что, когда закончил аспирантуру и уже потерял право пользоваться университетской библиотекой, меня тамошние сотрудницы ещё больше года пускали в аспирантский зал, поскольку это было для них так необычно: студент, потом аспирант – и круглый год у них сидит, а не только перед сдачей экзаменов, перед сессиями, как обычно...

**“ЗАВТРА”:** Привыкли к Вам, словно к родному?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Да, наверное.

**“ЗАВТРА”:** Александр Иванович, время Вашей учёбы на журфаке МГУ пришлось ровно на первую половину 70-х годов, плюс три года аспирантуры – это уже 1978 год, так сказать, самый “расцвет застоя”, а деканом журфака МГУ уже с 1965 года был и по сей день остаётся известный

**либерал Ясен Николаевич Засурский. Тогда атмосфера на журфаке тоже была, как и в Вашей спецшколе, антисоветской?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Нет, здесь уже было более выраженное разделение. На журфаке учились ребята и, как тогда говорили, “из провинции”, и после армии, “рабфаковцы”, которые поступили через подготовительные курсы. Вот они, как правило, свято блюли заветы Ленина и своих отцов-командиров. К тому же, самые “сливки” тогдашней советской “золотой молодёжи” шли не на журфак, а в более престижные вузы и на более престижные факультеты, в те сферы, где их родители могли помочь “хорошо устроиться”. Конечно, у нас было отделение международной журналистики – там, да, получали образование “элитные” дети. Но и на “обычном” журфаке была своя “либеральная среда”, с которой я, не скрою, очень тесно общался и во многом разделял её взгляды. В частности, в середине 70-х годов достаточно активно участвовал в известной “университетской” группе “Московское время”, где были Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков, Александр Сопровский и многие другие, впоследствии получившие определённую известность люди. Меня в той среде, видимо, и до сих пор считают “заблудшей овцой” и пару раз – но не больше! – каждый год упоминают как “тонкого критика” или что-то ещё в том же духе.

**“ЗАВТРА”: То есть условная “виза” на “западную” сторону наших литературных и в целом – идеологических – баррикад для Вас ещё не закрыта?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** По крайней мере, там делают вид, что не закрыта... Кстати, Засурский часто приводил к нам, студентам, многих писателей, артистов – хорошо помню встречу с Василием Аксёновым. Американцев приводил, Сола Беллоу, например. Но я бы не отнёс ни Василия Аксёнова к традиционной русской прозе, ни Сола Беллоу – к традиционной американской. Хотя, когда надо было, например, осудить Солженицына – на факультете проводились собрания, и все дружно “литературного власовца” осуждали: кто искренне, кто “с фигой в кармане”.

Должен сказать: не то, чтобы мне очень нравился Солженицын, но участвовать в мероприятиях подобного рода не любил и до сих пор не люблю, поскольку считаю себя вправе делать только то, что сам считаю нужным, а не то, что мне указывают. Поэтому решил с того собрания на журфаке уйти. Его организаторы, будучи людьми в таких делах опытными, на выходах из зала предусмотрительно поставили добровольцев-дружинников, чтобы подобных мне “дезертиров” останавливать. Но, видно, было в моём лице что-то такое, что сразу двое “стражей” предпочли меня “не заметить”. Я до сих пор полагаю, что намного честнее и эффективнее с писателями, художниками полемизировать на творческом, в крайнем случае – на медийном, а не на административно-политическом уровне.

Ведь посмотрите, как сегодня у нас утверждают культуру “новых русских”, эту постмодернистскую, неолиберальную культуру? Её утверждают именно на медийном уровне – и это гораздо более эффективно, а главное – гораздо более эффективно, чем какая-то “политическая оценка”, которую уже тогда никто особо всерьёз не воспринимал. А сейчас многие искренне считают, что Мураками или Пелевин – это настоящие вершины, ведь другой “карты современной литературы”, ни мировой, ни отечественной, у них на руках просто нет...

Только что я был на Московской книжной выставке, представлял там восьмой, “молодёжный” номер журнала “Наш современник”, который собирал от первой до последней страницы как лучшее, что есть в русской литературе, – и зал был полупустой, а рядом пела (заметьте, пела! никогда не знал, что она, оказывается, ещё и поёт) Людмила Петрушевская – и там яблоку негде было упасть!

**“ЗАВТРА”: Может, если бы и Вы, Александр Иванович, устроили рядом своей аттракцион: запели, или фокусы стали показывать, или нарядились в костюм клоуна, – получился бы похожий эффект?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Понимаю ваш сарказм, но не разделяю его. Думаю, тут работает несколько иная схема – то, что Фрэнсис Бэкон в своё время называл “идолами площади”. Людям нравится то, что связывает их

с прошлым, что было когда-то популярным, что давно и прочно стало частью их собственной жизни. Кстати, и возрастной контингент посетителей Московской книжной выставки был, мягко говоря, “40+”. У нынешней молодёжи книга уже не в чести, и это огромная общекультурная проблема, связанная, прежде всего, с глобальным переходом от “бумаги” к “дисплею”.

**“ЗАВТРА”:** Сейчас нередко можно слышать фразу, которую приписывают то Ротшильду, то Рокфеллеру, – о том, что “люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые смотрят телевизор”. Интернет же можно не только “смотреть”, но и “читать” – хотя, конечно, процесс чтения “электронной книги” сильно отличается от традиционного чтения книги “гутенберговской”, печатной. Но это отдельная большая тема, которую, может быть, стоит как-нибудь рассмотреть подробнее, особым чином. Сейчас же вернёмся к Вашей, Александр Иванович, биографии. Раз Вы попали после окончания журфака МГУ в аспирантуру, значит – получили “красный” диплом?

**Александр КАЗИНЦЕВ.** Нет, “красного” диплома я не получал. Получил обыкновенный, “синий”. Но очень громко защитил свою дипломную работу по эволюции художественного мышления Пушкина. Оппонировать – поскольку на факультете специалиста соответствующего профиля не было – пригласили уже очень пожилого и авторитетного доктора наук из Пушкинского дома, и мой научный руководитель, Эдуард Бабаев, поэт, друг Ахматовой, просил меня об одном: “Только не поднимайте глаза, когда будете докладывать!” Ну, я и не поднимал. Но когда заявил, что моя работа, где на многочисленных примерах доказывалось, что в пушкинской лирике количество героев постепенно уменьшается и, в конце концов, от единственного “лирического героя” переходит к прямым высказываниям поэта “от первого лица”, – что эта моя работа прокладывает новый путь в изучении творчества Пушкина, наш завкафедрой просто поперхнулся.

**“ЗАВТРА”:** А что оппонент? Не стал Вас “топить”?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Оппонент был мэтром старой школы, поэтому сказал, что в позапрошлом году в Швейцарии была публикация такого-то пушкиниста, в которой высказывались сходные идеи; автор диплома, разумеется, с ней не знаком, поэтому напрасно “изобретает велосипед”, но имеет несомненные задатки исследователя, его работа заслуживает хорошей оценки, и так далее. А в аспирантуру меня пригласили – но не на кафедру русской литературы, где не было свободных мест, а на только что созданную кафедру критики, я был первым аспирантом этой кафедры, сам придумал себе тему диссертации, связанную с понятием творческой личности писателя, – и потом несколько лет кафедра успешно готовила аспирантов по этому, уже апробированному лекалу, но первый блин вышел комом, сам я не защитился. Моим научным руководителем была Галина Андреевна Белая, заведовал кафедрой Анатолий Георгиевич Бочаров, вместе с ним работали Юрий Суворов, Валентин Оскоцкий, – в общем, весьма спаянная группа единомышленников, которой я, что называется, не пришёлся ко двору. Тогда я, кстати, ещё не понимал причин подобного отношения, но, видимо, сыграл свою роль мой список литературы: там достаточно широко были представлены Бахтин, Кожин, славянофилы середины XIX века. А это были просто русофобы – неважно, под какими масками в данный конкретный момент они выступали: коммунистов, либералов, демократов или кого-то ещё. Тогда больших партийных “начётчиков”, чем эта компания, найти было невозможно. И они же потом стали самыми запредельными отрицателями всего советского периода в истории нашей страны – для них, кстати, Россия всегда была “этой страной”... Когда проходила предзащита, Оскоцкий сказал, что моя диссертация действует на него, словно красная тряпка на быка. Уже потом, когда я все-рьёз занимался формалистами 20–30-х годов XX века, я встретил у Бориса Энгельгардта, – кстати, единственного выходца из русских дворян в этой компании и единственного из них, кто занимался не теорией литературы, а теорией литературоведения, – чеканную фразу: “Мы элиминируем (то есть исключаем) из процесса художественного творчества творческую личность”. То есть вот некий текст, а кто его создал, зачем его создал, – совершенно неважно. Вот это как раз то, чего я категорически не приемлю... Никто не будет рожать и растить своего ребёнка специально для анатомического театра,



такой подход уничтожает всю литературу, всё искусство! Если я что-то пишу, то лишь потому, что хочу высказать наболевшее...

**“ЗАВТРА”: “Глаголом жечь сердца людей...”?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Ну, конечно! Литературное творчество неотделимо от творческой личности во всей её полноте, их нельзя отделять друг от друга! Поэтому мне так близок оказался Бахтин, который рассматривал литературу и искусство как особый вид диалога между людьми, и это, на мой взгляд, очень точное представление о художественном творчестве. Надо сказать, что ещё со школы я не только занимался учёбой и научными студиями, я ещё писал стихи, так что для меня всё это представляло не абстрактный интерес, а интерес очень живой, творческий. И в этом плане мне повезло: меня познакомили с очень талантливым молодым поэтом Владимиром Полетаевым. Мы с ним были почти ровесниками: ему было 17 лет, мне – 15, но Володя знал намного больше, особенно в том, что касалось мировой и русской поэзии, литературы. К сожалению, он покончил собой в неполные 19 лет. В 1983 году в Тбилиси вышла тоненькая книжка его стихов и переводов, в том числе с грузинского языка, он успел поступить в Литературный институт на переводческое отделение и отучился там почти два курса. Так вот, Полетаев успел познакомиться с Арсением Тарковским, и общение с двумя этими поэтами очень многое для меня значило. Как-то я спросил у Арсения Александровича, общался ли он с Блоком. В ответ услышал, что нет, не довелось, но с его близким другом Евгением Ивановым был хорошо знаком. А Иванов – тот самый человек, сестре которого посвящены знаменитые блоковские стихи “Под насыпью, во рву некошеном...” Понимаете, какая глубина литературная, культурная, жизненная может быть заключена в простых человеческих связях, в общении, какие незримые нити плетутся между людьми, через пространства и поколения?! И уже, вновь обращаясь ко дню текущему, скажу, что меня и удивляет, и удручает то, что сейчас эти нити обрываются, что память, связь времён оказываются никому не нужны, что люди, особенно наши дети, начинают жить только “здесь и сейчас”, в мире “лайков” и “френдов”... Могут говорить по тому же айфону, но предпочитают писать... Я уже говорил, что сейчас очень серьёзно работаю с молодёжью. Вот восьмой номер журнала “Наш современник” за 2018 год – это тридцать молодых прозаиков, поэтов, критиков, все они охотно принимают нашу помощь, но не проявляют никакого желания узнать больше ни о Тарковском, ни о Распутине, ни о Белове, ни о Солоухине, ни о ком-то ещё, – они даже не хотят общаться друг с другом, нет обратной связи, не воспроизводится та уникальная среда, в которой, собственно, и возникает литературный процесс. А это ведь – люди творческие, ищущие, талантливые... Что уж говорить об остальных? Они подчиняются этому медийному не то, чтобы влиянию, а прямому насилию – смотрите, как сломали коммуникативный тренд в той же Прибалтике, на той же Украине, да и в самой России! Ведь тираж нашего журнала, несмотря на все усилия, упал в сто двадцать раз: с 480 до 4 тысяч экземпляров...

**“ЗАВТРА”:** Это происходит сегодня со всеми “бумажными” изданиями, и газета “Завтра” здесь, Александр Иванович, тоже – не исключение. В этом смысле мы с вами напоминаем, наверное, двух динозавров, ведущих гипотетическую беседу незадолго до своего массового вымирания, – всё, “экологическая ниша” сокращается катастрофическими темпами, как только школы перейдут на электронные учебники, про печатное слово как массовый носитель информации, наверное, можно будет забыть... Это Вам нужно было ходить в “Ленинку”, в университетскую библиотеку, а у них – вот оно, всё при себе, нужно только достать гаджеты (вот уж термин так термин: “гад же ты”!) и подключиться к сети. Возникает иллюзия “самодостаточности”, но при этом связь с гаджетом становится важнее связи с живыми людьми... Насчёт же того, что предпочитают писать, а не говорить, то это, наверное, потому, что смс-сообщение стоит дешевле даже секундного разговора – только приход-расход, ничего личного... И, раз уж речь зашла о журнале “Наш современник”, расскажите, как Вы сюда попали после аспирантуры. Говорят, что важную роль в этом сыграл Вадим Валерианович Кожин?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Да, после того, как мне было отказано в защите, я оказался в некоем безвоздушном пространстве. Кстати, аспирантам,

закончившим обучение, но не защитившим диссертацию, полагался тогда ещё дополнительный год для приведения всех своих дел в порядок, своего рода академический отпуск. Денег за него не платили, но и за тунеядство не привлекали. Мой отпуск, к сожалению, несколько затянулся, скажем так. Конечно, родители за меня тогда очень переживали. И в конце концов, моя матушка, неутомимая литстудийка, которая посещала студию при Трёхгорной мануфактуре, незадолго до того возглавленную Кожиновым, уговорила меня туда сходить вместе с ней. Это было особое литературное место в Москве, некоторые студийцы со стажем, глыбистые такие старики, ещё помнили живого Маяковского – он там нередко выступал в конце 20-х годов. И вот знаменитого на весь мир литературоведа, – кстати, я смотрел его библиографию, где уже в то время присутствовали практически все более-менее значимые страны мира, особенно, помню, меня сразили публикации Кожинова в Японии, – тамошние литстудийцы сначала приняли чуть ли не в штаны. Потому что он... Ему всегда было интересно общение с живыми людьми, будь то нобелевский лауреат или слесарь...

**“ЗАВТРА”:** Да, Вадим Валерианович, помимо всего прочего, вёл переписку с тысячами адресатов и помнил каждого из них, у него, помню, дома целая комната была завалена письмами со всего мира, и он в этом хаосе прекрасно ориентировался! Извините, что Вас перебил...

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Так вот, Кожинов сразу же начал их приучать к “тихим лирикам”: читал и разбирал стихи, рассказывал о значении творчества Николая Рубцова, Владимира Соколова, Анатолия Передреева, Юрия Кузнецова, Василия Казанцева, представляете?! Там такие баталии тогда шли... А через год эту студию было уже не узнать: все стали “кожиновцами”, он никого не выгнал, но всех переубедил. Те же старики плюс молодёжь, которая туда просто нахлынула... И от Маяковского, кстати, не отказывался.

**“ЗАВТРА”:** А чем закончился Ваш тогдашний поход на Трёхгорную мануфактуру?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** В Кожинове я сразу увидел именно то, что ожидал: очень страстного и очень знающего человека, из-за которого, можно сказать, уже заочно пострадал, поэтому решил его, что называется, “попробовать на зуб” и выступил с очень такой либеральной, на мой нынешний взгляд, речью. Потом мы шли втроем: Кожинов, моя матушка и я – к метро, и Вадим Валерианович, наполовину в шутку, наполовину всерьёз сказал, что я могу больше на его студию не ходить. Мол, двум медведям в одной берлоге не ужитья. Это, конечно, было большое преувеличение, комплимент на вырост...

**“ЗАВТРА”:** Думаю, Кожинов сразу разглядел в Вас если не полноценного “медведя”, то уж “медвежонка” точно, – он словами просто так не бросался.

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Не знаю, но эта его фраза мне запомнилась. Вообще, Вадим Валерианович был своего рода интеллектуальным фехтовальщиком, очень умелым и даже артистичным. Он был способен одной-двумя фразами обезоружить своего оппонента, и тому не оставалось ничего иного, кроме как признать свою неправоту и поражение или ретироваться с “поля боя”. Кроме того, он выполнял роль нынешней Википедии: если вы чего-то не знали или в чём-то сомневались, нужно было всего лишь позвонить Кожинову и сразу же получить от него точную информацию, да ещё с необходимыми ссылками на первоисточник. И очень редко можно было услышать от него: “Саша, подождите, я сейчас посмотрю там-то и там-то и сразу вам перезвоню...” В общем, та встреча перешла сначала в знакомство, а потом – во многолетнюю дружбу, но тогда Кожинов всерьёз озаботился моим трудоустройством и месяца через три-четыре, помнится, позвонил мне примерно с такими словами: “Всё, Саша, теперь ваша судьба решена. Юрий Иванович Селезнёв идёт заместителем главного редактора журнала “Наш современник” и берёт вас сотрудником отдела критики”. Сам Юрий Иванович, отправленный в “Наш современник” с поста главного редактора серии “Жизнь замечательных людей” в издательстве “Молодая гвардия”, проработал здесь меньше года, а вот я, как видите, “подзадержался”.

**“ЗАВТРА”:** Вадим Валерианович как в воду глядел насчёт Вашей судьбы, получается. А с Селезнёвым, кажется, был какой-то громкий скандал?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Да, дело дошло до ЦК КПСС и соответствующего постановления. Сергей Васильевич Викулов, поэт и тогдашний главред “Нашего современника”, видел в Юрии Селезнёве – совершенно необоснованно! – своего конкурента и креатуру Альберта Беляева, тогдашнего заместителя заведующего отделом культуры ЦК, который Селезнёва на самом деле просто ненавидел. И, уходя в отпуск, Викулов оставил своему заму полный карт-бланш на 11-й номер 1981 года, точно рассчитав, что тот использует эту возможность для публикации “своих” материалов и где-то оступится... А Юрий Иванович “зарядил” одновременно статью Кожинова “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”, повесть Владимира Крупина “Сороковой день” плюс статью Сергея Семанова о Чернышевском. Когда эту ситуацию обсуждали на секретариате Союза писателей РСФСР, чьим органом являлся журнал “Наш современник”, мудрый Феликс Кузнецов вслух изумлялся: “Это же безумие! Что, Селезнёв – безумец?! Или он правил не знает? Как он мог поставить сразу три таких материала в один и тот же номер?!” Но Селезнёв безумцем не был. Он просто понимал: эти сверхнужные, с его точки зрения, материалы увидят свет или сейчас, или никогда. И пошёл на невероятный, по тем временам, риск. Ведь при нём серия “ЖЗЛ” начала, что называется, “греметь”: вышли книги Михаила Лобанова про Александра Островского, Игоря Золотусского о Гоголе, Юрия Ложица о Гончарове. Это был новый взгляд на классическую русскую литературу, абсолютно неприемлемый для тогдашней идеологической машины. Обломов, например, представлялся не как отрицательный персонаж, воплощение “обломовщины”, “русской лени”, а как глубоко симпатичный самому автору герой, ставящий под вопрос приоритетную роль общественного, технического и прочего прогресса; что в споре Белинского с Гоголем прав был всё-таки не “неистовый Виссарион”, а автор “Мёртвых душ”; что описанное Островским “тёмное царство” было не столь уж “тёмным”, – в общем, всё это было непростительной “ересью” в стенах марксистского “монастыря” истории русской литературы XIX века. При этом успех у читателей был колоссальный. Поэтому Селезнёва из “Молодой гвардии” – издательства, не журнала! – убрали без скандала, просто перевели в “Наш современник”.

**“ЗАВТРА”: А он, получается, и здесь принялся за своё?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Да, Юрий Иванович был, что называется, бойцом до мозга костей. Если бы не это его качество, то, наверное, и прожил бы подольше, и сделал бы побольше. А так он ещё успел дописать и выпустить в свет свою книгу о Достоевском, а потом – оказавшийся смертельным внезапный инфаркт в 45 лет... Кстати, Кожинова, хотя он продолжал оставаться научным сотрудником Института мировой литературы, несколько лет после этого скандала практически нигде не печатали, и только с началом “перестройки” эта ситуация изменилась.

**“ЗАВТРА”: Как Вам работалось все эти годы в “Нашем современнике”?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Знаете, Сергей Васильевич Викулов долгое время относился ко мне, “человеку Селезнёва”, скажем так, с недоверием. И каждый новый его заместитель стремился “этого Казинцева” уволить. Тем более что я долгое время не печатался в “Нашем современнике”, считая неприемлемым “использовать служебное положение”, а отдавал свои тексты в издания, которые идеологически журналу Викулова тогда противостояли: в “Литературную газету”, в “Вопросы литературы” и так далее, где их достаточно охотно публиковали. Для меня такие публикации служили подтверждением моей профессиональной состоятельности, плюс я не участвовал во внутриведомственной борьбе за “площади”, но на общем фоне это выглядело, наверное, необычно, и меня многие коллеги считали чем-то средним между “белой вороной” и “засланным казачком”. Но дело было ещё и в том, что при Викулове “Наш современник”, в общем, выражал народные взгляды на жизнь и перспективы нашей страны, а народные взгляды редко соответствуют взглядам властей, и потому властям, как правило, не нравятся. Поэтому часто по журналу выходили разные грозные постановления: от Союза писателей РСФСР до ЦК КПСС, состав редакции не раз почти полностью менялся, но Викулову неизменно удавалось удержаться на своём посту – во многом из-за поддержки Юрия Васильевича Бондарева, с которым он был очень дружен и который, в свою очередь, был любимцем наших военных. Бондаревская

“лейтенантская проза” полностью соответствовала их — ребят, ушедших на фронт совсем молодыми, выживших в этом аду, одержавших великую Победу 1945 года, ставших потом генералами и маршалами, — видению войны. А к мнению военных прислушивался сам Брежнев...

Викулов до конца “бился” за прозу тех же “деревенщиков”. Например, когда в 1974 году шла речь о публикации повести Валентина Распутина “Живи и помни”, ГлавПУР во главе с генералом Епишевым буквально встал на дыбы: “Кого вы воспеваете? Дезертира, предателя? Это же диверсия!” Тогда Викулов пошёл в ЦК и поручился за Распутина, что называется, головой и партбилетом. А вот поэзию и критику Сергей Васильевич не особо жаловал. Помню, говорил: “Александр Иваныч, вот Сергей Орлов покойный мне не раз советовал: да прикрой ты эту критику в журнале, одни проблемы от неё...” Сергей Сергеевич Орлов, прекрасный поэт, автор знаменитого стихотворения “Его зарыли в шар земной...”, был не только фронтовиком-танкистом, но и земляком Викулова, у них были очень тёплые отношения... Но вся идеология тогда шла через критику, поскольку публицистика — в “Нашем современнике” она была замечательная, боевая — затрагивала всё-таки конкретные проблемы общественной и хозяйственной жизни: вырубку лесов, утрату чернозёмов, поворот рек, “неперспективные” деревни, пьянство и так далее. А в критике идеология проявлялась больше всего, поэтому Викулов её опасался как источника возможной беды и всегда загонял куда-то в угол. Поэтому ни Кожинова, ни Ланщикова видеть на страницах журнала не хотел.

Но литературная критика всё-таки была положена “по штату”, и закрыть её было нельзя. Интересно, что каждый заместитель главного редактора, который за неё отвечал и хотел “этого Казинцева” — по разным причинам — уволить, с течением времени начинал меня всё больше ценить и относиться ко мне уже по-человечески, но тут его увольняли. Сам Викулов не был москвичом, пришёл из Вологды, никаких особых связей в столице не имел, опереться ему было не на кого, поэтому легко принимал людей на работу и так же легко расставался с ними. На моей памяти, с 1981 по 1989 годы при Викулове полностью сменилось два или три полных состава редакции.

Это было одновременно и плохо, и хорошо. Потому что всё кипело, варились, всегда добавлялось что-то новое, конкуренция была невероятной, а напечатать “нужного человечка” за какую-то мзду, “междусобойчик” — нет, это у него не проходило. Для него “нужным человечком” был Распутин, был Белов, был Астафьев... Меня же он не увольнял и не повышал, так я постепенно превратился в заслуженного старожилу “Нашего современника”.

А переломным в отношениях с Сергеем Васильевичем стал выезд редакции журнала в Тверь, тогда Калинин. Уже вовсю цвели перестройка и гласность, тираж “Нашего современника” достиг 300 тысяч экземпляров, нас стали приглашать на выступления в разные города Советского Союза. И вот мы поехали в Тверь. Нас повезли по городу, завели в самый главный и известный храм — Белую Троицу, а там, пока экскурсовод рассказывал о его истории, я отошёл в придел — помолиться. Туда зашёл и Викулов, думаю, с той же самой целью. И увидел, как я крещусь. После этого ледок растаял, он мне поверил, сделал меня заведующим отделом поэзии, а через несколько месяцев — и своим заместителем.

**“ЗАВТРА”: В общем, Вы пережили период достаточно суровой борьбы за выживание. А что в те годы представляла собой редакция “Нашего современника”?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** О, это были незабываемые люди! Когда они собирались вместе — такие баталии шли, будь то заседание редколлегии или праздничное застолье! Ещё не здесь, на Цветном бульваре, а на улице Писемского была наша редакция, и туда приезжали Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Гавриил Троепольский, Валентин Солоухин, Василий Белов... Астафьев и Носов, как правило, садились по торцам стола и, фронтовики-горлопаны с хорошо поставленными голосами, начинали “катать” через него солёные истории, с матерками и прочими причиндалами. Женщин у нас в редколлегии тогда не было, так что они не стеснялись... Своё слово, окая, всегда вставлял Солоухин. Распутин же, почти самый младший из них, в основном слушал, сидел молча. А Троепольский — рядом с ним лежала стопка разных литературных журналов, да ещё с пометками и закладками, — недовольно постукивал остро отточенным карандашом по столу, ожидая, когда

эти пацаны-бузотёры уймутся и можно будет заняться делом... Конечно, каждый из них был наособицу, но до поры до времени все, можно сказать, дружили между собой, потому что ценили, прежде всего, талант. А вот когда ситуация изменилась, тогда на первый план выдвинулись общественная позиция и личные человеческие качества. Произошёл раскол. Белов и Распутин категорически поддержали Викулова в его неприятии “перестройки”, зато Астафьев стал её сторонником, а Носов его как-то по-дружески поддержал.

Помню, как-то уже в 90-е годы мне пришлось публично поругаться с Астафьевым. Это было в одной из питерских библиотек на организованной там читательской конференции. Виктор Петрович её вёл и как-то неосмотрительно начал с такой похвалы ельцинскому режиму: мол, все говорят, как плохо мы сейчас живём, а я вот был на Пасху на кладбище и видел, сколько туда приехало машин-“иномарок” – видимо-невидимо. А я на ту конференцию попал прямо с московского поезда и по дороге проезжал мимо кладбищ, которые настолько разбухли, что уже вывалились за ограду – прямо в болото, и многие кресты торчали из воды. И я тогда воспользовался оплошностью живого классика и сказал, что выдающийся писатель всегда точно подмечает значимые детали и даже когда хочет похвалить Ельцина, то ничего, кроме кладбища, ему на ум не приходит. И рассказал, как безумно расширились кладбища при новой, “демократической” власти, а это – вовсе не повод для торжества, а свидетельство вымирания нашей страны. Астафьев промолчал несколько часов, пока шла конференция, но зато в конце обрушился на меня с яркой, наверное, получасовой речью, в которой всё время себя “заводил”, а закончил её фразой: “И сдохнете вы вместе с вашим Куняевым раньше меня”. Но – человек предполагает, а Бог располагает...

Я думаю, что в провинции и тогда, и сейчас писателям намного сложнее, чем в столицах. Не столько в плане каких-то жизненных благ или социального статуса, а, прежде всего, в творческом плане. Потому что местное начальство всегда выдёргивает его на совершенно ненужные ему как художнику, творцу публичные мероприятия с целью наглядно продемонстрировать своим высоким гостям местную знаменитость и расцвет культуры на вверенной территории. Про “встречай-провожай-развлекай” даже говорить не приходится... Тот же Евгений Иванович Носов жаловался, что его переквалифицировали в экскурсовода по Курску и области. Делалось это, может, и не со зла, из лучших побуждений, но писателям-то от этого было не легче. Творчество, как и любовь, – не тот процесс, который совершается у всех на виду.

**“ЗАВТРА”: Ваши отношения с Викуловым наладились, а отношения с Кожинным? Они продолжались?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Да, они продолжались, но для работ Вадима Валериановича путь в “Наш современник” долгое время был закрыт. Переломным моментом стала его статья, посвящённая роману “Дети Арбата”. К тому времени в журнале уже были опубликованы два отклика на этот роман, Анатолия Ланщикова и Николая Федя, поэтому, казалось бы, третий раз обращаться к этой теме было уже излишним, но я убедил Сергея Васильевича, что это абсолютно блистательный материал. Так оно и было, поскольку работа Кожиннова представляла собой новую концепцию истории нашей страны, а очень посредственный роман Анатолия Рыбакова был только поводом для её изложения. И эта публикация, думаю, стала переломной и для самого Кожиннова, обозначила его выход из литературной сферы в сферу истории, философии и, можно сказать, политики.

**“ЗАВТРА”: Через несколько месяцев после Вашего назначения Викулов ушёл с поста главного редактора журнала. Что, по-вашему, стало причиной такого решения?**

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Должен сказать, что Сергей Васильевич был человеком исключительной честности. И, когда он понял, что возникли другие структуры общественной жизни, что ситуация изменилась, что он ситуацией больше не владеет и её не понимает, то и решил уйти. И сам подыскал себе преемника, Станислава Юрьевича Куняева, чья статья о Владимире Высоцком просто восхитила Викулова – и своим содержанием, и той прямотой, с которой там всё было сказано. Он увидел в Куняеве абсолютную несгибаемого человека, который сможет вести, “вытянуть” журнал в этой новой ситуации – и прошедшие с того времени почти тридцать лет полностью подтвердили

правоту его выбора. Предваряя ваш неизбежный вопрос, скажу, что про Станислава Юрьевича здесь говорить ничего не буду, потому что это совершенно отдельная и очень близкая мне тема, к тому же он – мой непосредственный начальник. Мы работаем вместе уже тридцать лет – разве этого мало?

**“ЗАВТРА”:** Наверное, Вы правы. Тем более что нынешний Ваш путь – уже у всех на виду, всем достаточно хорошо известен. Остановимся лишь на одном моменте – Ваш 40-й день рождения, 4 октября 1993 года, пришёлся на день расстрела Верховного Совета России, и с тех пор, а прошла уже четверть века, Вы, получается, навсегда вместе с этим трагическим событием. Как Вы пережили тот “чёрный октябрь”, какие Ваши воспоминания с ним связаны?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Извините, для меня это очень непубличная и очень большая тема, поэтому даже не для печати, а под запись ничего говорить не буду.

**“ЗАВТРА”:** И в завершение нашего с Вами, Александр Иванович, разговора – такой, может быть, несколько странный вопрос. Был ли у Вас, отпечтался ли в Вашей памяти момент или эпизод, который Вы считаете, который Вы можете назвать неким метафорическим соответствием своей жизни, её смысла и предназначения на этой земле?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Думаю, этот момент ещё не наступил, он впереди.

**“ЗАВТРА”:** Большое спасибо за беседу!

МИХАИЛ ГРОЗОВСКИЙ



## СПЛЕТЕНЬЕ ЛЮБВИ И ПЕЧАЛИ

### СКОМОРОХИ

И в правах, и в словах, и в делах  
и Восток нас обставил, и Запад;  
и по уровню жизненных благ,  
и на вкус, и на цвет, и на запах.

Кто ловчей да бойчей, те как раз  
и выходят в приличные люди.  
Это там. Далеко. Не у нас.  
А у нас — победителей судят.

Перевернутым судят судом,  
кто ловчей да бойчей — те и плохи.  
И гудит опрокинутый дом.  
И выходят на круг скоморохи.

Скоморохам зачем побеждать?  
Только вскинься —  
окажешься в луже.  
Эка ль радость, победа?!

---

*ГРОЗОВСКИЙ Михаил Леонидович родился в Москве в 1947 году. Поэт, прозаик. Окончил отделение физического факультета МГУ. В 1978 году поступил в Литинститут (семинар Е. Винокурова). Автор двух книг документальной прозы, шести сборников стихов, составитель двух поэтических антологий и более полусотни детских книжек, не считая неоднократно переизданной книги стихов "Мой Зоопарк". Лауреат ряда литературных премий. Живет в Москве.*

Видать,  
в нашем доме чем лучше, тем хуже.  
И не важно, чем кончится суд,  
с давних пор скоморохи не плачут.  
Нынче сами себя вознесут,  
завтра сами себя одурачат.

Но смеются леса и поля,  
дескать, даром возьмешь, а не купишь!  
Побеждённых прощает земля,  
победил — и пойдут без руля  
скоморохи крутить кренделя...  
И в кармане окажется кукиш.

## 8 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА

Зимнее утро над пущей встаёт Беловежской.  
Уголья звёзд доглевают.  
Быков первобытное стадо  
дремлет и дышит неспешным и ровным дыханьем.

Всё, как всегда. Заповедные древние звери  
чуткие ноздри в зыбучую тишь погружают.  
Ночью был снег.

На снегу обозначился ясно  
заячий след, а поблизости — след россомахи...

Вот вам конец одного и начало сюжета другого.  
В жизни народов бывают следы и поглубже.  
Эпос трагедии новой рождается втайне.  
Роли разыграны. Выбраны место и время.  
И кульминация — третьего Рима паденье.

Впрочем, ни белка, ни зубр, ни пугливый глухарь, ни лисица,  
да и никто из живых, обитающих здесь, не услышит  
гула веков, оскорблённых и преданных всуе.  
В вечность вмерзают следы.  
За предков ответят потомки.  
Зимнее утро над пущей встаёт Беловежской...

## ВОСПОМИНАНИЕ О ЧУКОТКЕ

*Олегу Епишкину*

“Есть три глагола на Руси.  
Запомни — только три:  
не верь, не бойся, не проси.  
Запомнил? Повтори”.

Так говорил мне бывший зек  
по имени Олег  
в полярном городе Певек.  
Матёрый человек.

То был неписанный закон,  
таящийся во мгле,  
который рыщет испокон  
по сумрачной земле,



где истина не знает прав,  
где, вынырнув из тьмы,  
душа являет странный сплав  
свободы и тюрьмы.

...Над морем дождик моросил.  
Потом посыпал снег.  
“Не верь, не бойся, не проси”, —  
доказывал Олег.

Мы разгружали мокрый брус  
на пирсе ледяном,  
и я, беря тяжёлый груз,  
поймал себя на том,

что не Олеговы твержу  
глаголы наизусть,  
а сил у Господа прошу,  
и верю, и боюсь,  
и в каждый вслушиваюсь звук,  
дойдя до неба вплоть.

— Одно из двух, одно из двух, —  
прошелестел Господь,  
который, видимо, скучать  
устал на небеси  
и вздумал сам поизучать  
закон всея Руси.

Предштормовой сгущался мрак.  
Ветра пошли вразлад.  
И я отправился в барак,  
Чтоб высушить бушлат.

За мною расстилалась даль  
неведомой воды.  
Там море, серое, как сталь,  
переходило в льды.

А здесь на берег падал снег,  
и лбами о причал  
стучали баржи... И Олег  
в полярном городе Певек  
мне истину вещал.

\* \* \*

Закат свои рыжие волосы  
раскинул вблизи от земли,  
и женщина тихо, вполголоса  
запела о тайной любви.

Взволнованную, златокрылую  
во мгле уходящего дня  
хотелось обнять её, милую,  
привлѣкшую пенем меня.

Хотелось мечтой невозможною,  
двойное постичь бытѣ:  
войти в её песнь осторожную  
и не потревожить её.

\* \* \*

Полнолуние. Август. Звучанье  
божьих нот на небесной струне  
и сплетенье любви и печали  
в фосфорическом лунном огне.

Понимаю: заложники все мы  
красоты и утраты земной.  
Это старая-старая тема,  
это спор человека с луной.

А точнее, не спор, а участие  
в разговоре, когда налегке  
целый мир просто так, в одночасье  
говорит на одном языке.

### СОМНЕНИЕ

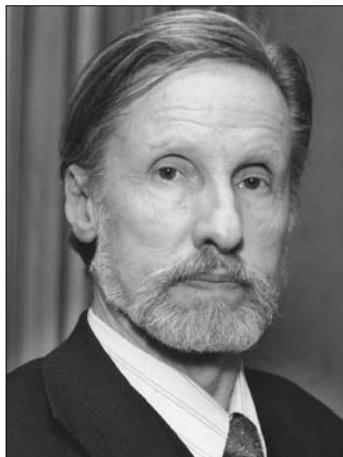
Какой же мне всё-таки вывод  
из собственной жизни извлечь?  
Зачем мне стихи — этот выдох,  
обёрнутый в русскую речь?

Нужны ли они небосводу,  
его вековой глубине  
иль это подарок в угоду  
от Бога тщеславному мне?

Вопросы, как на коромысле:  
Попробуй-ка, уравновесь...

Но что мне в том выводе, в смысле  
во всех этих “нет” или “есть”,  
когда в свете утра не знаю,  
жив буду ли к сумеркам дня  
и женщина, сердцу родная,  
увидит ли завтра меня?..

НИКОЛАЙ БРАУН



## ДОЖДЬ ПО ТЮРЕМНЫМ СТЁКЛАМ...

КОЛОКОЛЬНЫЙ НАПЕВ

Мне снился колокольный звон,  
Которым был я защищён  
От всех напастей.

Он плыл, как месяц вдоль руин,  
Как солнце вдоль озёрных тин,  
Как мысль  
О счастье.

Так облаков табун в простор  
Созвучно скачет выше гор  
Поверх юдоли.  
Так всех созвездий зодиак

---

*БРАУН Николай Николаевич родился в 1938 году в Ленинграде. Русский поэт, переводчик, публицист, общественный деятель. Один из лидеров монархического и казачьего движений. Сын поэта Николая Леопольдовича Брауна, ученика Николая Гумилёва. 15 апреля 1969 года после обыска был арестован КГБ как “особо опасный государственный преступник” (ст.70 УК РСФСР). 15 декабря 1969 года Браун был приговорен к 7 годам спец-строгих политлагерей и 3 годам режимной ссылки. Десятилетний срок отбыл целиком. В 1979 году вернулся в Ленинград... Участвовал в возрождении казачества как репрессированного сословия. С 10 апреля 1996 года — заместитель начальника Главного штаба Союза Казачьих Войск России и Зарубежья. В 2012–2013 годах — лауреат Международных конкурсов исполнительского мастерства “Вдохновение” в Санкт-Петербурге.*

Вращает свой звериный шаг...  
Как вздох  
О воле.

Мне снился звон колоколов,  
Протяжен, нежен и суров,  
Врагом не снятых.

Трезвон рождественской Москвы,  
Пасхальный гул поверх Невы,  
В лазури —  
Злато.

Мне колокольный снился сон.  
Я Ангелом был вознесён  
Поверх заборов.

Колокола по всей Руси  
Звонили — Господи, спаси  
От злого  
Вздора!

Спаси не верящих детей  
От гибели, вражды мастей,  
Неверья сроду,

В глухие годы прозвони,  
Чтобы всем верным искони  
Вернуть  
Свободу!

Звон колокольный слышен был  
Мне — свыше сил! — поверх могил  
Всех  
Всех страстотерпцев.

Чтоб Вышних Колоколен звон  
Изгнал российских бесов вон,  
Как тьму  
Из сердца!

Он плыл, как месяц вдоль руин,  
Как солнце вдоль озёрных тин,  
Как мысль о счастье...

Мне снился колокольный звон,  
Которым был я защищён  
От всех  
Напастей!

## НА ЧЕТВЕРТИНОЧКАХ ТЕТРАДЕЙ

На четвертиночках тетрадей  
Переписываем друг у друга  
Запрещённое Слово Божие.  
Пусть надзиратели и солдаты  
Найдут при обыске в бараке,  
Вытащат из-под рубашки,  
Из сапога,  
Из щели между брёвнами,

Отроют, протыкав землю в зоне  
Железными шупами, —  
Что-нибудь да останется  
Из необходимого  
Для жизни здесь — Акафист  
Богородице, великопостный  
Канон Андрея Критского; конечно,  
Канон Пасхальный и ещё  
Хранимое отдельно  
Последование мертвенных  
Мирских тел, которое читаем  
По собрату, замученному здесь,  
Или убитому при побеге,  
Или погибшему в ссылке...  
На четвертиночках тетрадей  
Переписываем друг у друга,  
Пряча, передавая, уча наизусть  
Древнее благоуханное слово  
Церкви Христовой и послания  
Её апостолов,  
Чтобы в пересыльных тюрьмах,  
Зонах и ледяных карцерах  
Неустанно славить  
Кровоточащее имя Господа нашего.

#### ПОД РОЖДЕСТВО

Однажды в ночь под Рождество  
Стоял я у окна,  
И всех созвездий волшебство  
Читал, как письма  
Из тьмы мерцающих времён,  
И видел бедный кров,  
Где вол стерёг Младенца сон,  
И тени трёх волхвов;  
И слышал лёгких крыльев плеск  
И хор в пещерной мгле...  
Но вдруг далёкий свет с небес  
Сорвался вниз, к Земле,  
И вздрогнул я: быть может, зов  
Звезды, погасшей там, —  
Тот, что три таинства даров  
Привёл к святым яслям?  
Ну что ж! Я и во тьме готов  
Свой тайный дар нести,  
Подобно участи волхвов,  
Не ведая пути.

#### В БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

Дождь по тюремным стёклам шелестел  
Всю ночь, как крылья Ангела, который  
Явился к Деве Пресвятой — предречь  
Зачатие безмужнее...

И странно

Щемило сердце у меня, когда  
На койке поднадзорной размышлял я,  
Что Человек ведь тоже создан был  
По Божьему подобию — без порока,  
Без всякого греха, чтоб в этот мир,  
Лежащий в Зле кромешном, как в утробе  
Младенец нерождённый — вдруг вдохнуть  
Добро животворящее и даже  
Его при первом крике наделить  
Нерукотворной красотой...

И с болью  
Метался я и стоны подавлял,  
Как подавляет мать при трудных родах  
В надежде, что не кончатся они  
Сеченьем кесаревым; и просил я  
За всех и за себя и всё никак  
Не мог уснуть, пока не помолился  
Невесте Невестной...

И тогда  
(О этот миг чудесный, незабвенный!)  
Она откуда-то явилась мне  
В нездешнем белом платье, а над Нею  
Сияние, как месяц сквозь туман,  
Мерцало, полукругом освещая  
Глаза, и волосы, и платье, и стопы,  
Что каменного пола чуть касались,  
И тонких рук запястья (а вблизи  
Была всё та же ржавая решётка  
Со стенкой крашеной), и лишь я сел  
На койке — с замираньем сердца звонким  
(Вот-вот подъём, и чуток сон тюрьмы!),  
Она, благословив меня, сказала  
Чуть слышно — те слова, которых здесь  
Я, грешный, недостойн, — о Спасеньи  
И Очищении...

Пусть с этих пор  
Ночь не одна истлеет, буду так же  
Я тайну их не в силах повторить,  
Как тайну уст Её...

\* \* \*

В Аду, конечно, не был я,  
но всё же  
Сюжет икон с Христом, сходящим в Ад,  
Любых иных сюжетов мне дороже...  
На них Архангел, грозен и крылат,  
Мирам трубит, а Иисус выводит  
Живоначальной дланию Своей  
Ветхозаветных праотцев к свободе  
Из подземелий мрака и скорбей,  
Из заточений в мрачных тех юдолях,  
Куда грехопаденье ввергло нас,  
Где каждый адской пыткой обездолен.  
И, хоть огонь ужасный не погас,  
Всё ж Адских Врат сокрушены затворы,  
И бездыханны слуги Князя Тьмы.  
Утихли смуты, мятежи, раздоры,  
И хоры ангелов поют псалмы.

И вот наверх Адам выходит с Евой,  
Отбросив ветхость черепов, костей,  
И снова девственно Запрета Древо,  
И никого не искушает Змей.  
А Иисус в нетленном ореоле,  
В тройном единстве Богобытия,  
Отец в лучах небесных на Престоле  
И Дух Святой...  
О Ад!  
О жизнь моя!

## ПЕСНЯ О ХРАМЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Храм Иоанна Предтечи на Ладогe,  
Где купола и кресты поржавели.  
Солнце на Пасху над ним, а на Троицу — радуги,  
А на Крещение — метели.

А на Крещение — метели.

Стены покрыты, как рваными ранами,  
Всюду лишь зимнее мёртвое царство.  
И проржавела табличка, что храм под охраною,  
И не прочесть: «государства»,

И не прочесть: «государства».

Храм освящён был водою крещенскою, —  
Будет уж скоро тому три столетья, —  
Чтоб не отдать ни поля, ни стада деревенские  
Горестям и лихолетью,

Горестям и лихолетью.

Ведь, причастясь той же самой стихиею, —  
Пусть не на Ладогe вовсе то было, —  
Русь окрещённая стала Великой Россиєю,  
В вере лишь черпая силу,

В вере лишь черпая силу...

Пусть мы духовно во всём обокрадены,  
Вспомним, о братья, о жертвах кровавых  
И перекрестимся, сняв свои шапки, как прадеды,  
Перед Господнею Славой,

Перед Господнею Славой!

## К ВОЗНЕСЕНИЮ

И воскреснув,  
Сорок суток снова  
Появлялся Он  
То здесь, то там,  
Полноту  
Вселенского улова  
Возвестив у моря рыбакам.

Он входил  
К ученикам с беседой,  
На пути  
Встречался им не раз,  
И поведал  
О грядущих бедах,  
И Фому от мук сомненья спас.

И вознёсся,  
Освещая лица.  
Словно пламень,  
Скрылся в облаках,  
Чтобы рядом  
С Отчею десницей  
В незакатных засиять лучах...

Кто познал душою  
Сораспяты,  
Сострадал Ему  
И совоскрес —  
Вознесётся с Ним  
Ко благодати,  
К сопредстольным таинствам небес!



АНДРЕЙ УБОГИЙ



## МОЯ ХИРУРГИЯ

СЛОВАРЬ-ПОВЕСТВОВАНИЕ

*Сыну, хирургу*

### Предисловие

Что остаётся от жизни людей и от целого мира? В конце концов, только слова — замыкая тот замысел, каким открывается Евангелие от Иоанна. А где им, словам, живётся лучше всего? Думаю, что в словаре. Это их улей, их родовое гнездо, откуда они разлетаются в мир, словно пчёлы за взятком. Может, поэтому я так люблю словари. И читателю, и писателю они предлагают так много свободы и воздуха, что дышать в их пространстве мне легче всего. С одной стороны — объективная строгость, почти инвентарная опись того, что содержится в мире; с другой же — свобода джазового музыканта, который импровизирует в рамках заданного ритмического квадрата. А свобода — она и возможна лишь в строгих границах, откуда не выпадешь ни в пустоту празднословия, ни во тьму немоты.

Итак, вот очередной мой словарь. И даже если читатель пробежит глазами одни лишь названия глав, — а именно так порой и просматривают словари, — мне и этого будет достаточно: я буду знать, что ещё один гость побывал в моём мире, моём словаре, моей жизни, “Моей хирургии”...

---

*УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в городе Железногорске, в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Живёт и работает в Калуге. С 1986 года и по сей день — практикующий хирург-уролог. Прозаик, эссеист, драматург. Автор десяти книг прозы. Имеет многочисленные публикации в российских журналах и альманахах. Лауреат нескольких литературных премий. Роман А. Убогого “Доктор” переведён на итальянский язык.*

## Анатомичка

Для всех докторов начало их пути в медицине связано с анатомичкой. Когда я впервые вошёл в её двери, мне ещё не было и семнадцати. Это случилось в Смоленске — там, на окраине студенческого городка, высилось трёхэтажное здание, чьи окна как-то особенно едко и воспалённо светились то в утренних сумерках, то в вечерней густеющей мгле. Почему-то именно сумерки — и одиночество — окружали меня в те начальные годы, когда я только знакомился с медициной.

Вот и учиться туда вечерами я чаще ходил в одиночку, не желая ни с кем делить чувств, что возникают при встрече с особенным миром анатомички. Не сказать, чтобы нам, первокурсникам, было очень уж страшно видеть трупы, распотрошённые руками преподавателей и студентов; но всё же любой, кто оказывался в этих стенах, не мог не волноваться. Уже сам формалиновый запах, царивший в анатомичке, как бы предупреждал: здесь особенный, со своими законами, мир. А уж когда мы спускались в подвал, где нам выдавали “препараты” — останки разъятых на органы тел, то едкие формалиновые испарения, случалось, выжимали из наших глаз и настоящие слёзы. Не оттого ли всегда так болезненно и возбуждённо блестели глаза у посетителей анатомички?

Когда мы с “препаратом” на жирном подносе и с толстым учебником поднимались по лестнице на один из трёх этажей, нас встречали суровые лица отцов-основателей медицинской науки. Везалий, да Винчи, Авиценна, Гарвей смотрели на нас недовольно и хмуро: им словно не нравилось наше вторжение в их неподвижный, проформалиненный мир. А помимо портретов великих анатомов нас встречало ещё одно живописное произведение: репродукция картины Рембрандта “Урок анатомии доктора Тульпа”. На ней был изображён доктор в шляпе и средневековом камзоле, который, указывая на разрезанное предплечье бледного трупа, разъяснял ученикам хитросплетения сухожилий.

Вот чем-то подобным вслед доктору Тульпу и его ученикам занимались в анатомичке и мы. Только нашим проводником в дебрях мёртвого тела был не доктор в камзоле, а учебник под редакцией Привеса: громадный том *in folio*, в котором латыни содержалось намного больше, чем могли вместить наши бедные головы. Так мы и ныряли из одной бездны в другую: то погружаясь в средневековые вечные дебри латыни, то теребя сухожилия трупа, лежавшего перед нами на грубом бетонном столе. Правда, иногда вместо трупа (мёртвых тел всем живым не хватало) перед тобой мог лежать “препарат”. Серые полушария мозга, напоминавшие большой грецкий орех, или грудка кишок на брыжейке, или почка, разрезанная пополам, — какой-нибудь, словом, из органов, навсегда разлучившийся с телом, где он некогда жил.

И долго — порою часами — длилось твоё одинокое странствие по полостям и пространствам нетленного тела, жирно блестящего в лучах лампы и пропахшего формалином. Это были, возможно, самые удивительные путешествия из всех, что я совершал когда-либо. Тот сохшийся труп, что лежал пред тобой, запрокинув лоснящийся кожистый череп и бессмысленно глядя запавшими глазницами в гладь потолка, — он вдруг начинал представляться огромным и вытеснявшим из мира всё прочее, кроме себя самого. В нём всё было настолько загадочно, сложно — эти все сухожилия, фасции, нервы, сосуды, — что, казалось, и жизни не хватит на то, чтоб узнать и запомнить это множество разнообразных частей, из которых составлено тело.

А для тебя, новичка-первокурсника, эти части были ещё так похожи, что ты поначалу не мог отличить артерий от вен, сухожилий от нервов, — поэтому непостижимая сложность того, что лежало перед тобой на столе, возрастала стократ, и ты уж почти был готов с позором бежать из анатомички. Но что-то удерживало тебя, и ты не убежал. Ты упорно, пинцетом или прямо пальцами, перебирал пучки размоchalенных мышц и лоскуты бурой кожи и напряжённо бубнил про себя, стараясь запомнить все эти *dexter*, *sinister*, *vestibulum* или *hiatus*. Ты словно брёл, спотыкаясь и падая, но поднимаясь и снова нетвёрдо шагая, — куда-то всё глубже в те тайные дебри, какими

является тело любого из нас. И ты будто что-то искал внутри этого тела. Но только сейчас, спустя сорок лет, я догадался, что же именно я разыскивал внутри проформалиненных тел, распластанных на бетонных столах.

Я искал там, ни много ни мало, — саму смерть. Ведь где, как не здесь, в царстве мёртвых, и было возможно увидеть, потрогать, почувствовать её, смерти, тайну — где, как не здесь, можно было взглянуть ей в лицо?

А всего поразительней то, что, чем более я погружался внутрь мёртвого тела, чем усерднее — как заклинание — бормотал колдовскую латынь, тем всё более чувствовал: смерти здесь нет. Её нет ни вот в этой сохшейся мумии, ни в огромном учебнике Привеса, который, служа проводником в мире мёртвых, всё ж неизбежно выводит обратно к живым, — её нет ни в чём из того, что меня окружает в анатомичке. Даже портреты великих анатомов, что прежде казались суровы, — они начинали как будто с усмешкой смотреть на тебя. “Послушай, приятель, — словно говорили они, — похоже, ты ищешь пустое. Мы вот тоже когда-то искали, искали — но, как и ты, не нашли...”

Да, смерти здесь не было: это открытие оказалось важнейшим итогом посещений анатомички. А была только жизнь — и она была всюду. И в студенческом шёпоте, шарканье ног, юном сдержанном смехе (в торце коридора, возле окна, обнимались студент со студенткой), и в шелесте этих мудрёных страниц, захватанных множеством пальцев, и в ночных беспокойных огнях за окном, в гулах города, в завывании ветра, в ударах дождя по стеклу, в шуме крови в твоей голове, одуревшей от долгой зубрёжки, — во всём звела жизнь, только жизнь, ничего, кроме жизни.

### Аппендицит

Как же мне было не полюбить хирургию, если с одной из первых операций, самостоятельно сделанных мной, связана целая романтическая история?

Летом после пятого курса я работал медбратом в хирургическом отделении клиники на Покровке. Двухэтажное здание имело солидный — хотя и изрядно обшарпанный — облик старинной губернской больницы: с гудками коридорами и сводчатыми потолками, с большими окнами и парадной лестницей, ведущей из приёмного отделения на второй этаж, в хирургию. По этой лестнице мы, студенты, нередко таскали носилки с больными — лифта в старом здании не было, — и этой же лестнице предстояло сыграть роль в истории, которую я хочу рассказать.

Тёплая летняя ночь. Мохнатые бабочки залетали в открытые окна. А к нам в отделение поступила красивая двадцатилетняя девушка с аппендицитом. Её звали Ирина, и ей, кареглазой, очень шло это имя. Но я в ту ночь был так озабочен работой медбрата, ещё непривычной, и желанием оказать ся на операции, что смотрел на Ирину лишь как на объект хирургического интереса. И с гораздо большим волнением, чем к этой девушке (уже переодетой в синий больничный халат), я подходил к дежурному доктору, добродушному толстяку, с просьбой, столь обыкновенной для парня-медика, мечтающего о хирургии:

— Николай Филиппович, — смущаясь от собственной дерзости, попросил я его. — А можно я сам эту девушку прооперирую?

Филиппыч, в ту пору уже пожилой и, конечно же, не любивший ночных операций, зевнул, потянулся и сказал басом:

— Ладно, валяй! Если что — позовёшь...

Про таких, как я в те минуты, говорят “окрылённый”. Не стану подробно описывать, как я переодевался и мылся и как, подняв мокрые и чуть дрожавшие от волнения руки, входил в гудкий кафельный зал старинной операционной. Моя обнажённая пациентка уже лежала на узком столе под сияющей лампой и дышала больше грудью, чем животом: верный признак острой брюшной патологии. И хоть мысли мои роились вокруг предстоящей работы, я не мог не отметить, как хорошо она сложена; и я, помню, спешил обработать рыжим раствором йода её вздрагивающий живот и поскорее накрыть девушку стерильными простынями, чтобы не отвлекаться ни на юную грудь, ни на побритый лобок, ни на бёдра, прижатые к столу ремнем.

Ассистировал мне Николай, мой приятель и однокурсник, дежуривший этой ночью в соседнем отделении гемодиализа. Кроме нас с ним да операционной сестры (её, кстати, тоже звали Ириной, и её восточные глаза всю операцию с интересом и лёгкой насмешкой наблюдали за мной), ну и, разумеется, нашей испуганной пациентки, в операционной больше не было никого. Сейчас в это трудно поверить, но тогда аппендиксы нередко удаляли под местной анестезией — традиции русской хирургической школы.

Наша больная, кстати, за всю операцию даже не пикнула: то ли она была так терпелива, то ли у меня действительно получилась классическая инфльтрационная анестезия. А червеобразный отросток, багровый и напряжённый, словно выпрыгнул к нам из раны вместе с петлёй подвздошной кишки: он будто ждал, когда я рассеку над ним блестящую плёнку брюшины.

Но, когда я отсекал флегмонозный отросток, он лопнул — и немного гноя вылилось в рану. Обеспокоенные, мы позвали Филиппыча. Он заглянул через моё плечо, посопел, хмыкнул и пробасил:

— А, ерунда... Помой, посуши — всё должно обойтись.

Конечно, я сделал, как он сказал, хотя на душе у меня скребли кошки. “А если, — думал я, — у этой девушки разовьётся разлитой перитонит? Хорошее же у меня будет хирургическое начало...”

Понятно, что я завершал операцию как можно более тщательно, но сделанного не воротить; хотя теперь-то я понимаю, что ничего страшного и в самом деле не произошло. Но тогда вместо радости от самостоятельно сделанной операции я испытывал только тревогу за эту кареглазую девушку — и, чего уж скрывать, за себя самого. Утром, сменившись с дежурства, я чуть ли не за руку притащил к постели Ирины нашего преподавателя, ассистента хирургической кафедры. Тот посмотрел язык больной, пощупал её пульс, помял живот — и пожал плечами:

— Не понимаю, чего ты волнуешься? Я здесь никакого перитонита не вижу.

Но успокоиться я не мог ещё долго. Ирина пролежала в клинике ровно неделю; и первые два-три дня я множество раз не только сам приходил к своей пациентке, но время от времени притаскивал к ней кого-нибудь из отделенческих или кафедральных врачей. Все, разумеется, лишь пожимали плечами и даже посмеивались надо мной.

Сама же Ирина, которой день ото дня становилось всё лучше, расценила мои посещения совершенно по-женски. Ещё, видимо, и соседки по шестиместной палате подзуживали её — смотри-ка, дескать, Ирш: а парень-то на тебя явно запал! — и девушка ожидала моих ежедневных визитов, как свиданий. Когда я вновь и вновь присаживался к ней на кровать (согласитесь: это довольно интимное действие) и откидывал одеяло, Ирина, блестя карими вишнями глаз, сама заголяла свой юный живот, отдавая себя в моё полное распоряжение. Но меня тогда занимала лишь грубая проза — вроде отхождения газов или защитного напряжения мышц, — и я куда более пристально глядел на повязку в правой подвздошной области, чем в зрачки потемневших, взволнованных глаз Ирины. В общем, я видел в девушке лишь пациентку — в чём, кстати, свято следовал Гипократовой клятве, запрещавшей врачу относиться к больным женщинам как-то иначе.

Затем Ирину благополучно выписали, и у меня с души упал камень. Закрутилась прежняя студенческая жизнь, с учёбой, дежурствами и операциями, и я уже почти позабыл Ирину и её злополучный аппендикс.

Но через несколько дней — я как раз снова дежурил — моя напарница-медсестра сказала:

— Андрей, выйди на лестницу — там тебя спрашивают.

Сбежав по скользким ступеням, я повернул на центральный марш лестницы — и чуть не упал: внизу, в холле, стояла красавица в красном платье. Я, признаться, не сразу её и узнал — тем более что лицо девушки наполовину скрывал букет алых роз. Спустившись к Ирине я смущённо пробормотал:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

Красавица, впрочем, смущалась не менее моего. Передав мне огромный букет — помню влажные листья и то, как кололись шипы, — Ирина, загнувшись, проговорила:

— Доктор, а вы по сердечным болезням не специалист?

Какое ж ещё признание, спросите вы, мне было нужно? Но я вдруг настолько отчётливо вспомнил недавние переживания и тревоги, связанные с Ириной, что это вытеснило во мне естественный мужской интерес к юной красавице. Можно сказать, что в тот миг в моей душе доктор-хирург оказался сильнее мужчины. Не помню точно, что я ответил Ирине, но это было нечто такое, отчего девушка грустно вздохнула и зашагала прочь... А я-то, дурак, ещё подумал: “Вот он, значит, каков, хирургический путь! Он усыпан цветами — и женщинами; и уж если сейчас, в самом начале, ко мне приходят такие красавицы, то что же начнётся потом?” До чего же наивны бываем мы в юности! Мы полагаем, что всё хорошее, чем одаряет нас жизнь, ещё повторится множество раз, мы не ценим того, что у нас уже есть, и стремимся куда-то в обманную даль, которая всё удаляется, тает и меркнет по мере нашего к ней приближения. А потом, уже в старости, когда впереди почти ничего не осталось, обращаем свой взгляд назад, в прошлое, вспоминая, среди прочих даров минувшего, девушку с кареглазым светящимся взглядом и то, как ты осторожно пальшировал её тугой, вздрагивающий живот...

## Баран

Ещё вспоминается ясное майское утро — и то, как я, студент-пятикурсник, везу на каталке в морг тяжёлое мёртвое тело. Мы оба в белом: я в халате, а покойный — под простыней, из-под которой желтеет ступня с клеенчатой красной биркой. Отвезти тело в морг — последнее, что осталось мне сделать после ночного дежурства; а поскольку морг в клинике на Покровке располагался аж за инфекционным корпусом, каталка долго стучала колесами по асфальту, а затем хрустела по гравию. Управлять ею было непросто: пожалев пожилую сестру-напарницу, я взялся всё сделать один — и каталка то заезжала в лужи, то шла юзом и ударялась колесами о бордюры. Я уж боялся, что мертвый, не ровён час, с неё соскользнет.

Но худо-бедно мы двигались. А утро такое яркое и свежее, каким оно может быть только в мае, да ещё когда тебе самому двадцать лет! Влажная зелень сверкала в лучах ещё низкого солнца, на небесную синь больно смотреть, а неугомонные соловьи высвистывали в ближайшем овраге свои сочно-упругие трели. Конечно, я думал о том, что обидно и глупо быть мёртвым в такое прекрасное утро. И как все молодые, я был уверен, что уж со мной-то подобной глупости не случится: я, если когда-нибудь и умру, то уж, по крайней-то мере, в такую собачью погоду, с которой не жалко расстаться.

Я нажимал на резиновые рукоятки носилок, каталка скрипела, её колеса визжали, покойник, стуча головой, ёрзал взад и вперёд; картина грустная. Но я был, сказать откровенно, счастлив. И молодость, и чудесное утро, и воспоминания честно отработанной ночи — мне удалось помыться\* на прободную язву и на кишечную непроходимость, — и, главное, чувство, что мне открывается необозримый мир хирургии, единственный мир, достойный мужчины, — всё это, взятое вместе, наполняло меня такой радостью и благодарностью к жизни, что в этих ликующих чувствах растворялось даже сознание того, что я везу на каталке смерть. Она, смерть, словно таяла в остром чувстве радости существования — как и мёртвое тело под простыней вдруг почти растворялось в лучах ослепительно бьющего солнца.

На газоне перед инфекционным корпусом пожилой пациент в полосатой пижаме делал зарядку. Он медленно приседал, вытягивая руки вперёд, а потом неуклюже вставал. Я подумал: “Да неужели я тоже когда-нибудь стану таким неловким и старым, с круглым животиком под полосатой пижамой? Нет, до такого позора я точно не доживу...”

\* Помыться (жарг.) — непосредственно участвовать в операции. — Прим. автора.

Пациента в пижаме тот груз, что я вёз, напугал: мужчина замер и полным ужаса взглядом провожал каталку. Мне захотелось крикнуть ему что-нибудь ободряющее, но ничего, кроме слов: “Все там будем!” — не пришло в голову, и я промолчал.

На зелёной лужайке у морга щипал травку привязанный на верёвке баран. Он был стар, худ и давно не стрижен: серая шерсть свалялась клоками. Пару раз я его видел и раньше, но всё забывал спросить: что этот баран здесь делает? Ни на шерсть, ни на мясо он явно не годился. Нас баран тоже заметил, перестал щипать траву и вытаращился тупо и оцепенело: вот именно как на новые ворота. А когда я с каталкой приблизился, баран судорожно дёрнулся — и упал набок. “Что за чертовщина? — подумал я. — Он что, тоже мёртвых боится?”

Но мне было не до того, чтобы возиться с упавшим бараном и оказывать ему медицинскую помощь, тем более что я не знал, как это делается. Мне требовалось открыть обитую цинком дверь — амбарный замок взвизгнул, словно живой, — а потом закатить носилки с покойным внутрь и поставить их возле стола с желобками в холодном и пахнущем смертью сумраке морга.

Когда я, уже налегке, вышел наружу, баран как ни в чём не бывало пасся на ярко-зелёной траве среди жёлтых цветов одуванчиков. Я обошёл его стороной, чтобы не испугать; но на этот раз он меня не заметил и не стал падать в обморок. Вернувшись в свою хирургию, я спросил пожилую и всё на свете знающую медсестру:

— Петровна, а что это там за баран пасётся возле инфекции?

— Какой баран? — переспросила она. — А, баран! Так его держат для эритроцитов.

— В смысле?

— Ну, делают же анализы с бараными эритроцитами? Тебе лучше знать, ты почти доктор.

— Так он поэтому и людей в белых халатах боится? Думает, снова идут ему кровь пускать?

— Ну да, — засмеялась Петровна. — Как подойдёшь к нему, так он сразу бряк в обморок! За ним и пастух числится, на полставки. У него, говорят, в трудовой книжке так и записано: “Пастух барана”.

— Что-то я там пастуха не заметил...

— Так он, небось, снова в запое. Чего ж и не пить — при такой-то работе?

И Петровна, вздохнув, принялась крупным почерком переписывать назначения из историй болезни в процедурный лист: у неё работа явно посложнее, чем у пастуха барана. А я, отправляясь на лекцию по хирургии, уж конечно, и думать не думал, что всю жизнь буду время от времени вспоминать то далёкое майское утро и барана, упавшего в обморок на зелёной лужайке.

## Боль

Хочу сказать боли несколько слов благодарности. Известно, что её, боли, задача — предупреждать нас об опасности или неполадках внутри нашего тела. Она вестовой и сторож одновременно; не будь её, наш срок на земле был бы много короче.

А я признателен боли, которую мне довелось пережить, ещё и за то просветление, что наступало, когда боль, наконец, утихала, и я ощущал себя словно родившимся заново. Ведь цель нашей жизни и состоит в просветлении; как же не быть благодарным тому, что нас приближает к нему — пусть и таким жёстким способом?

И вот сейчас я даже не знаю, что вспомнить: зубную ли боль, от которой ломит полголовы, или боль в седалищном нерве, когда не можешь пошевелиться без того, чтобы тебя не прострелило от поясницы к стопе?

Конечно, любая достойна хвалебного слова; но я склоняюсь всё же к боли в спине. Тем более что эта боль напрямую связана с моей врачебной работой — и с долгим стоянием за операционным столом, и с ежедневным перетаскиванием тяжёлых больных с носилок на койки или обратно.

Главное свойство такой боли — внезапность. Обыкновенно она настигает где-нибудь на бегу, как гром среди ясного неба. Только что ты был бодр и куда-то спешил — и вдруг тебя как пригвоздило горячею молнией боли к тому месту, где она тебя поразила. Так и замираешь посреди коридора: вот так же, наверное, оцепенела и жена Лота, обратившаяся в соляной столп.

Последний раз, когда подобная боль пронзила меня, я рухнул на четвереньки и простоял на полу пять часов. Ни одеться (я только что встал с постели и собирался идти на работу), ни даже справить нужду я не мог. Пока не приехал мой сын-хирург и не привез сильного обезболивающего, я так и стоял голый на четвереньках. Любая попытка пошевелиться вызывала такой приступ боли, что квартира оглашалась страдальческим стоном.

Конечно, такое не сладко: ни себе самому, ни другому я не пожелал бы пережить это вновь. Но вот боль, словно вдоволь натешившись беспомощной жертвой, стала мало-помалу стихать. Видимо, помогло и лекарство, что мне уколол Дмитрий, и время, которое, как известно, есть лучший целитель. Я смог кое-как подняться, одеться и, опираясь на две лыжные палки, добрести до машины, потом заползти — опять-таки на четвереньках — на заднее сиденье, и сын повёз меня к неврологам.

Удивительно действие лидокаиновой блокады. Вот ты, кряхтя, укладываешься на кушетку (а боль ещё очень сильна); вот тебя протирают спиртовой салфеткой (сколько раз ты и сам обрабатывал спиртом других и вдыхал его бодрый, решительный запах); вот ты вздрагиваешь от укола иглы (хотя он на фоне главной боли кажется комариным укусом) и затем чувствуешь тугое распирание от нагнетаемого в тебя лекарства. И вдруг — тебе даже не верится — боль начинает стихать... Помню, сын, стоявший рядом во время блокады, сказал:

— Пап, я заметил, как у тебя *распустилось* лицо...

Да, за много часов моё лицо словно окаменело, сжавшись в комок напряжённой гримасы, — и вдруг за считанные секунды на нём появилась блаженная и недоумевающая улыбка. Ты словно спрашивал: что это было? Что за сила швырнула тебя на четвереньки, превратив в совершенно беспомощное существо, — и куда теперь эта сила ушла? И насколько она отдалась — не вернётся ли через минуту-другую обратно? А если вернётся, то нужно успеть насладиться каждой секундой без боли, каждым выдохом и выдохом, что покамест ты можешь сделать свободно...

Я и наслаждался: за всю свою жизнь я припомню немного столь же блаженных минут, как те, когда я, улыбаясь, лежал на кушетке ничком, а высушающий спирт всё ещё охлаждал мою спину.

Потом мне поставили капельницу, и я минут сорок с интересом разглядывал подвесной потолок над собой. Ничего особенного — одни светло-серые плиты да скрещенья дюралевых планок, — но как же я ими любовался! Ни один пейзаж, ни один портрет, когда-либо рассмотренный мной, не вызывал более отрадного чувства, чем то, что наполняло меня при созерцании этого серого и бесконечно спокойного потолка. Возможно, раненый князь Андрей под Аустерлицем, когда он, опрокинувшись навзничь, увидел над собой высокое серое небо, испытал нечто подобное: чувство покоя, приходящее в редкий миг просветления.

Вот и я чувствовал: всё, что есть в мире — прекрасно. И серые плиты вот этого потолка (я вспомнил, что он называется “Армстронг” — и по мгновенной ассоциации передо мной всплыло лоснящееся лицо музыканта и словно послышались тугие, медовые звуки трубы), и флакон капельницы, и часто падающие капли лекарства, и шаги медсестры у изголовья кушетки, и чудесный запах свежестиранной простыни; но главное, что было прекрасного в мире, — это то, что из него ушла боль. И пока она не вернулась, счастливей тебя нет человека на свете. И вовсе не нужно тебе ничего из того, чем люди обычно так дорожат и к чему так стремятся, — ни денег, ни славы, ни даже женской любви, — лишь бы тихо лежать на кушетке, ощущая, как сладок каждый твой выдох и вдох, и сознавая, насколько глубок и прекрасен каждый миг бытия...

## Больница

Произнести слово “больница” для меня почти то же самое, что сказать: “Мир” или “Родина”. То есть больница — нечто настолько огромное и всеобъемлющее, что воспоминания, мысли и эмоции, связанные с ней, сопоставимы с впечатлениями чуть ли не всей моей жизни.

Так, больница меня в прямом смысле слова вскормила. Когда мама дежурила (а мои родители оба — врачи), я, шестилетний, приходил к ней в больницу — приёмный покой располагался в ста метрах от нашего дома, — и мы вместе обедали. В те годы дежурный врач, прежде чем разрешить раздавать пищу больным, сам был обязан отведать и оценить то, что приготовили в пищеблоке. Иногда врач ходил к поварам, в их душевное царство громадных кастрюль и жаровен; иногда же еду приносила ему санитарка.

Не забуду тех стопок из плоских кастрюль, перехваченных ручкой-скобою, в которых нам с мамой приносили “первое-второе-третье”: то есть суп, котлеты с картошкой или макаронами и кисель или компот из сухофруктов. И вот оттого ли, что те впечатления были одними из первых, или оттого, что больничная пища и впрямь была так хороша, но любовь к больничной еде сохранилась во мне на всю жизнь.

Моё детство проходило буквально на территории психиатрической больницы, меж её корпусов и деревьев, в садах, окружавших её, и на дорожках больничного парка, по которым то деловито шагали врачи и медсестры в белых халатах, то бродили больные в синих казённых пижамах. Для нас, детворы, этот мир — особенно летом — казался истинным раем. Он был зелен и тих, полон птиц и цветов; да и в отрешённо-задумчивых лицах больных, что бродили по здешним аллеям, порой чудилось нечто ангельски-просветлённое.

Но не только райские впечатления нам дарил мир больницы. Так, я впервые увидел здесь смерть.

Был стылый ноябрь; мы, дети, жгли костерок на задворках котельной. Вдруг кто-то крикнул:

— Пацаны, там больная повесилась — айда смотреть!

Мы побежали: суматошно, но как-то небыстро — сама жутковатая цель нашего бега словно притормаживала его. И что ж мы увидели за корпусами, меж голых осенних дубов? На заборе, ограждавшем больничную территорию, висел серый бесформенный куль, в первый миг даже не привлекавший внимания. Лишь вблизи мы увидели, что это человеческое тело, обвисшее на верёвке и почти касавшееся коленями бурой опавшей листвы. Главное, что всё это выглядело обыденным, скучным, унылым: непонятно, зачем мы так торопились сюда? Костёр, оставленный нами, куда интереснее; и мы, даже не досмотрев, как санитары снимают тело и кладут его на носилки, вернулись к огню.

С тех самых пор во мне так и осталось жить чувство унылой, бесцветной, обыденной серости смерти. И все попытки придать ей торжественность и высокопарность — поставить, так сказать, смерть на котурны — мне всегда представлялись надуманно-пошлыми. А больница с тех пор стала видеться много объёмнее, глубже, сложнее: одновременно как рай и как ад, как место летних восторгов ликующей жизни — и место осенних, таких безнадежно-унылых смертей.

Но годы летели, я из мальчишки стал юношей, а затем медицинским студентом. Шесть лет, проведённых в Смоленске, также прошли в разнообразных больницах, где мы постигали премудрость врачебной науки. А когда я, уже молодым хирургом-стажёром, вернулся в Калугу, то вся моя жизнь до теперешних дней оказалась связана не с психиатрической, а с хирургической больницей “скорой помощи”.

Рассказывать о ней — всё равно что описывать целую, незнакомую прежде страну со своим населением, нравами и языком, со своими писаными и неписаными законами, преданиями и легендами, героями и злодеями, фольклором, полным забавных или леденящих душу историй, — словом, со всем тем, что составляет народную жизнь и судьбу. И всё глубже и глубже погружаясь



в больничную жизнь, проводя в ней будни и праздники, ночи и дни, я всё чаще думал о том, что наша больница — это Россия в миниатюре.

В городе не сыскать другого подобного места, где сошлось бы столько разных характеров и языков, профессий и судеб, людских страданий, надежд, боли и радости, сколько их сталкивается в стенах больницы “скорой помощи”. Мало того: и история целой страны отразилась в больничной истории, словно в капле воды. Я застал ещё годы застоя с их неторопливо-размеренной жизнью, со стенгазетами и концертами художественной самодеятельности, с осенними выездами в подшефный колхоз на картошку и с коммунистическими субботниками, завершавшимися непременно пикником где-нибудь на больничных задворках.

Потом, в 90-е годы прошлого века, когда ветер истории разметал сонную дрёму застоя и, казалось, страна вот-вот рассыплется в прах, нелегко приходилось и нашей больнице. Случалось, нам месяцами не выдавали зарплату, и медики выживали, чем Бог пошлёт; как на войне, не хватало лекарств, бинтов, инструментов; всё чаще к нам привозили не ущемлённые грыжи и аппендициты, а ножевые или пулевые ранения, и слова: “Это не городская больница, а медсанбат!” — всё чаще и чаще звучали из уст как хирургов, так и их пациентов.

Исторические катаклизмы не обходятся без переселений народов, когда сотни тысяч людей бросают родные места, чтобы спасти и себя, и детей где-нибудь на чужбине. И едва ли не первой из тех, кто принимал и до сих пор принимает все эти миграционные волны, опять-таки стала наша больница. С Кавказа, из Средней Азии, из Молдавии и Приднестровья, а вот теперь ещё и с Украины приезжают медсёстры, врачи, пациенты, и наша больница, как и Россия, открыта для всех.

И, коль уж разговор о больнице принял такие масштабы, не могу не рассказать о поразительном совпадении, до сих пор вызывающем у меня что-то вроде священного трепета, — совпадении, выводящем нашу калужскую городскую больницу уже на библейскую высоту.

Лет пятнадцать назад я задумал писать о больнице роман. И название подобрал хоть и не оригинальное, но вполне подходящее: “Ковчег”. Думаю, нет нужды разъяснять его смысл. Однажды — роман был только в замысле — я решил измерить большими шагами длину и ширину главного больничного корпуса: того, в котором и должно происходить действие будущего произведения. И вот я шагаю, шагаю — и прихожу в изумление. Оказывается, наш “ковчег “скорой помощи” имеет сто пятьдесят метров в длину и двадцать пять в ширину; а если вы откроете Ветхий Завет, то узнаете, что ковчег Ноя имел в длину триста локтей, а в ширину пятьдесят — то есть точно такие же размеры, как у нашей больницы! Комментарий, как говорится, излишни. А тогда, закончив мистический этот обмер, я подумал: теперь, хоть умри, написать роман я обязан.

### **Врачебная ошибка**

Начать эту главу стоит мыслью Рене Лериша\*, считавшего, что каждый хирург носит в душе собственное кладбище, куда время от времени удаляется помолиться. Правда, русский язык и русская жизнь несколько сократили и огрубели выражение французского доктора; у нас говорят: “У каждого хирурга есть своё кладбище”.

Конечно, есть оно и у меня. А всего памятнее мне две смерти, которым я был невольной причиной и о которых хочу теперь рассказать. Они случились давно, более тридцати лет назад, в самом начале моего хирургического пути. Помню даже день — 11 июня, — когда я пошёл оперировать гнойный пиелонефрит. А пациентка, пожилая добрая женщина, с которой произошло такое несчастье, годилась мне даже не то, что в матери, — в бабушки. И помню, как она за час до операции с трудом подошла ко мне в коридоре и сказала:

---

\* Французский хирург и физиолог (1879–1955). — Прим. ред.

— Милый доктор, не переживайте: всё будет хорошо, — и вдруг добавила: — Позвольте, я вас обниму...

И мы с ней обнялись прямо посреди отделения: уж не знаю, как это выглядело со стороны.

Операция сразу пошла тяжело. Наше вмешательство на поражённой почке было далеко не первым, и всё оказалось настолько запамято грубыми рубцами, что приходилось их рассекать почти наугад, не видя границ между органами. К тому же воспалённые ткани обильно кровоточили, рана почти всё время была влажной, и отсюда гудел непрерывно. Хирурги поймут меня: очень сложно работать, когда, с одной стороны, нужно быть осторожным, а с другой — необходимо быстрее удалить закрывающий обзор орган, потому что иначе толком не разглядеть источник кровотечения.

С нас сошло семь потов, — а больная потеряла более литра крови, — когда гнойную почку мы, наконец, убрали. И всё вроде неплохо: мы промыли и осушили рану, оставили, как и положено, в ней дренажи — и, когда рана была ушита, повернули больную на спину. И почти тут же по дренажным трубкам потекла кровь.

Мы повернули больную обратно на бок и стали снимать швы. Помыслся, то бишь, подключился заведующий. Но при ревизии раны мы ничего особенного не обнаружили: основные сосуды надёжно прошиты, и пока мы минут десять, напряжённо пыхтя, во все глаза рассматривали и промокали тупферами ложе удалённой почки, рана оставалась сухой. Снова зашили рану, постояли, глядя на дренажи (“Ну, что: всё нормально?” — “Да вроде нормально...”), — а затем перевезли пациентку из операционной в реанимацию.

И тут опять по дренажам потекла кровь. Бегом вернули больную в операционную, позвали сосудистого хирурга и снова стали искать источник загадочного кровотечения.

Оказалось, когда я выделял из рубцов нижний полюс замурованной почки, я оторвал небольшую люмбальную вену, впадавшую в нижнюю полую, главную вену всего организма, со стороны позвоночника — так что, пока больная лежала боком на валике, повреждённая вена прижималась к позвонку, и никакого кровотечения не было. Когда же мы переворачивали пациентку на спину, по дренажам начинала течь кровь.

Разобраться-то мы разобрались и даже сумели ушить дефект нижней полой, но пока всё это происходило, пока мы то зашивали, то вновь открывали рану и возили больную туда-сюда, крови вытекло слишком много, и старушка погибла от геморрагического шока.

Это была первая смерть, случившаяся по моей вине: ведь именно я, не заметив, оторвал злополучную люмбальную вену.

А всего через несколько месяцев произошло второе несчастье. Пациентом на этот раз оказался тучный старик, который несколько дней не мог помочиться и которому нужно было установить в мочевого пузырь дренажную трубку. Операция эта сама по себе несложная; но когда на часах половина третьего ночи и у тебя нет ассистента (все заняты на другой операции), когда местная анестезия действует плохо, и старик кричит, ёрзает, стонет и матерится, и когда наплывающий толстый слой жира закрывает обзор, тогда и такое вмешательство превращается в пытку не только для пациента, но и для хирурга. Наконец кое-как дренаж в мочевого пузырь я установил — старику сразу сделалось легче — и пошёл подремать в ординаторской те последние пару часов, что отделяли меня от конца дежурства и начала долгожданного отпуска.

Беда в том, что я, в напряжении торопливой работы, не заметил, как провёл дренажную трубку через переходную складку брюшины. Сначала всё шло неплохо, но когда у пациента развился парез кишечника и его и так-то огромный живот вздулся ещё больше, подшитый к брюшной стенке дренаж выскочил из мочевого пузыря, моча потекла в брюшную полость, и старик, в конце концов, погиб от перитонита.

Но я обо всём этом узнал, только возвратившись из отпуска: вот, возможно, ещё одна из причин, по которой перитонит распознали не сразу.

Всё же тех, кого оперировал сам, смотришь внимательней и переживаешь за них куда больше.

Отчего-то именно эти двое погибших — старик со старухой — вспоминаются чаще всего. Хотя, конечно, за тридцать три года работы у меня погибали и другие больные — трагический счёт идёт уже на десятки. Но в других случаях всё же больше была виновата болезнь; а вот в тех первых смертях несомненна вина молодого врача — то есть меня самого.

Вообще, груз ошибок, как уже совершённых, так и тех, что ещё предстоит совершить, на хирурге лежит постоянно, становясь с каждым годом всё тяжелее. И я время от времени — бессонной ли ночью или сидя над страницами воспоминаний — мысленно прохожу по своему личному врачебному кладбищу, иногда вспоминая (а чаще, признаться, отчётливо не вспоминая) людей, лежащих на нём под могильными плитами, на которых написаны диагнозы и операции. Порою я думаю: а повстречаемся ли мы с моими пациентами — с теми, кто умер, когда я их лечил, — в будущей жизни? Как они встретят меня и что скажут своему лечащему врачу?

В завершение этой главы о врачебных ошибках хочу оправдать — нет, не себя, а ошибку как таковую. Недаром же сказано: не ошибается тот, кто не работает. И действительно: утверждает, что не ошибается, либо бесостынный лежец, либо полный бездельник; вряд ли бы вы захотели лечиться у подобных врачей. Или, иными словами, если врач никогда не ошибается, он плохой врач. Ошибка — такая же часть нашей жизни, как любовь и разлука, как радость и горе, как, в конце концов, смерть. Путь любого врача — путь неизбежных, больших и малых ошибок; и чем длинней этот путь, тем больше ошибок ложится на память и совесть доктора.

### Вскрытие

Тело в больничном морге — совсем не проформалиненный труп в студенческой анатомичке. Тот был ссохшейся мумией, давным-давно покинувшей мир живых и с полнейшим безразличием относившейся к людям, перебивавшим его мышцы, сосуды и нервы.

А вот тот, кто белеет на бетонном столе морга, — он только что был живым. Ты ещё помнишь не только фамилию, но имя и отчество своего недавнего пациента. Над ним только недавно хлопотали врачи и медсёстры, в его вены вливались растворы, а грудь поднималась и опадала под мерные гулы дыхательного аппарата. Его раскрытый живот ещё сутки назад заливала светом операционная лампа — и там, среди петель кишечника, шарилы руки и инструменты хирургов. Наконец, уже в самом финале, это грузное тело подбрасывали разряды дефибриллятора, но вопреки всем этим усилиям кардиомонитор, тревожно пища, продолжал чертить на экране ровную линию асистолии...

И вот теперь — тишина: особенная, бетонно-кафельная тишина морга. Но всё равно ещё слишком памятно то, что происходило недавно, и этой тишине как-то не веришь, тем более что недвижимое, строгое это лицо, туго обтянутое бледной кожей, лишь отдалённо напоминает лицо того человека, который ещё два дня назад с тобой разговаривал, жал тебе руку и даже пытался шутить, а ты, чтобы его подбодрить, говорил: “Все не так уж и плохо — мы с вами ещё повоюем!”

Да и сам морг — далеко не анатомичка из твоей юности. Там, несмотря на обилие мёртвых, лежавших по разным учебным комнатам, царила всё-таки жизнь: она была и в студенческом шёпоте, и в сдержанном смехе, и в цоканье женских туфелек по лестницам и коридорам, в шорохе юбок, халатов, страниц, — словом, во всём том, что так разнообразно и щедро наполняло этажи анатомички.

Здесь же, где ты стоял за спиною прозектора, ожидая, когда он начнёт вскрытие, а из чёрного шланга, лежащего в желобке стола, равнодушно, как время, журчала вода, здесь во всём стояла смерть. И в неистребимом сладковато-приторном запахе, который не спутать ни с чем; и в том холоде, что всегда царит в морге; смерть звучала и в особенной гулкости звуков, которая

делала все слова, раздававшиеся над мёртвым, полыми и ненастоящими. Казалось, здесь говорят не живые, знакомые люди, а какие-то призраки или двойники, столь же мало похожие на свои живые оригиналы, как и мёртвый, лежащий на бетонном столе, мало похож на того пациента, каким он представлялся перед тобой всего сутки назад.

Так что морг, скажем прямо, не самое приятное место на свете. Он порой представляется земным филиалом преисподней — холодной, зловонной и гулко-пустынной. И это ещё патологоанатом не начал вскрытия: его большой нож ещё не коснулся холодной груди и не начал с грубым и равнодушным хрустом перерубать рёбра. Сам врач-прозектор, с закатанными на мускулистых предплечьях рукавами халата, напоминает одновременно и судью, и палача. Только судить он будет тебя, хирурга, притихшего за его могучей спиной, а резать-кромсать — твоего бывшего пациента.

Главный вопрос, который сейчас не просто занимает тебя, а неотступно стучит в голове: совпадёт ли диагноз, который ты поставил больному при жизни, с тем, что патологоанатом найдёт внутри мёртвого тела? Я начинал хирургический путь ещё в прошлом веке, когда в обиходе не было ни ультразвука, ни компьютерной томографии, ни лапароскопии — ничего из методов, сегодня помогающих поставить прижизненный и вполне достоверный диагноз. Поэтому мы переживали на вскрытиях куда больше, чем нынешние врачи, и с таким нетерпением заглядывали внутрь своих бывших больных.

Вообще, в моей жизни бывало немного столь же томительных и напряжённых минут, как те, когда я, ёжась от неотступного холода и стараясь подавить тошноту, вызываемую зловонием морга, выглядывал из-за плеча патанатома, с тоскою следя за решительно-грубыми движениями его рук. Можно сказать, что на эти мучительные минуты пустынная гулкость и холод, которые окружали меня, словно переселялись вовнутрь, в мою душу, и я уж не только снаружи, но и в себе ощущал ледящую пустоту преисподней.

И если раньше, при жизни, больной с нетерпением ждал, что ты скажешь ему, то теперь уже ты с нетерпением ждал приговора себе — от покойного. И надо признаться, что в той изводящей тревоге, с какой ты следил за вскрытием, содержалась и некая молчаливая просьба о снисхождении. Ты словно упрашивал мёртвого: “Ну, пожалуйста, пусть дренажи стоят там, где нужно, пусть швы окажутся satisfactory, а в животе будет сухо! Тебе-то, прости, уже всё равно, а мне ещё жить и работать...”

Ответ бывал разный. Случалось, что нож патанатома открывал то, отчего ты покрывался мгновенной испариной, и тебе стоило немалых усилий произнести с напускным равнодушием, но осипшим, чужим, неестественным голосом: “Надо же — вот оно, значит, в чём дело... А мы-то думали: отчего ему хуже и хуже?” А патологоанатом, как будто нарочно, ещё любовался находкой: он словно её смаковал и рассматривал с разных сторон, и в его тоне начинало проскальзывать снисходительное высокомерие. Произноси разные умные термины, он — между строк — словно тебе говорил: “Ну, что ж вы, коллега, в таких простейших вещах и то разобраться не можете?” А ты сокрушённо поддакивал и кивал головой — одновременно и признавая вину, и выражая надежду: нельзя ли, мол, в том заключении, что вы будете скоро писать, хоть немного смягчить выражения?

Так что хирург — он бог, царь и герой только перед больными, которые в него свято верят; а перед патологоанатомом и перед мёртвым он порою напоминает мальчишку, нашкодившего и достойного порки.

Но допустим, что всё обошлось. И дренажи стоят правильно, и в животе нет ни крови, ни выпота, и ни один шов не прорезался, и ни одна лигатура не соскочила. Тогда, несмотря на гнетущую обстановку морга, на всю эту гулкость, зловоние, холод, ты начинаешь себя ощущать совершенно счастливым! Тебя словно свели с эшафота, так и не огласив приговора. И тебе становится чуть ли не весело; ты можешь, наверное, и пошутить — лишь присутствие смерти сдерживает тебя.

Затем ты выходишь из морга на свежий воздух, с наслаждением дышишь — и жадно оглядываешь больничные корпуса, кусты и деревья, дорожки, по которым сёстры-хозяйки катят носилки, гружённые мешками

с бельём, оглядываешь весь тот привычный, родной тебе мир, с которым ты был разлучен, томясь в холоде морга. И тот внутренний холод, что наполнял тебя, пока ты стоял над бесчувственным телом, — он быстро тает от солнца и свежего ветра, от голосов и улыбок сестёр и от собственных быстрых шагов по дорожкам больничного сквера. “Ну, слава Богу! — думаешь ты. — В этот раз обошлось; теперь можно работать и жить — до очередного вскрытия”.

### Выгорание

Поговорим теперь о выгорании. Тем более, это модная тема: деформация психики, что происходит при ежедневном и тесном общении с больными. Синдром эмоционального выгорания планируют даже ввести в международную классификацию болезней; а поскольку “сгорают” не менее половины врачей, особенно психиатров, хирургов и реаниматологов, речь идёт уже о мировой эпидемии, охватившей медиков нашей планеты.

Выгорание в той или иной степени неизбежно для каждого доктора — если, конечно, он действительно доктор, а не бездельник и не чиновник от медицины. Ведь что происходит при нашей работе? Трата себя — своих сил, нервов, жизни — ради больного. Но человеческие резервы не бесконечны — поэтому то зелёное и цветущее дерево, с которым можно сравнить молодого врача, с годами превращается в обугленную головешку.

Посчитано, кетати, что срок медицинского выгорания очень короткий: от пяти до семи лет. Что же тогда говорить о тех ветеранах, которые отработали лет тридцать-сорок? От них не должно остаться и горсточка пепла. И кажется истинным чудом, что не так уж и редко встречаешь пожилых врачей, не утративших ни живого ума, ни интереса к работе, ни сочувствия к пациентам — то есть тех, кого пощадил или просто не смог одолеть беспощадный процесс выгорания.

Как известно, в мире мало вещей, однозначно плохих или однозначно хороших. Это касается и выгорания — особенно в хирургии. Я хочу сказать, что работа хирурга немислима без отстранения, без объективного взгляда и решительной твёрдости, без умения настоять на своём и принять груз ответственного решения, — словом, без всего того, чему излишняя сентиментальность является только помехой. Поэтому, если и не выгорать целиком, то хотя бы немного “обуглиться”, чтобы затвердеть, хирургу необходимо. Ведь пациенту нужен не сочувственный плакальщик, вытирающий сопли и слёзы, а тот, кто способен работать без дрожи в руках и без паники в мыслях. С этим же связано и непреложное правило хирургии: “своих” (то есть родных и друзей) по возможности не оперировать. Потому что при общении с захворавшими близкими трудно думать и действовать ясно, решительно, твёрдо, как и надлежит вести себя за операционным столом.

Ощущаю ли я выгорание в себе самом? Естественно, ощущаю: ведь я проработал хирургом-урологом, как в сказке, тридцать лет и три года, да ещё в больнице “скорой помощи”, то есть, можно сказать, в медсанбате, на медицинской передовой. Как же я мог не стореть, оперируя ночи и дни, приезжая в больницу и в будни, и в праздники, сомневаясь и ошибаясь, порою теряя больных и за все эти годы не молодея и не набираясь сил, а, напротив, изнашиваясь, и из молодого, поджарого, бодрого парня превращаясь в хромого и грузного, лысого и раздражительного старика?

Вообще, трудно всегда быть ангелом, если помогать людям — твоя круглосуточная и изнуряющая работа. Как не быть раздражительным, когда, скажем, в три часа ночи тебя вызывают в приёмное, а там ты видишь в хлам пьяного мужика, который не то что “здравствуйте, доктор”, но и “мама” не может произнести? Или видишь уголовника, синего от татуировок, для которого ты не врач, а “лепила” и кому от тебя нужен лишь укол “наркоты”? Или, скажем, натыкаешься на шумную компанию обкуренной молодёжи, завалившейся в больницу прямиком из ночного клуба — оттого что, видите ли, у кого-то из них кольнуло в боку? А то ещё, морщась от смрада, видишь бомжа, который приковывлял сюда лишь потому, что ему, бедолаге, больше нигде провести ночь. Да мало ли всякого-разного

нам приходится видеть в приёмном покое дежурной больницы — и это когда позади почти сутки работы, а впереди ещё целый рабочий день, с его операциями и перевязками, обходами и консультациями и с десятками пациентов, ожидающих от тебя и сочувствия, и понимания.

Поэтому после дежурных суток и следующего за ними рабочего дня, — а большинство докторов России работают именно в таком режиме, — порою чувствуешь, как из тебя будто выжили кровь: в тебе не осталось ни жизни, ни сил, ни способности слушать и понимать, а осталась одна лишь глухая тоска, раздражение и нежелание видеть людей. “Устал, как собака”, — это сказано ещё слишком мягко; беда в том, что в таком состоянии в тебе просыпаются худшие качества: нетерпимость, мелочность, гнев. Можно сказать, на дежурство ушёл один человек, а вернулся через сутки с лишним другой — и этот другой является негативом себя самого.

И таких вот дежурств за тридцать три года работы пришлось пережить более тысячи: даже странно, что я ещё жив и могу писать эти строки. И вообще, удивительно даже не то, как мы, доктора, устаём, а то, как мы всё-таки восстанавливаемся. В молодости я разработал собственную программу реабилитации после трудных дежурств. Вот возвращаешься из больницы — именно что “никакой”, и первое, что нужно сделать, — дать себе хорошую физическую нагрузку. Летом это бывал кросс, а зимой лыжи. Причём побегать надо не менее часа до хорошего пота и настоящей усталости, чтобы перевести психическое изнурение, накопившееся в тебе, в утомление мышц.

Потом душ: горячий, блаженный. Чувствуешь, как струи воды смывают не только пот, но и то напряжённое, тяжкое, злое, что копилось сначала в душе, потом перешло в утомлённые мышцы; теперь же оно смыто вместе с мыльной пеной и исчезло в дыре водостока.

После душа — обед, непременно обильный. Еда тоже имеет психотерапевтическое значение: она как повязка на раны души, которые ноют-саднят в её глубине. После обеда ты уже не такой беспокойный и нервный, как раньше, а отупевший и сонный, и ни о чём, кроме постели, не можешь думать.

Сон — тоже великий целитель. Лег до сорока пяти я засыпал, как убитый: стоило коснуться щекой подушки, как крыло забытия уносило меня. И проснувшись часа через два, я себя чувствовал совершенно другим человеком: уже не тем негативом, как после дежурства, а позитивом себя самого.

А чтобы завершить курс исцеления, оставалось одно: чаепитие. Обязательно неторопливое, лучше всего на балконе, с неспешными созерцаниями окружающей жизни и с размышлением о том, как она, эта жизнь, хороша, особенно после тяжкого полторасуточного дежурства. Так, наверное, и солдат наслаждается тишиной и покоем в промежутках между боями.

И вот удивительно: отдохнувшему, тебе снова хотелось в больницу. Ты представлял, как в ночи горят её окна, как на всех семи этажах кипит жизнь — гудят лифты и громыхают каталки, раздаются шаги медсестёр, шипит вода в кранах, когда врачи моют руки, ритмично вздыхают наркозные аппараты и звякают инструменты, и тебе даже немного обидно, что всё это происходит без твоего участия. словно сама напряжённая жизнь со всеми её трудами и горестями, но и со всеми радостями течёт мимо тебя, пока ты, находясь вне больницы, тем самым находишься вне настоящей жизни.

И ты всегда в глубине души радовался, когда слышал ночной телефонный звонок и оказывалось, что тебя вызывают на неотложную операцию. В такие минуты ты чувствовал, что действительно жив, раз ты срочно нужен кому-то, и хотелось, чтобы ночной таксист ехал быстрее (собственной машиной я так и не обзавёлся), чтобы скорее промелькивали улицы и светофоры, и уже не терпелось склониться над локтевым сверкающим краном и торопливо мыть руки под туго шипящей струёй воды.

### Дежурная ночь

Говоря о дежурной ночи, парой слов не отделаться. Думаю, что с настоящей работой и настоящей усталостью знаком только тот, кому приходилось много дежурить в дежурной больнице. И те, кто дежурил, уверен, со мной

согласятся; со всеми же прочими мы жили разные жизни, и нам будет трудно друг друга понять.

Главное: ночь, в которую ты погружён, шагая ли по коридору больницы, стоя ли у операционного стола или записывая очередную историю болезни в приёмном покое, — эта ночь начинает казаться не просто огромной, а бесконечной. Но эта же самая ночь представляется тесной — в чём и состоит её мучительный парадокс. Если в обычном своём состоянии мы ощущаем себя сразу в трёх измерениях времени — живём в прошлом, будущем и настоящем, — то в часы ночного дежурства неустрашимая беспощадность реальности так разрастается, что для тебя остаётся одно настоящее со всем его давящим душой конкретно-мучительным грузом.

И от этого груза конкретных предметов, решений и действий жизнь становится плоской — от неё отсекается глубина и объём, создаваемый временем. Скажи тебе кто-то, что ты некогда был пятилетним мальчишкой, замороженно следившим за жизнью земляных ос на песчаном обрыве, или подростком, азартно гонявшим на велосипеде, или юношей, провожавшим девушку с танцев, — ты не поверил бы, что в твоей жизни всё это действительно было. Потому что всё сжалось и высохло до конкретного и напряжённого настоящего: до этого коридора, залитого бледным синеватым светом, до ступеней обшарпанной лестницы, по которым ты снова и снова сбегал в приёмное или поднимаешься в операционную, — кажется, ты всю жизнь только и делал, что шагал вверх или вниз по этим истёртым и бесконечным ступеням, — до узкой кушетки, на которую укладывается очередной пациент, и до этого живота, который ты обречён бесконечно пальпировать, пытаясь понять, что за болезнь скрыта под кожей, жиром и мышцами внутри этой вялой, измученной плоти, давно надоевшей самой же себе?

А будущее? Да разве возможно для тебя, дежурного доктора, будущее — то, где есть что-то, кроме больницы? Например, беззаботный смех женщин или детей на аллеях воскресного парка, пятна лиственной тени на тротуарах, влажных после ночного дождя, и ощущение блаженства, охватывающее тебя, когда ты — всего лишь! — никому в целом мире не нужен и ничего не обязан решать. Нет, и это счастье, доступное многим, для тебя сейчас недостижимо: безмятежно-праздное будущее столь же немыслимо, как недостаток покоя в беспокойно-бессонном приёмном покое дежурной больницы.

Но ведь наша-то с вами душа может жить только в будущем или прошедшем — то есть в памяти или мечтах, а когда ты существуешь в одной лишь напряжённой сиюминутности настоящего, ты, по сути, живёшь без души или, что почти то же самое, вообще не живёшь. И это при том, что твоя жизнь на дежурстве полна до краёв, напряжённо-активна: иной человек и за целый год не увидит, не сделает и не узнает того, что случится с тобой за одни дежурные сутки. А вот поди ж ты: такая напряжённость существования парадоксально лишает его глубины; жизнь, обращённая исключительно на саму же себя, сама же себя изнуряет и губит.

Порою ты с горьким сарказмом говоришь себе: ты, кажется, хотел жить настоящей, предельно наполненной жизнью? Ну, вот ты и дождался того, чего так хотел...

Но ведь ты, когда рвался к реальности, когда жаждал с ней слиться в потоке насыщенной и самодостаточной жизни, ты даже не представлял, до чего эти жизнь и реальность при всей бесконечности невыносимо тесны. Ты прямо-таки задыхался внутри этой ночи, не имевшей ни дна, ни конца, ни начала. Тебе словно не было места ни в ночных коридорах, ни в бессонных палатах, в которых стонали больные, ни в перевязочных, пахнущих йодом и хлоркой, ни под той многоглазою круглою лампой, в чьих стёклах порой отражались твои торопливые руки и сверкающая сталь инструментов.

И чем глубже ты погружался в дежурную ночь, чем сильнее уставал, чем больше гудели твои утомлённые ноги и ныла спина, тем менее ты понимал: а зачем это всё? Зачем так гудят и мерцают синеватые лампы, зачем их дрожащий и мертвенный свет словно не озаряет и не наполняет, а опустошает ночные пространства? Зачем лица больных, бредущих по ночным коридорам

и держащихся за свои животы или за дренажи, — зачем эти лица похожи на лица призраков, на измождённые тени? И зачем ночные голоса так пусты, а стоны и жалобы порой кажутся притворно-ненастоящими? Словно ночь обманула тебя и вместо живого и полнокровного оригинала подсунула бледные копии.

Да и ты сам, возбуждённо шагающий по переходам или торопливо взбегающий маршами лестниц, начинал вдруг казаться себе неудачною копией самого же себя. Тебе уж мерещилось: если утро даже наступит (в чём ты сомневался всё больше), то оно встретит уже не того человека, что заступал на дежурство вчера, а одну лишь бескровно-пустую его оболочку.

## Дренажи

Едва ли не первый вопрос, который хирург, пришедший утром в больницу, задаёт постовым сёстрам или дежурившему ночью коллеге: “А что у такого-то (имеется в виду серьёзный больной) по дренажам?” И не выдернул ли, не дай Бог, пациент в припадке беспамяतства и возбуждения дренажные трубки, что порой так непросто установить?

От того, “работают” дренажи или нет, зависит не только настроение доктора и его сегодняшние заботы, но нередко и жизнь пациента. Ведь мы живы до тех только пор, пока жидкости нашего тела циркулируют правильно, пока нет “засоров” или “заторов”; а если такие “заторы” всё же случаются, то именно дренажи могут спасти человека.

Вот и в палату к больным мы, хирурги, нередко заходим затем, чтобы выяснить: что с дренажами? И, едва поздоровавшись, уже от дверей начинаем высматривать: что там в дренажных пакетах, подвешенных к рамам кроватей? Иногда хорошо, когда эти пакеты пусты; иногда они должны быть наполнены. Но в любом случае, на дренажи порой смотришь внимательней, чем в глаза больного. Можно даже подумать, что для доктора важен только дренаж; весь же остальной человек — лишь придаток к тем трубкам, что виднеются из-под повязки, змеятся по простыне и скрываются под кроватью.

И бывалые пациенты нередко чувствуют это. Не задавая тебе ненужных вопросов и не обременяя лишними жалобами, они сразу же достают из-под койки дренажный пакет и показывают его: иногда с гордостью, а иногда с разочарованием или тревогой. Вот, дескать, доктор, итоги сегодняшней ночи — вот то, на что мы с дренажом оказались способны...

А если твой пациент стар и дряхл, то дренажная трубка нередко становится его пожизненным спутником. Когда те незримые нити, что парки плетут для любого из нас, истончаются и вот-вот оборвутся, именно дренажи остаются последним, что ещё худо-бедно удерживает человека в мире живых. Так и кажется, что старики словно подвешены к жизни на этих силиконовых трубках, служащих заменой прочных нитей судьбы.

Сколько раз я видел отчаянье, горе, протест в глазах того, кому врач объявлял: “Этот дренаж будет с вами пожизненно”. Но уже через несколько дней на смену отчаянию приходило смирение, а затем благодарность трубке, что продлевает жизнь. И старик начинает заботиться о своём дренаже и чуть ли не разговаривает с ним, как с верным и преданным другом; тем более что других-то друзей, как нередко бывает, у него не осталось.

Я где-то слышал — не знаю, правда ли это, — что один из маршалов Великой войны, всенародный герой и любимец, тоже доживал свой век с мочевым дренажом. И я нередко, чтобы подбодрить и утешить очередного старого пациента, говорил ему: “Отец, ну, чего же ты хочешь? Вот великий был человек — и тот ходил с трубкой...” Многих, я видел, это и впрямь утешало. Надеюсь, что тень полководца простит меня, если я был неправ; а в моих глазах маршал совершил ещё один подвиг: он как бы возглавил последний парад стариков, уходящих из жизни.

Конечно, не нам выбирать, где и как уходить из этого мира; но мысли об этом не могут не посещать человека. И вот я думаю: а хорошо ли уйти в лучший мир из больничной палаты? С одной стороны, как-то более по-христиански расстаться с жизнью, что называется, дома и под образами. То есть



примерно так, как писал Пушкин о возможной кончине Владимира Ленского: “И наконец, в своей постеле // скончался б посреди детей, // плаксивых баб и лекарей”. Но с другой стороны, и больница — не худшее место ухода. Это всё же не умирать под забором или в одинокой, запущенной стариковской квартире — что суждено, увы, многим. Кончатся в больничной постели — значит, кончатся “на людях”, а на миру, как известно, и смерть красна. Тут с тобой и поговорят — или соседи по палате, или хоть санитарка, подтирающая полы, — и сделают клизму или укол, и перестелют намоченную постель; да и ту самую последнюю кружку воды тут найдётся кому подать.

А уж если ты врач и отдал больнице огромную часть своей жизни, то кажется справедливым уйти из тех самых мест, откуда и ты провожал в лучший мир своих пациентов. Не скрою, бывали минуты — особенно ночью во время дежурства, — когда я представлял на месте умирающего, хрипящего, выдирающего дренажи старика себя самого. И внутренний голос мне говорил: да, это было бы правильно и справедливо. Уж если ты выбрал больницу и хирургию, так принимай же и то, что сам много лет давал людям: возможность кончатся в больничной палате, в окружении капельниц и дренажей, под утомлённо-сочувственным взглядом дежурного доктора, который как будто тебя торопит: “Ну, давай же, старик, уходи побыстрее — не мучь ни себя, ни меня!”

### Дусёк

Так, немного по-птичьему, все у нас называли тётю Дусю, старую санитарку оперблока. Она и была чем-то похожа на птицу: нос смешно торчал над маской, а круглые, как у галки, глаза смотрели с выражением насмешливым и удивлённым одновременно.

Тётя Дуся была человеком необыкновенным. Объяснить это трудно — ну, что такого особенного было в этой маленькой санитарке, вразвалку ковылявшей по оперблоку и тащившей под мышкой узел с грязным бельём? Но воспоминание о ней неизменно наполняет меня восхищением.

Евдокии Кузьминичне было крепко за семьдесят; а для меня, двадцатипятилетнего парня, этот возраст казался уже запредельным. Но шустрости и неутомимости тёти Дуси могли позавидовать и молодёжь. Она ухитрилась присутствовать сразу в разных местах оперблока. Вот она только что толкала по коридору каталку, гружённую гремящими биксами; вот чуть ли не в ту же секунду оказывалась у операционного стола и заменяла переполненную кровью банку отсоса; а вот уже в соседней операционной она собирает шваброй обрезки ниток и кровавые марлевые салфетки, прилипшие к полу. Стоило сестрам крикнуть: “Тётъ Дусь!” — как она, словно джинн из лампы Алладина, тут же и возникала, со своими птичьими круглыми глазками и вопросом: “А? Чего, девки, надоть?”

Этот эффект вездесущности был всего удивительней ночью, когда от усталости и наплывавшей дремоты размывались границы реальности — и маленькая старуха в длинном белом халате начинала казаться чуть ли не привидением или домовым оперблока, но таким, у которого вечно болят опухшие старые ноги (ещё б не болеть — при такой беготне!), а торчащий над маской нос постоянно вынюхивает: не пахнет ли спиртом?

Тётя Дуся не то чтобы всё время была пьяна, но часто бывала навеселе. Да и как иначе, на каком ракетном топливе она могла бы так неутомимо и безостановочно делать всё бесконечное множество мелких, но необходимых дел, из которых складывается жизнь оперблока?

Причём, если сёстры почему-либо не давали санитарке спирта — всё же Дусёк была не единственным здесь охотником до него, — она могла пить и то, что не выпил бы больше никто: спиртовой раствор хлоргексидина, средство для дезинфекции. Этот раствор убивал всё живое, в том числе и бактерии кишечника, если принять его внутрь; вот только с одним существом на свете — Дуськом — хлоргексидин не мог справиться. Старуха отливала раствор из бутылки в пластиковый стаканчик, залпом его выпивала и как ни

в чём не бывало поясняла медсёстрам, которые с ужасом и изумлением наблюдали за ней:

— Ничего, девки, страшного — ежели попривыкнешь. От его только пучит живот — и пердишь потом, как корова...

Как и откуда она обретала силы, позволявшие жить с такой легкомысленной, вольной небрежностью к собственной жизни, здоровью и телу — и, тем не менее, жить так по-своему ярко и даже красиво? В ней, полупьяной старухе, было столько жизненного напора, что не только увидеть её и поговорить с ней, но всего лишь подумать о ней — уже радость.

И если мне нужно представить жизнь — саму жизнь — в каком-либо конкретном человеческом образе, то я представляю себе не какого-нибудь смеющегося младенца с ямочками на щеках или юную обнажённую красавицу (слов нет, это образы замечательные), но скорее хмельную старуху, вразвалку ковыляющую по оперблоку. Даже так: если смерть представляют и даже рисуют костлявой старухой с косою в руках, то Дусёк для меня — “антисмерть”, воплощение той загадочной жизненной силы, которая неизвестно откуда берётся и уходит потом неизвестно куда.

Мне до сих пор трудно принять ту печальную истину, что вездесущая и неутомимая тётя Дуся всё же сменила наш мир на лучший. Но пока я могу о ней вспомнить, мне всё мерещится, что она вот-вот войдёт в ночную операционную, обопрётся о швабру и скажет, как говорила когда-то:

— Ну, милые доктора! Вот почему у меня не четыре ноги? Я бы спала тут, как лошадь, стоя, да горя не знала...

### Женские палаты

Я всегда любил лечить именно женщин и в женские палаты заходил куда охотнее, чем в мужские. И вовсе не оттого, что я какой-то там исключительный бабник: как раз с точки зрения донжуана привлекательного в женских палатах немного. Большая часть пациенток стары и грузны или, напротив, истощены болезнью, а когда попадают женщины помоложе, то больничная обстановка никак не добавляет им привлекательности. Какие уж там женские чары и прелести, если бедняжка, скажем, только вчера прооперирована, если она вся в повязках и дренажах, не накращена, не причёсана и лежит, боясь охнуть-вздохнуть, под унылой казённой простыней?

А женская нагота, которая для мужчин, мало знающих женщин, является, может быть, чем-то труднодоступным и оттого возжеланным, нам, хирургам, демонстрируется ежедневно и изобильно.

Так что в моём предпочтении женских палат эротической составляющей очень немного. Дело в другом: в том, что в женских палатах сама атмосфера, сам воздух иные, чем у соседей-мужчин. Здесь воздух иной и в прямом смысле слова — от женщин реже разит перегаром или потом, — и ещё в том смысле, что женщины даже в больнице умеют согреть, одомашнить и голые стены, и безликие тумбочки, и провисшие панцирные кровати. То к стене приклеен забавный детский рисунок — это ребёнок решил подбодрить свою маму или бабушку, то на тумбочке выстроен ряд разноцветных флаконов, то на подоконнике видишь букет хризантем — в итоге холодные и нелюдимые больничные палаты под влиянием женщин преобразуются и согреваются.

Но и это не главное. Самое важное, что привлекает в женских палатах, — это то, что их обитательницы даже в больнице, даже внутри своих хворей и немощей, даже терпя и страдая, продолжают по-настоящему жить. Кто-то шьёт или вяжет, кто-то читает, кто-то болтает с родными по телефону, кто-то угощает соседок вареньем собственного изготовления, — словом, женщины делают здесь почти то же самое, что делали бы и дома, в привычной обстановке. Да, они здесь в полном смысле живут; и сама жизнь, воплощённая в женщинах, наполняет и согревает печальные стены больницы.

А вот мы, мужчины, не живём, а лишь терпим: терпим больницу и боль, терпим разные хвори и беды — терпим, в конце концов, и саму жизнь. И разве можно сравнить напряжённо-угрюмые взгляды мужчин, что встречают врача на обходе, — так смотрит волк, оказавшийся в западне, —

с улыбками женщин, которые ждут тебя, доктора, с радостью и надеждой? В женскую палату заходишь ну, если и не как к добрым знакомым на чашку чая, — всё же это больница, ты врач, а они пациентки, — но с чувством, что здесь неизменно рады тебе. И нередко бывает (если, конечно, в палате нет тяжёлой больной, рядом с которой веселье неуместно), что твой обход сопровождают и шутки, и взрывы общего смеха: можно подумать, что это и впрямь не больница, а совершенно иное, живое и тёплое, даже веселое место.

Особенно трогательны бывали моменты, когда по завершении обхода какая-нибудь из пациенток меня угощала — ну, скажем, яблоком или куском пирога. Причём это были вовсе не те традиционные подарки хирургу — коньяк, кофе, коробка конфет, которые обычно суют тебе в пластиковом пакете и которые берёшь машинально и почти равнодушно; нет, эти яблоки и пироги вручались вот именно что от души, да ещё со словами: “Ох, доктор, да что же вы так похудели? Вот поешьте, поешьте домашнего...” И выходишь из женской палаты с тем самым “домашним” в руках — со счастливою и благодарной улыбкой.

И вообще, я порой начинал сомневаться: да кто кого лечит? Я лечу женщин — или это они исцеляют меня? Исцеляют от чувства тоски и сиротства, от одиночества в этой неласковой жизни, — словом, от всего того, что мучает душу любого мужчины и заставляет его смотреть в мир именно волчьим, страдающе-загнанным взглядом. А женщины нас согревают и утешают; они словно нам говорят: мир не так уж постыл и ужасен, как порой кажется, — нет, в нём есть доброта и покой, уют дома и ласка семьи, и есть глаза женщин, которые смотрят на вас, мужиков, с надеждой, теплом и любовью.

И та “вечная женственность”, о которой много писали философы и поэты, — вспомним финал “Фауста” Гёте — явлена для меня не в отвлечённых и романтических образах-грёзах, а совершенно конкретно: в том, например, что я вижу и чувствую, открывая дверь женской палаты. Когда-то я открывал её почти юношей, которому ближе по возрасту те молодые красотки, что с неподдельно-живым интересом и даже кокетством смотрели на молодого врача; потом я сравнился со зрелыми тётками, которые, как и я сам, измучены разной житейскою злобою дня; а потом я приблизился уже к “бабушкам”: оттого, что, во-первых, и сам стал дедом, а во-вторых, оттого, что почувствовал освобождающий от бытовой суеты, — а значит, желанный и благословенный — груз возраста. Но в какие бы годы собственной жизни, в каком бы состоянии и настроении я ни заходил к женщинам, меня неизменно встречала та самая “вечная женственность”. Так что спасибо вам, женщины, за то, что вы не отвергли меня, а допустили в свои благодатные, полные жизни палаты.

### **Жёны больных**

После женских палат нельзя не затронуть ещё одну тему: жёны больных. Ведь мы, доктора, общаемся не только с больными, но ещё с их родственниками и супругами, и это общение нередко бывает куда напряжённей, сложнее, драматичней, чем общение с самим пациентом. И, скажем прямо, мужья куда реже навещают своих благоверных в больницах, чем хлопотливо-тревожные жёны.

Врачам тяжелее всего иметь дело с капризными, склочными, вечно всем недовольными бабами. Таких вздорных жён нередко стыдятся и сами больные, и порой говорят тебе наедине: “Доктор, да вы на неё не обращайтесь внимания: она уже всех здесь достала...” И смотришь на человека с особым сочувствием и пониманием: ведь кроме груза болезни, ему приходится выносить ещё одну тяжесть — груз невыносимой жены.

Но больше говорить о таких мы не будем: Бог им судья. Куда приятнее вспомнить других жён, неустанно заботливых и по-доброму хлопотливых. За такими больной муж как за каменной стеной или как под материнскою юбкой. Часто они и играют роль матерей для своих заболевших мужей

и только что не вытирают им сопли. Спросишь, бывало, больного о чём-то, что касается только его, — скажем, об операциях, которые он перенёс, об аллергии на медикаменты, даже просто-напросто о самочувствии, — а он, разводя руками, ответит: “Не знаю, доктор! Это у жены надо спросить — ей про меня всё известно...” И тут в кабинет влетает жена и начинает подробно и торопливо рассказывать о проблемах мужа, в то время как сам он сидит молча, с блаженной улыбкой младенца на старом лице. Такому больному порою и позавидуешь: ведь супруга не просто сняла с него груз всех житейских проблем, но, кажется, даже живёт вместо мужа, позволяя ему лишь нежиться в волнах её непрерывной заботы.

Такие жены — сущий клад не только для своих мужей, но и для медиков. Никакие медсёстры и санитарки не окружают больного столь неусыпным вниманием, не будут столь же аккуратно и бережно его кормить, поворачивать, перестилать, как это сделает любящая жена.

Но порой жёны-матери могут быть строгими. Не забуду одного раздражительного старика лет восьмидесяти: временами у него мутился рассудок, и тогда больной начинал прогонять от себя и врачей, и сестёр, стараясь ударить их тростью, и при этом вопил:

— Я полковник! Как вы смеете ко мне прикасаться? Я прикажу всех вас расстрелять!

На наше счастье, в один из таких воинственных приступов в палате оказалась его жена, маленькая сухонькая старушонка. Она вырвала трость из руки своего разбушевавшегося супруга и, крикнув: “Да какой ты полковник? Ты старый засранец!” — начала охаживать старика тростью по голове и рукам, которыми тот испуганно стал защищаться. Мы с медсестрой поначалу опешили при виде такой беспощадной расправы; но побитый старик начал жалобно скулить, а старушка, опустив трость, спокойно сказала:

— Ну, вот и всё. С ним, доктор, только так сладить и можно — я уже пятьдесят лет так воюю. Вы, ежели что, его палкой огрейте — он сразу шелковым станет.

Старик, как бы в подтверждение слов жены, улыбался, кивал — и уж несколько не походил на того грозного воина, каким был минуту назад.

— Так он что, не полковник? — изумлённо спросил я старушку.

— Для кого-то он, может, и полковник, — махнув рукой, отвечала та, — а для меня он всегда рядовой...

Ещё вспоминается одна семейная пара, которую я посещал на дому. Я был молодым врачом, подрабатывал в поликлинике, и мне иногда приходилось, как тогда выражались, “обслуживать вызовы”. И вот в скромной квартире на втором этаже старинного дома я увидел парализованного старика — ему следовало менять дренаж в мочевом пузыре — и его жену, светящуюся от седины и худобы старушку. Удивительно, но в их тесной квартирке не оказалось ни тяжёлого запаха, столь обычного там, где годами лежит парализованный человек, ни беспорядка, сопровождающего затяжную болезнь, — пузырьков и облаток с таблетками, хлебных корок и крошек, тарелок с засохшею кашей да гремящего под ногами судна, — а царил безупречная чистота. Но поразила меня даже не аккуратность жилища, а совершенно счастливые, светлые лица старика и его жены. Пока я менял больному дренаж, — а процедура это малоприятная, — старушка порхала около нас, словно ангел, то подавая что-нибудь мне, то подбадривая супруга: “Всё хорошо, Васенька, всё хорошо!” — то касаясь лёгкой рукой его головы или плеча. И старик, даже морщась, всё равно продолжал улыбаться, как бы отражая свет, что так явственно лился от его вдохновенной жены. Закончив работу, я заметил висящую на стене старинную свадебную фотографию: тех же самых старика со старухой, но снятых лет пятьдесят назад. И удивительно, но даже молодые красавец с красавицей, смотревшие с карточки, уступали им же теперешним, радостным и излучающим свет.

— Да-да, — заметив мой взгляд, закивала старушка. — Это мы с Васенькой, ещё до войны...

— И что же случилось потом?

— А потом на него вагонетка упала: он шахтёром работал в Макеевке.

— Тогда его и парализовало?

— Да, тогда — больше сорока семи лет назад. И вот с тех пор мы с ним вместе, как нитка с иглой. Он без меня не может, а я без него: так всю жизнь, слава Богу, вдвоём и прожили...

## Живот

Живот в хирургии — вопрос из вопросов и тайна из тайн. И едва ли не главное, о чём думает хирург, подходя к пациенту: “Что у него в животе?”

Конечно, сейчас “заглянуть” в живот проще и для этого не обязательно делать лапаротомный разрез. Есть ультразвук, есть компьютерная томография, есть, в конце концов, лапароскоп — и животы нынешних пациентов перестали быть для хирургов такой загадкой, как лет тридцать назад.

А тогда о состоянии животов мы узнавали буквально кончиками собственных пальцев. И пальпация живота превращалась чуть ли не в священнодействие. Сначала мы грели и разминали руки, потирая их ладонь о ладонь, потом уговаривали больного не напрягаться и порой отвлекали его разговорами, укладывали пациента как можно удобнее — и всё для того, чтобы мышцы его живота расслабились и не мешали врачу чувствовать то, что скрыто под ними.

Нас, молодых, учили пальпировать — почти как музыкантов учат играть на инструментах. Всё имело значение: и постановка руки, и расположение пальцев, и сила нажима, и скорость скольжения по животу, и порядок осмотра, и выявление разных симптомов (важнейшим, конечно, был симптом Щёткина — Блюмберга, говорящий о перитоните), — и если доктор в итоге осваивал тонкое дело пальпации живота, можно было подумать, что он и впрямь видит пальцами. Лицо такого виртуоза пальпации становилось задумчивым и отрешённым, а чуткие пальцы внимательно и осторожно скользили по животу пациента.

Уже в первые годы работы я понял, что мир животов безграничен: как нет одинаковых лиц, так нет и двух одинаковых животов. Они бывают старые и молодые, дряблые или тугие, бывают такие огромные, что рука чуть не по локоть погружается в них, а бывают такие маленькие, что одна твоя ладонь накрывает их целиком.

И как стареют лица людей, так стареют и их животы. Вот ты видишь впалый, вздрагивающий живот застенчивой школьницы, которая, заголая его, краснеет и прячет глаза; вот живот развязной хихикающей девицы с пирсингом на пупке и какой-нибудь игривой татуировкой в паху; вот огромный живот юной женщины “на сносях”, внутри которого — и ты чувствуешь это ладонью — толкается беспокойный младенец; вот живот той, что уже много раз родила, и поперечные полосы растяжек отмечают заслуги этой женщины перед жизнью, как нашивки на рукаве отмечают ранения солдата-героя; вот живот многократно оперированной страдальицы, весь в рубцах и синюшных бугрящихся грыжах; а вот, наконец, предсмертный живот исхудавшей старухи — живот, сквозь который легко пропальпировать костяные бугры позвоночника.

Допустим, живот “непокойный”: значит, доктору тоже не будет покоя. Завершая пальпацию, хирург, скорей всего, вздохнёт и скажет стоящему рядом коллеге: “Да, живот *нехороший*: я думаю, его надо *брать*...” И с этой минуты, — если, конечно, больной даст согласие на операцию, — начнётся процесс под названием “лапаротомия”. Пациента побреют, разденут и на скрипящей каталке, прикрытого лишь простыней, повезут в оперблок. Там его переложат на узкий стол, привяжут, чтоб он невзначай не свалился, широкою лентой, и на его злополучный живот упадёт свет операционной лампы. Когда живот станет мокрым от антисептика (сам пациент к тому времени должен заснуть), блики света на коже покажутся ярче, а голос хирурга, который протирает тунффером операционное поле, зазвучит резче и нетерпеливее.

Но вот поле обложено простынями, и скальпель взят в руку. Первой, естественно, рассекается кожа, а потом — подкожная жировая клетчатка. Жир на разрезе очень красив: видишь влажно блестящую жёлтую щель, всю

в красных крапинах кровеносных сосудов. Через пару-тройку секунд кровь заполняет жировое ущелье разреза, и в этой лаковой крови тоже мерцают блёстки жира. Вслед за подкожной клетчаткой рассекается апоневроз белой линии живота. Он расходится от прикосновения скальпеля с такой готовностью и бодрым хрустом, будто апоневрозу нравится, чтоб его рассекали. А когда пройден апоневроз и зажимами или электрокоагулятором остановлено кровотечение из краев раны, взгляду хирургов открывается блеск перламутровой тонкой брюшины. Её плёнка — последнее, что отделяет нас от брюшной полости пациента.

Пусть даже хирург входил в животы своих пациентов тысячи раз, он не может не чувствовать, что это особенный миг. В секунду, когда рассекаешь брюшину, твоё сердце делает лишний удар, потому что ты в прямом смысле проникаешь внутрь человека. Тебе открывается бездна и космос, не менее сложный, чем тот, где летают кометы. И пока ты торопливо и сосредоточенно шарить руками и инструментами среди петель кишок, огибаешь гладкий холм печени или погружаешься в глубину малого таза, ты не только хирург, но ещё и словно космонавт: ведь ты вышел в пространства, где людям вообще-то бывать не положено и где каждый ошибочный шаг может кончиться гибелью...

### Жизнь хирурга

Уж больно она, эта жизнь, коротка. Как известно, в любой стране мира хирурги живут в среднем на пятнадцать лет меньше, чем их пациенты. И ведь хирурги — не бомжи-маргиналы; напротив, это люди образованные и социально устроенные, не голодающие и не побирающиеся по церковным папертям. Вот кто объяснит: отчего жизнелюбы-врачи (а мало кто понимает и ценит жизнь больше, чем наш брат хирург) так спешат с этой самой жизнью расстаться?

Но я сейчас о другом: о том, что огромная жизнь промелькнула, как один день. Конечно, сказать так о собственной жизни может не только хирург, но и любой пожилой человек; сошлюсь на Шопенгауэра, считавшего, что молодость отличается от старости тем, что у молодости огромная жизнь впереди, а у старости — маленькая жизнь позади.

И всё-таки: как могло такое случиться? Ведь когда я находился внутри этой жизни, когда её — в прямом смысле — жил, она представлялась почти бесконечной. Когда где-нибудь на исходе дежурных суток в очередной раз шёл в приёмное, когда в сонных глазах плыли перила лестницы или открывался пустынный просвет коридора, тогда в самом деле казалось, что время остановилось и утро уже никогда не наступит. Казалось, ты вечно будешь снимать телефонную трубку, бормотать: “Да, иду...” — потом, зевая, искать ногами сандали, потом выходить в коридор, а потом вечно пальпировать чей-то дряблый живот и вечно писать непослушной спросонья рукой бесконечные строки бесконечной истории бесконечной болезни...

А операции? Нередко, стоя над раной, ты тоже чувствовал: время остановилось. То, что ты видишь сейчас, — эти влажные ткани и блеск инструментов, эти крючки-расширители и лигатуры, этот дымок над пинцетом коагулятора — всё это ты будешь видеть и чувствовать вечно, и операция никогда уже не завершится.

Недавно я подчитал: операций, больших и малых, мной сделано около пяти тысяч; и ещё, как минимум, столько же операций, где я ассистировал. Как и где, каким образом они поместились внутри моей жизни? Как вообще бесконечное по ощущению и содержанию событие может вместиться не то, чтобы в кратком, но в исчезающем временном промежутке — в жизни, оставшейся в прошлом? Объяснить это, конечно, нельзя; можно лишь изумляться или ужасаться тому, как время играет с нами, людьми, как оно в юности одаряет нас чувством бессмертия и бесконечности, а затем оставляет лишь крохи воспоминаний, которые тают быстрее, чем сама твоя жизнь. Где тот юноша, что когда-то входил, полный сил и надежд, в суровые стены больницы? Когда он был молод, ему даже эта печаль коридоров,

палат, чёрных лестниц казалась мила: юность способна согреть, растопить, оживить любой холод. Молодой доктор с пылом влюблённого погружался в больничный, ещё не знакомый, но чем-то уже родной ему мир — мир перевязочных и операционных, мир планёрок, врачебных обходов и конференций, служебных романов и шумных — до песен! — застолий, тот мир, что с такою охотой и радостью принял его молодые восторги. Можно сказать, у врача и больницы был настоящий медовый месяц, растянувшийся на многие годы: больница стала его верной подругой, женой и любовницей одновременно.

Но годы шли. Старел сам доктор — и вместе с ним неприметно менялась больница, в которой он жил. Из того юноши, к кому даже сёстры порой обращались на “ты”, он стал уважаемым человеком, и сказать ему “ты” теперь могли только сверстники — те, с которыми он начинал хирургический путь. Но удивительно, что в себе самом возраста он долгое время не замечал; напротив, по мере того как он осваивал своё ремесло, как операции получались быстрее и лучше — тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить! — он казался себе самому даже моложе и неутомимее: так зрелый любовник способен доставить куда больше радости своей возлюбленной, чем неумелый и робкий юноша.

И вот эти медовые годы промелькнули, как теперь кажется, словно один всего-навсего день. Может, это оттого, что “счастливые часов не наблюдают”, а союз хирурга с больницей оказался, несомненно, счастливым? Или так ему представляется оттого, что один день больницы, по сути, очень похож на другой, несмотря на всё разнообразие лиц, судеб, болезней и операций? Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год хирург заходил в палаты к больным, потом шёл оперировать или перевязывать тех, кого оперировал прежде, писал эпикризы, — к счастью, выписные куда чаще, нежели посмертные, — потом бегал вверх-вниз по семи этажам больницы — мало ли дел и забот у активно работающего врача? — а потом, уже к концу дня, чувствовал, как у него гудят ноги, а голова идёт кругом от множества лиц, впечатлений, страниц и картин, промелькнувших сегодня перед его глазами. И чем разнообразнее, напряжённее и тяжелее был день, чем больше в нём было пролито пота и крови (пот — свой, кровь — больных), тем быстрее этот день завершался. Вот только что, кажется, сияло яркое утро, и доктор бодро здоровался с сёстрами и коллегами, а уже сумрачный вечер и время прощаться, чтобы устало брести по домам.

И точно так же, как один напряжённый и каруселью крутящийся день, промелькнула и вся его жизнь. Ему, увлечённому, некогда было думать о времени; поэтому, видимо, он не заметил перехода от поджарого юноши к грузному пожилому врачу, который случился так неожиданно для него самого.

А что же я делаю ныне? Зачем пишу эти страницы — неужели мне не хватало той жизни, какая осталась уже в основном позади? Мне горько осознавать, до чего ж мимолётно-короткой представляется миновавшая жизнь, и досадно, что время (точнее, моё ощущение времени) сыграло со мной вот такую недобрую шутку. Поэтому я хочу предложить времени иную игру: я пытаюсь, вспоминая и размышляя о прошлом, оставить его отпечатки-следы вот на этой бумаге — и тем самым словно раздвинуть его и спасти от забвения, как бы дать ему, прошлому, новую жизнь. Уж не знаю, удастся ли мне что-нибудь отыграть — время сильный игрок! — но я всё же попробую; как говорится, где наша не пропадала!

## Зарплата

Не перейти ли к презренной прозе — и не поговорить ли о зарплате?

Когда я окончил мединститут и начал работать хирургом, у меня часто спрашивали: “Сколько ты получаешь?” И отвечать мне было немного стыдно, потому что я получал “чистыми” девяносто четыре рубля, а это почти в два раза меньше средней зарплаты в тогдашней стране.

Иногда мне задавали следующий вопрос: “Стоило ли так долго и трудно учиться, чтобы получать в итоге гроши? И вообще, зачем ты тогда работаешь

доктором?” Отвечать на это ещё сложнее: я отделялся неопределённым мычанием и пожиманием плеч.

Но если вы думаете, что новые времена — уже в совершенно иной, чем когда-то, стране — изменили зарплату хирургов, вы ошибаетесь. Наши медицинские официальные оклады остались не то чтобы низкими — в сравнении, скажем, с окладами самых ничтожных чиновников, — а прямо-таки постыдными. Да ещё к государственной жадности в отношении медиков добавляется ложь: когда на трибунах, газетных страницах или экране телевизора говорят о средней медицинской зарплате, называются цифры, как минимум, вдвое превышающие реальные.

В этом месте реакцию некоторых читателей, — если, конечно, таковые окажутся у моего сочинения, — предугадать нетрудно. Кто-то многозначительно ухмыльнётся, кто-то покачает головой, а кто-то воскликнет: “А как же конверты? Всем прекрасно известно, что хирурги живут, главным образом, тем, что им суют в карман благодарные пациенты”.

Ну что же, поговорим о конвертах. Отрицать их существование бессмысленно: вряд ли есть хоть один взрослый человек, который ни разу в жизни не благодарил врача. Причём именно благодарил, то есть не давал взятку за совершение каких-либо незаконных действий, а, выписываясь из больницы, вместе со словами: “Спасибо, доктор!” — передавал ему тот самый “благодарный” конверт. Я и сам несколько раз оказывался в положении пациента и тоже, выписываясь из больниц после операций, чуть ли не насильно вручал коллегам конверты, сознавая: не дать в такой ситуации денег врачу будет хамством.

Да что говорить! Когда на своей первой исповеди в числе прочих грехов я признался и в том, что не всегда отказывался от предлагаемых больными конвертов, священник чуть ли не закричал на меня:

— Да как можно считать это грехом? Это благодарность за труд; грехом будет не взять!

Вот я с тех пор и старался — хотя бы в этом — грешить поменьше. Вообще, в том устойчивом представлении, что врача, дескать, непременно следует отблагодарить, заключено очень много всего. Здесь и возмущение неправотой государства — как же, мол, так: люди нас лечат-спасают, а получают за это гроши? — и человеческое сочувствие нам, медикам, и ещё подсознательная надежда на то, что от болезни и даже от смерти можно до поры откупиться. Благодарность врачу — в мистическом смысле жертва, которую пациент бросает в жадную пасть болезни, надеясь, что она, эта пасть, хотя бы на время захлопнется и не будет ему угрожать. Или можно считать конверт с похрустывающей в нём (как правило, одинокой) кушорой письмом в адрес смерти: погоди, мол, старуха, за мной придёт...

Но что я всё о конвертах да о конвертах — как будто нас, докторов, не благодарят иначе? Ещё как благодарят: не счесть бутылок, пакетов, корзинок и свёртков, полученных мной за годы работы. Причём характерно, что благодарность “натурой” — то яйца в корзинке, то тушки гусей или кур, то искрящийся солью шмат сала, то ещё что-нибудь, что можно съесть или выпить, — преобладала в самые трудные времена. Так было и в “смутные девяностые” в конце прошлого века, и в кризис последнего десятилетия, когда натуральные подношения вновь потеснили денежные.

И, сказать откровенно, эти корзинки-пакеты мне даже чем-то дороже, чем зелёные или розовые кушоры. Принимая из дрожащих рук какой-нибудь взволнованной старушки очередной заботливо увязанный гостинец, где газет на литровую банку с маринованными опятами или вишнёвым вареньем за чем-то навёрнуто столько, что банка казалась трёхлитровой, я сам испытывал глубокую благодарность к старушке, благодарящей меня. В эти секунды мне приоткрывалась вся древняя, чуть ли не первобытная суть нашей работы. Вот ты, доктор — нет, даже не доктор, а лекарь и знахарь, — помоги человеку, а он, полный искренней благодарности, в ответ делится чем-то своим — тем, чем может. А что может быть у этой нищей старухи? Вот разве банка грибов, которые она собирала, кряхтя, по буреломам, или банка варенья, где ягоды светятся, как живые, сквозь выпуклое стекло. Ведь это не



просто стеклянная банка, а словно часть сердца вот этой милейшей старушки. Не потому ли она и завёрнута в десять газетных слоев, да ещё и перевязана грубым ворсистым шпагатом: как же иначе, без всякой защиты, вручить доктору свою сердечную благодарность?

### Игла

Даже я на своём не таком уж и долгом веку стал свидетелем и участником революции в хирургии. Если раньше почти безраздельно царила традиционная “хирургия разреза”, то теперь властвует “хирургия прокола”. Конечно, игла в медицине применялась давно, но лишь в последние десятилетия пункционные методы так распространились, что в книге о хирургии нельзя не поговорить об игле.

Перейти от привычной мне “хирургии разреза” к ещё не знакомой “хирургии прокола”, — а это случилось на стыке тысячелетий, — оказалось не просто. К тому времени я провёл у операционного стола уже пятнадцать лет и привык рассекать ткани скальпелем или ножницами. Продвигаясь всё глубже, ты видишь глазами и можешь пощупать руками всё, что встречаешь на этом пути. Ты более или менее представляешь себе опасности и подводные камни, что тебя ожидают; повреждённые при разделении тканей сосуды ты сразу берёшь зажимами и можешь перевязать. Словом, знакомый путь разреза куда более предсказуем, — значит, и более безопасен как для хирурга, так и для пациента.

Но человек никогда не устанет искать и придумывать новое: похоже, именно это неутолимое любопытство и заставило нашу прародительницу Еву сорвать с райского дерева злополучное яблоко. Вот и мы, врачи конца прошлого века, стали очевидцами стремительного и победоносного вторжения новых — так называемых перкутанных — методов хирургии.

Конечно, преимущества их очевидны, и основное из них — нанесение меньшей травмы больному. Всё же прокол — это не то, что традиционный разрез, и когда пациент уже в день операции может встать и ходить, то каждому ясно, какую хирургию он предпочтёт. Поэтому даже самые закоренелые консерваторы не могли не признать новых методов; а уж мне-то, тогда сравнительно молодому хирургу, и подавно хотелось отложить окровавленный скальпель, чтобы взять в руки иглу.

Начинать было трудно. Не скажу, что мы поначалу тыкались иглами, как совсем уж слепые котята, — нам помогали ультразвук и рентген. Но всё равно преобладающим чувством в те первые месяцы было: “Я не знаю, где нахожусь!” В смысле: не знаю, где находится кончик иглы, тот единственный мой представитель, который неуверенными толчками продвигается где-то там, в глубине тканей и органов. А когда работаешь вот так, вслепую, воображение торопливо и ярко рисует тебе всевозможные осложнения, поджидающие тебя и больного. Должно было пройти несколько непростых лет — и в самом деле случиться несколько осложнений, — пока я, наконец, не научился каким-то шестым чувством так сливаться с иглой (точней, с её кончиком), чтобы этот невидимый, острый и наискось срезанный кончик стал как бы мною самим. Я склонялся над пациентом, лежащим ничком на столе в рентгенооперационной, — причём к обычному облачению хирурга добавлялся ещё и тяжёлый просвинцованный фартук, поработать в котором час-полтора всё равно, что сходить в сауну, — и в то же самое время я находился там, в глубине тела больного, на кончике игольного острия. Твои мысли, внимание, чувства настолько сливались с иглой, что, скажем, когда она вдруг утыкалась в ребро, ты морщился, словно собственным лбом больно ударился о твёрдую кость.

В такие секунды бывало, что краем сознания ты то вспоминал сказочного Кощея, чья жизнь, как известно, помещалась в конце волшебной иглы, то думал об ангелах средневековых схоластов, которые невесомой, но тесной толпой рассаживались на кончике игольного острия. Такие волшебные раздвоения, когда ты находился одновременно и здесь, сам с собой, и ещё где-то там, вне себя, внутри чего-то иного, случались с тобой, уж простите за

рискованное сравнение, ещё разве лишь в те моменты, когда ты входил в женщину. Ты тоже тогда пребывал и в себе — и в другом; и тебя вдруг пронзало острейшее — даже острее, чем кончик иглы! — ощущение того, что ты прикоснулся к глубочайшей из тайн: тайне инобытия.

Так что я продвигал эту длинную, острую и пружинящую иглу не только в поисках гноя или мочи — это было лишь первою и очевидною целью, — но и в поисках выхода из собственной ограниченности: ведь когда я находился ещё и вне себя самого, я как бы обманывал и саму свою смерть!

Но и найти иглой скопление гноя — тоже неплохой результат. Когда, извлекая мандрен (тонкий стержень, закрывающий игольный просвет), ты видел, как из канюли иглы закапали частые мутные капли, ты был почти счастлив. В эти минуты делалось легче не только больному, но и тебе самому. Тебя отпускало и напряжение, и ожидание неудачи, и страх осложнений. “Слава Богу, — вздыхал ты с облегчением, подшивая дренаж. — Игла нам обоим опять помогла!”

## Инструменты

Из всех орудий труда, что придуманы и созданы человеком, хирургические инструменты — нечто особенное. Взять хотя бы то, что они часто носят собственные, самые что ни на есть человеческие имена. Мы говорим: крючки Фарабефа, игла Дюшана, зажимы Кохера или Бильрота. И называя инструменты по имени, мы незримо общаемся с придумавшими их хирургами прошлого, — они словно бы ассистируют нам на сегодняшней операции. И понятно, что обратиться к инструменту по имени означает выразить ему и особое почтение, и благодарность. Согласитесь, топор и лопату при всем уважении к ним человеческим именем мы всё-таки не называем. Это только знаменитые рыцарские мечи в средневековой Европе носили собственные имена; но меч — антипод инструмента хирурга: он создан не для спасения, а для убийства.

Сколько времени человек существует на свете, почти столько же времени он использует и хирургические инструменты: пусть это всего лишь каменный нож или игла из рыбьего скелета. Но инструменты, конечно, меняются — как меняется и отношение к ним. Так, в XIX веке, в эпоху повального увлечения прогрессом, хирургические инструменты переживали свой звёздный час. Во-первых, тогда появилось большинство инструментов, которыми мы пользуемся и по сей день. Во-вторых, в те годы считалось особенным шиком и признаком мастерства вообще не касаться пальцами раны, а работать в ней одними инструментами. Я изучал хирургию в клинике имени легендарного Спасокукоцкого. Так вот, рассказывали, что он начинал операцию в белых шёлковых перчатках. Когда же он её заканчивал, на его белоснежных перчатках не оставалось и пятнышка крови, потому что Спасокукоцкий работал в ране исключительно инструментами. Конечно, сейчас повторить такой фокус сложно: не только оттого, что уже не найти таких виртуозов, но и потому, что теперь своим пальцам и их ощущениям мы доверяем всё-таки больше.

Моему учителю, Юрию Степановичу Фирстову, казалось, инструменты вообще были не нужны. Какую-нибудь холецистэктомию он мог сделать играючи, имея в руках только скальпель да пару зажимов Бильрота. Напевая лёгкий мотивчик — Фирстов, помимо прочего, являлся одарёнейшим музыкантом, — Юрий Степанович погружался руками в живот пациента, что-то там мял и ощупывал, а затем, словно фокусник, доставал зелёный желчный пузырь, набитый камнями. Операционные сёстры Фирстова просто боготворили: и за его лёгкий нрав, и за скорость работы, и за то, что после его операций почти не приходилось мыть инструменты.

Но хирургия и жизнь развиваются по спирали и порой возвращаются к старому — хоть и на новом витке. С инструментами и с отношением к ним произошло то же самое, когда традиционную хирургию потеснила хирургия эндоскопическая. И вот тогда фокус Спасокукоцкого стало довольно легко повторить: хирург при лапароскопии входит в живот пациента лишь инструментами — и перчатки его остаются чисты.

Но мне лапароскопические инструменты уже не полюбить так, как я полюбил зажимы и ножницы, скальпели и иглодержатели прошлого века. В старинных хирургических инструментах есть своя магия и энергетика. Когда старый добрый зажим побывал уже в сотнях рук и на тысячах операций, кажется, что он помнит всё то, что с ним случилось когда-то, и может каким-то таинственным образом передать тебе этот опыт. Старые инструменты всегда мне казались мудрее, надёжнее новых; и оперировать ими всегда спокойнее — как спокойнее отправляться в разведку со старым, испытанным другом.

Даже и вне операций — когда, например, ты ждал, пока больного заинтубируют, а сам тем временем слонялся по оперблоку, — даже тогда твои руки тянулись к сохнувшим после мытья, ожидающим стерилизации инструментам. Случалось, ты машинально брал в руки какой-нибудь грубый зажим, сводил-разводил его бранши, хрустел кремальерой, чувствуя, как с инструментом в руках ты становишься словно другим человеком, делаешься твёрже, решительней самого же себя. И как ребёнок, играя, репетирует то, что ему предстоит делать в будущей жизни, — так и ты, поигрывая зажимом Фёдорова или Сатинского, словно репетировал предстоящую операцию. Ведь уже совсем скоро в твою ладонь лягут кольца стерильных зажимов и ножниц — и в глубине влажной раны опять заблестит сталь хирургических инструментов.

### Истории болезни

Главный литературный труд моей жизни — тысячи историй болезни, написанных за тридцать с лишним лет работы доктором. А писались эти труды большей частью в приёмном покое, рядом с больным, которого ты только что осмотрел. И когда на часах уже за полночь, когда голова плохо соображает, а рука плохо слушается, когда у тебя пятнадцатый или двадцатый пациент за нынешнее дежурство, тогда муза вряд ли тебя посетит, и строки, лежащие на опросный лист, вряд ли будут отмечены огнём вдохновения. Но всё равно я уверен: то, что написано доктором о пациенте, является литературным произведением.

Конечно, это литература особого рода — её жанр ныне определяется термином *non fiction*, то есть “без вымысла”, — но это всё же литература: жизнь, описанная словами. У каждого такого произведения всегда есть герой — вот этот, понуро сидящий на голой больничной кушетке, а то и лежащий без сил и без чувств на каталке, — и в нём всегда повествуется о драматическом событии в человеческой жизни. К тому же в любой истории болезни всегда можно выделить те классические этапы сюжета — завязка, кульминация и развязка, — которые нам известны ещё из школьных учебников литературы.

Завязкой истории служат жалобы пациента и записанный с его слов анамнез — то есть воспоминание о том, как он жил и как к нему подступила болезнь. Правильно расспросить человека о нём и о его жизни — задача не из простых. Как говорил один мудрый писатель, рассказать о себе почти так же трудно, как быть собой, — и столь же непросто бывает порою выяснить у пациента, что и как привело его на больничную койку. Не забуду, как наш институтский преподаватель терапии рассказывал, до чего дотошно и обстоятельно писались учебные истории болезни в годы его студенчества — в старые добрые времена. Он переписывал свой труд чуть ли не десять раз; зато, когда на очередном занятии зачитали анамнез в присутствии самого пациента, тот буквально рыдал. Думаю, вряд ли он плакал над судьбой Анны Карениной или Татьяны Лариной (если даже читал Толстого и Пушкина), а вот подробная история собственной жизни вызвала в нём настоящее потрясение. Оно и понятно: обстоятельно и достоверно изложенная история есть портрет человека, а встреча с этим портретом есть очная ставка с самим собой.

Что считать вышей, пиковой точкой медицинской истории? Если история хирургическая, то кульминацией станет, естественно, операция, точнее, её протокол. А протокол операции — это литературное произведение само по

себе: сюжет внутри сюжета. В нём тоже есть своя завязка, свои кульминация и развязка. Хирургический доступ — то есть разрез, разделение тканей, подход к зоне, как теперь выражаются, “хирургического интереса” — это завязка сюжета, подведение к тому главному, что должно произойти и ради чего операция, собственно, производится. Кульминацией станет вмешательство как таковое: будет ли это удаление опухоли или больного органа, извлечение камня из какого-либо протока, рассечение стриктуры или ушивание повреждённых при травме тканей. А развязка — то, что начинается после слов хирурга: “Ну, всё, уходим...” Варианты развязки-“ухода” тоже различны: как ушивать рану, чем её дренировать — доселе предмет жарких споров в жизни и в медицинской литературе.

Какими бывают финалы историй болезни, рассказанных сухим медицинским языком с изрядной примесью латыни? Конечно, всегда хочется хеппи-энда: записей вроде: “Рана зажила per prim” (первично, без осложнений), или “Динамика положительная” — и наконец: “Пациент выписан с выздоровлением”. К счастью, чаще всего так и бывает, и большинство выздоравливает: как издавна шутят врачи, если больной хочет жить — медицина бессильна.

Но, увы, случается и по-другому — и завершает историю протокол патологоанатомического вскрытия. Что делать: победить смерть никому из людей пока что не удалось. Поэтому и финалы историй, которые пишут врачи, бывают порою трагическими. Но зато никто не обвинит наш литературный жанр в “мелкотемье”. Его тема — борьба человека с болезнью и смертью, то есть самое главное, что происходит в любой человеческой жизни.

Как-то мне довелось участвовать в разборке и погрузке медицинского архива нашей больницы (его перевозили в другое место) и вновь столкнуться с историями болезни, которые я писал десять, двадцать, двадцать пять лет назад. Это было сильно впечатление. Я словно встретился с собственной молодостью — да что молодостью! — со всей своей медицинской жизнью. Чего только не хранилось в этих обтрёпанных и пожелтелых пачках историй, крест-накрест перехваченных грубым шпагатом! И недоумение молодого врача перед сложным клиническим случаем, и усталость бессонных ночей, и волнение первых самостоятельно сделанных операций, и отчаяние перед возникшими осложнениями, и радость, когда больной всё же выжил и выписан — да ещё и отблагодарил тебя бутылкой коньяка! — и холод в душе, когда ты стоял в секционной за плечом патологоанатома, который вскрывал твоего пациента... И весь этот сложный клубок мыслей, чувств и воспоминаний оживал и разматывался перед тобой, пока ты вместе с другими врачами таскал эти пыльные, очень тяжёлые пачки историй — тяжёлые, может быть, и от той сохранившейся в них человеческой боли, что была описана на их пожелтелых страницах.

Да, воскресала целая жизнь, которая, как мне казалось, давно безвозвратно исчезла. Ан нет: оказывается, то, что записано в книге — пускай даже изданной в одном-единственном экземпляре, — зачастую переживает героев и авторов этих писаний.

### **Каменная хирургия**

Нет, это не хирургия каменного века, как кто-нибудь может подумать. Это раздел урологии, которым я занимался больше всего, увлечённой всего и который в мировой медицинской литературе именуется stone surgery. Отчего, как и где внутри человека (чаще всего в его почках) образуются камни — тема большого отдельного разговора. Сейчас речь о другом: о том, что почечный камень нередко не даёт человеку жить — мало какая боль сравнима с почечной коликой, — и поэтому избавление больного от камня становится неотложной и важной задачей. Не стану утомлять подробным описанием всех средств и способов, имеющихся в арсенале хирурга-уролога: это и разрушение камня ударными волнами, и изгнание его при помощи разнообразных физиопроцедур, и извлечение специальными щипцами, и внедрение в почку

через особый поясничный прокол (так называемая перкутанная хирургия), и, наконец, хирургия традиционная, когда широко рассекаются ткани, обнажается почка и из неё — иногда после долгих и утомительных поисков — удаляется камень.

Вот об этих-то поисках камня я и хочу рассказать. Признаюсь сразу: немного бывало в моей жизни столь же кровавых и потных часов, — а они в совокупности слагаются в дни, недели и месяцы, — как часы, когда я искал камни в почках. Пот лился с меня, кровь текла из больного, а измучена бывала вся наша операционная бригада, потому что охота за камнем порою растягивалась надолго. Сложность такой операции заключается в том, что нужно убрать камень, как можно меньше повредив почку. А ведь в почку с её сложным устройством внутренних полостей заглянуть на операции невозможно; вот и приходилось осторожно и подолгу шарить изогнутыми зажимами вслепую, пытаясь войти то в одну, то в другую часть почки и надеясь почувствовать тот характерный и долгожданный стук, какой издаёт инструмент, натолкнувшись на камень.

Но нашарить камень в почечной чашечке — ещё полдела. Теперь его надо оттуда извлечь; а как это сделать, если, к примеру, камень больше, чем узкий “выход” из почки? Приходилось и рассекать саму почку, — а она всегда обильно кровотоцит, и это кровотечение может угрожать жизни, — и пытаться разрушить камень зажимами, чтобы удалить его по частям; а порой, когда справиться с кровотечением мы не могли, приходилось, увы, удалять и всю почку вместе с камнем, спрятавшимся в ней.

Бывали случаи, когда найти камень так и не удавалось. Ищешь его, ищешь — с тебя сошло уж не семь потов, а все семьдесят семь, — но долгожданного стука так и не слышишь и начинаешь уже сомневаться: а есть ли, действительно, камень внутри этой истерзанной почки? Ещё, как нарочно, и твой чересчур образованный молодой ассистент, — а они, молодые, особенно любят умничать, когда у оператора что-то не получается, — вспоминает китайскую поговорку: “Да, трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет”. И если ты не найдёшь, в конце концов, камень, каково будет сказать об этом больному? Ведь сначала ты убеждал его в необходимости операции, а в итоге окажется, что всё осталось, как было, плюс напрасный разрез на боку и все те страдания, что с ним связаны. Очевидцы рассказывали, что сам знаменитый Лопаткин, некогда главный уролог Советского Союза, и тот, случалось, выходил из операционной с пустыми руками, то есть без камня. Тогда пожилой академик, бросив в таз окровавленные перчатки, подходил к окну, долго и мрачно смотрел в него, а потом в сердцах говорил:

— Да, хирурги и проститутки должны уходить вовремя...

Но зато что за радость охватывала тебя в тот момент, когда после долгих поисков ты слышал тот самый желанный стук! Тогда ты, не дыша, осторожно раздвигал кольца зажима — чтобы там, на другом конце инструмента, разошлись его бранши и взяли невидимый камень. “Господи, только бы не убежал!” — молился ты мысленно в эти секунды. Камень словно и впрямь становился живым и мог испугаться не то что неловкого жеста твоей напряжённой руки, но и грубой мысли в твоей голове. Ты медленно подтаскивал зажим на себя, продолжая чувствовать, как он всё ещё держит камень, и опасаясь: если вдруг этот твёрдый упор пропадёт — то есть камень выскочит, — у тебя остановится сердце...

Ты видел, как из разреза лоханки медленно показываются бранши зажима; ты слышал, как тихо вдруг сделалось в операционной, потому что все, кто здесь находился, тоже с надеждой смотрели в рану; и ты чувствовал в напряжённые эти секунды, что во всём окружающем мире осталось лишь три сопряжённых предмета, какие имеют значение: кисть твоей правой руки, охватившая кольца зажима, сам зажим и тот камень, что медленно и неохотно всплывает навстречу тебе сквозь тёмно-вишнёвую лужицу крови. Само время вдруг делалось вязким и липким, как эта венозная кровь; и ты, словно в замедленной съёмке, видел явление — нет, точней,

роды — камня на свет... Когда ж наконец этот камень — шершавый иль гладкий, желтоватый иль чёрный, округлый или угловатый — лежал у тебя на кровавой ладони, ты издавал торжествующий рык! Случалось, сгоряча, выдать и матерок; но даже строгие операционные сёстры не очень сердились, потому что они разделяли общую радость и понимали: хирург в этот миг не в себе.

И вы ещё спрашиваете: зачем мы идём в хирургию? В том числе и за этим, почти сладострастным восторгом, что охватывает в такие секунды хирургического торжества!

А теперь, чтобы остыть, отдышаться и отдохнуть после трудного удаления камня, я расскажу случай из собственной жизни. Дело в том, что каменная хирургия помогала не только больным, которых я оперировал, но однажды спасла и меня самого.

Дело было в азиатской Хиве. Я жил там несколько дней и как-то вышел из города в Каракумы, чтобы посмотреть пустыню и сфотографировать её пейзажи. Погулял я отлично; но, когда возвращался, на окраине Хивы меня остановил пограничный патруль, и вежливый молодой офицер попросил показать ему кадры, что я нащёлкал. Не ожидая ничего плохого, я передал ему фотоаппарат, и был немало удивлён и растерян, когда меня — что называется, под белые руки — доставили в пограничный участок.

Оказывается, лоя объективом скачущего по барханам тушканчика, я захватил в кадр и какой-то невыразительный столб, который, как назло, имел отношение к туркмено-узбекской границе. Сколько я ни объяснял, что меня, кроме тушканчиков и верблюжьих колючек, ничего не интересовало, дело принимало всё более серьёзный оборот. В глазах пограничников я уже не турист, а шпион — и из рук молодого лейтенанта, который меня задержал, я быстро перешёл в другие руки.

Допрос вели уже два brutальных полковника, и он длился не менее двух часов. Мне уж, признаться, мерещился призрак зиндана, земляной азиатской тюрьмы, и воображение рисовало муки, каким подвергаются жертвы восточных тоталитарных режимов. По ходу допроса я был должен подробно всё написать о себе: кто я, откуда и чем занимаюсь? Я изложил всё, что мог, заполнив убористым почерком четыре листа и указав среди прочего и то, что я уже много лет оперирую почки с камнями. И вот, когда два суровых полковника — они читали моё жизнеописание одновременно, немного комично склонив друг к другу седые важные головы, — дошли до “каменной хирургии”, выражения их грозных лиц в одну секунду переменялось. Они переглянулись, потом — одновременно и очень приветливо — заулыбались, и один из них спросил меня:

— Зачем же вы сразу нам не сказали, что удаляете камни из почек?

С души моей в ту же секунду упал тоже камень: я понял, что эти полковники, скорее всего, мои потенциальные пациенты. Известно, что жители пустынь чаще других страдают от камней в почках. И допрос мгновенно превратился в медицинскую консультацию: и тушканчик, и столб, и граница с Туркменией тут же оказались забыты.

Вот так каменная хирургия меня спасла. Вместо того чтобы томиться в зиндане, я был вскоре отпущен и вышел в тёплую ночь даже с возвращённым мне фотоаппаратом (кадр с тушканчиком, правда, пришлось удалить). И с какою же, помню, радостью от вновь обрётённой свободы я прошёл под огромными южными звёздами до старых дувалов Учан-Калы и в первой попавшейся ошхоне выпил водки, отчего азиатские звёзды над головой заблестели ещё дружелюбней и ярче.

Теперь же, спустя много лет, я мечтаю: а вдруг каменная хирургия ещё раз меня выручит? Окажусь я, к примеру, у тех самых врат, где стоит ключник Пётр, и он, погромыхивая ключами, строго спросит:

— Ну, а ты, раб божий, чем занимался?

— Каменной хирургией, — скромно отвечу я.

— Да? — с интересом посмотрит привратник. — Ну, ладно, тогда проходи...

## Каталка

Казалось бы, что интересного в этих носилках, поставленных на колесную раму, — тех, которые круглые сутки гремят по коридорам больницы? Но в больнице нет мелочей; вот и о самых обыкновенных каталках найдётся что вспомнить и что рассказать.

Слышнее всего они по ночам. А если ещё ординаторская расположена, как было у нас, на пути из приёмного отделения в рентгенкабинет, дежурному доктору не дадут спать даже не столько больные, сколько грохот каталок в ночном коридоре. Так и слышишь сквозь дрему: вот загудел, поднимаешь лифт, потом лязгнули его двери, и вот застучали колеса каталки, везущей очередного больного. Стук раздаётся всё ближе, всё громче, спросонья кажется, что гремящие эти колеса вот-вот проедутся прямо по твоей голове. Словно лежишь на пути самой жизни, её жестяного лязга и грохота — и, конечно, она не остановится перед тем, чтобы перемолоть тебе кости. Вздрагиваешь — и не сразу замечаешь, что каталка проехала мимо, что её перестук удаляется в ночь и вот-вот разбудит уже не тебя, а сотрудников рентгенкабинета.

Как солдат на войне различает моторы своих и чужих самолётов и танков, так и я стал со временем слышать разницу в стуке порожних каталок, каталок, везущих хозяйственный груз, — скажем, тюки с бельём или биксы, — каталок, натужно скрипящих под чьим-либо стонущим телом, и, наконец, тех каталок, что везут мёртвого: их перестук разносится как-то особенно холодно и беспощадно. И если бы мне пришлось сочинять музыкальную драму под названием “Ночь в больнице”, то лейтмотивом её непременно бы стало и натужное завывание лифта, который, как поршень насоса, перекачивает с этажа на этаж врачей, санитарок, сестёр и больных, и стуки каталок в ночных коридорах.

Но наше общенье с каталками не ограничено тем, что мы слышим их стук по ночам, а днём и воочию видим, как они разъезжают. Нам, докторам, приходится ещё и грузить на каталки пациентов. И если вы спросите, что в работе хирурга физически тяжелее всего, я отвечу: перекладывание больных. Ведь они-то, случается, весят килограммов под двести; и вот попробуй-ка перенести такого, не уронив, с операционного стола на каталку, а потом сгрузить с каталки на кровать. Тысячи хирургических шин были — и, увы, будут — сорваны, когда на счёт “раз-два-взяли!” доктора вместе с худенькой медсестрой (которая держит только руку больного да капельницу) перетаскивают на каталку бесчувственное тело.

Вот в Европе — там ценят хирургов и их позвоночники. Скажем, в германских клиниках есть даже специальная профессия: транспортировщик больных. Да и эти, как правило, молодые ребята пользуются особыми транспортными устройствами. Помню, я оперировал женщину, прежде лечившуюся как раз в Германии; так вот, её в нашей больнице больше всего поразило момент, когда два пожилых хирурга, только вышедших из операционной (ещё не просох пот на их спинах), закатили носилки в палату, затем сбросили сандали и запросто вспрыгнули на кровать, чтобы перетащить туда же и пациентку. “Ваши хирурги, — с изумлением рассказывала потом женщина нашим общим знакомым, — или святые, или круглые идиоты: в Германии такого не увидишь”.

У каталок есть и ещё одна роль. Они не только перевозят больных, но порой превращаются в полигоны последних сражений за жизнь человека. Когда случается клиническая смерть и больного бегом везут на каталке в реанимацию, оживлять его начинают прямо на той же каталке. И непрямой массаж сердца, и дыхание “рот в рот”, и даже попытку заинтубировать — всё это делают, пока каталка с бездыханным больным или дожидается лифта, или поднимается в его гудящей кабине.

Иногда удаётся спасти жизнь, а иногда не удаётся. И после безуспешных попыток реанимации тело обычно кладут остывать всё на ту же каталку, которая недавно и привезла человека на реанимационный этаж. Холодеющий труп, завернутый в простыню, полежит на каталке пару часов, а потом его

повезут в морг. И каталка превращается в лодку Харона, переправляющую покойного из мира живых в страну мёртвых. А если ещё льют дожди и больничный двор покрыт лужами, тогда сравнение с переправой через Стикс становится ещё более уместным. Колеса каталки гонят по лужам волну, её сочленения скрипят, как уключины вёсел, — но тот, кто сейчас лежит навзничь под быстро намокающей простыней, уже не замечает трудностей и неудобств перевоза.

— Да куда ж ты толкаешь: там глубоко! — кричит напарнице одна из сестёр, прыгая через лужу и стараясь не замочить своих стройных ног.

Но как уберечься от этой холодной воды, что вторую неделю льёт с неба, и разливается лужами, и грозит затопить подвалы больницы? Морг, стоящий в низине, кажется островом; а каталка с белеющим телом, как одинокая лодка, уже приближается — и вот-вот причалит к нему...

## Кровотечение

Отчего многим из нас становится дурно при виде крови? Я даже думаю, не по себе становится всем, только кто-то умеет сдержаться, а кто-то падает в обморок. Видно, недаром говаривал Мефистофель: дескать, кровь — жидкость особого рода. Есть в ней нечто такое, что не предназначено для человеческих глаз; а тот, кто намеренно или случайно подсмотрел тайну крови, словно нарушил некий запрет, и теперь жизнь его самого находится под незримой угрозой.

И у нашего брата хирурга никогда не бывает легко на душе при виде крови, хотя он встречается с ней ежедневно и многократно. Можно сказать, что наша работа и состоит из драматических встреч с человеческой кровью. Они происходят по-разному, и не только на операциях. Вот медсестра зовёт тебя в перевязочную — и видишь повязку, настолько набрякшую кровью, что марля уже не впитывает её, и на столе под больным расплзается тёмно-вишнёвая лужа. Или видишь дренаж, по которому в запотевшую банку часто падают алые капли, и уровень крови в ней поднимается чуть ли не на глазах. А вот в приёмное отделение завозят раненого, в груди которого покачивается рукоятка ножа, а за каталкой по линолеуму коридора тянется яркий кровавый пунктир.

Ещё, помимо таких прямых встреч с кровью, бывают и косвенные. Это когда ты заходишь в палату и замечаешь, что больной бледен, как мел, и холоден, словно лягушка, его пульс частит так, что и не сосчитать, а тонометр не может определить давления. Это признаки сильного внутреннего кровотечения, и спасти человека в такой ситуации может, как правило, только одно — немедленная операция. Изю всех операций, какие приходится делать, самые суматошные, нервные и торопливые — это именно операции при угрожающих жизни кровотечениях.

Но ведь бывает и так, что причиной кровотечения становится сам хирург, что не бандитская пуля или нож поразили раненого, а его сосуды были нечаянно повреждены хирургическими инструментами. Об этом не всегда пишут в протоколах операций, но такое, конечно, случается. Во-первых, все мы не боги и не застрахованы от ошибок; к тому же порой невозможно удалить больной орган, не повредив при этом какой-либо серьёзный сосуд.

Каждый, кто оперировал, знает: опасней всего кровотечение из крупной вены. Артериальное кровотечение, хоть бывает порою и сильным, но происходит как-то открыто, “по-честному”. Кровь из артерии иногда бьёт таким пульсирующим фонтаном, что забрызгивает не только маску и очки хирурга, но даже стекло операционной лампы, отчего всё вокруг погружается в красновато-зловещие сумерки. Зато артерию легче увидеть, схватить зажимом и перевязать — или, если возможно, наложить на неё сосудистый шов. А вот с крупной веной — беда. Венозная тёмная кровь настолько бесшумно и стремительно наполняет рану, — а отсос, как назло, в такие моменты всегда засоряется, — что при виде такого кровавого “наводнения” сердце даже опытного хирурга сжимается, и зёрна холодного пота выступают на его лбу. Спасает обыкновенно то, что руки “думают” быстрее головы. Пока ты успеешь



что-либо сообразить, рука сама хватается салфетку и плотно вбивает её внутрь захлопавшей раны. В эти секунды порой раздаётся яростный мат: он сразу взбадривает и мобилизует бригаду. В критической ситуации главное — не торопиться: хуже нет, чем впадать в суетливую панику. За минуты, когда рука прижимает пробойну вены, можно чуть отдышаться и попросить сестру стереть тебе пот со лба, позвать ещё одного ассистента, расширить рану, поправить свет — да мало ли что можно сделать полезного, пока твоя кисть остаётся намертво приросшей к ране и является словно бы частью уже не тебя, а больного?

И вот только потом, подготовившись и будучи настороже, ты будешь медленно, по миллиметру, сдвигать в сторону пальцы с промокшей салфеткой до той самой секунды, когда сможешь увидеть этот злосчастный надрыв, из которого столь же бесшумно и быстро вновь поступает венозная тёмная кровь. Но теперь ты готов. Пока отсос завывает и хлопает, осушая рану, ты успеваешь поддеть иглой мягкие стенки вены, перехватить острый блеснувший кончик иглодержателем и осторожно — не дай бог, прорежется вена! — накинуть узел и сдвинуть его непослушным от напряжения пальцем во влажную глубину раны.

Когда ж, наконец, сосудистый шов лёг, как нужно, и рана даже без гудящего в ней отсоса остаётся сухой, твои ноги кажутся ватными, пальцы рук мелко дрожат, а по спине вдоль всего позвоночника бежит ручеек холодного пота. Можно подумать, что кровь вытекала всё это время не только из больного, но ещё и из тебя самого и, зашивая пробойну вены, ты спасал сразу обоих.

### Литотрипсия

“Литотрипсия” — слово греческого происхождения, и означает оно “разрушение камня. Казалось бы, этим, в первую очередь, должны заниматься каменотёсы; но и хирурги не чужды литотрипсии. На целые годы она даже сделалась моей основной работой: я заведовал службой, которая называлась “Отделение дистанционной литотрипсии”. История, физика и философия этого дела так любопытны, что я не могу отказать себе в удовольствии кратко их изложить.

Началось всё с военных лётчиков. Когда после Второй мировой войны авиация перешагнула сверхзвуковой рубеж, оказалось, что в почках военных лётчиков, испытывающих перегрузки, часто образуются камни — и это, понятное дело, не повышает их боеспособность. Но обучить нового специалиста взамен заболевшего и списанного в запас — дело долгое и дорогое; а если больного пилота прооперировать, он будет уже не вояка. И вот медикам вкупе с учёными-физиками был дан военный заказ: найти метод, избавляющий лётчиков от камней в их летающих почках без операции.

Казалось бы, эта задача невыполнима. Каким образом, не разрезая человека, извлечь камень из глубины почки, находящейся в глубине его тела? Этот только в народных сказках героям поручалось что-то подобное, и выполняли невыполнимые эти задания они или с помощью нечистой силы или Конька-Горбунка да Жар-птицы. Но всё же наука и техника на что-то способны: задачу решили с помощью ударной волны. Физики придумали и рассчитали (а технари-инженеры им помогли), как внедрить в человека такую ударную волну, которая, не слишком повреждая его ткани, разрушает камень в почке. А фрагменты камня вполне могут выйти вместе с мочой, естественным образом.

Так с подачи военных к нам пришло изобретение, спасающее здоровье и продлевающее жизнь. Не прошло и десяти лет после освоения этого метода ведущими клиниками (а пионеры здесь немцы, великие доки во всём, что касается техники), как аппарат дистанционной литотрипсии появился и в нашей больнице. Была установлена большая ванна из нержавеющей стали, которую наполняли тёплой водой; в неё опускали пациента и, прицелившись с помощью хитроумных приспособлений (отдельное спасибо Рентгену и его лучам), выпускали по камню — ну, и естественно, по пациенту — несколько тысяч ударных волн. Их источником служил подводный электроразряд;

а фокусировала эти волны, сводя их точно на камень, латунная чаша рефлектора, расположенная под больным.

Такова, если вкратце, физико-техническая сторона дела. Но нас, медиков, охватывало изумление, когда мы видели человека, лежащего в ванне (причём без наркоза), слышали ритмичные оглушительные удары и видели, как тень камня на экране рентгеновского монитора бледнеет и расплывается, пока не пропадает совсем. Казалось, что этого просто не может быть, что мы видим сон — и хотелось себя ущипнуть, чтобы проснуться.

Ведь мы-то, хирурги-урологи, привыкли к другому. Мы знали: уж если выходишь на охоту за камнем, это означает разрез чуть ли не на половину тела, полтора-два часа усердной работы, руки по локоть в крови — всё то, что мы называем “большой хирургией”. А тут тебе словно показали эстрадный фокус: только что камень был, и вот его нет! — как в тех цирковых номерах, где вертлявый факир в цилиндре и фраке накрывает платком красногоглазого белого кролика и — ап! — кролика как не бывало...

Поначалу все мы — и медики, и пациенты — впадали в неумеренные восторги, наблюдая успехи литотрипсии. Казалось: проблема камней решена и о скальпеле можно забыть. Но, как часто бывает, вслед за опьянением наступило похмелье, а затем отрезвление. Выяснилось, что далеко не все камни можно и нужно дробить; что этот метод приводит и к осложнениям, подчас очень серьёзным, и что иногда быстрее и проще больного всё-таки прооперировать, чем подвергать многочисленным, долгим (и совсем не дешёвым) процедурам дробления. Показания к проведению литотрипсии сократились, и метод, который четверть века назад так выдвинулся и чуть не вытеснил все остальные, скромно стал в общий строй, и теперь мало кто помнит о его былом триумфе.

Но я ещё помню. Я помню, как, полуоглохший от грохота, стоял возле ванны с больным и видел, как под его поясицей вспыхивают подводные электрические разряды; помню, как гудят тяги, перемещающие пациента в тёплой воде; помню спиртовые пары, поднимавшиеся над только что обработанной ванной, и помню, как много спирта оставалось на прочие нужды; помню, главное, то ощущение чуда, что неизменно охватывало меня рядом с громоздкой и допотопной по нынешним меркам установкой дистанционной литотрипсии. “Как такое возможно? — не уставал думать я. — Как может внутрь человека войти ударная волна такой силы, что разрушается даже камень, а человек остаётся жив и здоров? Неужели мы прочней камня? И как себя чувствует тот, кто лежит сейчас в ванне, а вокруг и внутри у него бушует настоящая буря: сверкают молнии, волна за волной бьют о камень, и камень крошится от этих ударов?” Я наблюдал, можно сказать, торжество натурфилософии: первоначала, из которых создан мир, сошлись в противоборстве, результатом которого должно стать исцеление человека. По сути, эти начала его и лечили: огонь и вода нападали на камень, пока тот не превращался в песок.

Интересно, что сказал бы Гераклит, наблюдая ритмичные вспышки огня в глубине ванны и понимая, что именно этот огонь несёт энергию, изгоняющую из человека болезнь? Ведь именно Гераклитова формула, гениально описывающая наш мир и то, что в нём случается, — мысль о том, что всё есть огонь, мерами возгорающийся и мерами угасающий, — подходит к литотрипсии как нельзя лучше. Да, всё есть огонь; а ритм, в котором вспыхивают подводные искры-разряды, — это те самые “меры огня”, на которые его членит время.

Но время командует не только огнём: его поток унёс в прошлое и ту старую установку литотрипсии, на работу которой мы так дивились когда-то. Уже нет её, нет и самого отделения дистанционной литотрипсии; осталась лишь память о вспышках, о грохоте, о Гераклитовых “мерах огня”.

### Лихорадка

То, какая у пациента температура, — едва ли не главное, что интересуется врача на обходе. В классические времена земских больниц, когда саквояж и пенсне на шнурке являлись неотъемлемой частью врачебного облика

(вспомним портрет доктора Чехова), единственным, что указывалось мелом на табличке, подвешенной к спинке кровати больного, кроме фамилии, была его температура.

Это теперь разнообразной информации о пациенте бывает собрано и записано столько, что перелистать (а тем более внимательно изучить) историю болезни, превратившуюся в пухлый том, — дело долгое, нудное и кропотливое. Голова идёт кругом ото всех этих анализов, заключений и описаний, протоколов и выписок, дневников и консилиумов: порой кажется, что за множеством слов, цифр и графиков самого пациента уже и не разглядеть.

А когда-то, с тоской вздыхаем мы ныне, земский задумчивый доктор, нацепив пенсне на переносицу, видел три цифры на прикроватной табличке, и ему уже очень многое становилось понятно. Нет, я не против прогресса, особенно в медицине — куда же мы без него? — но я просто хочу подчеркнуть, насколько температура важна, чтобы судить о состоянии человека и о том, в какую сторону повернула болезнь. Если зубчатая линия на температурном листе несколько дней тянулась вдоль его верхнего края, а потом вдруг, как бы с облегчением, соскользнула вниз, под красную черту, проведенную у цифры “37”, то облегчение испытают и пациент, и его доктор: значит, дела пошли на поправку. Если кривая температуры, напротив, взмыла вверх, врач озабоченно хмурится: с большим явно что-то не то. Но хуже всего лихорадка гектическая: когда острые пики температурного графика то круто взмывают, то падают ниже красной черты, чтобы вскорости снова взлететь. Это значит, у пациента, скорей всего, сепсис и его организм пытается так прогреть свою кровь, чтобы пройти по лезвию бритвы — убить тех микробов, что проникли в него, самому оставшись при этом живым.

В таком рискованном прогревании крови и состоит смысл лихорадки. Это, по сути, очищение огнём, но разложен незримый костёр внутри нас, и гореть на нём может не только болезнь, а и мы сами.

Если бы вы, скажем, наблюдали “потрясающий озноб” (а он возникает как раз при критическом повышении температуры), то вы, при известной фантазии, могли бы сравнить это зрелище с аутодафе, сожжением на костре. Такой озноб даже не то что виден, он слышен уже на подходе к палате: кровать под больным ходит ходуном, скрипит и бьётся о стену, а подойдя ближе, слышишь и стук челюстей, от которого, кажется, зубы больного вот-вот должны раскрошиться. Что с пациентом, можно не спрашивать, да он и не в силах будет ответить. Человека не просто трясёт, а ломает в судорогах озноба; его губы и пальцы синие, а в глазах застыл ужас, словно он видит перед собой саму смерть.

Но как любой костёр в конце концов догорает, так стихает и потрясающий этот озноб. И человек остаётся лежать обессиленным, мокрым, остывшим, как будто бы из него ушла жизнь. Он едва способен прошептать пару слов и не может от слабости двинуть ни рукой, ни ногой; а в глазах его после недавнего ужаса видишь такую невыразимую пустоту, словно он бродит ещё далеко-далеко, по ту сторону жизни, и не спешит возвращаться. Ведь тот запас жизненного огня, что в нём рассчитан надолго, он сжёг за какие-то десять минут, и теперь ему нечем согреться в этом холодном, неласковом мире.

## Лягушка

Первой сделанной мной операцией стала декапитация, или отсечение головы. Но если вы далее ждёте какие-нибудь “Воспоминания палача” или “Мемуары доктора Гильотена”, то вы будете разочарованы: речь пойдёт все-го-навсего о лягушках.

Отчего-то в стране, где мы некогда жили и где многое полагалось принимать просто на веру, — скажем, миф о грядущем торжестве коммунизма, — такую, казалось бы, малость, как механизм нервно-мышечной передачи в лапке лягушки, мы должны были познать на опыте, собственными руками и собственными глазами. И лягушку для этого опыта мы должны были убить лично сами, принося, таким образом, жертву на алтарь медицины. Нет бы её, бедолагу, поцеловать: вдруг бы она превратилась в царевну?

Но одна сказка всегда ревнует к другой: коммунистический миф не терпел рядом соперников. Так что наша лягушка, даже если в ней и таилась царица, была обречена.

До сих пор мои пальцы помнят скользкий её холодок и то, как задние лапки подёргивались, торча из кулака, — и будто чувствуют хруст хирургических ножниц, которыми я отсекал лягушачью голову. Но даже без головы лягушка ещё долго оставалась живой. Она оставалась живой и тогда, когда её подвешивали на штативе, и тогда, когда выделяли её бедренный нерв и укладывали его на электроды, и тогда, когда били лягушку током, и она, однажды уже убитая, переживала повторную казнь, но уже на электрическом стуле. Её лапка дёргалась, а перо самописца взлетало и опадало, чертя на бумаге отчёт о лягушачьей агонии.

Непонятно: зачем мы всё это делали? Неужели мы не поверили бы учебнику и словам уважаемых физиологов Сеченова или Введенского, тем более что последний, как он сам выражался, провел жизнь в обществе нервно-мышечного препарата лягушки?

Но с другой стороны, несмотря на бессмысленность этих жестоких уроков, они и сами так запомнились, и позволили сохранить в памяти всё, что было вокруг, — как вряд ли случилось бы, будь наши занятия по физиологии совершенно невинны. Как писал поэт, “дело прочно, когда под ним струится кровь”. Лягушачья кровь закрепила в памяти долгие зимы студенчества, и аудитории старого учебного корпуса на окраине города — сокращенно он назывался СТУБ, — и чинную атмосферу классических кафедр (кроме нормальной физиологии, в этом корпусе были кафедры фармакологии, патологической физиологии и физколлоидной химии), и вой собак, дни напролёт доносившийся из вивария.

Эти собаки тоже были подопытными — вроде лягушек. Хорошо ещё, что не всех собак убивали, а обходились наложением фистул и анастомозов. И занимались собаками уже не студенты, а сотрудники кафедр, и можно надеяться, что собаки вносили действительный вклад в развитие медицинской науки.

Вольеры и клетки, где обитали подопытные собаки, назывались “виварием”; и мне в этом слове важнее была его первая часть — “вива”, то есть “да здравствует!” Порою казалось: собаки, которые круглыми сутками лаяли, тьякали, выли в вольерах вивария — они пели хвалу. Но — чему же? Неужели вот этому стылому зимнему миру, что так неукложе теснился вокруг? Этим конурам и сеткам, жестяным мискам с объедками и этой голой земле, исцарапанной лапами изувеченных ради науки собак? И стоявшим неподалёку корпусам областной больницы, где многим людям приходилось тоже несладко — оттого, что страданье и смерть так приблизились к ним? И окраинным частным домишкам, лепившимся к склону оврага, со всем их хламом и утварью, жестью ржавеющих крыш и жердинами косо стоявших заборов? И тем зимним полям, что начинались сразу за ними, — полям, где выл ветер и заметала позёмка, где птиц, пытавшихся взлететь, беспощадно швыряло обратно к земле и где любой след заносило так быстро, как будто его никогда не бывало?

Да, собаки вивария пели хвалу вот именно этому миру — потому что, возможно, они понимали: мира другого они никогда не увидят. И собачья хвалебная песнь, так надрывавшая наши юные уши и души, была вместе с тем песнью прощальной. Псы вивария отпевали и сами себя, и эпоху, что быстро сходила на нет, а вместе с нею и нашу счастливую юность, которая даже не подозревала, как она счастлива!

### Медсёстры

Конечно, неуловимую и безграничную женскую сущность невозможно вместить в рамки одной профессии, но я уверен: из всего, чем занимаются женщины, именно работа медсестры наиболее выражает и воплощает женскую суть.

Если врачи — это ум медицины, то сёстры — её, медицины, душа. И, конечно, она должна быть именно женской. В том, что сейчас появляется

всё больше “медбратьев”, я вижу деградацию и мужчин, и медицины; только, пожалуй, студент медицинского вуза может, не стыдясь этого, временно подработать медбратам. Тут дело не в одном самолюбии и не в том, что женские руки в деле ухода за пациентом, выполнении этих всех процедур — клизм и уколов, перевязок и капельниц — всегда будут заботливей и расторопней мужских. Дело в другом: в мужчине редко найдётся тот запас добра и сочувствия, который так нужен больному и который, по сути, является главным лекарством. Чтобы отдать другому не просто свой опыт и знания, время и силы, а именно душу, надо быть женщиной. Так что оставим мужчинам роли героев, творцов и великих хирургов; но роль сестры милосердия всегда будет женской.

Я знал множество медсестёр и всегда поражался: как получается, что при всём разнообразии лиц, характеров, возраста, даже национальности в сёстрах неуловимо присутствует нечто общее, тёплое и живое — вот именно “сестринское”? Это как если бы в театре на одну и ту же женскую роль назначались совершенно непохожие друг на друга актрисы, то, сквозь всю разницу лиц, темпераментов и дарования, всё равно проступил бы тот первоначальный рисунок, та сердцевина, что заложена в роли. Так вот и настоящая медсестра (о случайных-залётных говорить мы не будем) всегда донесёт — взглядом, улыбкой или интонацией — то, без чего мы, мужчины, не выживаем: свет сочувствия и доброты.

В конце-то концов (или, точнее, в начале начал), мужчина призван к тому, чтобы сражаться и побеждать; а дело женщины — кроме рожденья детей — исцелять раны воина или жалеть побеждённого. Поэтому медсестра — одна из важнейших и первоначальных женских ролей: без женщин-медсестёр человечество обречено на гибель.

Я поражаюсь и ещё одному. Как могут медсестры, проработавшие по тридцать, сорок, а то и по пятьдесят лет, по-прежнему излучать доброту и сочувствие? В отделении, где я работал, таких сестёр было несколько. Всем им давно перевалило за семьдесят, и медицинский стаж у каждой из них составлял более полувека. И, кстати, редкая из молодых напарниц могла сравниться с ними в работе.

Для нас, хирургов, среди всех медицинских сестёр, столь нами любимых и уважаемых, есть сёстры особенные — операционные. Это вот именно что боевые подруги. Ни с кем иным у хирурга не возникает такой же особенной связи — скреплённой буквально кровью, — как с операционной сестрой. Даже с коллегами-ассистентами отношения на операции всё же иные: в них больше соперничества и порой даже ревности; а вот взгляд операционной сестры над белою маской, из-под белой же шапочки или косынки — словно взгляд самой жизни, которая строго оценивает тебя. Каков, дескать, ты: не в словах, не во внешних регалиях или чинах, а в прямой, откровенной, кровавой работе? Уж здесь-то не спрячешься ни за должности-звания, ни за дутые авторитеты; здесь ты таков, каков есть сам по себе, и сто?ишь ты ровно столько, сколько сто?ишь. В этом смысле операционная — самое, может быть, честное место на свете; а взгляд операционной сестры, который может быть насмешливым или презрительным, равнодушным или восхищённым, порой даже влюблённым, — это самая верная из всех возможных оценок хирурга.

И я, когда оперировал, больше всего боялся увидеть насмешку или презрение в глазах операционной сестры: уж лучше, как говорится, пустить себе пулю в лоб. Конечно, за тридцать три года работы случалось всякое, и не всегда я бывал на высоте; но то ли медсестры жалели меня, то ли я был невнимателен, но явной насмешки в их карих, зелёных или серых глазах я, кажется, так и не видел.

А лучшей наградой, которую я получил, уходя из больницы, где проработал всю жизнь, были удивлённо распахнутые глаза красавицы-медсестры и откровенное сожаление, прозвучавшее в её вопросе:

— Доктор, а правда, что вы увольняетесь? Как же так — неужели мы с вами никогда больше не помоемся вместе?

## Мужские палаты

О женских палатах мы уже говорили; поговорим, справедливости ради, и о мужских. Вот как я люблю лечить женщин (да и вообще их люблю), так не люблю мужиков. Обижаться тут нечего: я сам мужчина и самого себя тоже не слишком люблю. Любил бы — не лез бы из кожи вон, чтобы что-либо делать: оперировать или путешествовать, писать книги или наматывать круги на стадионах.

В мужских палатах всегда ощущаешь особого рода тоску. Она здесь во всём: и в той неопрятности, с какой скомкано-смято бельё на кроватях, и в беспорядке на тумбочках, и в запахах перегара и пота, которыми так нередко разит от больных, и, главное, в тех затравленных или испуганных взглядах, какими глядят на тебя пациенты-мужчины. В них нередко видишь и страх, неприкрытый, животный. Это страх даже не столько перед болезнью и перед страданием, что она может с собой принести, но страх вообще перед жизнью. Пока мужчина был худо-бедно включён в житейский поток и плыл в нём как его часть, то ходя на работу, то ссорясь с женой, то ругая начальство или правительство, то выпивая с приятелями, он мог особо не думать о своих отношениях с жизнью в целом: как, зачем, почему существует он в этом мире? Но стоит мужику выпасть из жизненного потока и очутиться в “больничке”, на тощем матраце, под казённую простынь, так ему сразу покажется небо с овчинку. Бедолага поймёт, до чего же он лишний, чужой этой жизни, которая так же неудержимо и равнодушно течёт где-то там, за больничными стенами, как текла и тогда, когда он сам плыл в её мутном потоке. А когда ещё и старуха с косою замаячит неподалёку — так и вовсе ему, мужику, станет худо: впору, как одинокому волку, завывать на луну. В неприютности голых больничных палат и в тоске бесконечных больничных ночей открывается горькая правда о том, что мы, мужики, откровенно сказать, не нужны ни самим же себе, ни жизни, которая нас поманила, потом увлекла, привязала к себе, а потом, как неверная женщина, бросила на произвол судьбы.

Да, когда-то мы были нужны и желанны, молоды и неутомимы, могли восхищаться, побеждать, доставать с неба звезды, работать и зарабатывать, — но это всё было как бы не мы, а те подвиги и достижения, что совершались при помощи наших мускулов, воли, ума или нашего безрассудства. А вот сами-то мы, как мы есть — вот такие, какими мы стали в больнице, на этой неряшливой койке, — кому мы такие нужны?

Мысль о том, что мужчины по своей, как сказал бы философ, онтологической роли есть нечто лишнее и дополнительное, то, без чего природа и жизнь могли бы обойтись (и, кстати, прекрасно порою обходятся), — она становится очевидней в стенах больничной палаты, и печалью вот именно этой догадки бывают полны глаза тех мужиков, что встречаются врача на обходе. И когда я чувствую эту печаль, в моей душе поднимается что-то вроде ответной волны: я и понимаю страдающих этих людей, и хочу им помочь, но вместе с тем сознаю, что унять неизбежную их тоску можно единственным способом: перестать быть мужчиной. Болезнь-то, допустим, мы как-нибудь вылечим (или хотя бы заставим её отступить); но перед глубинной мужскою тоской мы, хирурги, бессильны, ибо сами являемся её жертвами. И кто знает, не с ней ли, в конечном-то счёте, сражаемся мы, когда надеваем стерильный халат и берём в руки скальпель? Ведь помимо того, что мы наводим порядок в разрезанном нами теле больного, мы решаем и собственную проблему: снова и снова, с каждым разрезом и швом, с каждой затянутой лигатурой словно доказываем, что ещё нужны этой жизни и играем в ней некую важную роль. Возможно, да и скорее всего, это тоже всего лишь иллюзия — и жизнь легко обойдётся без нас с вами, склонившихся над операционным столом; но с этой иллюзией нам самим легче жить и легче выдерживать приступы злой тоски, терзающей в бессонные ночи любого мужчину.

Удивляет другое — то, что нас, таких, всё-таки любят. Нас, ненужных и лишних, уже отыгравших свои геройские роли, уже одержавших свои печальные победы и потерпевших все те поражения, что были нам суждены,

нас, уже оказавшихся в этих больничных палатах, — нас любят даже таких. Посмотрите, как через мужскую палату течёт непрерывный поток матерей, жён, подруг, дочерей, внушек — женщин, которые любят и не оставляют нас даже в нашем ничтожестве. Вот это и есть настоящее чудо: то, чего быть не должно, но что всё же явлено в мире и что позволяет мужчинам терпеть то-ску бесприютных больничных палат.

### Наставники

Так и хочется начать пушкинскими словами: “Наставникам, хранившим юность нашу...”

Конечно, таких людей, как те, с которыми мы начинали, больше не будет: мельчающая современность просто-напросто неспособна родить личности такого масштаба, какими были наши наставники. Да и сама жизнь лет тридцать назад была совершенно иной. Шли последние годы советской империи, и ещё сохранялись традиции и сам дух классической государственной медицины. А они, в свою очередь, проистекали из медицины земской, из тех времён, когда работа врача несла в себе черты подвига и жертвенного служения, а не просто являлась популярной профессией, позволяющей при удачном раскладе зарабатывать деньги.

Впрочем, в самой-то врачебной среде общались, как правило, запросто и без пафоса. Когда мы с моим другом Алексеем Агамировым — хирург-интерны, только что окончившие институт и практически ничего не умевшие, — появились в ординаторской хирургического отделения, мы вмиг очутились словно в компании старых добрых друзей. Причём эти друзья показались нам старыми в самом прямом смысле слова: большинству наших наставников было лет по пятьдесят, а это в глазах молодости уже почти старость. Разумеется, запанибрата мы с ними не общались — напротив, с каждым днём возрастало наше и уважение к ним, и восхищение ими, — но всё равно нечто дружески-тёплое, доброжелательное неизменно присутствовало меж нами. Мы с Алексеем почувствовали, как в одночасье влились в большую, весёлую хирургическую семью. Рассказ об этой семье будет неполон и недостоверен, если не назвать хотя бы некоторых из наших славных отцов-командиров (а именно так мы порою к ним обращались) по имени. Вот я и займусь сейчас поминальной переключкой: ведь большая часть из наших наставников уже в лучшем мире, а те молодые, которых они наставляли когда-то, сами уже почти старики.

Без сомнения, первый из всех — это заведующий отделением Юрий Степанович Фирстов. Из возможных похвал для него лучше всего подходили слова “человек-солнце”. К тому же Фирстов ещё был и рыжим, и поэтому всюду, где он появлялся, становилось в прямом и переносном смысле светлее. От него исходил осязаемый поток радостной доброжелательности; я не представляю себе такой ледяной и угрюмой компании, которую Фирстов тут же не растопил бы своими словами, улыбкой и какой-нибудь шуткой, на которые он был большой мастер. Кажется, окажись он хоть в арестантских ротах или даже в камере смертников, и то все заулыбались бы рядом с ним.

Внешне Юрий Степанович несколько не походил на хрестоматийного хирурга, интеллигентно-худого, нервного и измождённого. Напротив, он был невысок, коренаст и упитан и лицо имел самое простецкое: щекастое, круглое и всегда добродушное. А уж о руках-то, веснушчатых и короткопалых, и подавно нельзя было подумать, что это руки хирурга, тем более мастера такого уровня, каким был Фирстов. А хирургом он был исключительным. При взгляде на то, как он работает, всегда казалось, что ничего нет проще, чем сделать всё то же самое, что, пригласи хоть прохожего с улицы, и он сможет так же запросто раздвинуть ладонями петли кишок, взять в левую руку, скажем, желчный пузырь, правой сунуть в рану зажим и уже через пару минут ласково сказать операционной сестре:

— Зоевка, всё, ушиваем брюшину!

Выражение “лёгкие руки” — это как раз про него. Порою казалось, что Фирстову не нужны ни инструменты, ни ассистенты, что для операции

вполне достаточно двух его собственных, быстрых и точных, с короткими цепкими пальцами, рук. Но любой, кто мало-мальски, как сейчас говорят, “в теме”, тот скажет вам, что работать так просто и быстро может лишь виртуоз. Это как строка Пушкина или мелодия Моцарта: вроде всё просто, чуть ли не примитивно, а повторить невозможно; чтоб сделать подобное, нужно быть гением.

Моцарт приходит на ум не случайно, когда мы вспоминаем о Фирстове. Дело в том, что Юрий Степанович, лучший калужский хирург, был ещё и одарёнейшим музыкантом. Он долгие годы руководил известным в Калуге любительским симфоническим оркестром, сам играл чуть ли не на всех инструментах (чаще всего на саксофоне), сам сочинял аранжировки, знал и чувствовал музыку так, как мало кто её знает и чувствует, и это всё на обочине его основного, хирургического, пути.

Но и это не всё. Фирстов был редкостным знатоком и коллекционером живописи, причём таким знатоком, что его приглашали выступать с лекциями в Калужском музее изобразительных искусств.

Кстати, о живописи и о внешности. Когда я смотрю на известный портрет Фёдора Шаляпина работы Бориса Кустодиева — тот, где наш великий певец стоит в распахнутой шубе, с розовым и счастливым лицом, — то мне всегда кажется, что это Фирстов.

Учил же он нас, молодых, совершенно особенным образом. Учёбой как таковой это трудно назвать: прямое наставление от Юрия Степановича редко кто слышал. Он просто работал так, как умел: делал обходы и оперировал, выступал на планёрках и разбирал сложных больных, а мы, находившиеся рядом, пытались впитать, перенять и усвоить по мере сил и способностей фирстовский вдохновенный стиль работы.

А уж какие он проводил с нами семинары по четвергам, нынешней хирургической молодёжи даже не снилось. Четверг так и назывался у нас: “день интерна”. Где-то часа в два дня, — а операции в отделении Фирстова начинались рано и рано заканчивались, — наш командир объявлял:

— Как, вы ещё здесь? А ну, живо в баню!

И мы дружно отправлялись — разумеется, вместе с нашим наставником — в баню, что на площади Победы. Фирстов был страстный парильщик и даже в Калуге — парильной столице страны — являлся признанным авторитетом. О том, как мы парились, как Юрий Степанович знал всех не только в той бане, но, кажется, и во всём городе, как он предводительствовал на тех пирах, которые мы устраивали после парилки в предбаннике, — обо всём этом можно рассказывать бесконечно. И вот интересно: о медицине мы в бане почти не говорили; но всё, что происходило в парилке и в мыльном зале, в предбаннике и раздевалке, учило нас именно хирургии в её самом глубоком и истинном смысле. Юрий Степанович всем своим отношением к людям и жизни показывал нам: жить надо радостно, смело и с удовольствием. Он словно напityвал нас, молодых, той отвагой, тем доверием к жизни и той благодарностью к ней, из которых проистекает и всё остальное, в том числе и хирургическое мастерство. И вот чего мне действительно жаль из прошлой жизни, так это фирстовских банных “симпозиумов”. И предложи мне какой-нибудь маг и волшебник: “Выбери себе час из прошлого, в который ты хотел бы вернуться, — но только час!” — возможно, я выбрал бы именно час в предбаннике с Фирстовым.

Вспоминаю добрейшего Михаила Ивановича Макаренкова, главного хирурга больницы. Вот он был по внешности типичный хирург: худой, измождённый, сутуловато-высокий, с длинными нервными пальцами рук. Он часто казался суров и порой звал нас к себе в кабинет, чтобы отчитать за какое-нибудь прегрешение; но “дядю Мишу”, как все его звали, никто не боялся: даже напускная суровость не могла скрыть его доброты.

А Мирослав Михайлович Мицишин? Женственно-мягкий в манерах (сёстры за глаза называли его даже не “Мирослав”, а “Мирославчик”), он тем не менее оперировал в решительной, твёрдой манере: делал большие разрезы, клал редкие швы — как, я думаю, оперировали полевые хирурги Великой войны.



Травматолог Валерий Иванович Черемисин страдал акромегалией: его уши, нос, подбородок были огромными, а громадные кисти рук вдвое превосходили кисти обычного человека. И поражало, как деликатно умеет оперировать Валерий Иванович ручищами, которыми он легко оторвал бы при случае чью-нибудь голову. Впрочем, голов, сколько я помню, он не отрывал: при внешности сказочного людоеда Валерий Иванович был добрейшей души человек.

А Михаил Ильич Абрамовский удивлял нас, молодёжь, и безупречностью интеллигентных манер, и безупречностью хирургической техники. Жаль, тогда ещё не было возможности записывать операции на видеокамеру, потому что операции Абрамовского могли бы служить учебными пособиями по хирургии. И слава богу, что Михаил Ильич, едва ли не единственный из наших старших наставников, ещё здравствует, хоть и живёт далеко, на своей исторической родине, в израильской Хайфе.

Я заочно прошу прощения у всех хирургов старшего поколения, и живых, и усопших, кого я не упомянул в своём кратком слове. Но, право же, писать обо всех, и писать так подробно, как они, без сомнения, заслуживают, — это значило бы взяться ещё за одну, отдельную книгу.

И как же нам, повзрослевшим, пришлось тяжело, когда наши отцы-командиры один за другим стали нас оставлять... Теперь уж мы сами были должны на своих плечах — куда более слабых, чем плечи наших могучих предшественников, — нести груз, в том числе и наставничества: должны были учить молодёжь хирургии. И повинившись перед старшими, я теперь прошу прощения у молодых: простите, ребята, что вы не получили от нас всего того, что когда-то, в благословенные и приснопамятные времена, нам так щедро подарили наши замечательные наставники!

## Ноги

Любой хирург знает, что на долгой операции ноги устают куда больше рук. У хирургических ног вообще незавидная участь. Вот представьте дежурные сутки хирурга, когда он несчётное множество раз сбегал в приёмное, да ещё отшагал по всем этажам больницы — ведь зовут то туда, то сюда, — да отстоял на нескольких операциях. На исходе дежурства его ноги будут гудеть почти так же, как гудят ноги в пеших походах, протопав, вместе с хозяином и рюкзаком, не один десяток километров. А уж совсем dokonает твои бедные ноги какая-нибудь затяжная операция, случившаяся перед рассветом, часа в три ночи, — и хуже всего, если ты на ней окажешься ассистентом. Когда оперируешь сам — азарт, напряжение и тяга работы как-то не оставляют ни места, ни времени для того, чтобы думать о собственном теле. А вот для ассистента, который лишь держит крючки-расширители да время от времени промокает кровавую рану салфетками, — для него трогос собственных ног начинается звучать все настойчивей и возмущённой. Этот трагикомический внутренний диалог может настолько увлечь доктора, что он начнёт мешкать и ошибаться: не забудем, что на часах половина четвёртого ночи. Подавляя зевком зевком, он словно слышит, как ноги ему говорят: “Хозяин, ты что, рехнулся?! Можно подумать, что мы у тебя казённые и тебе нас несколько не жаль. Или, может быть, у тебя есть запасные?”

Что сказать им, ногам, — тем более что они в чём-то и правы? Но, с другой стороны, дай им волю — так они вообще отойдут от стола да завалятся спать; поэтому, хочешь не хочешь, но надо быть строгим. И вот, чтобы заглушить роптание ног, хирург начинает переступать и притоптывать, постукивая об пол то носком, то пяткой: он бьёт свои ноги о кафель пола, как бы пытаясь их наказать и заглушить их нудные и малодушные жалобы. Битьё ног, как и всякое телесное наказание, помогает, но ненадолго. Скоро ноги опять начинают ныть и канючить. И к тому же они начинают, по ощущению, увеличиваться. Вероятно, они и впрямь отекают; порой кажется, что твои стопы стали прямо-таки слоновьих размеров. Даже странно: как они помещаются внутри забрызганных кровью бахил?

А операция, нудная и бесконечная, длится и длится: что ей за дело до твоих ног? Зажимы позвякивают, наконечник отсоса хлопает в лужице крови,

ножницы клацают, лигатуры скрипят, но эти звуки, обычно бодрящие, сейчас нагоняют тоску. И ты, чтобы немного утешить себя, начинаешь мечтать: вот когда операция всё-таки кончится (ведь такое возможно?), ты завалишься в ординаторской на диван, закинув ноги как можно выше... И уже сейчас, представив будущее блаженство, расплываешься в глупой улыбке: хорошо, что лицо скрыто маской и дурацкая эта улыбка никому не видна.

Такая мечта твоим ногам нравится: они давно хотели оказаться выше головы. Так угнетённые сами втайне мечтают стать угнетателями. Но одною мечтой сыт не будешь, а операция так затянулась, что диван в ординаторской отодвигается в недостижимую даль.

И наступает момент, когда ты больше не в силах терпеть и выслушивать жалобы собственных ног. Сам уставший и раздражённый, ты мысленно им говоришь: “А ну вас к лешему! Охота вам ныть и скулить — так скулите себе на здоровье... А мне до вас больше нет дела: я — сам по себе!” Ты словно от них отрекаешься и бросаешь их на произвол судьбы: живите, мол, как хотите. И ноги, бывает, на какое-то время смолкают: то ли обидевшись, то ли испугавшись. Правда, они ещё отомстят за измену. Когда операция всё же закончится, и ты попробуешь сделать шаг от стола, то покачнёшься, с трудом удержавшись, чтоб не упасть. Собственных ног ты в эти секунды порою не чувствуешь: они словно и впрямь ушли от тебя — или, по крайней мере, стали настолько чужими и непослушными, что приходится подождать, пока они возвратятся.

Но наконец ты в ординаторской — и вот он, долгожданный диван! Валишься навзничь, закинув ноги на его спинку — и с наслаждением чувствуешь, как кровь отливает от них. Думаешь: “Вот оно, счастье! И зачем только люди ищут его в чём-то другом? Нет, настоящее счастье — это когда после долгой ночной операции ноги брошены на спинку дивана...”

Но блаженство длится недолго: секунд пять. Раздаётся трель телефона — в темноте ординаторской она кажется оглушительно громкой, — и ты хватаешь трубку. Зовут, ясное дело, в приёмное: кого-то опять привезли. Пробормотав в ответ что-то невятное, сбрасываешь ноги на пол — они ещё даже не поняли, что же случилось? — и со вздохом мысленно говоришь им: “Ну что, бедолаги, потопали дальше?”

### Операционный блок

В оперблоке кроме собственно операционных есть еще множество помещений. Тут и кладовые, и моечные, и раздевалки, и автоклавные, и комнаты медсестёр, и — куда же без них? — туалеты. Оперблок — целый особенный мир внутри хирургической больницы.

А одно из важнейших здесь правил — “правило красной черты”. На входе в преоперационную (это комната, где хирурги и сёстры моются перед работой) на кафеле пола видишь широкую красную полосу. Она предупреждает: во-первых, входить сюда могут не все, а во-вторых, каждый из пересекающих эту черту должен быть особо подготовлен. Ему нужно сменить одежду, закрыть лицо маской, а волосы шапочкой — и ещё хорошо бы, чтобы в нём изменилось и состояние души. Перефразируя известное выражение Данте, можно сказать: “Оставь же суету — о всяк, сюда входящий...” Уж здесь-то, за красной чертой, не место пустым разговорам, писанину бесконечных бумаг (отчего врач бывает порою близок к безумию), не место выяснять отношения и ругать начальство, — словом, не место тому, из чего состоит наша с вами обычная жизнь. Понятно, что совсем отрешиться от мелочной бытовой суеты невозможно; но всё же, ступая за красную эту черту, порой чувствуешь, как бытовой прах и сор осыпаются, освобождая рас-судок и душу.

Впрочем, мы забежали вперёд: до пересечения красной черты нас ждёт раздевалка. Думаю, что не в одной нашей больнице белё, которое надевают хирурги, часто ветхое и дырявое, стиранное-перестиранное сотни раз и напоминающее нищенские лохмотья. Но странное дело: сбросить привычные джинсы с футболкой и облачиться вот в эти драные и безразмерные порты

и рубахи всегда приятно. Нередко, когда я оказывался внутри этого нищенского тряпья, мне представлялись ополченцы-солдаты, надевшие чистое “смертное” перед решительной битвой. И хоть нас ждёт не Бородинское поле, но всё же и эта одежда, возможно, вот-вот будет мечена кровью.

Не смутное ли ощущение того, что ты, в этих вот полотняных штанах и рубахе, выходишь на самый край жизни — туда, где она касается смерти, — и вызывает в тебе глубинное успокоение? Словно ты, наконец, сбросил лишнее и остался при самом необходимом; словно только в этой одежде ты совершенно таков, каков есть и каким, надо думать, предстанешь и перед последним Судом. А что, в самом деле, не в таких ли вот точно обвислых портах и рубахах мы с вами будем топтаться у тесных и охраняемых строгим ключником врат?

Впрочем, мы пока живы, и нам пора идти мыться. Бахилы, надетые на ноги, мягко шуршат по красной черте — и вот мы в предоперационной. Первое, что здесь видишь, — это ряд раковин с блестящими локтевыми кранами. Толкнешь такой кран — и вода зашумит напряжённой струёй; её шум и брызги всегда бодрят и успокаивают одновременно. Вообще, бодрость в сочетании с успокоением — главное, что приходит к тебе в оперблоке. Объяснить это сложно — да и надо ли всё объяснять? — но самые полные и живые из тех состояний, что я когда-либо испытывал, были сотканы именно из противоположностей, но не подавлявших, а укреплявших и дополнявших друг друга. И вот здесь, в предоперационной, над туго шипящей струёй воды, которую не успеваешь сглатывать горло раковины, это бодрящее успокоение наполняет тебя, пока ты не торопись (точнее, стараясь не торопиться) намывливаешь руки. Они сноровисто-быстро потирают друг друга, и мыльная пена вспухает меж скользких пальцев. Блестящие мокрые руки кажутся моложе, чем были недавно. Ну да: ведь они сбросили вместе с мыльной пеной свою прежнюю — грязную и постаревшую — оболочку.

Но вот руки вымыты и высушены салфеткой — и пора обрабатывать их антисептиком. Я на своём веку перевидал много способов и средств обработки рук. Это и спирт, и муравьиная кислота (в тазик с которой руки погружались ровно на две минуты, и ты нетерпеливо поглядывал на тонкую жёлтую струйку в песочных часах), и раствор йода, после которого пальцы делались жёлтыми, как у китайца, и хлоргексидин, и ещё много всякого-разного, что придумали химики. Названия теперешних антисептиков я даже не запоминаю: просто-напросто пару раз нажимаю локтем дозатор, а потом втираю в ладони, предплечья и пальцы парфюмерно-пахучую жидкость. Когда руки вымыты и обработаны, осторожно вносишь их в операционную, опасаясь, как бы что не задеть.

Но оставим на время руки в покое и оглядимся вокруг. Первое, что видишь в операционной, — конечно же, стол. Сейчас на нём лежит пациент, и его грудь вздымается и опадает в такт мерным вдохам наркозного аппарата. Вообще-то, операционный стол больше похож на кровать — вот здесь изголовье, а там изголовье, — тем более что больной на нём спит, погружённый в наркозные грёзы. Операционный стол всегда начинён различной механикой и электроникой — и может, как робот-трансформер, принимать разные виды и положения. Но важно другое: за годы работы этот стол бывает настолько обильно полит человеческой кровью, что этим напоминает языческий жертвенник. Только жертву здесь не убивают, а пытаются, наоборот, спасти, чтобы снять со стола непременно живой, пусть и пролив часть её крови. Возможно, ещё и поэтому к операционному столу относятся с уважением. Ни вальяжно облокотиться об операционный стол, ни тем более легкомысленно вспрыгнуть-присесть на него как-то даже и не придёт в голову. Нет, на этот стол только ложатся — или стоят над ним, склонив головы.

Что мы видим ещё? Вот столик операционной сестры: сейчас, пока не началась работа, аккуратные стопки салфеток на нём белоснежно чисты, а ряды инструментов нарядно сверкают. Вот столик анестезистки, на котором в наполненных шприцах хранятся виденья и грёзы, что скоро вошьются в вены больного. Вот аппарат для наркоза, со всеми его циферблатами, трубками и мониторами. А вот ещё один неременный участник любой операции:

большой таз для мусора. Когда хирург бросает в него пропитанные кровью салфетки, ему лучше не промахиваться, если он не хочет услышать недовольное ворчание подтирающей пол санитарки.

А современная операционная — та вообще заставлена множеством мониторов и эндоскопических стоек, аппаратурой слежения и обратного переливания крови, установками климат-контроля и ещё бог знает чем: жалея бумагу и время, я не стану описывать всё это подробно. Но вот что интересно: в операционной, несмотря на обилие и разнообразие всевозможной “начинки”, всегда как-то пустынно и гулко, торжественно и немного тревожно. Пожалуй, лишь в храмах царит подобная гулкая пустота — и возникает неотвязное чувство, что, кроме участников операции и распростёртого на столе пациента, здесь незримо присутствует кто-то ещё. Как его имя и что он здесь делает, я сказать не берусь; но когда над столом бесшумно вспыхивает наклонный диск осветителя с дюжиной ярких лампочек в нём, кажется, будто этот незримый свидетель всего, что свершается здесь, вдруг распахнул свой всевидящий глаз!

### Операция

Как ни странно, операционная — едва ли не самое спокойное место на свете. Да, я всё понимаю и ничего не забыл — ни суматохи, что начинается здесь, когда на каталке завозят тяжёлого экстренного больного; ни раздражённого крика хирурга, когда сестра подала ему не тот инструмент; ни хлопанья прибывающей в ране крови, когда засорился отсос и приходится чуть ли не отчерпывать кровь ладонями; ни зажима, со звоном упавшего на пол (зажима, на который сестра тут же спешит наступить, потому что все верят в примету: упал со стола инструмент — жди ещё одной операции); ни сизого дыма, вьющегося над раной под писк и шкворчание электрокоагулятора, — я не забыл ничего из того напряжённого и торопливого, чем полна работа в операционной. Больше того: я не забыл и тех опасений, сомнений и страхов, от которых хирург до конца никогда не избавится (если, конечно, он живой человек, а не бездушный мясник), — сомнений в диагнозе и в необходимости операции, что уже началась, опасений за то, чем всё это может закончиться, и страхов не только за жизнь пациента, но и за то, как летальный (не дай Бог!) исход отразится и на самом докторе.

Да, я всё это знаю и помню и тысячи раз испытал напряжение, тревоги и страхи больших операций. И всё же, несмотря на это, на операциях ко мне нередко приходило ощущение необъяснимого покоя. Точнее сказать, я в него погружался, как ныряльщик погружается в глубину, где его уже не достанут ни пена, ни волны, ни брызги, ни ветер, шумящие на поверхности моря. На поверхности может разразиться настоящая буря — подобная той, что нередко бушует и в операционной; но в глубине, где какую-то частью души пребывает хирург, там всегда — тишина.

Как объяснить такой парадокс? Вот до этой минуты, когда ты взял скальпель и сделал разрез, весь мир был тебе не понятен — и, главное, был не понятен себе и ты сам. Кто ты таков и зачем ты здесь нужен? Зачем существует мир — и что ты в нём делаешь? Гнёт этих вопросов подспудно томил твою душу, и ты всегда, даже в самом, казалось бы, безмятежном своём состоянии, даже во сне, — всё равно в глубине своего существа оставался неспокоен. Но вот началась операция. Задвигались руки и инструменты, потекла кровь, загудел отсос — и всё изменилось! На время, пока ты облачён в стерильный халат (который чем дальше, тем больше пропитан на животе кровью, а на спине — потом), эти тягостные вопросы — что, зачем, почему? — для тебя перестают существовать. Весь огромный, томящий своей непонятностью мир сужается до размеров вот этой операционной раны, в которой ты, в общем-то, знаешь, что нужно сделать, стараешься выполнить это поаккуратнее и при этом насколько не сомневаешься в собственном праве и даже необходимости здесь находиться. Всё словно уже решено за тебя, и всё происходит именно так, как должно происходить. Никогда мир не делался так разумен, понятен, так ясен и прост, как в эти часы и минуты.

Великое правило жизни — “делай, что должно, — и пусть будет, что будет” — лишь здесь, в операционной, открывалось тебе в такой очевидной, прямой простоте.

Самозабвенье работы — вот как ещё можно это назвать. Тебя поглощал, растворял, утешал, уносил тот поток действия, что обычно подхватывает человека, вполне погружённого в привычное дело. Тебя, прежнего, словно больше и не было, а вместо тебя оставался лишь этот подробный, предельно конкретный мир раны, в котором работали чьи-то (казалось, уже не твои, а чужие) руки в перчатках и что-то делали инструменты, двигал которыми словно тоже не ты, а другой: возможно, что вовсе и не человек, а некий невидимый и вездесущий дух операции... Не этот ли дух приносит тебе утешение и глубокий покой, которых прежде так недоставало? Да, сам дух операции вёл за собой, а ты был всего лишь его инструментом и делал то, что требовал он, — примерно вот так же, как ножницы или зажимы подчинялись тебе. Философ, возможно, сказал бы, что это был твой субъективный прорыв к объективности: когда ты отдал себя миру, а мир тебя принял, и вас уже было не разделить.

Пожалуй, именно это — глубокий покой, что порою приходит к хирургу, когда он оперирует, — и есть наивысшая из возможных наград. Уж конечно, не из-за денег и не из-за благодарных глаз пациентов мы терпим, выносим и делаем то, что мы терпим и делаем. Нет, наша награда куда драгоценнее: ведь только когда мы на операции почти исчезаем в самозабвенье работы, вот только тогда мы и чувствуем, как в полном смысле живём. Иными словами, мы вполне появляемся в мире, когда из него исчезаем; и когда ты почти растворился в этом во всём — в хлопанье, звяканье, скрипе и треске, в этих мышцах и жире, во всей бесконечно подробной конкретности мира, что лежит сейчас перед тобой, занимая так мало (но и так много!) места, — тогда начинает мерещиться, что с тобою, хирургом, уже ничего нельзя сделать. В том смысле, что ни время, ни старость, ни сама смерть уж не смогут к тебе подступиться, потому что всё это, во что ты сейчас погружён, началось много прежде тебя и продолжится даже тогда, когда и тебя самого уж не будет на свете.

### Осложнения

Груз осложнений, как реально случившихся, так и только возможных, нависает над каждым хирургом — и, естественно, над его пациентом, — грозой тяжёлой тучей. Можно сказать, что под ней, в ожидание грозы, и проходит вся наша жизнь; не это ли предгрозовое и почти непрерывное напряжение делает хирургический век столь коротким?

Причём ожидать осложнения психологически даже сложнее, чем действительно встретиться с ним. Особенно если хирург обладает достаточной живостью воображения, и к нему, как в ночном повторяющемся кошмаре, снова и снова приходят картины возможной беды.

В известном смысле хирургическое осложнение зарождается ещё до операции, которая станет ему очевидной причиной: хотя бы в виде предположений и опасений, в виде тревожных мыслей хирурга о том, что может случиться, если что-то пойдёт не так, и вместо того, чтобы двигаться к выздоровлению, пациент отправится в сторону, прямо противоположную.

Есть закономерность: чем сильнее тревожишься на самой операции, чем больше думаешь об осложнениях (которые существуют покамест только в твоей голове) — тем, как правило, реже они происходят в реальности. Как будто грозовым грозным силам, витающим над пациентом и доктором, бывает довольно твоих переживаний, и они, вполне насытившись ими, затем оставляют больного в покое.

Чего мы боимся — кто главные наши враги? Их не так уж и много, но каждый силен и коварен. Это кровотечение и нагноение раны, перитонит и несостоятельность швов. О каждом из них говорить можно долго — да уже и написаны горы специальной литературы, — и у каждого свой характер и нрав, свои сроки и свой возможный исход. И нередко приходится *брать*

пациента повторно — то есть предлагать ему ещё одну операцию. А это, поверьте, непросто. Он, бедолага, ещё и от первой-то операции не отошёл — страх, боль и слабость ещё слишком сильны, — а тут предстоит новое, и нередко более серьёзное, испытание. Никому не пожелаешь оказаться на его месте — как и на месте хирурга, который снимает со свежей раны свои же недавние швы.

Уж если первая операция была непроста, — а при простых операциях осложнения случаются редко, — то теперь она тяжелее втрое: и у больного осталось меньше резервов и сил, и у хирурга нет прежней уверенности, а значит, нет былой лёгкости, скорости, точности рук. Порой кажется, что повторную операцию выполняет другой человек, а вовсе не тот орёл и герой, что работал в этом же вот животе сутки-другие назад. И вообще, при нашей работе манией величия заболеть трудно: осложнения случаются у любого хирурга. И ещё: когда встречаешься с осложнением, понимаешь, как же всё-таки мало зависит от нас, докторов, и как многое определяется высшими, нам неподвластными силами. Назови их судьбой или роком, но именно эти незримые силы, в конце концов, и определяют, быть осложнению или не быть? Справится с ним человек или нет? И уйдёт ли он из больницы своими ногами, отблагодарив доктора коньяком, а сестёр — конфетами, или его повезут к жестяным дверям morga?

И, думаю, нет на свете хирурга, который не обращался бы к высшим силам с молитвой — особенно в тот драматический час, когда он оперирует осложнение. И пусть эти молитвы беззвучны и торопливы — пусть даже раскусок хирурга не сознаёт, о чём молится его сердце, но смысл этих молитв одинаков на всех языках и во всех странах мира. “Господи, — просит хирург, — только бы всё обошлось! Ты ведь знаешь, что мне одному, без поддержки и помощи свыше, не справиться. Помоги же — и мне, и больному, тем более что мы оба с ним — Твои дети!”

### Переливание крови

Кажется, я в самом деле могу писать мемуары: ведь за те сорок лет, что я провёл в медицине, она изменилась неузнаваемо, и сейчас даже трудно представить, какой была медицина прошлого века. Так, я застал ещё времена, когда практиковалось прямое переливание крови. И не просто застал, а участвовал в нём. Студент-шестикурсник, я занимался тогда на кафедре хирургии, где в реанимации оказался больной с тяжёлой кровопотерей. И как-то запросто преподаватель спросил нас: “Кровью поделиться хотите? У кого вторая положительная?” Я стоял в тот момент ближе всех к вопрошавшему — и потому меня выбрали для прямого переливания.

Тот, кого я спасал, оказался сильно пьяющим мужиком средних лет, и его кровопотеря была связана именно с пьянством: это называется синдром Малори-Вейса. Помню, как располагались наши с ним койки (меня уложили на соседнюю, пустовавшую), как падал свет из большого окна и как по пластиковой трубке капельницы моя кровь стекала в запотевшую стеклянную банку, стоящую на полу у кровати. Когда банка наполовину наполнилась, ее перевернули, подняли на штатив — и моя ещё тёплая кровь потекла в вену больного.

Тогда это казалось — и мне самому, и другим — совершенно простым и естественным делом. Подумаешь, эка невидаль: ну, сдал полкило крови, да и вернулся к занятиям. Голова, помнится, так приятно шумела, как будто я выпил стакан водки, и всё время хотелось смеяться.

Но сейчас, спустя тридцать пять лет, когда прямые переливания уже давно и строго-настрого запрещены, мне видится тот эпизод в каком-то особом и даже торжественном ракурсе. Ведь как ни крути, деюсь своей кровью, я делился в прямом смысле слова собственной жизнью. Хотел бы я, кстати, знать: как тот небритый мужик этой подаренной долей жизни распорядился? Хотя что тут гадать? Конечно же, пропил её, как пропил и всё остальное.

Донорство было любимым занятием студентов медицинского института. Тем, кто сдал кровь, полагалось освобождение от учёбы аж на два дня и ещё

выдавались талоны на обед в ресторане — неплохая приманка для наших вечно голодных желудков. А запас крови — как и запас вообще жизни — в каждом из нас казался неисчерпаемым; поэтому на потерю каких-то пяти-сот граммов даже не обращали внимания.

Станция переливания крови располагалась неподалёку от нашего общежития, и туда добирались обычно пешком: мимо старого польского кладбища и костёла, а затем мимо готических зданий больницы Красного Креста. И первое, что ощущалось, когда ты входил в двери станции переливания, — это то, что здесь жарко, как в бане. Видимо, так полагалось, чтобы доноры не зябли и не простужались; как полагалось и переодеться в просторные полотняные штаны и рубахи. И в самом деле: не пачкать же кровью собственную одежду?

А когда ты поднимался по железной лестнице на второй этаж, усаживался к одному из окошек в прозрачной стене и просовывал в него свою голую руку, наступал момент странного отчуждения от себя самого. Словно ты — уже и не вполне ты, а всего лишь ходячий источник донорской крови: так бесцеремонно сестра хватала и выворачивала твою руку, так грубо и туго перехватывала жгутом, звонко шлёпала ладонью по локтевому сгибу и не просто прокалывала твою вену, а словно нанизывала тебя, как шашлык на шампур, на толстенную, с хрустом втыкающуюся иглу. Неудивительно, что у тебя по всему телу бежали мурашки, а кое-кто даже падал в обморок, — и резкий запах нашатырного спирта, ватку с которым то и дело подносили кому-нибудь к носу, был смешан со сладким и приторным запахом крови.

Кровь царилась здесь повсюду. И в стеклянных банках-флаконах, и в пластиковых корзинах, в которых эти флаконы переносили, и в трубках систем для донорского забора, и в пробирках, и в центрифугах, и на кафеле пола (правда, эти кровавые брызги старались быстрее подтереть), и на тех агитационных плакатах, где в окружении символических алых капель сияли счастьем и гордостью лица доноров. Казалось, стоит открыть кран над фаянсовой раковиной, и из него тоже потечёт не вода, а густая и тёплая кровь.

Как ни странно, этот мир крови казался как-то по-особенному уютен, и не хотелось быстро его покидать, даже когда свою дозу ты уже сдал и её унесли куда-то в корзине вместе с десятками прочих тёмно-вишнёвых запотевших флаконов. Оттого ли, что здесь было тепло, или оттого, что взад и вперёд непрерывно сновали молодые медсёстры всё в таких же просторных штанах и рубахах, что были на донорах, — рубахах, позволяющих видеть их соблазнительные тела, — ты, присевший на лавочку возле стены, мог долго-долго, в каком-то блаженном оцепенении наблюдать жизнь станции переливания крови.

Впереди, впрочем, было тоже немало приятного: например, обед за донорские талоны. Тогда доноров кормили в “Смоленске”, одном из центральных городских ресторанов. Впрочем, ресторанный обед был, конечно, простым — трюфелями и устрицами нас не баловали, — но вкусным и сытным. И мы выходили из ресторана совсем уже осоловевшими, и видели город, шумевший вокруг, изменённым и сонно-благодным взглядом. И этот дремотный и медленный взгляд удивительно подходил дремотной эпохе застоя, в которой мы жили. Можно даже сказать, что мы вполне совпадали с эпохой, лишь когда сдавали кровь и словно бы укрепляли энергией собственной жизни и юной крови тот разрушавшийся мир, который и породил-то нас, может быть, только затем, чтобы мы стали донорами и по мере сил поддерживали его обветшалую дряхлость. И всё, что нас там окружало, — и площадь Смирнова, и кинотеатр “Октябрь” с его псевдоантичной колоннадой, и часть старой смоленской стены времён Годунова, и лязгавший по рельсам красный трамвай — всё виделось как бы в тающем сне, сквозь пелену то ли сытости, то ли кровопотери, то ли смутной догадки о том, что весь мир, окружающий нас, уже исчезает и скоро исчезнет совсем.

### Пищеблок

Некогда, в приснопамятные времена, в больницах бытовало понятие: снять пробу. Старший дежурный врач был обязан спуститься в пищеблок (расположенный всегда на первом этаже, как бы в трюме больничного корабля),

первым отведать блюда, приготовленные для больных, сделать запись в бракеражном (вот интересное слово!) журнале, и лишь после этого позволялось разносить пищу по отделениям — причём разносить в эмалированных вёдрах с пометками краской на их боках: “пер.”, “втор.” или “компот”.

А в нашей больнице снятие пробы превращалось в полноценный обед для дежурной бригады. Больше того: отчасти из-за этих больничных трапез многие из нас так любили дежурства, во время которых, кроме рабочего зуда в руках (а что ещё нужно молодому хирургу, как не операции, идущие одна за другой?), можно трижды в день утолить и молодой голод. А один из наших врачей, пожилой одинокий анестезиолог, так прямо и говорил: “Я дежурю по воскресеньям ради горохового супа”. Действительно, ради больничного наваристого супа можно было не только дежурить, но и, пожалуй, отдать первородство, как Исава ради миски чечевичной похлебки.

И вот мы всей бригадой, состоявшей из четырёх человек, спускались по лестнице из ординаторской навстречу густым сытным запахам, поднимавшимся из пищеблока. Пахло то жареной рыбой, то тушёной капустой, то легендарным гороховым супом, то щами, то чем-то ещё; но всегда эти запахи гасили во мне тревогу и напряжение, что, словно тлеющий уголь, жгут душу во время дежурства.

В самом пищеблоке было сумрачно, душно и сыро. Ну, ещё бы: на газовых плитах бурлили полные супа кастрюли, шкворчали жаровни, чад и пар поднимались клубами, и бабы в халатах, надетых на голое тело, сновали меж плит и кастрюль со своими шумовками и черпаками. Поварихи напоминали привидения, смутно белевшие в сумраке кухни и колдовавшие в этом угаре над каким-то таинственным зельем. Много из того, что мы видели в пищеблоке, могло бы напугать и смутить незнакомого человека. Так, созерцание груд синеватых головастых цыплят с длинными шеями, сваленных прямо на пол в углу, вряд ли прибавило бы кому-либо аппетита, особенно когда повариха хватала за глазастые головы сразу полдюжины этих птичьих полускелетов, выдёргивала их из хлюпавшей кучи и бросала в кастрюлю. Или коробки с мороженой рыбой, которая смёрзлась пластинами: повара разбивали их, швыряя красными руками прямо на мокрый кафельный пол, отчего по всей кухне разлетались осколки серого льда.

Но у меня пищеблок вызывал восхищение. Во всём этом сумраке и духоте, в грубых запахах, в зычных возгласах поварих, всегда взмокших и краснолицых, — во всём этом было столько жизненной силы и правды, что визит в пищеблок возвращал мне желание жить и работать. Воистину, здесь было словно машинное отделение больничного ковчега; и как кочегары швыряют лопатами уголь в гудящие топки, так поварихи, колдуя у плит и кастрюль, держали больничный корабль на плаву и ходу.

Нас кормили в бытовке, комнатке справа от входа. Теснясь, мы усаживались за стол, накрытый синей клеёнкой с порезами от хлебных ножей, и, как по волшебству, перед нами появлялась тарелка с хлебом и четыре миски с дымящимся супом. “Ешь — потей, работай — зябни!” — восклицал кто-нибудь из врачей, и каждый из нас погружался в свою суповую тарелку, забывая про всё на свете, кроме вот этого упоительно вкусного варева. А как только мы выныривали из опустевших тарелок, доскребая остатки со дна, отдуваясь и отирая вспотевшие лбы, перед нами оказывалось “второе”. Но его мы поглощали уже не спеша — суп утолил первый голод — и могли вполне, с расстановкой и чувством, насладиться или жареной рыбой с картофелем, или котлетами с сочной тушёной капустой, или гуляшом, мучная подлива которого была так вкусна, что с ней, по присловью, можно съесть даже подметку. При всей простоте кулинарных приёмов и при огромных объёмах приготовляемой пищи — накормить нужно было несколько сот человек — больничные повара сотворяли шедевры. То ли они в самом деле были настолько талантливы и добросовестны — то ли влияла атмосфера больницы? Голод — лучший повар, говорят французы; а мы можем добавить: близость болезни и смерти — такая приправа к любому блюду, что оно становится особенным, незабываемым и неповторимым.



Наедались мы до полуобморока. Не то что взобраться по лестнице на четвёртый этаж, но и просто-напросто встать из-за стола казалось невыполнимой задачей. Осоловевшие, мы еле-еле, держась за перила, задыхаясь и сыто икая, кое-как поднимались к себе в ординаторскую и валились там, кто куда мог: на диван, на кушетку, на кресла. Казалось, сейчас даже под угрозой расстрела никого не заставить что-либо делать: у тех, кто лежит по диванам и креслам, не осталось ни воли, ни сил.

Но жизнь любит шутить свои грубые шутки. Почему-то вот именно после обеда, когда всего лишь мысль о работе в операционной вызывала тоску и протест, — поступали больные, которых нельзя отложить даже на пару часов: “скорая” обязательно привозила или ножевое ранение, или ущемлённую грыжу, или прободную язву. И я на своём опыте знаю, что, кроме трёх общеизвестных наказаний для доктора — замечание, выговор и увольнение, — есть и такое, особенно изощрённое: идти оперировать в послеобеденный час.

Хотя, с другой стороны, пересилив дремоту и вялость во всех членах тела — ломая себя, что называется, через коленку, — мы могли оставаться худыми, поджарыми, лёгкими даже после непомерных больничных обедов. Через полчаса работы в операционной сытой вялости как не бывало — разве что пот прошибал в напряжённые моменты сильнее обычного, и чем ближе был конец операции, тем чаще нас посещала приятная мысль: интересно, а что будет сегодня на ужин?

### Приёмный покой

Пожалуй, только в насмешку можно назвать это место покоем. Сюда днём и ночью везут и везут больных — причём тех, с которыми срочно нужно что-то решать и делать. Даже в официальных документах, говоря о работе приёмного отделения, пишут: “Поток больных”. Полностью не иссякает он никогда, но в иные часы и дни становится особенно бурным и многолюдным.

Вот, скажем, пятница, время после обеда. Все, кто работает в приёмном, знают: в эти часы начинается “сброс”. То есть из всех больниц города (главным образом, терапевтических) будут направлять к нам самых тяжёлых больных, чтобы они не оставались обузой и головной болью на выходные дни для дежурных терапевтов. Их, терапевтов, тоже можно понять: что им делать с умирающим человеком без круглосуточной лаборатории и полноценной реанимации? Вот и везут, одного за другим — порой безо всяких звонков-согласований, с наспех нацарапанным направлением и с диагнозом, что называется, высосанным из пальца, — лишь бы сбить с рук тяжёлого пациента. И в приёмном порой возникает настоящий затор из каталок, подобный дорожной пробке в час пик: больные стонут, а кто-то уже агонирует, санитарки ругаются, возмущённые родственники требуют немедленно оказать помощь их близкому — и всё это, взятое вместе, образует поистине душераздирающую картину.

Допустим, что этот затор, как у нас говорят, “разгребли”: кого-то подняли в реанимацию, кого-то положили в одно из клинических отделений, кого-то отправили назад, не найдя у него хирургической патологии, — и у сестёр с санитарками появилась возможность немного передохнуть. Но пятница не кончается “сбросом” из городских больниц. Все знают: к вечеру жди поступлений из иных мест — из ресторанов, ночных клубов или прямо с городских улиц. Ведь город, как правило, пьёт-гуляет и всячески отдыхает как раз по пятницам — и в это время чаще случаются дорожные происшествия, пьяные драки, семейные ссоры и прочие безобразия. И всем жертвам бурных пятничных вечеров — прямая дорога в наше приёмное отделение. До поздней ночи, а то и до субботнего утра сюда будут попадать то обкуренная молодёжь, то жены, до полусмерти избитые мужьями, то пьяные в стельку мужья, отделанные сквородками жён, то порезанные ножами, то выпавшие из окон, то напившиеся какой-то отравы, — словом, те, по кому жизнь прошла своим беспощадным катком. Поэтому никто и не любит дежурить по пятницам: со слишком грубой изнанкой жизни придётся

столкнуться. И порою не то что прилечь отдохнуть, но и спокойно переку-сить тебе не дадут.

А суббота наполняет приёмные последствиями пятничных злоупотреблений. Это и панкреатиты-холециститы после обжорства, что люди позволили себе накануне, и кишечные непроходимости, и задержки мочи после неумеренных возлияний. И опять приёмное отделение полно нервозности и суматохи. Кто-то стонет, кто-то кричит от боли, кто-то, побелев, как простыня, сполз по стене и теперь лежит без сознания, кто-то требует, чтобы его осмотрели без очереди, — и со всеми этими людьми надо немедленно что-то делать. Ещё хорошо, что в восемь утра заступила свежая смена и у медиков есть запас нервов и сил, которого, надо надеяться, хватит на сутки.

А чем же наполнено здесь воскресенье? Воскресенье в приёмном отмечено не только срочными больными, что поступают более или менее постоянно, — но и дачными травмами. Ведь дачников в нашей стране всё ещё много; и хотя они пожилые, как правило, люди, но работают часто с таким молодым азартом, что или сорвут себе спину, или уронят что-нибудь на ногу, или, не дай бог, попадут под цепь бензопилы или под воющий диск болгарки. Этим геройским пенсионерам тоже нередко приходится оказывать помощь в приёмном; но, конечно, общаться с достойными и терпеливыми стариками много приятнее, чем с хмельной, бестолковой и наглой пятничной публикой.

И вот так каждый день: он чем-то и отличается от остальных, но и похож на все прочие дни тем непрерывным потоком больных или раненых, что видят здешние стены. В приёмном почти всегда беспокойно и шумно, на стульях вдоль стен сидят больные и их родственники, снуют лаборантки, врачи, санитарки и сёстры, гремят, проезжая, каталки, а если вдруг коридор приёмного и опустеет, то все знают, насколько обманчива здешняя пустота и кратковременна тишина.

Но в приёмном помимо работы, которая не стихает ни ночью, ни днём, происходит ещё одно: тут испытывается человек. Речь даже не столько о больных, которым, понятно, приходится очень несладко и которым порой нужна вся их воля и выдержка, сколько о тех, кто трудится здесь. Потому что во всех этих криках и столах, и неизбежных ссорах-скандалах, среди этих луж крови, рвоты, мочи (а для приёмного это обычное дело) видишь такую грубую и неприглядную сторону жизни, что очень непросто сохранить уважение и любовь к людям. Это место, словно нарочно созданное для безнадёжного мизантропа: уж здесь-то он точно найдёт основания для неприязни и даже презрения к человеку.

Но, как ни странно, я знал немало отзывчивых, добрых людей, в основном женщин, кого несколько не пачкала грязь, окружавшая их в приёмном. Санитарки и сёстры, которые день изо дня и из ночи в ночь перетаскивали, раздевали и обмывали тела, ставили клизмы и промывали желудки, остригали кишасщие вшами лохмы бомжей и уворачивались от рвотных фонтанов, терпели проклятия и оскорбления, — они, несмотря на всё это, оставались людьми и встречали всех, кто входил сюда (или въезжал на каталке), не гримасой брезгливости, а сочувственным взглядом. Неужели и впрямь родники милосердия неисчерпаемы, и доброта есть глубинное и изначальное свойство людей?

## Разрез

Что испытывает хирург, когда он разрезает живого лежащего перед ним человека? Я сам много раз слышал этот вопрос, много раз — всё как-то шутя и небрежно — на него отвечал; но это были, скорее, попытки уйти от ответа. Ведь на самом-то деле дерзость вот этого жеста — взять скальпель и, вжав его в кожу больного, провести по ней линию, которая раскрывается в кровотокающую щель, — мало с чем может сравниться. Даже интимная близость — когда мужчина входит внутрь женщины — нарушает куда меньше границ и запретов. Рассекая чью-либо кожу, а следом за ней, слой за слоем, ткани и органы, что расположены глубже, мы входим в святая святых,

вторгаемся в тот сокровенный внутренний мир, который обычно закрыт не только для посторонних, но и для самого человека.

И вот только сейчас, когда я не оперирую, а лишь представляю себе операцию, и рука моя держит не скальпель, а авторучку, мне начинает приоткрываться метафизика действия под названием “разрез”. Что происходит сначала, ещё до того, как хирург занёс скальпель над спящим больным? Думаю, что не только в моём восприятии, но и в глазах любого хирурга окружающий мир начинает стремительно сокращаться, сжимаясь до очень малых размеров, а именно до размеров операционного поля, что лежит пред тобой в обрамленные стерильных пелёнок. И разум, и чувства хирурга устремлены к этому малому полю, как к устью незримой воронки, в которую вместе с ним словно скользит и весь окружающий мир. В мире больше не остаётся ни людей, ни предметов, ни городов, ни морей, ни горных хребтов; не остаётся ни будущего, ни прошедшего, а есть лишь конкретность вот этого влажно блестящего прямоугольника кожи. И когда астрофизики нам говорят о сжимающейся Вселенной, мне легче всего представить сей невообразимый процесс, вспоминая своё состояние, много раз пережитое за секунды перед разрезом.

Сейчас ты в самом узком месте незримой воронки: скальпель сверкнул, отражая свет лампы, и его лезвие погрузилось в податливо-вялую кожу. И вот поразительно: как за лезвием скальпеля кожа расходится надвое, словно испытывая при этом долгожданное облегчение, так и в тебе, ощущающем это её расширение, тоже что-то освобождается и расширяется. Мир, только что становившийся меньше и меньше, тесней и тесней, вдруг, пройдя через самое узкое место, начинает опять усложняться и делаться больше. С каждым слоем, что ты преодолел, с каждой мышцей, что ты расслоил, и с каждой фасцией, что ты рассёк, разрез становится не просто глубже, но обретает и новое качество: он расширяется в некую внутреннюю бесконечность. И ты понимаешь, что у неё, этой новой, открывшейся сквозь щель разреза вселенной нет ни дна, ни границ — неважно, что весь твой разрез можно закрыть ладонью. Думаю, с выходом в космос это событие — то есть разрез — вполне можно сравнить. Даже внешне хирурги — особенно если у них перед лицами не просто маски, а защитные пластиковые щитки, а на головах закреплены микроскопы или налобные фонари, — чем-то напоминают космонавтов. Да и оснащение современной операционной мало уступит космическому кораблю. Ещё, шутки ради, добавим, что именно гагаринским “Поехали!” большинство хирургов и предваряют разрез — так что от космических сопоставлений нам никуда не уйти. И хотя внутренность хирургической раны мало напоминает звёздное небо, но бездонность и неисчерпаемость космоса под названием “человек”, в который мы с вами сейчас вошли (или, лучше сказать, вышли?), уверен, сравнимы со сложностью целой Вселенной.

Разумеется, на самой операции подобные высокопарные мысли в голову никогда не приходят: внимание доктора обращено на конкретное и единичное. “Сделать так — или эдак? Можно ли здесь ещё чуть рассечь — или лучше не рисковать?” — вот примерно каковы торопливые мысли на операции. Но всё равно — шестым ли чувством, спинным ли хребтом — каждый хирург ощущает, что сейчас происходит нечто особенное. Иначе не частило бы так его сердце, когда ножницы с хрустом секут непонятные ткани — то ли рубцы, то ли что-то ещё? — и не выступали бы зёрна пота на лбу в тот момент, когда из раны выпрыгивает струя крови...

### Реанимация

Произнося вслух или мысленно “реанимация”, мы можем иметь в виду два смысла этого слова. Или “возвращение к жизни” (как оно и переводится) — или то место, где это возвращение обычно происходит: реанимационное отделение. Писать о самой сердечно-лёгочной реанимации как о процессе меня что-то не тянет: мой врачебный цинизм не распространяется до того, чтобы живописать на этих страницах грубые и неопрятные подробности смерти. Кто их знает, тот знает; а большинству, Бог даст, не придётся с ними столкнуться — или, уж если придётся, так только единственный раз.

А вот написать об отделении реанимации я попробую. Оно в нашей больнице расположено на шестом этаже: достаточно высоко, чтобы небесные ангелы, оберегающие людей, могли без помех опускаться к ним и участвовать в споре жизни со смертью. Конечно, этот спор происходит везде, постоянно и непрерывно; но в реанимации ты, случается, словно слышишь гул боевых действий: вздыхают дыхательные аппараты, тревожно пищат мониторы, стонут и бредят больные, перекрикиваются врачи, снуют сёстры, порой ударяют разряды дефибрилятора — и, если прикрыть глаза, вполне можно представить, что ты оказался на передовой, посреди рукопашного боя. Но если даже в реанимации более или менее тихо и никто вот в эту самую минуту не умирает, всё равно атмосфера здесь напряжённая. Она одновременно гнетущая и возбуждающая, полная осязаемым присутствием смерти — и горячим дыханием жизни. Так, возможно, в приговорённом, которого выводят к расстрельной стене или на эшафот, тоже лихорадочно обостряется чувство жизни (которой остались считанные минуты), как оно обостряется и в отделении реанимации, где смерть стоит всегда рядом и словно внимательно смотрит на тех, кто приблизился к ней.

Давно замечено, что сёстры в реанимации — самые шустрые, сообразительные и языкастые из всех медсестёр. Унылых и вялых, нерасторопных, да и просто грустных как-то не видишь (может, они изредка и залетают сюда, но не задерживаются); здесь, если и обратишься к сестре с какой-либо просьбой или вопросом, так будь уверен: тебя встретит смыслённый, живой, ироничный взгляд, и ответом на твой вопрос будет или короткая точная реплика, или быстрое действие. Что-то подать-принести, кого-то позвать, показать результаты анализов или измерить давление — это всё исполняется в реанимации много быстрее, чем в прочих местах. Как будто важнейшим из средств, каким здесь пытаются спорить со смертью, являются не лекарства, не капельницы и не дыхательные аппараты, а энергия жизни, которой полны молодые медсёстры.

И они почти всегда привлекательны — в самом прямом, эротическом смысле. Пусть они даже и не эталонно красивы — гламурным девицам здесь делать нечего, — но мало кто сравнится с реанимационной сестрой, когда она, разгорячённая суестью возле тяжёлого больного, откинет тылом ладони прядь с покрасневшего лба, поправит сбившуюся бретель лифчика и бросит на тебя, доктора, вызывающий взгляд.

Вы, может быть, скажете: здесь, где люди прощаются с жизнью, не место рассматривать прелести медицинских сестёр. Напротив, самое место. Уж если где Эрос и должен встать в полный рост, так это в реанимации, где мы так явственно слышим тяжёлую поступь Танатоса. И в кого ему, Эросу, тут воплотиться, как не в этих вот расторопных, смешливых, понятливых девушек, которых так и хочется шлёпнуть по вёрткому заду или прихватить за упругую грудь?

Я, кстати, не один такой сексуальный маньяк. Не раз приходилось мне слышать от тех, кому довелось полежать на реанимационной койке, но всё-таки выжить, что одним из самых острых желаний для них, уже находившихся в шаге от смерти, было схватить грудь сестры, которая наклонилась над ним, чтобы сделать укол. Желание это было столь сильным, что ему даже не требовалось подкрепления действием — рука больного оставалась лежать на кровати, — но, возможно, энергия именно этой волны эроса, нахлынувшей на умирающего, и выносила его обратно на берег жизни.

А ещё я, когда был помоложе и когда дежурства были спокойнее, чем теперь, любил подниматься в реанимацию на полночный ужин. Вся бригада — врачи, санитарки и сёстры — ровно в полночь старались собраться в “кормушке”, комнате с плиткой и длинным столом. Как раз к этому времени обычно бывали выполнены все назначения, и если не поступали тяжёлые больные, можно немного расслабиться и перекусить.

Выкладывали на общий стол, что у кого имелося. Сёстры приносили какую-нибудь немудрёную домашнюю снедь — картошку и сало, солёные огурцы и варёные яйца, а мы, хирурги, выставляли бутылку-другую спиртного. По разномастным чашкам разливали коньяк, по разнокалиберным тарелкам

раскладывали закуску — и в итоге стол выглядел так живописно, что хоть пиши натюрморт. Скоро горячий глоток коньяка распускался в груди, как цветок, а сало с картошкой, которые ты усердно жевал, наполняли желудок и заглушали тревогу, что тлела в душе. Ты становился спокойнее и веселее и любовался порозовевшими от спиртного медсёстрами. Взрывы общего смеха то и дело оглашали застолье, причём поводом для ночного веселья служила, как я понимаю теперь, не просто чья-нибудь шутка или потешно рассказанная история, но само согревавшее всех ощущение того, что мы живы и молоды, что в нас кипит запас ещё не растроченных сил, и даже сутки тяжёлой работы так и не смогли нас укатать. Если ночь тёплая, то распахивали окно, и те, кто курил, с наслаждением затягивались сигаретами.

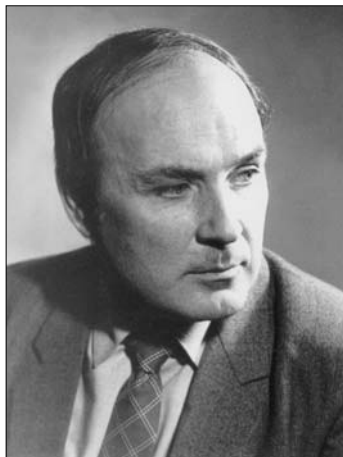
И вот, сколько ни видел я в жизни застолий — а уж, слава богу, поел и попил я довольно, — ни одно из них не сравнится по живости и живописности с теми пирами в полночной реанимации. В клубах дыма картинно и вольно — нога на ногу, сигарета в руке — сидели медсёстры; молодые врачи, раскрыв рты, слушали бесконечные байки, что травят им ветераны больницы, а за окном, в тёплой летней ночи горели огни бессонного города.

И этим ночным пирам ничуть не мешало соседство болезни и смерти: наоборот, оно-то и сообщало всему особую ценность. Именно вызовом ей, незримо бродящей по реанимации старухе с косой, являлись и взрывы общего хохота, и эти колени сестёр, на которые нам, молодым докторам, уже было трудно смотреть без волнения, и завитки сигаретного дыма над длинным столом, и гул разговоров, и тёплая ночь, и горящие в ней городские огни.

А незримая смерть, что смотрела на нас, — конечно, она ревновала и злилась. Недаром из зала реанимации, где всегда оставалась с больными одна из сестёр, порою мы слышали крик: “Остановка!” И сигареты тотчас летели, как красные мухи, в окно, гремели — порой даже падали — стулья, и все дружно бежали к тому, кто только что умер: а вдруг его ещё можно отнять у ревнивой старухи и вернуть в эту тёплую, нежную ночь?

*(Окончание следует)*

РУДОЛЬФ ПАНФЁРОВ



## СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ

\* \* \*

Есть в России свои преимущества:  
Снег имперский, крещенский мороз,  
Сопряжение воли и мужества,  
На терпенье особенный спрос.

Ну, а ежели ты от усталости  
Возопишь, что Господь не помог,  
То поможет тебе даже в малости  
Русской жизни сквозной холодок.

\* \* \*

Откроем наш северный рай,  
Надежды последний рубеж.  
Арктический воздух вдыхай,  
Что небом настоян и свеж.

Вы все к нам придёте сюда,  
Гордыню зажавши в горсти,  
Былых мастодонтов стада  
Вам в тундре придётся пасти.

---

*ПАНФЁРОВ* *Рудольф Васильевич* родился в г. Тюмени. С 1947 года живёт в срединной России. Работал на заводе, служил в армии, с 1963 г. профессиональный журналист: корреспондент, главный редактор и председатель облтелерадио. Издал восемь книг стихов и сборник публицистики. Член Союза писателей СССР и России, заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Калуге.

Настанет решительный час,  
Раскрыт ледоколом наш путь.  
Здесь каждая льдина — алмаз,  
Его первозданная суть.

Здесь карту сверяет компас,  
Здесь полюс — на нём удалцы,  
Здесь север приветствует нас,  
Не зная тлетворной гнильцы.

Здесь вас не согреет Гольфстрим,  
Здесь сердце страшит холодок,  
Здесь царствует русский экстрим  
И в этом бессмертья залог.

\* \* \*

Рано утром в ставень постучали  
Кто-то крикнул:

“Кончилась война!”

Мы и не поверили вначале —  
Слишком долго мучила она.

Мы и боль, и голод —  
Всё стерпели,  
Но нагрязнул тот заветный час —  
И неудержимое веселье,  
Словно гром, обрушилось на нас.

Патефон заводят у соседа,  
Закачалась музыки волна.  
Кто-то крикнул: “Вот она, победа!”  
Все вздохнули — кончилась война.

## ВОСПОМИНАНИЕ МЕДСЕСТРЫ

Всё помню, как было: зима и блокада,  
Боль не чужая, сквозная — своя,  
Мне страшно, и я повторяю слова:  
“Скальпелем проще — выхаживать надо”.

Стоны и боль, бессилье и смерть,  
Только бы к этому вдруг не привыкнуть,  
Уйду из палаты и хочется крикнуть,  
И скажет главврач мне сурово: “Не смей,

Мария, запомни, слова — не бравада  
К боли рукой прикоснись, полюби,  
Если устала, молчи и терпи,  
Скальпелем — легче, выхаживать надо”.

Сил больше нет на бессилье смотреть,  
Утром обход и лекарство привычно,  
Вдруг безнадежный попросит: “Сестричка,  
Поговори, подойди посидеть...”

Есть в нашем деле святая отрада,  
Боль не чужая, сквозная — своя.  
Нет, никогда не забуду слова:  
“Скальпелем — легче, выхаживать надо”.

ИВАН ВОЛОСЮК



## ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КАЗИНЦЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

\* \* \*

Что красота сидит в глазу,  
не объяснят нам и за деньги.  
Так генерал гулял в саду,  
где вишни стали в две шеренги.

Там не было ни певчих птах,  
ни мелкой божией коровки,  
а только пятна на крылах,  
удобные для маскировки.

В земле чужие к нашим льнут,  
для мёртвых больше нет устава,  
а он спокойно ходит тут,  
где лёгкий свет и воздух алый.

---

*ВОЛОСЮК Иван Иванович родился в Дзержинске Донецкой области в семье шахтёра. Выпускник русского отделения филологического факультета Донецкого национального университета. Публиковался в журналах "Знамя", "Наш современник", "Дружба народов", "Нева", "Волга", "Новая Юность", "Юность", "Москва", "Новый берег", "Интерпоэзия" и др. Участник ряда форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Дипломант Международного литературного Волошинского конкурса. С недавнего времени живёт в Подмосковье.*



\* \* \*

Мой мёртвый “Дрезден”, мой “Нью-Йорк” в аду,  
растасканный на мировые нитки,  
куда живым я вряд ли попаду,  
а мёртвому везде земли в избытке.

Там прут медяху, волокут чермет,  
то просто так не любят, то за форму,  
там человек рождается на свет  
и техникум заканчивает горный.

Там до такой доходят глубины,  
что с небом горизонт никак не связан,  
а на отвалах шахтных бурьяны  
пускают корни, словно метастазы.

Там сто недостижимых тонов  
соединялись в праздничную серость,  
там голос повторял: “We Need To Know”\*,  
а я не знал — и мне и не хотелось.

\* \* \*

“Ты должен жить”, — сказали доктора  
и оплели пространство проводами,  
на свет слетались тонкие тела,  
и музыка вдогонку мне плыла  
про то, что будет с родиной и с нами.

Что в мёртвой голове и что кругом  
фотонный гул и межпланетный гогот.  
Но рыба оживает подо льдом,  
как титры в “Звёздных войнах”, в окоём  
идут стихи про тайну и про ноготь.

Всё прожитое сузится в ничто,  
там с Фёдорова спросят — не с меня же,  
зачем смотреть в подкупольном кино  
координаты мира, грязь его,  
его самоубийственную тяжесть?

\* \* \*

*Из Бориса Олейника*

В Полтаве-граде лето бабье,  
В Санжарах — глушь и листопад,  
К чему дурачиться? Я рябью,  
Я тенью стал сто лет назад!

И вот бегу — мне горя мало,  
Чеканя искры дней ногой.  
Ты Ворсклой мне закольцевала  
Весь мир, всё смерила водой!

---

\* “Нам нужно знать” (англ.).

Но я не камень, ты не ива,  
А значит, объяснить могла,  
Зачем река нас разделила,  
Тоской раздвинув берега.

Ко мне голубка прилетала,  
Но я не протянул руки.  
Ты Ворсклой мир околдовала,  
И жизнь моя — на дне реки.

ИГОРЬ ЧИРКУНОВ



## ВЫЖИВАЛЬЩИК

ПОВЕСТЬ

Лес

— Почти дошли. — Рослый заросший щетиной парень, вышедший на край речного обрыва, оглядел открывшуюся перед ним перспективу бескрайнего леса, ещё раз сверился с компасом, несколько минут разглядывал карту, поворачивая её так и эдак. Потом снова обратился к своей спутнице: — Никогда с Владом не думали, что придётся топтать пёхом от самого города. План был доехать до дедова кордона, оттуда всего два часа ходу. — Он погрузился, помолчал. — Кто ж знал-то?

— Тёма, нам ещё долго до твоего бункера? — устало вздохнула спутница, невысокая худенькая девушка, в таких же, как у него, берцах и горном костюме, в просторечии — горке, но с гораздо меньшим рюкзаком, из-под камуфлированной кепки выглядывает пук светлых волос.

— Нашего, Светик. Теперь — нашего. Думаю, часа за три дойдём, считай, мы уже в безопасности.

— Давай отдохнём, а? Ног не чувствую, и спина просто отваливается

Парень с нежностью провёл тыльной стороной кисти по её щеке.

— Устала, малышка? Тогда, конечно, полчаса-час теперь роли не сыграют. — Он принялся растёгивать пряжки здорового станкового рюкзака. — Надо было со мной в походы ходить, — добавил другим, беззлобно-ироничным тоном, — сейчас бы так не выматывалась.

---

*ЧИРКУНОВ Игорь Валерьевич родился в 1971 году в Подмосковье. Окончил Университет Российской Академии Образования по специальности "Психолог-консультант в социальной педагогической сфере". Работал психологом в наркологии. В настоящий момент занимается организацией и проведением обучения в коммерческих организациях. Дельтапланерист.*

— Надо, — выдохнула девушка, оперлась рюкзаком на ближайшее дерево, да так по нему и съехала на корточках. — Но кто ж вас, выживальщиков, всерьёз-то воспринимал?

Артём, уже избавившийся от своей ноши, подошёл, заботливо расстегнул грудную и поясную стяжку, освободил её плечи от лямок, помог вытянуть ноги. Предложил коврик из вспененного материала:

— Пенку подстелить?

Света помотала головой.

— Ну хорошо, отдыхай. Сейчас кашу сварганю и кофейку.

Он поцеловал её, сделал шаг в сторону, но глухие всхлипы заставили обернуться. Девушка закрыла лицо руками, плечи начали подрагивать.

— Господи, как же жить дальше?

Парень подсел рядом, прижал к себе, снял с её головы кепку и принял ласково гладить по волосам.

— Надо просто жить, раз уж повезло. Просто жить.

## Город

Совсем недавно, буквально пять дней назад Артём и Света жили в большом промышленном городе. За полмиллиона жителей, несколько крупных предприятий, деловой центр с высотками из стекла и бетона. Стихийные митинги, скачущая и скандирующая молодёжь. Местные и заезжие: то ли правдорубы, радеющие за народ, то ли негодяи, пытающиеся на мутной волне въехать во власть. А может, и просто фрики да городские сумасшедшие. Если верить телевизору — одно, если интернету — другое, а послушать народ в очередях — третье. Полиция, разгоняющая митингующих, задержанные, постящие фотки в инстаграмм из автозаков. Матерящиеся на всех муниципальные службы, убирающие мусор после подобного веселья.

Одним словом, последние годы в городе шла нормальная, цивилизованная жизнь. Сквозь хаос местных новостей прорывались новости международные, обозреватели обещали скорейший мировой коллапс. Добавляли жару экологи, рассказывающие о надвигающейся катастрофе. Тут и химический завод, построенный ещё во времена оные, который уже дважды исчерпал свои ресурсы, и нефтеперерабатывающий завод, недавно сданный в эксплуатацию с вопиющими нарушениями технологий.

Горожане давно привыкли, что живут буквально за день до конца света, который только по недоразумению никак не настанет, и занимались своими обычными делами. Никто даже не удивлялся, что, обсудив в курилке очередные рассуждения очередного эксперта, абсолютно достоверно доказывающего, что конец света — завтра, ну, край — на следующей неделе, и придя к выводу, что на сей раз этот специалист действительно прав, начинали обсуждать следующий посевной сезон, кто куда поедет в отпуск или куда отправить детей учиться.

Впрочем, не все были так беззаботны. Некоторые, снисходительно поглядывая на беспечных земляков, готовились. К чему? Иные и сами не знали. К отключению электричества, землетрясению, гражданской войне с погромами, ядерной зиме, зомби-апокалипсису, нашествию инопланетян. Одним словом — к худшему, в чём бы это ни проявлялось. Одни затаривали тонны гречки с макаронами и тушёнкой, скупали коробками соль и спички. Другие готовили тревожный чемоданчик, или, что практичнее — рюкзачок, который в час X можно быстро схватить и бегом — выживать. Третьи получали лицензии на охотничье оружие и вооружались на все деньги, разумно полагая, что в условиях глобального катаклизма при отсутствии институтов правопорядка лучше иметь под рукой огнестрельные аргументы. Особенно в ситуации, когда к тебе ломятся зомби. Ну, или банальные бандиты.

Каждого такого готовящегося или считающего, что он готовится, можно было легко опознать по EDC-набору (от английского Every Day Carry — “носить каждый день”). Впрочем, канонического варианта также не было: кто-то ограничивался фонариком и перочинным ножиком. У других этот набор с трудом вмещался в небольшой рюкзак.

Но, конечно, вершиной в подготовке был бункер. О, этот бункер! Мечта! Место, где можно наглухо затвориться от разгула радиации, шастающих по лесам боевых марсианских треножников или шаек мародёров. Пусть весь мир катится в тартарары, обитатели бункера смогут жить припеваючи. Пока не кончится запас продуктов.

Сами себя эти ребята называли “выживальщиками” или “сурвивалистами”, на английский манер. Ведь они собирались выжить в будущей катастрофе, которая вот-вот наступит.

Артём, хоть и являлся адептом сурвивальной веры почти восемь лет, оголтелым фанатиком себя не считал. Он не носил браслеты из паракорда и не скакал от радости при виде “Navy Seals knife” или чего-то подобного. Всё это, по его мнению, были атрибуты так называемых “диванных выживальщиков”. Иногда он интересовался у любителей похвастаться очередным ножом, типа “сдохни от зависти, Рэмбо”, для чего тот собирается его использовать? Для самообороны? Охотиться на медведей? Строить укрытие из брёвен? Резать колбасу? Или вот браслет из пресловутого паракорда. На фига? В “нужный момент” расплести и использовать? Как? Для спуска из разрушенного здания? Ну, так ты прямо сейчас попробуй, а то потом сюрприз будет.

Но даже его внешне весьма скромные приготовления вызывали в окружающих, особенно в коллегам с работы, нездоровый ажиотаж. Человеком он был надёжным, у начальства числился на хорошем счету, в свою “веру” обращать никого не стремился, поэтому проходил у сослуживцев по разряду “хороший человек со странностями”.

— Слышь, Артём, ты же не куришь, зачем тебе зажигалка? Отдай мне. А нож тебе там на фига?

— Это не нож, это мультитул.

— Всё равно. Разве это не холодное оружие? Смотри, менты отберут!

— Артём, привет! Как выходные? Небось, опять в лесу комаров кормил? Предлагали же тебе с нами в сауну! Нормально оттянулись, я конец вечера какими-то урывками помню! Что будешь в старости вспоминать?

— Ты что, и в театр пойдёшь в своих ботиках “нас бомбили, мы спаслись”? Меня слушай, я пацан на стиле, научу тебя, как одеваться.

— Вот Артём, вроде красивый мужик, спортсмен, всё при нём, но как же одевается! Вечно напялит на себя нечто, будто только что из леса вылез. Ему бы прикид приличный, причёсочку модную. Я б наверно с таким замутила!

Так бы и шло всё своим чередом, но вот, когда текущим гарантам прав и свобод оставался год до переизбрания, а никто не сомневался, что ещё один срок правящий клан не потянет чисто по возрасту, накал бреда усилился. Пропасть между очень богатыми и совсем не богатыми зияла страшной чернотой. Уходящие хозяева жизни пытались как-то застолбить завоёванное непосильным трудом. Готовящиеся стать новыми хозяевами, плотоядно облизываясь, косились на “стариков” и друг на друга. Бензинчику в огонь подливали зарубежные “друзья”.

Как-то внезапно волна протестов переросла в откровенные стычки с властями, на улицах раздались выстрелы. Кто первым нажал на спусковой крючок, так и осталось тайной. По телевизору люди с добрыми, озабоченными лицами рассказывали про распоясавшихся молодчиков, спонсированных мировой закулисой. По интернету такие же хорошие, светлые лица, с горящими от возмущения глазами утверждали прямо противоположное.

А потом и вправду пришёл глобальный писец. Всем. Что произошло, никто не понимал, ибо с пропавшим электричеством кончились и телевидение, и интернет. Впрочем, закончились не только они. Вся жизнь, как ни банально это звучит, разделилась на “до” и “после”.

Накануне позвонил ближайший приятель и собрат по выживальщицкой вере Влад. Кстати, именно он когда-то затащил ещё простого туриста Артёма в свои ряды, и вскоре они спелись в отличный дуэт. Сейчас он с нервным смешком рассказал, что у него под окнами появилась бронетехника и что,

похоже, день Д не за горами. Предупредил, чтоб был готов, как говорится, по первому свистку, и лучше прямо сегодня проверил рюкзаки.

— Тёмыч, если что, ждать не буду. Хватаем жён, и ну весь этот цирк в задницу, у нас есть, где отсидеться. Пусть другие на этот раз побудут очевидцами, а я потом их мемуары почитаю. На мою долю острых ощущений хватило.

Артём только вздохнул — на руках уже были билеты. С завтрашнего дня начинался отпуск, и у Светки как раз оставались две недельки до того, как музыкальный колледж, в котором она работала педагогом, начнёт отходить от летней спячки.

В отличие от Влада, жившего в центре, у ребят в пригороде было относительно спокойно. Но всё-таки решили, что пару дней до отъезда можно поспать и на полу, а кровать с толстым матрасом поставить стоймя к окну, раскрепив палками и привязав к батарее.

Писец пришёл той же ночью. Проснулись от удара и грохота рушащихся шкафов. Стёкла в окне выбиты, проём загораживал только выживший матрас. В комнате столбом стояла пыль.

Несмотря на заложенные уши и звон в голове, первое, что поразило, — тишина. Конечно, где-то что-то рушилось, изредка продолжали звенеть стекла, но современные городские жители привыкли, что даже ночью никогда не бывает по-настоящему тихо: гул машин, музыка, гомон компаний. Кому-то “везёт” с железной дорогой. Но сейчас над районом повисла тишина — ни воя сирен, ни ора сигнализаций. А ведь когда более пяти лет назад у дома напротив бабахнула иномарка их соседа, сработали сигнализации автомобилей половины района.

Лишь спустя секунды, показавшиеся вечностью, на улице раздались первые крики.

— Что там?

Светка, приподнявшись с груди спальных, служивших постелью, промаргивалась, прижимая к груди одеяло.

— Не подходи, пожалуйста. — Артём выставил раскрытую ладонь. — Побудь в глубине комнаты.

Перешёл на кухню, пробрался сквозь мешанину кухонных шкафчиков (“Вот ведь! надо было всё-таки на анкеры крепить!”), окно отсутствовало напрочь, осторожно выглянул. На улице — темень, ни звёзд, ни луны, ни фонарей. Пятиэтажку напротив, проступавшую из темноты, как будто погрызли по срезу крыши. На фоне чуть более светлой стены провалами зияли глазницы окон, некоторые из них наверху уже разгорались. Но, похоже, рушиться дома не будут.

Пощёлкал выключателями, покрутил краны — ни воды, ни электричества.

— Малыш, я на улицу, надо осмотреться. Не хотелось бы проморгать пожар по соседству. Ты без меня к окнам не подходи, и вообще — посиди лучше на месте. Здесь в темноте легко ноги переломать.

— Тёма, ты недолго?

— Ну что ты, родная, я быстро!

Прикроватная тумбочка оказалась погребена под обломками шкафа, стоявшего у противоположной стены, но всё же дотянувшегося до неё своей антресолю. И как только не задело спящих? Повезло.

Артём раскидал обломки. Где же? На глаза попался мобильник, экран расколот, аппарат мёртв. О! Нашёл! Ну, слава Богу! Почему-то вспомнилось, как Светка, дурачась, подтрунивала над его привычкой всегда иметь налобник под рукой. “Что ты его в тумбочку прячешь, надевай! Тебе же без него меня в кровати не найти!” Маленький “Petzl” пережил нападение шкафа. В его свете Артём нашарил брюки, затем в прихожей сунул ноги в трекинговые ботинки, не зашнуровывая их, открыл дверь на лестничную клетку. Луч фонарика уперся в плотную стену висящей в воздухе пыли, которая миглом забила ноздри. Пошарил светом по сторонам. Стены, двери соседних квартир, ступеньки. Лестница цела. Взгляд наверх: вроде, ничего на голову не свалится. Четыре этажа вниз, металлическая подъездная дверь, магнитный замок,

разумеется, не работающий, и Артём вывалился на заваленную крупными обломками и мелким мусором улицу. В воздухе — всё та же оседающая пыль, кружат какие-то листочки.

Не горело ни одного фонаря, однако улица подсвечивалась пламенем, — одна из квартир противоположного дома уже всюю полыхала. Начали хлопать подъездные двери, тут и там замелькали фонарики. Люди что-то кричали, обращаясь друг к другу и ни к кому конкретно. Одни заполошно бежали. Другие стояли и ошарашенно оглядывались.

Отойдя подальше, он бросил взгляд на свою хрущобу. Окна отсутствовали почти везде, колоритно выглядывал его матрас. Успокаивало, что признаков пожара ни по соседству с их квартирой, ни где по всему дому не видно. Мозг старательно концентрировался на каких-то деталях. До сих пор крутилось сожаление, что не озаботился более надёжно закрепить мебель и что теперь из посуды у них, по всей видимости, остались только его походные кастрюльки-миски-кружки. Огорчился, что Светка будет переживать из-за наверняка погибшего сервиза, подарка её матери на их свадьбу. Попытался вспомнить, уцелел ли компьютер, стоящий на столе у окна. Глядя на повсеместно отсутствующее остекление, порадовался, что не зима.

Из подъезда белым пятном растянутой футболки выскочил Миха — сосед, живущий как раз под ребятами.

— Здорово, Артём, чего это у нас тут шандарахнуло? Война?

Артём уставился ему в лицо; в отсвете пожара сосед казался хищно-азартным, в глазах скакали отсветы, как искры адского пламени.

— Типун тебе на язык!

— А что? Достало уже всё, хоть так.

— Да не, ну, что ты, Мишаня, какая война?

— И что же тогда?

Удивляясь собственной растерянности, пожал плечами. Вопрос “что?” он старательно гнал от себя всё это время, забывая сознание разной мелочью.

— Ладно, пойдём на проспект, оттуда должно быть лучше видно. Да и дом обойти надо, не горит ли что. Только... — бросил взгляд на домашние тапочки соседа. — Обуйся, стекла много.

Мишаня чертыхнулся и бросился домой, а Артём неспешно двинулся вдоль дома, в сторону первого подъезда. Там, по краю квартала, проходила магистральная улица района, эдакая пуповина, связывающая их пригород с остальным городом. Прямая, многополосная, с центральным газоном, в который понатыканы фонарные столбы, — настоящий проспект. Тянулась в направлении центра, деля район почти пополам, и с неё должен был открываться примелькавшийся уже вид: по четыре бело-коричневых торца хрущевки с каждой стороны проезжей части, дальше — мостик через небольшую ручей и с четверть километра насыпи сквозь пойму, заросшую мелким ивняком, — так и незастроенную болотину. Ещё метров двести вверх, к косогору, на котором высились ряды девятиэтажек старых районов. Далее проспект поворачивал, скрываясь за спинами домов, но с расстояния было хорошо видно, как дальше, над крышами старых панелек, высились современные четырнадцати- и шестнадцатизэтажные монолиты. А правее, километрах в пяти, взмётывался в небо стеклянно-стальной остров делового центра. Дальше, по идее, шёл исторический центр, низкоэтажный, пафосный, с закрытыми территориями, коваными заборами, кучей бутиков, кафе и административными зданиями. Но его, понятно, не видно с их окраины.

На что рассчитывал, Артём не знал. Если во всём районе вырубилось электричество, а небо затянуто — ни луны, ни звёздочки, — то, возможно, на проспекте темень — глаз выколи, это здесь пожар подсвечивает. Хотя в душе он всё ещё надеялся, что, выйдя из-за угла дома, увидит залитые электричеством жилые массивы, где люди, может, даже не проснулись из-за того, что у них тут что-то шарахнуло.

Вышел. Повернулся. Сердце бухнуло и провалилось в желудок. Внутри резко заныло, спина покрылась липким холодным потом, захотелось протереть глаза и проснуться.

Темноты в центре города он не увидел. Впрочем, не увидел там и сверкающего электричеством града на холме. На фоне багровых отсветов в небесах ближайšie к нему высотки казались надкусанными пеньками. А дальше — только зарево гигантского пожара да изредка взмётывающиеся протуберанцы.

В мозгу лихорадочно стали всплывать строки старой инструкции: “При воздушном взрыве эквивалентом одна мегатонна зона полных разрушений три целых шесть десятых километра. Сильных — семь с половиной. Уже в десяти километрах погибает только пять процентов населения”. А мы? Сколько у нас погибло? Впрочем, о чём это я! До центра города от дома как раз восемь километров! Значит, не оно?!

Подходили ещё люди, и останавливались в оцепенении. Медленно их группка росла. Стояли молча, слова закончились. Потом кто-то пробормотал, обращаясь скорее ко Вселенной:

— Да что, чёрт возьми, творится-то?

— А это, молодые люди, скажите спасибо нынешнему руководству химкомбината, — раздался скрипучий, с ехидцей голос.

На говорящего стали оборачиваться. Им оказался какой-то старичок, сухонький, в вязаной кофте, несмотря на тёплую ночь, в очках с толстенными линзами. Послышались удивлённые возгласы, а старик с видимым удовольствием продолжал:

— Двенадцать тысяч кубов... — названия Артём не расслышал, — это вам не комар чихнул! А я говорил нынешнему директору: твоя экономия до добра не доведёт! И кто теперь перестраховщик?

— Что-то ты путаешь, старый, химичка вон там, левее. — Пузатый бородач неопределённого возраста, в шортах и сланцах, указал рукой. — Она вообще за городом. А полыхает-то центр.

— Ничего удивительного, — старик напоминал вредного учителя, — вчера ваши молодчики пальбу устроили как раз у комбината, наверняка в ёмкость попали. Пошла утечка, разлив... легко испаряется (Артём опять не понял, что там испаряется). Ветром как раз к центру и снесло. Что-нибудь искрануло, да хоть трамвай, и амба. Насчёт стрельбы мне вчера вечером Вадимыч звонил, мы с ним, почитай, двадцать лет вместе на химическом проработали. Он тоже не раз говорил...

Что там говорил Вадимыч, Артём дослушивать не стал. “Блин, там же Светка одна!” Всё равно созерцание пожарища ничего не решает. Развернулся, протолкался через собравшуюся толпу. На выходе был перехвачен Михой.

— Чего там? — с жадным интересом тот вцепился в руку

— Не знаю, — Артём помотал головой, — просто всё горит.

— Из-за чего?

— Повторяю, откуда мне знать?! Дед вон один говорит, химкомбинат рванул.

— Да ладно! Дай сам гляну.

И Мишка ужом ввинтился в толпу. Артём даже поразился, насколько более ловко это у него выходило; сам он проламывался сквозь людей, как лёдок, вызывая недовольство и бурчание. Мишанин при том же росте был более худощав и гибок. Из толпы слышалось его “извините”, “простите”, “мне только спросить”. Да, этот без мыла куда хочешь пролезет.

Он поселился не так давно, оказался весёлым, общительным малым, работавшим торговым представителем в компании замороженных полуфабрикатов.

— Ещё говорят, что мог НПЗ взорваться, хотя версия про химичку мне тоже кажется правдоподобнее, — вернулся из толпы Миха. — Пойдём? А ещё я думаю, это не случайность, а теракт. Специально подстроили.

— Да ты что?! Кому такое надо?

— Мало ли? Это же инфоповод! Трагедия, бла-бла-бла, нужно сплотиться! И вот уже вся страна в едином порыве объединяется вокруг текущей власти!



Артем сбился с шага и остановился.

— Как тебе такое в голову приходит? Это ж сколько народу сейчас погибло?!

Миха усмехнулся.

— Ради бабок и не на такое пойти могут. Помнишь одиннадцатое сентября? Известно же, что американцы сами всё подстроили!

— Да брось, это не доказано. И тем более, при чём тут бабки?

— Власть, Тёма. Власть это и есть бабки!

Ответить нечего. Артём вздохнул, махнул рукой, и они опять зашагали к своему подъезду. В ряду припаркованных машин взгляд выцепил знакомый силуэт “Kia”. На лобовухе — паутина трещин, одного зеркала нет, на крышке багажника — кусок кладки из нескольких кирпичей с толстым слоем штукатурки. Артём рефлекторно нащупал в кармане ключи. Нажатие кнопки брелока осталось безответным. Дёрнул ручку — заперто, открыл ключом. Машина мертва, поворот зажигания не вызвал никакой реакции.

— Куда ты на ней собрался? Вся дорога в поваленных деревьях. Я даже фонарный столб видел. — Миха был ироничен. — Да не зыркай так на меня, у тебя хоть этот кусок железа остался, может, реанимировать получится. А я свою пару дней назад на “Гарант” загнал.

— Вот блин! — Артём сочувственно вздохнул: станция техобслуживания “Гарант” находилась через забор от химкомбината. На всякий случай забрал из бардачка ещё один налобный фонарик и мультитул, достал из багажника титановую сапёрную лопату и складную ножовку.

Дверь подъезда хлопнула, на улицу вывалились несколько соседей.

— Здорово, мужики!

Мишка, в отличие от малообщительного Артёма, на короткой ноге почти со всем подъездом.

— Чего вы тут стоите, выстаиваете? Тушить же надо! — набросился на них крепкий сухощавый пенсионер Родионыч и махнул рукой на соседний дом. Артём пожал плечами:

— Чем?

Родионыч зыркнул по сторонам.

— Во, землёй! Дай лопату.

— Не дам. Толку никакого. Ты отсюда землю таскать будешь?

Родионыч посверлил обоих парней безумными глазами, тщетно петушась, потом обернулся к сопровождавшим его соседям:

— Ладно, мужики, нечего тут время терять, там соседи наши погибают!

И они все почесали к первому подъезду, где имелся пожарный щит. Миха осторожно кашлянул:

— Не по-людски всё-таки это. — Он показал глазами на горящие квартиры и удаляющиеся спины соседей. — Помочь бы надо. Сегодня ты поможешь, завтра — тебе.

— Да что я, сволочь конченная? — возмутился Артём. — Но не так же! Это ж чистая самодеятельность! Есть правило, Миша: при проведении спасработ не увеличивай количество пострадавших! А эти? — В сердцах сплюнул. — Короче, есть, что одеть плотное, и не из синтетики? Идеально — брезентуха.

Следующие несколько часов Артём провёл, бегая по подъездам своего дома. Взламывали квартиры, в чьих окнах чудились отсветы пламени, а когда рассвело — дым. Тушить — не тушили. Нечем. Старались выводить людей. В паре квартир нашлись жильцы, успевшие угореть от дыма, их вытащили на воздух и даже выкинули в окно тлеющую мебель. В общем, кого-то спасли, но реально нуждающихся в помощи оказалось не столь уж и много. Ну и, конечно, ничего не могли поделать с металлическими дверьми, хотя за одной пожар был точно, даже дверь нагрелась. Но на стук никто не открыл: то ли квартира была пустая, то ли хозяевам уже не помочь, а взломать такую дверь решительно нечем.

Самое страшное оказалось в самой первой квартире. Когда дверь всё-таки выломали, прорубив маленьким туристическим топориком, оттуда дохнуло настоящим адом. Жар такой, что внутрь никто не сунулся. Выглянувшая

из квартиры напротив тётка, ахнув, зажала себе рот обеими руками. Появившийся следом её муж, с виду — тщедушный мужичонка в майке-алкоголичке — сделал попытку сунуться в огонь. Оттаскивали вдвоём с Мишкой.

— У них же дети малые! — кричал он.

— Держись, мужик, им уже не поможешь. — Мишка покачал головой, приобнял мужичка за плечи, заглянул тому в мокрые от слёз глаза. — Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, не дать огню распространиться.

— Да, надо дверь прикрыть чем-нибудь негорючим. Найдёте?

Мужик покивал, его поддержала жена. А парни отправились дальше.

Вернулись уже засветло. Чумазы, с опалёнными бровями и волосами.

Мишка заявил, что пойдёт спать, просил не дёргать без серьёзных причин:

— Вдруг война, а я уставший!

Светка мирно спала, свернувшись в позе эмбриона на раскиданных спальниках. Стараясь не шуметь, разулся, но когда стягивал с себя подпалённую горку, на плечи легли нежные пальцы.

— Привет. Ну как, ты всех спас?

Обернулся, заключил в объятия, жена прильнула к груди.

— Конечно, дорогая, мы всех спасли. — Выдавить из себя правду Артём не смог.

— Иди мойся, я пока завтрак приготовлю. Ты же устал, наверно? Ой, — Светка прыснула в кулачок, — а у тебя брови сгорели! Какой ты смешной!

— С “помыться”, солнышко, кажется, не выйдет. Воды нет.

— Да? Ну вот, наконец-то твой дурацкий запас пригодится, зря я, что ли, об него себе все пальцы на ногах поотбивала?

Светка имела в виду пять пятилитровых баклажек и упаковку литрушек питьевой негазированной воды, что Артём держал под кухонным столом, обновляя раз в пару-тройку месяцев.

— Давай побережём питьевую воду, хорошо? Я потом до ручья схожу, умоюсь. — Он сделал попытку поцеловать жену, но та стукнула его кулачком по груди, извернулась, погрозила пальчиком.

— Ну, нет. Мой муж за стол чумазым неумывайкой не сядет. — Протянула влажные салфетки — и когда только успела их найти в этом бедламе? — Чего хочешь на завтрак?

— Давай съедим то, что в первую очередь может пропасть.

— Кстати, не знаешь, света долго не будет? А то в морозилке пельмени раскиснут.

— Света, Светик, теперь не будет долго. Мы их с тобой пожарим, на сливочном масле. Пока оно тоже не крикнулось. И давай съедим сырники. Сейчас горелку настрою.

— А что, и газа тоже нет? Ужас какой! — Светка отправилась хозяйничать на кухню, вскоре оттуда донеслось: — Ой, мамин сервиз. Как же я ей расскажу...

В дверь постучали. Вернее, до Артёма дошло, что в дверь уже некоторое время кто-то еле-еле стучится. Явно не Мишаня, тот вполне мог бы сразу вломиться. “А что? Если вы заняты чем-то, для посторонних глаз не предназначенным, так запирайтесь. А коль не заперто, так чего возмущаетесь?” Дверь, кстати, оказалась не заперта. На пороге стоял сосед по лестничной площадке:

— Привет, Саня, чего тебе?

— У вас воды нет? У нас малой раскричался, кормить пора, а вишь как — краны сухие.

К Сане Артём относился снисходительно. Тот был на пару лет моложе, но уже обзавёлся изрядным пивным брюшком и тёщей-склочницей в придачу с рассадой и дачей, в которую, судя по разговорам, вколачивал весь свой бюджет. Недавно у них появился первенец, и, судя по всему, кормили его в основном смесями. То ли у матери были проблемы с грудным молоком, то ли берегла фигуру, что-то такое Светка рассказывала, но Артём, конечно же, пропустил мимо ушей. Мало ли у кого какие проблемы, почему это должно его интересовать?

Мелькнула мысль — сказать “нет”. Даже успел отрицательно помотать головой, но что-то задержало. Прикинул. Без излишеств, вдвоём смогут обойти пятью литрами в сутки. Ну, а за два-три дня что-нибудь решиться.

— Погоди...

Прикрыл дверь, сходил на кухню, вернулся и протянул пятилитровку.

— Больше не дам, у самих в обрез, расходуите экономно, воды в кранах теперь долго не будет.

— Думаешь, надолго?

— А ты на улице был? Не видел, что там с центром?

— Не, куда там, малого ели успокоили.

— Нет там больше никакого центра. Вот так. Так что воду, свет и газ давать нам некому. Может, воду привезут в цистернах, но я бы не рассчитывал.

— А что случилось-то?

— Да кто знает? Одни догадки.

— Ладно, спасибо за воду.

— Подожди ещё. Ты воду на чем греть собрался?

— Что? — Александр, успевший повернуться, схватился за голову. — Точняк, газ тоже тью-тью. Бли-и-и-ин...

Опять развернулся к Артёму, растерянно хлопая глазами. Эх, и что с ними делать?

— Ша, не уходи.

Снова прикрыл дверь, сходил в комнату, осмотрел свои запасы. Выбрал горелку с раскладными лапками и шлангом, прикрутил газовый баллон на четыреста пятьдесят миллилитров, вернулся.

— Держи. Вот пьезо-поджиг, вот регулятор. Разберёшься?

— Спасибо. А вы как?

— У меня ещё один есть, не переживай. — Добавил с нажимом: — Экономьте. Как бы мебелью не пришлось топить.

У Сани округлились глаза, он пробормотал что-то нечленораздельное и отправился в свою квартиру. Артём постоял немного в проёме двери, прислушиваясь, закрыл дверь и вернулся к Светке.

— У них ребёнок мелкий, — как бы извиняясь, развёл руками.

— Конечно, милый. Ты правильно поступил. Тебе сырники со сметаной?

Завтрак проходил в молчании, жена ничего не спрашивала, а Артём так и не нашёл в себе сил начать разговор о произошедшем. Ведь тогда не обойти стороной тему её родителей, которые, скорее всего, не выжили.

Света была домашней девочкой и к родителям очень привязана. Он до сих пор порой удивлялся, что девушка из семьи рафинированных интеллигентов могла найти в таком простом парне? Когда она ответила согласием выйти за него замуж, он в ближайшем походе полночи не дал Владу уснуть, изливая душу.

— Посмотри на меня, я же простой складской работяга. Не инженер, не музыкант, не искусствовед, как её мама. Я не тащусь от этих, как их там, импрессионистов, и ни фига не понимаю в классической музыке. Что я могу ей дать? Обсудить какую-нибудь симфонию? Я Баха от Бетховена не отличу. Не хожу на концерты и выставки, меня не тянет ехать в Рим, рассматривать старые развалины. Мне милей вот... — Он обвёл рукой ночной лес, обступивший островок дрожащего света со всех сторон.

Влад понимающе усмехнулся в усы.

— Знаешь, я тоже не психолог, но жизнь повидал. Мне кажется, она нашла в тебе то, с чем дефицит в их, как ты говоришь, рафинированной среде. — Он сделал нарочито длинную паузу, прихлёбывая из законченной кружки неизменный кофе, который пил даже на ночь. Потом пояснил: — Надёжность. Ты надёжный, уверенный в себе мужик, за спиной которого уютно и спокойно. А симфонии, как я тебя понял, она на работе обсуждает.

Артём судорожно вздохнул:

— Всё равно. Нам же её родители жить не дадут. Мы, когда к ним приходим, я себя забавной зверушкой чувствую. Всё жду, когда они ей скажут: “Хватит, милая, наигралась, перебесилась, бросай своего грузчика, пора тебе

нормального мужа поискать, из наших. Есть у отца на работе один скрипач... или пианист...”

Влад хохотнул:

— А ничего, что ты не грузчик, а начальник смены?

— Ты думаешь, для её родителей это не одно и то же?

— Артём, — включилась Вера, — ты на Светке женишься или на её родителях? Вот и перестань паниковать, я тебя прям не узнаю. Зачем тогда предложение делал?

Вот Вера, по Артёмову мнению, была идеальной женой выживальщика. Влад познакомился с ней ещё на службе, когда та работала в госпитале. Верная, надёжная подруга: и в походе, и в жизни. И обед приготовит, и рану, если что, перевяжет, и с ноги в ухо вполне может. При этом весьма миловидная и стройненькая.

— Если честно, я даже не надеялся, что согласится. Для меня это всё равно что... — замялся, подбирая сравнение, — всё равно что мечтать стать президентом. А тут раз, и соглашается. Я даже не знаю, что мне делать!

— Делать? Вести под венец и перестать грузиться негативными мыслями. — Влад подмигнул. — И нам спать не мешать, а то завтра надо верст двадцать отмахать.

Вера встала, отряхиваясь, сделала шаг и потрепала Артёма по волосам:

— Но в Рим тебе всё же придётся съездить. Или во Флоренцию. Надёжность надёжностью, но маленькие радости своим любимым доставлять надо, раз уж решил мужем назваться. Ничего, перебыют местные комары без твоей крови недельку-другую. И пусть это будет сюрприз.

К удивлению и несказанному облегчению, родители отнеслись к Светкиному выбору с уважением, отношения вполне наладились. Может, с тестем он и не ходил на рыбалку или в походы, а тещу не называл “мамой”, но у себя дома они принимали зятя весьма радушно и, кажется, радовались за дочь.

Мать Артёма долго болела, ему даже отсрочку от армии сделали по уходу за больной, и когда он уже учился на пятом курсе, умерла. А отец через полгода женился по новой, причём на материной подруге. Простить такое сын не смог и по окончании института рванул к приятелю в другой город, да так тут и остался. С тех пор отца ни разу не видел, вот сейчас только вспомнил.

— Кстати, хозяйюшка моя, у нас пустые пластиковые бутылки есть?

Завтрак подходил к концу, и, наблюдая, как супруга наливает из баклажки воду для чая в стоящую на огне кастрюльку, Артём внезапно вспомнил о многотопливной горелке.

— Схожу, из машины бензин солью, пока это кто-то другой не сделал.

— А мы что, на ней пока ездить не будем?

— Пока нет.

— Жалко, я так люблю нашу машинку.

Эх, женщины! Мир летит в тартарары, а вам лишь бы муж был сытый да привычные вещи под рукой. Ладно, для того у вас есть мы, мужчины, чтоб все остальные заботы брать на себя.

Когда Артём появился на улице снова, рассвело окончательно. Квартиры напротив уже не горели, из некоторых продолжал валить дым, следы пожара в других оставались заметны только по копоти вокруг окон. На удивление, улица казалась безлюдной. Видимо, тот народ, что подорвался ночью, как Артём с Михой, уже отправился отсыпаться, а кто проспал все события, ещё не выходил, с удивлением разглядывая перемены во внешнем облике района из разбитых окон.

Со стороны проспекта доносился какой-то гомон. Подойдя ближе, Артём увидел группу мужчин, что-то отчаянно обсуждавших. Подошёл, поздоровался. Некоторых знал, кого-то просто видел, человек десять относительно активных соседей. Они обступили художавого мужичонку лет за сорок, который жадно прикладывался к пластиковой бутылке и в перерывах пытался что-то рассказать, перемежая речь матюгами и жестикоматией. Мужичок был одет в хабешный камуфляж, сейчас сильно обгоревший, местами даже

ещё дымившийся, короткие рыжеватые волосы закурчавились от жара, на лице и кистях рук виднелись ожоги.

— Короче, дальше ручья хода нет. Жарит, мама не горюй, что в печке у Яги. Я хотел по воде поближе подобраться, глянуть, ну, как там да чего. До моста ещё можно, а дальше писец.

По словам Славуна — так звали “разведчика” — полыхать начинало со старого района, где среди девятиэтажек ещё умудрялись сохраняться островки частного сектора, сейчас добавлявшие огоньку. Но ближе к району огонь не подобрался, на склоне гореть нечему, а пойма ручья всё ж болотина, пока жар её не высушит, можно не сильно беспокоиться.

С рассветом, гонимый то ли любопытством, то ли гражданским долгом, Славун оседлал верного железного коня о двух колесах и попылил на разведку. Человек, тертый жизнью, оделся в плотное хабэ, замотал лицо тряпкой и вылил на себя полведра воды. Одежда высохла ещё на подъезде к мостику.

— Так жарит, мужики, аж трындец. Дыхалку перехватило, чую — кожа на лбу трескается.

А потом у него взорвались шины.

— Насилу ушёл, думал: вот тебе, Слава, и карачун пришёл. Мостик, кстати, мужики, просел. Не обвалился, но одна плита провалилась, теперь там чисто как на жэ-дэ переезде — порог, и всё, приехали.

— Не видел, вода в ручье осталась?

— Бляха... вот не посмотрел, триндеть не стану. Воды не видел. Мож, посохла вся, а мож, просто обмелел ручей.

Дальше слушать не стал, ибо опять начались рассуждения, что же могло случиться. Тратить на это время посчитал бессмысленным, вернулся домой, где Светка громыхала на кухне, разбираясь с завалами из посуды и мебели. Взглянула на вошедшего мужа выжидательно и, не дождавись ответа, вернулась к уборке. Артём же добрёл до спального угла и рухнул на пол. В голове носился хоровод невесёлых мыслей. Почему-то вспомнилась фраза, задумчиво высказанная молодым парнем, лет двадцати пяти, когда во всеобщем офигевании первый раз тарачились на полыхающий город: “Судя по всему, на работу мне завтра не надо”.

“Да я и так в отпуске”. Сделалось до боли обидно, захотелось крикнуть в пространство: “Вы что, два-три дня не могли потерпеть? Мы бы уехали, и тогда взрывайте, что хотите!” Что будешь делать, Артём? Ведь это то самое, к чему так готовился. И вот, случилось, радуйся, теперь всем, кто над тобой смеялся, можно расхохотаться в лицо! А что-то не хочется. А чего же ты сидишь? Почему ещё не собран, зачем Светка разбирается на кухне? По плану, при ядерном ударе, вы уже должны были покинуть город и быть на полпути к убежищу. Да с чего ты решил, что это ядерная война? Это же химкомбинат рванул. Или нефтепереработка. Или оба разом. Кто-нибудь видел гриб? Или пожары? От светового излучения должен был лес загореться, и где? А то, что куски кирпичной кладки с крыши посрывало, у нас, в восьми километрах от центра, и вся электроника вырубилась — это тебе ни о чём не говорит? Или тебе надо, чтоб по трансляции президент выступил? Так проводную систему оповещения сняли ещё лет пять назад. Если прав тот дед, и сначала был разлив чего-то взрывоопасного, а потом испарение и перемешивание с воздухом, то это гигантский объёмный взрыв! Представляешь силу? ТЭЦ стояла рядом с химиками, вот и нет электричества. Небось, и все подстанции накрылись.

А если всё-таки оно? И что тогда? Вот приедут военные: “Выходи строиться на эвакуацию, с собой маленький узелок личных вещей...” Что делать будешь? “Дяденьки, отпустите меня, у меня есть свой бункер”? Ага, и получишь: “Сообщите координаты, спасибо за проявленную сознательность, он очень пригодится... А теперь — марш в автобус, и не отсвечивай”. Эх, если эвакуация начнётся, то все вопросы отпадут. Вот тогда и ломанёмся со Светкой, не думаю, что вокруг района будет кольцо непроходимое. Это же эвакуация, а не отлов преступников.

А какие вопросы у тебя ещё остались? Ждёшь, пока дозу хапнешь побольше? Или тебе нужно, чтоб Влад дал распоряжение? Влада нет, и Веры нет. Они жили как раз там. Ну, там, в общем, где сейчас филиал ада.

Да, чёрт побери! Да! Если бы сейчас открылась дверь, вошёл Влад и сказал: “Собирайся, боец, наше время пришло!” — Артём, ни секунды не колеблясь, схватил бы рюкзак... Кстати, где он? Поискал глазами, мысленно выругался. Рюкзаки, его и Светкин, лежали в углу комнаты, конечно же, полупустые. Особенно его, после крайнего (или теперь всё же — последнего?) тренировочного выхода в лес. КЛМН, то бишь, на туристском сленге — кружка, ложка, миска, нож — в мойке, пришлось использовать, поскольку остальная посуда побилась. Оба спальника они подтелили себе на пол вместо матраса, до сих пор торчащего в окне. Пенки вместе с самонадувайками — там же. Вся электроника: навигатор, рации, фонари — всё на зарядке, в оружейном сейфе. Впрочем, какая, на фиг, зарядка? Электричества же нет. Ходовая одежда частью в стирке, частью по шкафам. Собирались же на море, а не в лес. Короче, рюкзаки надо собирать заново.

Светка неслышной тенью опустилась рядом, смешно морщась, попыталась сдуть чёлку, лезущую в глаза. Не получилось. Он аккуратно убрал, продолжив движение, провёл рукой по волосам, привлёк, поцеловал.

— Не прижимайся, я вся пыльная, — упершись кулачками ему в грудь, она отстранилась, — у нас там просто армагеддон какой-то, вся посуда вдребезги. Кстати, так ты расскажешь, что у нас тут случилось? — нахмурилась, посмотрела искоса, толкнула плечом. — Только не вздумай говорить, что случилась эта ваша ядерная война, и на нас со всех сторон лезут мутанты.

— Да, — хрипло выдавил Артём, кивая.

— Что “да”, милый? Мутанты?

Он помотал головой, прочистил горло, собрался с силами. Господи! Ну, почему в книгах и фильмах все всегда всё понимают по лицу? Почему не в жизни?! Тогда бы не пришлось сейчас из себя выдавливать правду. Потом взял супругу за плечи и, глядя в глаза, проговорил, как в прорубь прыгнул:

— Я на самом деле точно не знаю, что произошло. Был большой взрыв. Сейчас весь город горит. Похоже, уцелел только наш район, огонь через ручей не перекинулся.

— Как горит? — всё ещё продолжая улыбаться, спросила недоверчиво.

Её лицо на глазах преображалось. Погас весёлый блеск в глазах. Растянутые губы съёживались, стирая улыбку. На смену приходила растерянность.

— Это шутка такая?

Он отрицательно помотал головой.

— Подожди. Что ты такое говоришь? А как же...

Замолчала, не найдя в себе сил выговорить. Тогда сказал он:

— Родители?

Её большие серые глаза стали наполняться влагой, переполнились, и вот уже первая капля прокатилась по щеке, пробивая себе блестящую дорожку. Губы, минуту назад улыбавшиеся, задрожали.

Он опять покачал головой:

— Прости, родная, но...

Мягкая ладошка накрыла его рот, затыкая, не давая вырваться наружу словам. Светка мелко замотала головой.

— Не говори, нет. С ними всё хорошо, я знаю. Я бы почувствовала.

Она отвернулась, съёживаясь, сжимая руки между коленями. Потом снова взглянула на мужа невидящим, обращённым внутрь себя взглядом, опять покачала головой.

— Н-нет, это не может быть правдой.

У Артёма сильно сжалось сердце. Да лучше бы она заставляла его что-то сделать, ругала, обвиняла в недостатке мужества...

Он обнял жену, крепко прижимая к себе, зачем-то принялся говорить какую-то глупость, дескать, да, родная, ещё ничего не известно, они высоко и огонь до них не дотянулся. И вообще, современные дома полностью

бетонные, гореть в них нечему, и чуть позже он обязательно сходит и выручит её родителей.

А перед мысленным взором стоял обожжённый Славун, полыхающие дома за ним и ошущаемый спиной поток воздуха, дующий в направлении пожара. Читал о таком — огненный шторм. Когда большой пожар начинает работать по принципу печи: нагретый воздух над пожаром улетает вверх, а на его место со стороны подтягивается свежий, раздувая огонь ещё больше. Температура в центре города сейчас такая, что надежды никакой.

Сколько они бы так просидели, неизвестно. Но в дверь сначала энергично постучали, а потом она и вовсе открылась.

— Хозяева!

Светка отстранилась, начала вставать. Из-за дверного косяка в комнату заглянула Мишкина голова. Он был взъерошен, с оставшимися следами сажи.

— Проходи, — Артём махнул рукой, — только у нас тут вот...

Показал на обломки шкафа, разбросанные вещи.

— Да не парься, у всех так же.

Сосед появился полностью. Взглянул на Светку, потом внимательно на Артёма, потом опять на Светку.

— Слушай, Тёмыч, мы тут за водой собрались, составишь компанию?

Мелькнула мысль, что вода пока есть, да и свободной тары после слива бензина с машины в доме не осталось. Но он ухватился за малодушную возможность сбежать из дома, отвертеться от дальнейших объяснений. Или, по крайней мере, отложить их на какое-то время.

— Ага, сейчас. Свет, нам же нужна техническая вода?

— Какая?

— Ну, там умыться, посуду помыть? Чтоб питьевую не тратить.

— Конечно, родной, — немного вымученно улыбнулась жена. — Ты же как раз собирался отмыться. Возьми тогда с собой гель и полотенце.

Уже выйдя из квартиры, толкнул соседа в бок, заговорщическим тоном спросил:

— Слушай, Мишань, у тебя свободная тара есть? У меня просто вся заполнена.

— Найду что-нибудь.

Перед дверью своей квартиры Миха вдруг слегка сконфузился

— Только ты не мог бы подождать здесь? Я, понимаешь, не один...

— Когда же ты успеешь?!

— Да ещё вчера, до всего этого. Подцепил в “Трёх пескарях”...

Артём понимающе усмехнулся: Мишаня был тем еще ходоком. Буквально через пару месяцев знакомства Артём перестал даже пытаться запомнить внешность и имена девиц, которых видел в компании соседа. На вопрос: “Когда же ты остепенишься?” — Миха обычно отвечал, что как только встретит ту единственную, а сейчас он в поиске, как говорится, “методом простого перебора вариантов”. Вначале Артём немного напрягался из-за Светки, но, к чести соседа, тот, видимо, что-то почувствовал и как-то заявил, что он — не козёл, а жёны и подружки его друзей — святое. Светка, со своей стороны, эту особенность их знакомого восприняла спокойно, сказав, что девицы, выходящие по утрам из квартиры под ними, взрослые, дееспособные и на обманутых наивных дурочек не похожи. Так что эта сторона чужой жизни её не касается.

У подъезда ждали ещё двое. Василия Фёдоровича, сухопарого мужчину лет шестидесяти, Артём знал, тот жил в их подъезде на верхнем этаже, при встрече здоровались, но и только. Второго, такого же возрастного дядьку, чуть помассивнее Фёдорыча, он тоже видел, знал, что живёт в их же доме, но знаком не был.

— Кирилл, — представился незнакомец, обменялись рукопожатиями. — Пошли?

Вчетвером они пошагали вдоль дома в противоположную от проспекта сторону. Гроздь пустых баклажек в руках погромыхивали в такт шагам. Некоторое время шли молча, потом новый знакомый заговорил:

— Артём, Михаил говорит, что ты специалист по выживанию, так?

Артём глянул на Миху, тот пожал плечами: дескать, а что такого?

— Вроде того. В природной среде.

— Это в лесу, что ли?

Артём молча кивнул.

— Ну, у нас тут не лес, слава Богу, а самая что ни на есть городская среда. Впрочем, не важно. Что думаешь по поводу всего этого? — он крутанул пальцем над головой, как бы показывая на окружающее.

Артём пожал плечами.

— А что я должен думать? Я не знаю, что произошло, говорят, техногенная катастрофа.

Кирилл, не сбиваясь с шага, посмотрел не него долгим, внимательным взглядом.

— Я тебя не о причинах спрашиваю. О них нам потом расскажут. Или внуки в книжках прочитают. А может, и не узнаем никогда, неважно. Сейчас важнее — что делать дальше? А, выживальщик?

— Выживать, — буркнул Артём.

Кирилл посмотрел на Мишку, обменялся взглядами с Василь Фёдоровичем, остановился.

— Слушай, парень, что я из тебя слова тащу, как клещами. Не хочешь помогать, так и скажи: мужики, идите лесом. Только сначала послушай меня. Старая жизнь нынче ночью пошла коту под хвост. И есть у меня большое сомнение, что кто-то о нас обо всех сейчас думает. А у нас здесь семьи, дети, у некоторых уже внуки. Им, как ты правильно заметил, нужно выжить. Как минимум, до того момента, как власти вспомнят. Как максимум... — Он отвёл глаза, сплюнул. — Люди пока не пришли в себя, тихарятся по домам. Продукты у большинства есть. Вот только что будет, когда они поймут, что в магазин за хлебом метнуться не получится. А кушать, тем не менее, хочется.

— Погоди, ведь магазины, по крайней мере, на районе уцелели. Почему не получится?

— А ты ходил, проверял? Сейчас сколько времени?

Артём глянул на часы.

— Ух ты! Половина первого!

— Вот именно! Ни один не открылся! Думаешь, чего я вас за водой потащил? И потом, на сколько их хватит? За день-два всё сожрут, а что дальше?

— Ну, это ты зря, Кирилл Вячеславич, в нашем торговом центре запа-сы большие, я же в пиццёвке работаю, видел их склады.

— Какие бы склады большие ни были, Миша, а они конечные.

— Продукты ерунда, — буркнул Артём, — за неделю никто не умрёт. Вода. В первую очередь нужно подумать о воде.

Кирилл снова взглянул на Артёма.

— Вода?

— Конечно. Какая норма потребления воды в сутки? — и тут же сам ответил: — От двух до трёх литров, если точнее — тридцать миллилитров на килограмм массы тела в день. Физиологическая норма. — Увидел непонимание в глазах, пояснил: — Это простое восполнение суточных потерь организма, меньше — будут проблемы.

Фёдорыч и Кирилл спросили хором:

— Какие?

— Как быстро?

— Сначала сухость и резь в глазах, потом появится чувство голода. Далее — хроническая усталость, потеря мышечной массы, боли в суставах, головная боль. Потеря двадцати процентов влаги — смерть.

Мужики переглянулись

— Вот блин!

— Кстати, сейчас лето, дни жаркие, увеличивайте расход. А теперь задумайтесь, сколько у большинства воды дома? Думаю — полчайника, и бачок унитаза, если ещё не спускали. Может, кому-то повезло, и в морозилке лёд намёрз, который сейчас активно тает.

Фёдорыч хлопнул себя по лбу:



— Вот ведь! Представляете, а моя заявила: “Ну, и хорошо, я как раз морозилку разморожу!” Мелкий сейчас эти куски в ванну носит. Черт, вернуться, сказать, чтоб собрали куда?

— Да ладно, не надо, и так за водой идём. Я просто хотел обрисовать картину, чтоб понимали. В конце концов, у нас ручей под боком, и до реки относительно недалеко, не в пустыне, не пропадём.

— Ну, что ж, — протянул Кирилл, — вот ты уже и помогаешь. Как видишь, это несложно. Значит, сейчас разведаем, где можно набирать воду, организуем доставку к домам. Эх, надо бы цистерну найти, но только небольшую, чтоб её можно было на руках таскать.

— Хорошо. Скажи, Кирилл, вот ты организуешь доставку воды. Дело хорошее, народ, сидящий по своим норам, наверно, даже скажет тебе “спасибо”. Потом ещё дрова... — Опять непонимающие взгляды, снова пришлось пояснить: — Воду надо кипятить, пить сырую из ручья или реки я бы не советовал. Тем более сейчас. Но ты же, наверно, и централизованное распределение продуктов решишь организовать, ведь так?

— Придётся.

— А как ты это себе представляешь? Вот смотри: привёз ты бочку воды, тележку дров. Кстати, автомобильный прицеп вполне и под воду подойдёт, если достаточное количество пустых пятилитровок найти. Народ выстроился в очередь, разобрал. Но как только ты заявишь, что наложишь лапу на продовольственные запасы, тебя тут же спросят: на каком основании? Ты кто такой, чтоб решать, кому сколько еды?

— Вот ты уже и правильные вопросы задаёшь. Всё же не ошиблись мы с тобой. Да, мозговали над этим. Придётся общее собрание проводить и выбирать что-то вроде комитета. И чтоб все проголосовали. Тогда ни одна тварь не скажет: “Кто ты такой?” Но без этого никак!

И Кирилл рубанул воздух ребром ладони. Артём вздохнул. Собрания он не любил, считая пустой говорильней, в которой побеждает не тот, у кого лучше аргументы, а тот, кто глотку дерёт громче. Но спросил другое:

— Ну, хорошо, предположим, провели вы собрание, угробили кучу нервов и времени, чтоб убедить всяких горлопанов, что вы это то, что нужно, организовали комитет, начали обеспечение водой и дровами. Даже на контроль продуктовых запасов добро от людей получили... А буквально завтра-послезавтра появляется здесь колонна, присланная для помощи, вам говорят: “Спасибо, но теперь мы сами”. Что делать будешь?

— Сдам полномочия, выдохну и встану в ту же очередь. Ты пойми, я не боюсь показаться глупым перестраховщиком, я не хочу оказаться мёртвым... В общем, ты понял.

К воде пришлось продираться через кустарник, расширять бочажок, чтоб набрать в пятилитровку, ждать, пока смоев муть, и всё равно Артем посоветовал воду перед кипячением профильтровать через ткань. Потом ещё Кириллу приспичило найти место, где можно подкатить прицеп. В итоге экспедиция затянулась, и вернулись к дому весьма не скоро.

— Милая, я дома. Теперь у нас есть, чем умываться и посуду помыть. — Он сгрузил в коридоре принесённые баклажки.

— Я здесь, — раздалось из комнаты.

К его удивлению, за прошедшее время Светка, оказывается, весьма много успела сделать. Небольшие обломки мебели свалены в углу, платяной шкаф, освобождённый от содержимого, поднят вертикально. Валяющиеся вещи по большей части сложены в несколько стопок. Комната начинала снова приобретать уют.

Артём украдкой присмотрелся к жене. Она сновала по комнате, сортируя вещи, деловитая, вроде даже весёлая, слёз не видно. Ну и слава Богу! Увидев входящего мужа, распрямилась, утёрла лицо о плечо выпрямленной руки, дунула на лезущую в глаза прядь.

— Ты ополоснулась? — поинтересовалась заботливо.

— Просто умылась. Там берега сильно заболоченные, да и мужиков задерживать не хотел. Ты за меня не переживай, я в походе, бывало, неделями не мылся.

Светка прыснула.

— Вот успокоил! Я за себя переживаю! Неделю с немывтым мужчиной! Бр-р-р!

— Ну, я принёс воды, можем помыться.

Жена подошла, приподнявшись на носочках, чмокнула мужа.

Как-то за делами незаметно подкрался вечер. Перед ужином устроили романтическую помывку — при свечах, пристроенных на стены. Артём подогрел воды в широкой кастрюле, из которой и поливали друг друга походной кружкой, забравшись в ванну вдвоём. Романтика подзатынулась, ужинать пришлось при тех же свечах. На улице смеркалось, к тому же окно кухни пришлось затянуть запасной шторой от ванны, а батарейки в фонарях Артём предложил поберечь.

Наконец, в дрожащем свете единственной свечки Светка сервировала столик. А потом неожиданно для Артёма подошла и присела к нему на колени. Мелькнула мысль, что супруга решила продолжить романтику, но она заглянула в глаза и спросила без нотки игривости:

— Скажи мне, муж, что с тобой происходит? Только не надо считать меня маленькой дурочкой. Конечно, очень приятно, что ты стараешься убедить меня от всего. Но иногда лучше сказать правду. Ничего, я вообще-то уже большая девочка и выдержу. А сейчас ты как будто не со мной, не здесь. Тебя что-то гнетёт, я вижу.

— Если честно, я в разрае, — Артём тяжело вздохнул. — По всем планам, что разрабатывали с Владом, мы уже должны были уйти.

— Куда?

— У нас с Владом есть убежище. Помнишь, я рассказывал? Его начали оборудовать, когда мы с тобой ещё не были знакомы.

Светка пожала плечами.

— Это какой-то ваш шалаш в лесу?

— Шалаш? — Артём даже усмехнулся. — Нет, родная, это далеко не шалаш. Дело в том, что Владов дед — лесник, его кордон в тридцати километрах отсюда, в стороне от дорог и деревенок, глухомань-глухоманью. Так вот, километрах в десяти от его домика была заброшенная, полуразвалившаяся землянка. Чья — непонятно, Влад ещё в детстве нашёл. Место удобное — скрыта от случайного взгляда, рядом родник, в километре — река. Мы ее расширили, углубили, отремонтировали. Выкопали второй этаж вниз. Запасов, конечно, натащили. Короче, сейчас это полноценный бункер, хорошо замаскированный и оборудованный.

— То есть ты предлагаешь уходить?

Артём надолго замолчал. Света терпеливо ждала, не торопя с ответом. Наконец парень выдохнул:

— Я не знаю! — сжал себе голову руками, как будто боясь, что она разорвётся, как гнилая перезревшая тыква, почти выкрикнул: — Не знаю!

Продолжил уже тише:

— Понимаешь, для меня, если честно, вся это выживальщическая тема была, как... — замялся, пытаясь подобрать слово, пощёлкал пальцами, — ну, не игра, конечно, скорее вот — хобби! Влад — тот на полном серьёзе относился. И Вера, конечно. Они бы сейчас не сомневались ни минуты, а я... Раньше всё казалось логично: бабах — ядерный взрыв! Или, — он иронично улыбнулся, — инопланетяне. Кругом паника, неразбериха, те, кто сильнее, топят слабых. В смысле — отбирают у них еду, шмотки. Кругом разруха, в общем — апокалипсис, версия двадцать первого века. Тогда всё просто и понятно: Влад на своём монструозном “джипе” заезжает за нами, мы все вместе едем, отстреливаясь от обезумевших толп, к дедову кордону, там маскируем машину, пешочком в бункер и закупориваемся. А сейчас?

В горле пересохло, он отпил чаю, продолжил:

— А сейчас... Бабах — и? Что это, ядерная война? Теракт? Просто безалаберность, приведшая к техногенной катастрофе? Как понять? Ни тебе паники, ни мародёров, от которых отстреливаться надо. Вдруг мы сейчас уйдём, запрёмся в бункере, запасов у нас там на год, это на четверых, а завтра или послезавтра — раз, и въезжает в город колонна спасателей,

над головами вертушки летают, по мегафону просят сохранять спокойствие. Разворачиваются госпитали, пункты горячего питания, вода в цистернах.

Он даже явственно увидел, как это будет: на улицах люди в ярких комбинезонах, плачущие жители с наброшенными на плечи пледями — какая-то штампованная муть из телевизора.

— А теперь представь, — Артём даже хохотнул, правда, смех вышел нервным, — выходим мы такие через годик-другой из лесу. А тут уже и город отстроили, жизнь идёт обычная. Нас из квартиры выселили, с работы уволили, вообще — числимся среди мёртвых. Документы восстанавливаем, и тут ко мне из банка: “Так вы живой? А у вас за ипотеку год просрочки!”

— Ага, — включилась Светка, — выходим мы заросшие, оборванные, у тебя борода до пояса, встречаем бабку. “Бабка, немцы в городе есть?”

— Да не, ну, какие немцы? Ты о чём? И борода за год так не отрастает...

— Ладно, — жена щёлкнула его по носу, — проехали. А если не теракт? Если всё-таки то, к чему вы готовились? И сегодня это только прелюдия. А завтра тебе и мародёры, и беспорядки, и что там у тебя по списку?

Артёма резануло. Ну, конечно, было дело. Они как раз копали второй этаж в будущем бункере, и в перерыве зашёл разговор. Что послужило поводом, он уже и вспомнить не мог. Когда Влад, развалившийся на подстеленной пенке, задумчиво вертя в пальцах сорванный стебель, вдруг ни с того ни с сего спросил:

— Слушай, Тём, а что ты знаешь о Варшавском гетто?

— Это где немцы во время Второй мировой почти всех евреев уничтожили? — пожал плечами. — Да только это и знаю. Фильмы видел, “Список Шиндлера” и, по-моему, “Пианист” о том же. Ты к чему?

— А знаешь, что меня во всей этой истории больше всего вымораживает? Вот смотри. Война, как ты знаешь, началась первого сентября, операция “Вайс”. Я сейчас не про то, вероломно или нет, были шансы у поляков или нет, и тому подобное. Я о датах. Восьмого сентября немцы дошли до Варшавы, тогда началась её оборона. Окружили город только четырнадцатого. Двадцать восьмого гарнизон капитулировал, немцы вступили в город. О том, какую политику немцы проводят в отношении евреев, уже всем известно. Уже восьмого было понятно, что ловить нечего и надо рвать когти куда подальше. Так какого лешего эти ребята сидели и ждали?

— Я думаю, гражданских не сильно-то и стремились информировать о том, что всё плохо. Даже рядовой состав в армии, скорее всего, держали в неведении.

— Ну, допустим. Знаешь, когда было образовано Варшавское гетто? Шестнадцатого октября. Представляешь? Даже если брать от вступления немцев в город, прошло семнадцать дней! Больше двух недель! О чем они думали? Что нас это не касается? Мы в стороне? Ещё пятнадцатого можно было уехать, не знаю, уйти, может, бросив вещи, ценности, взяв только детей в охапку. Что их держало? Дома? Бизнесок? Наверное, были голоса про то, что надо бежать, да кто же слушал! Небось, говорили: вот, мол, две недели уже немцы в городе, а жизнь продолжается. — Голос Влада понизился почти до шёпота. — А шестнадцатого они все встали на эскалатор, с которого соскочить уже было нельзя и который довёз их до крематориев Трешлиньки.

И вот сейчас Артём вспомнил тот случайный разговор, и он отозвался совсем другими мыслями, чем тогда.

— Знаешь, родная, хоть у нас сейчас по улицам не мечутся обезумевшие толпы, и народ не дерётся за кусок хлеба, но всё же давай подготовимся, чтоб, если придётся делать ноги, не пришлось бросать всё и убегать, в чём есть. Хорошо?

— Хорошо, любимый, — она кивнула с серьёзным видом. — А теперь давай всё же поедим, а то уже остыло.

Первая ночь новой жизни прошла без приключений. Район как вымер, народ большей частью затворился по домам. Артём проверил дверь, запер на все запоры, скептически посмотрел на окна, но решил, что сегодня персонально

его квартиру штурмовать при помощи приставных лестниц или спускаясь с крыши на верёвках, в лучших традициях спецназа, никто не будет.

Всё же достал из сейфа ружье, проверил, зарядил и положил под руку, накрыв брошенной курткой, чтоб в глаза, если что, не бросалось. Затем улёгся на ворох из пенек, матрасов-самонадуваек, расстеленных спальников и сгрёб жену в охапку. Так, обнявшись, они и проспали всю ночь.

Утром разбудил грохот в дверь. Покосился на куртку, но с лестничной площадки послышался Мишкин голос. Блин, да так он весь подъезд перебудит!

— Чего буянишь? — открыл дверь и посторонился. — Проходи.

— Я на минутку, извини, брат, дела. А вы спите, как сурки, не достучишься. Спать ночью надо, а не черт-те чем заниматься. — И подмигнул пошаркавшей мимо них в сторону кухни Светке. — Между прочим, пока некоторые дрыхнут чуть ли не до полудня, другие с рассвета уже о своих соседях думают. Короче, заходил Кирилл, просил прикинуть, где брать дрова и как централизованно организовать кипячение воды. И, возможно, готовку горячей еды. Он опасается, что если все начнут готовить по своим нормам, то район может запылать не хуже города.

— Ну да, логично. — Артём, хмурясь, поскрёб затылок. — Я об этом как-то не подумал. Ладно, сейчас закину что-нибудь в топку и пойду гляну, откуда лучше доставку топлива наладить. А по поводу готовки... Ладно, посмотрим.

В этот момент щёлкнул замок соседской квартиры, и в приоткрывшейся щели показалась физиономия Александра.

— Ты чего шумишь ни свет ни заря?

— Заря, Саша, уже давным-давно отыграла. Все пчёлки вылетели и трудятся во славу улья. Только трутни дрыхнут.

— А чего вскакивать спозаранку? На работу же не надо.

Тут Саня перевёл взгляд на Артёма.

— Слушай, у тебя воды ещё нет?

— Вы что, — Артём усмехнулся, — ребёнку ванну устраивали?

Честно говоря, он подумал, что у семьи с маленьким ребёнком расход воды, в общем-то, окажется выше как раз из-за гигиенических нужд. Это взрослый человек вполне может обойтись какое-то время без мытья. Ничего, запах пота, в отличие от обезвоживания, не убивает.

— Да понимаешь... — замылся сосед. — Зинаида Петровна со своей рессадой...

— Ч-о-о-о?! — взвился Артём. — Ты хочешь сказать, что вы воду, которую я оторвал от своей семьи, фактически вылили в землю?!

— Да там и было-то всего литр, может полтора...

— Саня, я тебе дал питьевую воду. Понимаешь — питьевую. Мы даже для умывания её не используем.

— А как же?..

— А так же, — подключился Миха. — Взял тару, и гоу ту ручей.

— Да ладно, что вы завелись? Будто свет клином на этой воде сошёлся. Если тебе жалко, так и скажи. В конце концов, будет же она, рано или поздно.

Ребята опять переглянулись, Миха покачал головой, Артём вздохнул.

— Кстати, забыл сказать, тебя, Саня, тоже касается. В полдень общее собрание района. Будем решать, как жить дальше. Кто не придёт, пусть потом пеняет на себя и не говорит: надо так или эдак. Есть предложения — приходи. Не придёшь — делай, что решило большинство.

— Куда приходиться-то?

— Традиционно, к школе.

Что-то буркнув, сосед скрылся за своей дверью, клацнул замок.

После завтрака Артём, дав задание жене собрать походные вещи, отправился выполнять поручение. Попутно решил пополнить запасы мыльевой воды, но в этот раз не стал таскать баклажки в руках, а набил ими свой огромный рюкзак. В приступе соседского расположения даже позвал с собой Сашку, но тот, прикрывшись какими-то невнятными отговорками, отказался, не забыв попросить и на его долю захватить баклажку-другую.

Поход занял часа три. Сначала разведаль дорогу, по которой можно будет подкатить прицеп. Неожиданно это оказалось не так просто: кратчайший путь к лесу, где можно напилить нормальных дров, а не ограничиваться ивовым хворостом, был пешеходным. Лишь на обратном пути зашёл за водой.

Обратно шёл нагруженный, как мул. Район словно вымер, люди на улицах почти не попадались. Усмехнулся про себя: антураж прямо для съёмки постапокалиптических фильмов. Сейчас из-за угла ка-а-ак полезут зомби!.. А он с тяжеленным рюкзаком и без оружия. Грустно усмехнулся: похоже, их предположения сбывались, правда, пока без мародёров и мутантов, но лиха беда начало. Что там впереди?!..

Пустые провалы окон много где были уже закрыты. Местами, как и у него, шторами для ванн, местами парниковой плёнкой. Попались один или два забитые фанерой. Интересно, как там люди живут, в полной темноте? И наконец, в соседнем с ним доме — три окна, сверкающие свежим остеклением. Ну да, для стекольщиков сейчас — золотые денёчки. Ещё месяц — и зарядят дожди, за шторкой из ванны не отсидишься.

— Тём, а мы можем взять мои платища?

Он вздохнул.

— Малыш, ну, где ты собралась в них ходить? По лесу? Медведям показ мод устраивать?

— Но они совсем-совсем мало места займут, вот смотри, — она показала небольшой сверток. — Ты пойми, я же девочка, мне нужны платишки.

Артёму показалось, или в уголке её глаза мелькнула влага? А свёрток действительно небольшой, ну, как тут отказать? Внезапно он почувствовал сильный приступ нежности. Вот ради кого он должен быть сильным! У него есть ради кого выжить! Шагнул, стрёб в охапку и сжал в объятиях так сильно, будто стремился втиснуть её внутрь себя, чтоб защитить, оградить от всего мира.

Из глубин объятий пискнуло:

— Артём, ты меня раздавишь!

Спохватившись, ослабил хватку, поцеловал в ушко.

— Ну, конечно, малыш. Кидай в стопку, что в мой рюкзак пойдёт. И обязательно что-нибудь из косметики прихвати, будешь у меня самая красивая!

— Среди медведей? Поверь, это будет несложно. Я лучше гигиенических средств прихвачу.

Ближе к полудню Артём постучал в дверь соседа снизу. Тот сказал, что догонит. У него со вчерашнего оставалась девица. Догнал его уже на проспекте. Артём стоял, молча созерцая всё ещё горящий город.

— Ух ты! Да сколько же он гореть-то будет?

— Я читал, что Москва в восемьсот двенадцатом году горела четыре дня. И Гамбург во время так называемого “великого пожара” тоже, по-моему, четыре.

— Так Москва тогда была вся деревянная. А Гамбург? Это во время войны, когда бомбили?

— Нет, тоже в девятнадцатом веке. Но согласен, сейчас дерева в строительстве фактически нет. Хотя, если прикинуть, мебели в домах много. Опять же — центр был весь засажен деревьями. Короче, — Артём раздражённо махнул рукой, — что я, пожарный, что ли? Откуда мне знать, сколько он ещё гореть будет!

Потом повернулся к приятелю:

— А у тебя прогресс?

— В смысле?

— Судя по тому, что ты меня снова не пустил в квартиру, та подруга всё ещё у тебя?

— Вот ты Шерлок Холмс доморощенный! Ну да. А куда я её дену? Ей теперь идти некуда. — И кивнул на пожар.

— То есть она сейчас у тебя дома? Не боишься?

— Чего, что она хату обнесёт? Артем, не смешите мои подковы, как говаривал конь в одном мультике. Что у меня брать?! “Макбук”? Домашний кинотеатр? Представляю, как она плазму от стены отвинчивает и, шатаясь с ней в обнимку, по лестнице спускается. Это теперь мусор, никому не нужный!

Друзья повернулись спиной к горящим развалинам и неторопливо пошатались по проспекту. Артём усмехнулся.

— Может, тогда пришла пора знакомить с друзьями?

— Стесняется она.

— Стесняется? — пришла пора удивляться Артёму. — Что-то я вас с трудом понимаю. Поехать домой к парню, которого первый раз видишь, она, видите ли, не стесняется...

— Слушай, давай об этом не будем, — Мишка схватил соседа за руку, — по-братски прошу. Мне и самому во всей этой фигне тошно.

— Ладно, извини. Как думаешь, у Кирилла получится?

Мишка некоторое время помолчал, хмуро взглянул на приятеля, покачал головой:

— Мне бы этого очень хотелось, но... — вздохнул. — Кирилл мужик хороший и правильный, но он застрял в советском прошлом. Он верит в коллектив, в какое-то общественное сознание.

— А ты? Судя по всему, не веришь?

— Артём, я работаю в торговле, я за день встречаю очень много людей. У нас, конечно, попадаются вменяемые люди, но очень много таких, как твой соседка.

— Саня? — понимающе переспросил Артём.

— Ага. Потребитель как он есть. Сам ничего сделать не хочет, но все ему должны. Ты предлагал ему за водой вместе сходить? Так ведь нет, у него ребёнок маленький, у него тёща, жена, прочие отмазы. Но воды ты ему принеси. Почему? Так ведь ему все должны! Кто-то должен обеспечить его водой, потом кто-то будет должен ему продуктов. А ты что за голубая кровь такая, а? С какого-такого перепугу тебе все должны, а ты никому?

— Миха, не заводись, шут с ним, с Сашкой. Он безвредный...

— Да, безвредный. Пока он сидит в своей норе, и тёща с женой ему мозг выедают. Но попомни моё слово, когда их много... — махнул рукой. — Знаешь, как в Афинах поступили с Мильтиадом?

— Это кто?

— Вот те, здрасте, чему тебя, двоечника, в школе учили?! Это тот, под чьим руководством греки персов под Марафоном разбили. Ты хоть в курсе, что это было сродни чуду? Персидская империя тогда была на подъёме, а Греция — разрозненные полисы. Персы высадились у Марафона, это город такой. Войско афинян и их союзников платейцев управлялось десятками стратегами. Короче, что делать: нападать в поле или надеяться отсидеться за стенами, — эти стратеги договориться между собой не могли. Демократы фиговы. Тогда Мильтиад уговорил их всё-таки биться здесь и сейчас. Ну, а стратеги свалили на него всю ответственность, дескать, хочешь битвы? Ну, тогда давай, рули, инициатива, как известно, имеет инициатора. Тот порулил, да так, что персов вынесли на пиках, их военачальник погиб.

— Хм, честно говоря, я помню, что была какая-то битва, и гонец пробежал расстояние в сорок два с хвостиком километра до Афин, чтоб рассказать о победе. Я тогда всё удивлялся, почему нельзя было на коне доскакать. Лишь потом узнал, что на длинных дистанциях человек обгоняет лошадь. Прикинь?

— Да ладно, правда, что ль? Ну, тебе лучше знать. Я о другом. Знаешь, как народ отблагодарил Мильтиада? Когда тот заикнулся, что ему как полководцу было бы неплохо какой-нибудь знак отличия, например, масличный веночек, один из граждан в народном собрании встал и заявил: “Когда ты в одиночку побьёшь варваров, вот тогда и требуй почестей для себя одного”. Представляешь?! То, что чувак угадал с правильным моментом для битвы, фактически руководил боем, это всё фигня. Типа того, что у нас любой

гражданин от рождения на всё способен, хоть стратегом, хоть кем. И вообще, народ сам победил, без участия всяких мильтиадов и прочих примазывающихся.

— Мда, — протянул Артём, — это как раз знакомо. Если какой косяк на работе, ну, там график погрузки-выгрузки сорвали, с накладными напутали — это ты как начальник смены облажался. И пофиг, что на электрокарах акумы год как менять надо было или з/п кладовщиков порезали, и все грамотные разбежались, приходится набирать вчерашних школьников. А если все о'кей, то при чём тут ты?

Проспект в силу своей ширины оказался завален несильно: мелкий хлам, кое-где — поваленные столбы, кое-где — вывороченные прямо с корнями деревья. Виднелись проплешины от огня, но район не из “зелёных”, гореть особо нечему. По пути прошли громаду торгового центра “Звёздный” — безвкусный бетонный куб. На удивление, здание пострадало мало. Его как будто заранее планировали к подобным катаклизмам. В сторону центра обращена глухая стена, перед которой располагалась открытая автостоянка. Ещё одна парковка находилась непосредственно под “Звёздным”, во весь первый этаж. Стена, обращённая к проспекту, имела небольшие, вытянутые в высоту окна-бойницы. Стекла в большинстве на удивление уцелели. Стекланный фасад, обращённый в сторону небольшого палисадника, имел некоторый наклон наружу, нависая козырьком над высоким крыльцом в половину ширины здания. На фасаде также виднелось много целых стекол. Как минимум, весь первый этаж их сохранил, видать, витринное стекло оказалось не по зубам ослабленной ударной волне. На крыльце прохаживалась пара охранников.

За палисадником, сохранившим в тени “Звёздного” все деревья, начиналась территория районной средней школы. Площадь перед школой меньше автостоянки за “Звёздным”, но по традиции собирались именно на ней. Обычно администрация ТЦ без понимания относилась к идее пожертвовать парковкой ради массовых гуляний.

Школа, конечно, пострадала. Стёкла в окнах отсутствовали: ещё бы, это вам не витринное антивандальное стекло! Кое-где даже переплётов не было. Листы железа на двускатной крыше лохматились гигантскими завитками. В середине здания крыша вообще отсутствовала. Но стены, выложенные из силикатного кирпича, устояли. Следов пожара тоже не видно. Цело было и высокое крыльцо почти в половину человеческого роста, выступающее сейчас трибуной.

Народу собралось много. Конечно, не весь район — кто-то так и не пришёл. Ну, а кто-то не пережил прошедшую ночь. Мужчины, женщины всех возрастов. Артём осмотрелся — ни одного человека в форме, заметил несколько человек в форменных брюках, но все накинули сверху гражданское.

В центре, на крыльце страсти разгорались нешуточные. Несмотря на расстояние, было слышно, что орут там, не щадя связок, пытаясь задавить оппонентов децибелами. Смысл, в общем-то, понятен: как обычно, нашлось несколько “специалистов”, совершенно точно знающих, что делать. К несчастью, их виденья не стыковались между собой, а попытаться услышать чужую точку зрения было выше всяческих сил.

Среди орущих Артём, нисколько не удивившись, разглядел приснопамятного Родионьча, жестикулирующего рукой, замотанной какой-то тряпкой. На лице хорошо различимы ожоги. “Допожарничался”, — проскользнула злорадная мыслишка.

Сутулый мужчина, стоявший чуть впереди, повернулся, пропуская Мишано, и Артём узнал в нём одного из соседей.

— Валентин Семёныч, как вы?

Сосед обернулся, приветливо кивнул Артёму. Правая рука оказалась туго забинтованной от локтя до кончиков пальцев. Всё те же следы ожогов на лице.

— Я-то ничего, Федька обгорел сильно. Мы одну дверь вышибли, а от туда как польхнуло! На нём одежда загорелась, пока сбивали... эх, — Ва-

лентин вздохнул. — Толик с первого этажа ногу распорол, ходить не может. Вот такая оказия.

Тем временем долетел крик Родионича:

— Товарищи, перед лицом надвинувшейся на нас опасности мы все как один должны объединиться. Надо немедленно провести инвентаризацию запасов. Выбранная комиссия должна пройти по домам и переписать наличные запасы: продукты, медикаменты, инструменты. Все ресурсы нужно объединить в каком-нибудь надёжном месте, можно в спортзале школы...

Толпа зашумела, один из оппонентов Родионича, энергичная тётка в брючном костюме и со сложной причёской, перешла на ультразвук, и окончание фразы потонуло.

— Ну, и зачем народ звали? Эти демагоги всё равно никого слушать не будут, между собой собираются наше будущее решать.

— Видимо, мы им для массовки нужны, так сказать, легитимация принятых решений, — подмигнул ему мужик в синей рубашке, — чтоб потом говорить: вы же все имели возможность высказаться!

Он был на полголовы ниже и значительно старше Артёма, крепкий, коротко стриженный, эдакий гриб-боровик, с расстёгнутым до середины груди воротом тёмно-синей рубашки, сквозь который красовалась массивная золотая цепочка. Довершали образ элегантные офисные очки в тонкой золотой оправе.

— И кто у нас теперь вершители судеб?

— Старого клоуна не знаю, — мужик показал подбородком на Родионича, — эта коза в брюках, Антипова, районная депутатша. С ней всё ясно, мозги заточены только на то, как что спонсировать да устроиться потеплее. Вон чуть пониже, слева, Марков пристроился, директор наших коммунальщиков. Туп, как пробка, в кресло директора благодаря тестю плюхнулся, который в мэрии за коммуналку отвечал. Надеюсь, сейчас в аду ему устроили тёплую встречу. Ну, и Расулов, замнач нашего ОВД, вон внизу тихарится, как обычно. Небось, дежурил, вот и пережил ночь. Так-то они с шефом в центре живут... Жили.

— Странно, там из нашего дома должны были быть.

— Да в самом начале какие-то деятели пытались вставить слово, но разве этих тренированных горлопанов переорёшь? — крепыш усмехнулся. — Это только старому хрычу удаётся. Тоже горлопан знатный, правда, он-то часто дельные вещи предлагает. А потом этих ребят и вообще дружина отёрла в сторону, и они где-то потерялись.

— Какая ещё дружина? — удивилась стоящая рядом сухонькая старушка в платочке и очках.

— Видишь, мать, на нижних ступеньках ребята молодые? Вот они и есть эта самая дружина.

— Когда их назначили? Я здесь с самого утра, ни о какой дружине не говорили.

— Они сами себя назначили, — проворчал ещё один стоящий рядом мужчина лет сорока, в гражданке, но с характерной выправкой и уставной причёской, — им без разницы — с кем, лишь бы с властью.

— Вот уж точно, — поддержал его крепыш, — всегда лучше босса охранять, чем на заводе горбатиться, какие-никакие крошечки с хозяйского стола перепадают. Какая власть без верных нукеров!

Мужчина с военной выправкой поморщился, но ничего не сказал.

— И чего решают? — поинтересовался Артём.

— Как обычно, кто виноват и что делать? — военный говорил, не отрывая прищуренного взгляда от "трибуны".

— Ну, так и чего делать-то предлагают?

— Сейчас — только то, кто будет главный, — крепыш сплонул на асфальт. — А уже потом, наверное, эти главные придумают, как нами рулить.

— Кстате, не говорили, что всё-таки случилось?

— Вначале прозвучало, что по нам ударили американцы, — обронил военный. — Говорят, нанесли удар сразу по воинской части и по химкомбинату. Остальное — последствия.



— А вот в этом я сомневаюсь, — включился очкастый крепьш, — химичка давно пиндосам принадлежит, и НПЗ “Шелл” строил. Зачем им по своим же активам бить? Это же ущерб чистой воды!

— Кто знает? — пожал плечами военный. — Может, решили, что допустимые потери. В любом случае, на ядерный удар похоже.

— Вы... уверены?

Так что же, всё-таки, оно? Артём прислушался к собственным ощущениям. Странно, не сказать, чтоб громом поразило. Только усталость какая-то появилась. Впрочем, решил он, это же неточно.

— Ой, батюшки, так у нас же радиация! — запричитала старушка. — Нас же надо эвакуировать!

— Успокойтесь, мамаша, сейчас ядерные боеприпасы достаточно чистые, остаточная радиация минимальна. Так что до смерти от радиации, скорее всего, ни вы, ни мы не доживём. Раньше от голода загибёмся или перебьём друг друга.

— И правда, — взмахнула руками старушка, — а вы не знаете, торговый сегодня откроется? Надо же крупки купить, соли опять же.

— Это, мать, сейчас, наверное, всех беспокоит, пойду-ка я лучше гляну, что там у нас с торговлей. — И крепьш начал пробираться к выходу из толпы в направлении “Звёздного”. Старушка пристроилась к нему в кильватер, а за ними и Артём, решив, что делать на “собрании” больше нечего, но вскоре осознал, что почти все средства на пластиковой карте. Не было привычки таскать много наличных, дескать, так целее будут. Вот они и уцелели, на счёте в банке. И пусть его деньги — это не реальные бумажки, выгорающие в банковском хранилище, а набор кодов в компьютерной базе, только получить к ним доступ в обесточенном мире не представлялось возможным.

Около “Звёздного” Артём нос к носу столкнулся с соседом Саней.

— Я тоже решил закупиться, — сказал он, — а то дома уже голяк полный. У малого смесь скоро кончится. Да и воды бы купить.

На площадке перед “Звёздным” успело собраться прилично народа, но по ступенькам пока никто не поднимался. На крыльце переминались уже четверо охранников, судя по всему — нервничали. Вот так, парни! А вы думали, служба — это сутки на стульчике за монитором и трое дома на диване? Иногда смена так и не кончается.

— Граждане, расходитесь, торговый центр сегодня не работает. — Один из охранников, по виду — главный, взял мегафон.

Расходиться народ явно не спешил. Но и заходить за лёгкие переносные перильца, выставленные по границе ступенек, не торопился. Чоповцы все были в чёрных бронжилетах поверх чёрной же формы, в руках — помповые ружья. Лица кислые — ситуация им явно не нравилась. Всё-таки они пришли в охрану не жизнь класть за хозяйское добро, а спокойно сутки-трое зарабатывать себе на хлеб насущный.

В отличие от них, парень с мегафоном, лет тридцати-тридцати пяти, являл образ верного пса — с решительным лицом, эдакий правильный боец. В перерывах между объявлениями он что-то энергично втирал своим коллегам. Похоже — проводил инструктаж.

Четвёртый, совсем мальчишка, на вид едва ли больше двадцати, боялся, хотя старался не подавать вида.

— Опасаются, что народ разметёт их кубышку. — Голос Сашки напоминал сейчас рычание шавки, боящейся, и в то же время стремящейся добраться до возжеленной косточки, возле которой расположился более крупный пёс. Рычание, переходящее в подскуливание.

— Они на работе, — пожал плечами Артём, — кто знает, чем всё закончится, а им отвечать.

— Да их хозяева в центре кремировались и скоро пеплом на нас просыпаются.

— Во-первых, откуда ты знаешь, что хозяева нашего “Звёздного” были в эпицентре взрыва? Ты вообще знаешь, где они живут? Может, за кордоном. А во-вторых, даже если хозяева накрылись, охрана работает не на конкретного дядю, а на фирму. Погибли одни хозяева, найдутся другие.

Военный, оказавшийся снова рядом, посмотрел на Артёма своим долгим внимательным взглядом, потом кивнул и еле заметно одобрительно улыбнулся.

— Ещё раз повторяю, граждане, магазины сегодня не работают. Пожалуйста, покиньте территорию.

— А нам как быть? — закричал кто-то из толпы. — Второй день ни один магазин не работает, дома шаром покати. Что, с голоду теперь подыхать?

— Воды хотя бы дайте купить, воды! Водоканал пересох, мы даже из сливного бачка воду уже вычерпали.

— Бли-и-ин! — раздалось рядом характерное. Девчонка даже ручонками задрогала, подпрыгивая на мысочках. — Даже голову помыть нечем. Я, наверно, лохматая, как кикимора. Хорошо, что в универ пока не надо. — Окружавшие подружки её активно поддерживали.

— Проблемы с причёской? Стригись налысо, — буркнул Артём, вроде негромко, но его услышали, — так и вшей меньше будет.

Пожилой крепьш заржал в голос, хлопнул ободрительно по плечу. Девчонки зашипели, ну, чисто кошки.

— Народ, как вы не понимаете, — старший охранник уже без мегафона пытался достучаться до разума толпы, — персонал ТЦ на работу не выходит, многие скорее всего погибли. Да если бы и вышли, всё равно — света нет, там темно и кассы не работают.

— Ну, и что нам делать? — за ограждение прошёл мужчина, потрясая руками. — Нам чего делать?

— Так, господа... кхм, граждане... — Через толпу пробирались давешние “вершители судеб”: Родионыч, “брючная коза” и мужчина в милицмейской форме, наверно, тот самый Расулов. — Да пропустите же!

Они прошли сквозь ограждение и решительно поднялись на крыльцо. Следом шла четвёрка молодых парней, уже с повязками на рукавах, судя по всему, та самая “дружина”.

Лица пожилых чоповцев стали разглаживаться, а вот старшему явно не понравилось. Он выдвинулся вперёд на пару шагов, поднял руку ладонью вперёд и что-то спросил.

— Мы комитет самоуправления района, — визгливый голос “козы” донёсся до задних рядов всё увеличивающейся толпы. — В связи со сложившимися чрезвычайными обстоятельствами требуем передачи под контроль комитета имеющихся ресурсов и продовольствия.

— Это частная собственность... — начал было старший охраны, но его буквально заткнул Родионыч:

— Какая, на фиг, собственность?! Ты что, не видишь, что творится? Нет твоих хозяев больше, не перед кем отчитываться. Мы теперь для тебя власть!

“Брючная коза” при этом явственно скривилась, но промолчала. А Родионыч добавил, подпустив в голос язвительности:

— Или сам хотел на кубышку сесть? Местным олигархом заделаться?

Видимо, подобные мысли “старшему” были не чужды. Как минимум — посещали. И может быть, будь парень порешительнее, он имел неплохие шансы: всё-таки десяток человек под единым командованием с дробовиками против дезорганизованной безоружной толпы — это сила. Но — не судьба. Всё-таки верный пёс — это не волк: мало хорошо исполнять чужую волю, надо иметь свою.

Артём осознал, что буквально на его глазах, вот прямо сейчас происходит пресловутый передел собственности. Такой же, как в забытых девяностых. Старший охранник порывался что-то сказать, несколько раз открыл рот, взмахнул свободной рукой с мегафоном. Противостоящие люди спокойно наблюдали за его метаниями с минуту, потом Расулов негромко что-то сказал, и было видно, как бывший старший как будто переключил тумблер, включив привычного ему “хорошего исполнителя”.

— Да, конечно. Сейчас Смирнов вас проводит. — И повернувшись к одному из пожилых чоповцев, приказал: — Николай, проводи товарища майора с сопровождающими...

Расулов, пара парней и охранник Николай куда-то ушли. К краю крыльца вышла депутатша Антипова:

— Граждане, пожалуйста, успокойтесь, все получают доступ к продуктам питания. Но для этого нам надо наладить учёт имеющегося. Сейчас выбранная комиссия пройдёт в торговый центр для проведения инвентаризации. Позже, как только комиссия закончит, мы сможем провести выдачу продуктов.

— Знаем мы ихнюю инвентаризацию, — забормотала бабка, — вначале нахапают себе полные закрома, а нам — что осталось.

— Интересно, кто их выбрал? — не обращаясь ни к кому, проговорил Артём, имея в виду пресловутый “комитет”.

— Да сами себя и выбрали, — в тон ему ответил военный. — Может, даже протокол какой уже успели сострять.

— Ага, — фыркнул пожилой. — Не согласен? Так надо было на собрание приходиться. Какое собрание и почему не были собраны все? Так время сейчас такое, не терпит промедления.

— А как быть с деньгами? У большинства деньги на карточках! — выкрикнули из толпы.

Антипова беспомощно повернулась к остальным самопровозглашённым отцам района. За это время к ним успела присоединиться ещё пара человек: коммунальщик Марков и незнакомый пузатый мужик в спортивном костюме. Вперёд выступил Родионьч:

— Товарищи, мы всё прекрасно понимаем, не переживайте. Товары первой необходимости будем выдавать по записи.

— И как? Сколько унесёшь? Или по числу едоков? А у меня ребёнок грудной.

Группка на крыльце опять принялась совещаться. Видимо, ни к какому решению не успели прийти, как выступил Родионьч:

— Не переживайте, составим отдельные списки нуждающихся. Семьи со стариками или маленькими детьми будут в приоритете.

А вот с этим остальные его поделщики оказались не согласны. Антипова что-то зашипела ему в ухо.

Наконец Родионьч, Антипова, Марков и новый толстяк развернулись и ушли вглубь “Звёздного”. Толстяк, ткнув указательным пальцем в грудь старшего охраны, что-то отрывисто ему приказал. И получил в ответ кивок-подтверждение. Тут Артём обратил внимание, что, пока суть да дело, первые, разреженные ряды толпы уже просочились сквозь ограждение и успели подняться до середины ступенек. Старший охраны опять взял мегафон:

— Граждане, освободите территорию торгового центра. Допуск на территорию будет организован позже, когда комиссия закончит работу.

— Маловато у тебя, парень, силёнок, чтоб толпу остановить, — буквально под нос себе проговорил военный. — Я бы на твоём месте сейчас двери держал. Да ещё и решётку внутреннюю опустил.

— Да-а-а... — протянул пожилой, — сейчас народ на солнышке пожарится, терпежку подрастеряет. Их тогда и строем ОМОНа не остановить будет.

Трое охранников плюс оставленные им в помощь “молодчики” вышли цепочкой к толпе и постарались её отгеснить. Большинство, развернувшись, ушли за ограждение, но некоторые, спустившись на несколько ступенек, там и остались. Старший, по-видимому, посчитал задачу выполненной и вновь поднялся на крыльцо.

— А когда выдавать начнут? Дайте хотя бы воды!

— Воды, воды! — покатилося над изрядно разросшейся толпой. Сейчас перед ТЦ народу было явно больше, чем на собрании у школы.

— Граждане, ну, подождите немного, скоро всё будет!

В этот момент к старшему подбежал ранее ушедший Николаев. Он что-то быстро ему доложил. Изменившийся в лице старший решительно ткнул пальцем во второго пожилого охранника, потом указал на одного из молодчиков. Тот отдал ему ружьё. Далее старший повернулся к молодому:

— ...за старшего... никого... подмогу.

Молодой чоновец подтянулся, кивнул в ответ. После чего старший и оба пожилых бегом скрылись внутри “Звёздного”. Остались втроем: молодой

чоповец и пара “дружинников”, один из которых вооружился отданным помповиком. Толпа меж тем очень медленно, по шажочку, по одной ступенечке, но вместе с тем неотвратно накатывалась на оставшуюся тройку. Первые ряды, ещё пару минут назад бывшие разреженными, сплачивались, насыщаясь подходившими из глубины людьми. Наиболее решительные энергично проталкивались вперёд, их охотно пропускали. Ропот постепенно усиливался.

— Сынок, ты уж пусти нас, у нас дома дети малые, их кормить-поить надо.

Парень, вначале строивший из себя грозного охранника, постепенно сдувался. От строгих окриков: “Граждане!” — постепенно перешёл почти к умоляющим интонациям:

— Ну, пожалуйста, отойдите назад. Не напирайте. Сейчас старший вернётся, он вам всё расскажет.

— Слышь, вы что, глухие? Ну-ка отвалите назад на десять шагов! — молодчик передёрнул затвор. При этом из окна выбрасывателя выскочил ранее уже досланный патрон. Небольшой красный цилиндр глухо подпрыгнул на плитке и покатился по ступенькам под ноги приближающимся людям.

— Баран... — сквозь зубы негромко выругался военный.

На “дружинника” не обратили внимания.

— Парни, пропустите нас, Христом Богом молю, нам бы только водички взять. У вас её там много, а у нас семьи от жажды мучаются.

Первые ряды перевалили через верхнюю ступеньку. Громкие выкрики почти прекратились, негромкий ропот набирал силу. Толпа гудела, наэлектризовываясь. Противостоящая ей троица отступала к стеклянным дверям.

— Уходите внутрь, пацаны. И двери закрывайте, — буквально прошептал державшийся рядом крепьш и покачал головой. Он, Артём и военный по-прежнему оставались позади основной массы людей, продвинувшись за это время всего на несколько шагов. Сашка как-то незаметно растворился в толпе впереди. Но охранники, уже вжавшиеся спиной в стеклянную стену, также продолжали кто криками, кто просьбами отгонять надвигающуюся толпу. И вот толпа начала давить на парней, вставших плечом к плечу в проёме так и не закрытых стеклянных дверей. Один дружинник, держа ружьё двумя руками, отжимал им напиравших. Второй отталкивал людей голыми руками. Молодой чоповец, прижав ружьё к себе, как щит, встречал толпу грудью. Толпа качнулась вперёд и просто смела стоящих в проходе. В дверях мгновенно возникла давка, раздались крики и ругань. Наконец, вся масса народу начала вливаться в двери. Зазвенела разбившаяся витрина, звон перекрыли крики боли, но ничто не могло остановить народ. Как сквозь рухнувшую плотину, людская масса вливалась внутрь “Звёздного”, растекалась в фойе и исчезала в темноте громады торгового комплекса.

— Д-а-а... дела-а, — протянул крепьш, — я внутрь не пойду. Там сейчас такая бойня начнётся...

— Идиоты, — согласно кивнул военный, — они и сами ноги попереламывают, и продукты по большей части побьют, пораскидывают. А ещё, я думаю, сегодня ночью на улицу лучше не выходить. Пока запасы алкоголя у народа не кончатся.

Развернулся и пошёл от “Звёздного”. Крепьш сплонул, выматерился и тоже отправился восвояси. Артём, подвижимый любопытством, поднялся на крыльцо. В двери продолжали забегать опоздавшие к началу погрома. Внутри в темноте металась смутные тени, изредка мелькали огоньки фонариков и зажигалок. Где-то бабахнул выстрел.

Один из дружинников, который безоружный, тяжело дыша, подполз к рамке металлодетектора, стоящего против входных дверей, чуть в глубине холла, и облокотился в изнеможении. Кожаная куртка разорвана и залита кровью. Лицо превратилось в кровавую маску. Артём не поручился бы за его рёбра и внутренние органы, но парень жив, конечности целы, сильных кровотечений не заметно.

Рядом с входом лежал мёртвый молодой чоповец. Видно, что толпа по нему пробежалась. Внутри бабахнул ещё один выстрел. Артём постоял немного

в оцепенении, подошёл к мёртвому чоповцу и опустился рядом с ним на корточки. Мимо, озираясь на них, забегали внутрь ТЦ всё новые и новые люди. Некоторые тащили с собой большие клеёнчатые сумки или рюкзаки. Тёма вздохнул, закрыл мёртвые, такие наивно-удивлённые глаза молодого охранника.

— Вот ты где, я тебя обыскался! Что тут у вас... Вот, чёрт!

Артём обернулся. За спиной стоял Миха, переводя ошарашенный взгляд с мертвеца на раненого дружинника.

— Не, ну, погромы в магазинах я видел, но чтоб до такого, — шумно выдохнул, помотал головой, — совсем озверел народ. Надеюсь, ты туда не собираешься?

— Я что, совсем на голову большой?

— Тогда пойдём домой.

— Нашёл Кирилла? — спросил Артём, когда они уже не спеша шагали к дому.

— Нашёл, — без энтузиазма ответил Мишаня, — он только матерится. Говорит, слова вставить не дали.

— Если честно, Мих, я почему-то так и думал. Сейчас наверху такая грызня пойдёт, только держись. Зубы, как у волка, нужны и полное отсутствие совести. А твой Кирилл не такой. — Помолчал, потом хмыкнул: — Не, а Родионыч-то каков, видал? Энтузиаст хренов.

— Зря ты так на Родионыча...

— Что значит зря? Знаешь, кто опасней дурака? Дурак с инициативой! Вот наш Родионыч и есть — инициативный придурок. Видел, чем его пожарная эпопея закончилась?

— Что есть, то есть, но он хоть за общее дело радеет, просто...

— Просто дурак, — закончил за Мihu Артём.

— Ладно, чего ты на него взъелся? Кирилл его хочет как нашего человека у власти использовать. Меня или тебя он слушать, конечно, не станет, а вот Вячеславовича уважает. Так что не всё ещё потеряно.

— Слушай, Миха, — Артём остановился, схватил приятеля за рукав. — Ты вот мне скажи, неужели нужно было всего один день, ну, хорошо, сутки, чтоб народ так озверел?! Ведь если взять каждого по отдельности — большинство мухи не обидит. Побоятся или пожалеет, не важно. Знаешь, я думал, что все эти рассказы об озверевших толпах в постапокалипсисах — это художественное преувеличение, ну, чтоб картинку пострашнее изобразить. Но тут!

Мишаня тоже остановился, посмотрел иронично.

— Знаешь, у нас на работе периодически проводили тренинги. Считается, что торговый представитель без этого не сможет быть успешным. Пичкали всяческой техникой продаж, работой с возражениями. По-моему, так просто бабки отмывали. Но иногда попадались грамотные ведущие. И вот как-то раз в перерыве мы трепались о разном, и кто-то спросил, как так происходит, что люди буквально переобуваются в прыжке.

— Чего-чего?

— Меняют своё мнение, — пояснил Миха.

— И при чём тут это?

— Ща поясню. Вот смотри, стоишь ты на платформе, ждёшь электричку, собралась толпа. Подъезжает поезд, уже забитый. Ты начинаешь в него ломиться вместе со всеми. А дальше, как говорится, следите за руками: вот ты ещё на платформе. Впереди тебя какие-то счастливики, которые перешагнули порог и уже в вагоне, а ты ещё снаружи. Ты ощущаешь себя частью тех людей, что ещё стоят на платформе, вы вместе орёте внутрь: “А ну не стойте в дверях, из тамбура проходите в вагон, всем надо ехать!” Ты вместе с теми, кто снаружи, ненавидишь тех, кто уже влез. За то, что они не хотят немного сдвинуться, что они уедут, а вы ещё рискуете остаться... — Мишка сделал паузу. — Но вот ты делаешь шаг через порог. И что? Миг, и ты уже ненавидишь тех, кто толкает тебя в спину, с кем ещё мгновение назад был готов разорвать тех, кто внутри! Ты уже в лагере вошедших, и ты вместе с другими вошедшими орёшь назад: “Куда прёте?! Через десять минут следующая электричка!”

Артём расхохотался:

— Да уж, точно!

— Точно, — подтвердил Миха, с лица которого вдруг пропала вся весёлость. — А чему же ты тогда удивляешься? Люди — они и в Африке люди. Ещё вчера милые попутчики, с которыми ты ожидал электричку под названием “завтра”. Но что-то случилось, и до людей доходит, что в завтра они могут не уехать!

— Слушай, но не из-за какой-то воды и продуктов! Я бы понял, если это действительно был какой-нибудь последний поезд или пароход. Не сел — не выжил. Но, блин, мы в пустыне, что ли? У нас ручей под боком, чуть дальше река есть.

— Артём, — приятель посмотрел на него укоризненно, — это для тебя лес — и столовая, и водопой, и постель, и не знаю, что ещё. Посмотри, ты многих видел идущими за водой?

— Следы попадались, да и встретила пара человек с канистрами.

— Пара человек, — передразнил Миха. — Вот их в этой толпе и не было. А остальные? Взять хоть твоего соседушку. Пошёл он с тобой? Нет. Для большинства булки растут не на деревьях, а в магазине, и другого источника продуктов они не знают.

— Слушай, не утрируй. У нас половина жителей — дачники. Каждый знает, как растить картошку. У многих колодцы на участках. Чего они на свои дачи не побежали?

— Может, кто и побежал.

— Саня не побежал. А дача у него, между прочим, есть. Там, небось, в подвале соленья-варенья с прошлого года, но он будет здесь сидеть и пытаться вымутить что-то в торговом центре.

— Ну да, Саня — это Саня, — Миха усмехнулся. — Может, ему до дачи далеко? Впрочем, шут с ним. Артём, люди без воды сидели со вчерашнего утра, больше суток. Дни стоят жаркие, ты когда-нибудь испытывал жажду? Впрочем, о чём я, ты-то наверно её специально тренировался терпеть. А вот для обычного человека жажда — это пытка. И ещё непонятно, что будет завтра. Так что я народ понимаю. Удивительно, что ещё вчера они “Звёздный” не разнесли, терпели. Может, надеялись на что.

Дальше шли какое-то время молча, каждый в своих мыслях. Но когда уже показался дом, теперь уже Миха придержал Артёма за рукав.

— Слушай, Тёмьч, у твоей жены нет каких-нибудь ненужных шмоток?

— Найдутся, наверное, а что?

Сосед поморщился:

— Да та подруга... Ну, которая у меня сейчас. У неё платице — только по барам ходить, а ей, понимаешь, сейчас идти некуда. Видишь, как получилось.

Артём покачал головой:

— Пусть приходит, Светка что-нибудь подберёт.

Рядом с подъездом встретили двух хмурых санитаров, несущих что-то на носилках, прикрытых смятой простыней. На простыне тут и там попадались бурые пятна.

Поднявшись на этаж, Артём лицом к лицу столкнулся с двумя мужчинами, как раз спускавшимися сверху. Увидев его, один из них, с папкой под мышкой, одетый как обычный гражданский — рубашка и джинсы, поинтересовался.

— День добрый, вы здесь живёте?

Артём остановился, оглядел их, задержал взгляд на втором, одетом как врач или фельдшер “скорой помощи”.

— Да. А в чём дело?

— Поквартирный обход. Собираем сведения о пострадавших.

Гражданский показал какое-то удостоверение, Артём не вчитывался. Фельдшер в это время стучался в другие квартиры.

— В пятьдесят первой нет никого, можете не стучать. Хозяева на зарботки уехали и появляются раз в полгода.

— Понятно, других соседей видели вчера-сегодня?

— Александра из пятьдесят второй сегодня у торговика видел, может, ещё не вернулся. А вот Николаичей из пятидесятой что-то давно не встречал.

— А вы сами? Дома раненые, пострадавшие есть?

— Да вроде все, слава Богу, живы-здоровы.

Щёлкнул замок, в щёлку двери высунулась любопытная мордашка.

— Свет, ты Николаичей последнее время видела?

— Не-а. Но они же тихие.

— Понятно. — Гражданский открыл папку, что-то пометил. — Значит, пятьдесят один пустует, в сорок девятой все ок, пятьдесят два, хм... подождём. Пятьдесят?

Посмотрел на фельдшера, тот снова захохотал в дверь соседей.

— А кто, говорите, здесь живёт?

— Пенсионеры — Валерия Николаевна и Мераб Николаевич.

— Вы их точно вчера и сегодня не видели?

Артем пожал плечами, переглянулся со Светкой. На лестнице послышались шаги, и на площадку, тяжело дыша и хромая, поднялся Сашка. Плечо отдавливала здоровенная клеёчатая сумка. Глаз заплыл, губы разбиты, на лбу — здоровенная шишка. Один рукав клетчатой рубашки отсутствует напроочь, брюки в какой-то пыли и грязи.

— Добрый день... О-о-о, где это вас так?

— Споткнулся, — хрипло выдохнул красный от натуги сосед.

— Вы аккуратнее, — посочувствовал гражданский. — Живёте в пятьдесят второй?

— А что?

— Дома есть раненые или пострадавшие при взрыве?

— Не, у нас всё хорошо.

Сашка поставил сумку, достал ключи, открыл дверь. Изнутри донеслось:

— Господи, Саша, что с тобой? А где мама?

Видимо, Сашкина жена караулила под дверью.

— Не знаю, мы разминулись...

Дверь захлопнулась, отсекая супругов Коровиных от собравшихся на лестнице.

— Так, здесь разобрались, — гражданский опять чего-то черкнул у себя в записях. — Ну-с, осталась эта квартира. Они точно перед взрывом никуда не уезжали? Может, на дачу?

Артем посмотрел на Светку.

— У них, кажется, нет дачи. Ну... — задумчиво потянула супруга, — по крайней мере, Евгения Николаевна никогда про это не говорила.

— Понятно, — гражданский кивнул, — значит надо взламывать. Алексей, давай.

— Погодите, как взламывать? Может, они просто отошли куда? Сейчас им дверь сломаем, а они бац — и возвращаются.

— Ничего, тогда починим. Начинай.

Фельдшер скинул со спины небольшой рюкзачок и вытащил гвоздодёр.

— Посторонитесь-ка. И не уходите, будете свидетелями.

— Понятыми?

— Да нам без разницы.

Хлипкая старая дверь долго не сопротивлялась. Фельдшер сделал приглашающий жест Артёму. За ними любопытным хвостом прошмыгнула Светка.

— Да уж, — хмыкнул вошедший первым гражданский, — отошли.

В большой комнате Артёму открылась удручающая картина. Всё, что могло упасть, оказалось переломано и сверху засыпано осколками стекла, влетевшими внутрь комнаты — окна Николаичей выходили как раз в сторону центра. А посередине, на стареньком диване лежали под одеялом два тела. То, что дальше от окна, пожилого мужчины. Он лежал на спине, белое, почти под цвет подушки лицо излучало спокойствие. Только на лбу, ближе к правому виску виднелся след от удара. На полу, как раз у изголовья, валялся макет атомной подводной лодки на тяжёлой мраморной подставке. По мрамору змеилась золотом надпись: “Капитану первого ранга Георгадзе М. Н. от экипажа”. Рядом на кровати лежал труп пожилой женщины.

Она пострадала больше, поскольку оказалась придавлена большим шифоном.

— Дед явно сразу кончился, а вот бабка тёплая, — констатировал гражданский, осмотрев стариков. — Его, видимо, при взрыве этой душой огрело, он и отошёл. А старуха просто не смогла сама выбраться из-под обломков. Ладно, смотреть больше не на что, Алексеич, засылай бригаду, надо жмуриков вынести, пока не запахли.

— Они не жмурики!

Все обернулись. Светка стояла, обняв себя руками, с побледневшим лицом и трясущимися губами.

— Извините, девушка, но такая у нас работа, — виновато проговорил фельдшер, — знаете, какая это по счёту квартира только за сегодня? Лучше не знать. Поневоле очерствеешь.

— Простите, — Артёма разобрано любопытство, — а это чьё распоряжение, нового комитета?

— Какой ещё комитет? — удивился гражданский, пожал плечами. — Нет, стандартный регламент при подобном ЧС, чтоб исключить эпидемию. Вы же не хотите жить по соседству с разлагающимися покойниками? Лучше скажите, у них родственники есть? С кем потом связаться?

— У меня телефон их сына записан.

— Телефон? Хм, ну, понятно, давайте хотя бы его. А сейчас пойдёмте. — И он сделал приглашающий жест руками.

Над диваном в рамке висела фотография: молодой военный моряк держит под руку девушку в белом платье. Снизу подпись: “Вместе до самой смерти”.

Потом пришлось долго успокаивать Светку. Она, проводившая дома больше времени, иногда заходила к старикам по-соседски. И, конечно, привязалась. Жгла мысль, что пока они завтракали и обедали, что-то обсуждали, вообще — жили простой обывательской жизнью, за тонкой стенкой умирал пожилой человек. Умирал медленно, придавленный тяжёлым шкафом, не имея возможности освободиться, дотянуться до лекарств. Артём мягко уговаривал успокоиться, объяснял, что сейчас тысячи стариков, и не только стариков, а молодых, здоровых людей могут умирать вот так, без помощи, без надежды. Под завалами, которые некому разгрести. От сердечных приступов в своих квартирах, потому что вызвать “скорую” некому, да и не приедет она. Что младенец соседей тоже под большим вопросом, поскольку у Саниной жены нет молока, а смогут ли они готовить смесь в достаточных количествах? И что делать, когда она кончится?

Не помогало. Слезы после успокоительного кончились, оставив две дорожки на щеках, но эти глаза! И ещё Светку колотило. Натурально, крупной дрожью, как в ознобе. Она сидела в углу, там, где раньше была их постель, обняв колени, и уткнувшись в них подбородком. Артём пристроился рядом, обнял, гладил по спине и голове, то упрасивал, то пытался шутить. Светка отвечала односложно, дескать, всё хорошо, и смотрела при этом полными боли глазами, не переставая трястись. Подождал минут пять. Потом десять. Светку не отпускало. Где-то у него была небольшая пластиковая бутылка с медицинским спиртом, дёрнулся было поискать, но потом задумался, можно ли спирт смешивать с успокоительным?

— Тёмочка, всё в порядке, не беспокойся, пожалуйста, я сейчас посижу ещё немного, и мы пойдём.

Да лучше бы она ревела! Бесплодные попытки успокоить супругу начали раздражать Артёма. Накопленное напряжение давало себя знать, и, столкнувшись с ситуацией, в которой оказался бессилён, он стал злиться. На себя, — за то, что не знает, как помочь супруге, а ещё за то, что никак не может решиться. На окружающих, теряющих человеческий облик, готовых рвать друг друга, лишь бы ещё хоть на день вернуть привычное. На их тупость и нежелание видеть дальше своего носа. И даже на жену. А ведь он ни разу в жизни на неё голоса не повысил! Но если она будет так переживать по поводу каждого погибшего пенсионера, они никогда не выберутся из этого района, готового скатиться в ад гражданской войны за выживание.



Злость бурлила и требовала выхода. Он встал, подошёл к стопке собранных вещей и взял чехол со спальным мешком. Не торопясь, сдерживая трясущиеся руки, чтоб не сорваться, вытащил его и бросил на пол. Потом присел перед женой, расцепил ей руки, развернул её и уложил на подстеленный спальник. Светка безвольной куклой повиновалась. И эта покорность разозлила его ещё больше. Видимо, что-то всё же отразилось у него на лице, потому как в её глазах мелькнуло удивление. Удивления добавилось, когда его рука рванула тонкую ткань домашнего платища. Одежда полетела в угол. “К черту, — мелькнула мысль, — всё равно эти тряпки с собой не потащу”. Света не сопротивлялась, только изумление постепенно вытесняло из глаз боль и отчуждение. А потом она стала отвечать. Отвечать страстно, как раскручивающаяся пружина, у которой лопнул стопор. В спину вонзились ногти, и ничем не сдерживаемый крик эхом катался по комнате впервые за годы жизни в этой квартирке с “картонными” стенами.

Потом всё закончилось. Саднила спина, на плече обнаружился след от укуса.

— Прости меня, Светик, я не знаю, что на меня нашло...

— Не извиняйся, пожалуйста.

Она взяла его голову в ладони, нежно поцеловала в губы.

— Знаешь, а мне даже понравилось, — грустно усмехнулась, поджав губы. — Вот ты и раскрыл свою маньячную натуру. И как я жила с тобой всё это время?

Улыбнулась уже веселее.

— Платье вон мне разорвал...

Встала, накинула на себя какую-то рубашку из стопки, сложенной на полу, подошла к окну.

— Надеюсь, они не мучились, — проговорила после недолгого молчаливого созерцания улицы сквозь не заделанные щели между матрасом и оконной рамой. И Артём почему-то понял, что речь идёт о её родителях. Встал, как был, подошёл сзади и заключил в объятия. Света развернулась в кольцо его рук, обняла в ответ.

— Ну, так что, муж, какое решение ты принял? Мы остаёмся или уходим?

Ответить он не успел — в дверь снова постучали. Появилась мини-процессия: Миха, с виноватой физиономией подталкивающий перед собой невысокую черноволосую девушку, вчерашнюю школьницу, одетую в уже несвежее короткое платьице с открытыми плечами. На ногах красовались старые домашние тапочки, протёртые над большим пальцем правой ноги, явно ей большие. Девушка шла, чуть сгорбавшись, обнимая себя под локти скрещенными руками, уставившись в пол.

— Здравые, — не поднимая головы, еле слышно выговорила гостя.

— Это Таня. А это Артём и его жена Света. Свет, Артём говорит, у тебя найдётся что-нибудь запасное, Танюху приодеть? И, может, на ноги что-то, а то у неё та-а-акие шпильки...

Светка, перевела вопросительный взгляд на мужа.

— Блин, Светик, не успел тебе сказать...

— Понятно, — перебила супруга Света, — так, Танюша, проходи, а вы, мужики, — брысь на кухню и посидите там. Артём, можешь пока чаю нам всем сделать.

— Ну, что думаешь? — понизив голос, спросил Артём, когда за ними закрылась выжившая в катаклизме кухонная дверь.

— А чего тут думать? Это же не вещь. У меня пока поживёт, а там видно будет.

Примерка затянулась, чай пришлось подогреть заново. Наконец, все четверо собрались за восстановленным кухонным столом. Таня красовалась в немного великоватой футболке с диснеевским зайцем на груди. Розовые девчачьи брючки, название которых Артём так и не вспомнил, пришлись почти впору, только снизу понадобилось подвернуть. Пакет со стопкой других даров ждал в прихожей. Пожертвовала Светка и одни кроссовки, тоже слегка свободные.

— Велики не малы, — заявил Артём. — Тебе кроссы в них не бегать.

— Раньше бегала, — погрузилась девушка, — я же лёгкой атлетикой занималась, даже за институт выступала.

— А, — протянул хозяин дома, — то-то, я вижу, ноги тренированные.

— Так, муж, — притворно нахмурилась Светлана, — ты чего это чужие ноги разглядываешь? Миша, чего молчишь?

Мишаня тоже был не в своей тарелке, потому отделался неопределёнными звуками, видимо, должными выразить согласие с хозяйкой.

— Вы только не подумайте, что я какая-то легкомысленная, — внезапно проговорила девушка. — Я, если честно, и в баре-то первый раз была, мою первую зарплату отмечали! Знаете, как я долго ждала эту работу! У нас после выпуска уже все устроились, ну, кто замуж не повыскакивал, конечно. А я сначала ждала этого места, потом три собеседования, проверка СБ, стажировка. И ещё, позавчера со мной, наконец, постоянный контракт подписали! Вот я на радостях и позволила девчонкам из отдела себя уговорить. — Она покраснела и опять спрятала глаза. — А в баре Мишу встретила.

“Ну да, — подумал Артём, — ты и пить, наверно, ещё не умеешь, а тут наш Мишаня. Как он умеет очаровывать, я разок сам видел. Мастер! Только не влюбись в него, девочка, парень он не гнилой, но постоянства я за ним не замечал. Потом страдать не придётся, когда он тебя на другую юбку поменяет”.

Тут за столом раздался вскрик. Ушедший в свои мысли Артём встрепенулся, огляделся. Рыдала Татьяна. Старалась сдерживаться, но получалось плохо.

— Извините, — она попыталась промокнуть слёзы салфеткой, — просто я сейчас подумала, что если бы не уехала с Мишей, то...

И вскрикнула уже громче.

— То сейчас бы уже ни о чём не беспокоилась, — мрачно пошутил Артём. Жена сделала ему страшные глаза, привлекла девчонку, обняла, стала баюкать, как ребёнка.

— Ничего, милая, теперь всё будет хорошо. Миша парень хороший, он тебя не бросит.

Тот часто закивал, подтверждая. Теперь Светка строила гримасы Мишке, пытаясь что-то втолковать ему таким образом. Наконец, он, видимо, понял, забрал девушку от Артёмовой жены в свои объятия, стал негромко наговаривать ей успокаивающие слова. Так и сидели некоторое время под Мишкино воркование, которое изредка перекрывалось характерными звуками, когда Артём прихлёбывал из кружки.

Наконец вскрипывания стихли совсем. Мишка и Таня ушли.

Артём и Света обедали, когда с улицы донёсся звук мотора и характерные металлические нотки усиленного громкоговорителем голоса. На секунду лицо Артёма осветило радостью, захотелось крикнуть: “А вот и спасатели! Я знал, что это просто локальная катастрофа. Наконец-то все закончится!” Но краткий миг счастья развеялся, как только зазвучало обращение:

— Внимание, граждане! К вам обращается военный комендант района, капитан Гаврилов. С этого момента общественный порядок в районе обеспечивают вооружённые силы. Любые антиобщественные деяния будут немедленно пресекаться. Ввиду особого положения, мародёрство, насилие над гражданами, порча общественного имущества караются на месте. Появление на улицах с огнестрельным оружием под запретом. Любые массовые выступления под запретом.

Выступление повторялось, но звук затихал, удаляясь, видимо, мегафон был установлен на чём-то передвижном.

— Это что ещё за новости?! — Артём откинул штормку, выглянул в окно. По проспекту неспешно двигались солдаты. Каски, бронежилеты, автоматы. Хвост колонны, которая постепенно скрылась за соседним домом. — Хм, настоящая жизнь в городе начинается, когда в него входят гусары. Так, кажется, говорилось в одном фильме?

— Военные...

— Что?

— Там было “военные”. Это выражение Козьмы Пруткова.

— Да? Вот не знал! — рассеянно проговорил Артём, садясь на место. — Действительно, пришли военные, и чего от них ждать, я не знаю.

— Наверное, в первую очередь, порядка? Ты же сам рассказывал, что у “Звёздного” творилось.

— Это точно, — продолжая думать о чём-то своём, подтвердил Артём.

С армией у него были сложные отношения. В старших классах он относился к призыву как к неизбежному этапу своей жизни: не плохо и не хорошо, он просто наступит, и всё. Так же неизбежно, как детство сменяется отрочеством, а там и взрослой жизнью, и надо быть слегка ненормальным, чтоб оттягивать или надеяться избежать.

Но потом тяжело заболела мать, и ему дали отсрочку. Он не просил, но, если само идёт в руки, что ж отказываться? Другие искали ходы, лазейки, а тут пришло само. Потом, когда мать умерла и оснований не служить не стало, про него, видимо, забыли в военкомате. Так бывает, а он и не стал проявлять инициативу. А потом он переехал, устроился на работу, да и возраст опять же. Хорошо идти служить, когда тебе восемнадцать, и совсем другое дело — в двадцать пять. “Дедушки”, которые молеж тебя на шесть лет, сверстники — лейтенанты... В итоге с армией Артём разминуся.

Окружающие к этому факту Артёмовой жизни относились по-разному. Одни восхищались, — мол, красавчик, так и надо, нечего дурацкую лямку тянуть и впустую два года из жизни выбрасывать. Другие смотрели искоса, — мол, откосил, не то, что я, долг Родине отдавший с чистой совестью.

Тыканье “неслужением” откровенно злило. Особенно в один исторический период его жизни, когда работа в охране представлялась отличной альтернативой, а его завернули как раз по этой самой причине. Дело было летом, перспектив с другой работой не проглядывалось. Артём смотрел на собеседовавшего с ним молодого человека, высокомерно заявляющего, что человек, не прошедший службу в армии, просто не может претендовать на работу в их крутой охранной фирме, на его округлившееся брюшко, на одрябшие руки, намечающийся второй подбородок, и был в шаге от предложения тому прогуляться вместе с ним до ближайших брусев или турника.

И вот теперь Артём сидел и пытался понять, как появление военных может отразиться на его планах.

— Вот что, малыш, ты посмотри ещё раз, что мы могли забыть. А я пока схожу, узнаю, что да как. И ещё, — добавил после небольшой паузы, — пожалуй, одевайся потихоньку в лесное.

— Ты думаешь, что нам лучше уйти?

— Пока не знаю, но я помню, что говорил Влад: в случае глобальной катастрофы не верь воякам в чинах.

— Почему? Разве армия не для того, чтоб защищать мирное население?

— Армия, родная, чтоб защищать государство.

— А мирное население — это не государство?

— Как тебе сказать... Помнишь, я тебе рассказывал, как при кровопотере или сильном переохлаждении организм переключает кровообращение на малый круг? Логика простая: не хватает ресурсов — отключить от снабжения периферию: руки, ноги, и спасти мозг.

Посмотрел на жену, коснулся пальцами её щеки, легонько тронул указательным кончик её носа, печально улыбнулся.

— А мы с тобой не тянем на мозг нации. Я простой складской работяга, а с тобой всё ещё хуже — учитель музыки!

— Но ты же выживальщик! Ты умеешь выжить в лесу, а значит, и других сможешь этому научить!

— Знаешь, я и раньше сомневался, что толпе обывателей типа того же Санька будут интересны рассказы, как ориентироваться в лесу или как устроиться на ночлег там же при отсутствии снаряжения. — Артём поморщился. — Ну, а теперь военные. Разве им нужны познания гражданского специалиста? У них, наверно, и своих хватает.

А ведь Влад говаривал ещё и такое: “Это психология военных, их так учат: гражданские — субстрат, из которого надо черпать ресурсы для армии.

Те, кто бесполезен, — лишние рты, и чем больше их погибнет при первом ударе, тем легче будет спасти ценные для мобилизации кадры. С моей точки зрения, это правильно. Будь моя воля, для всех этих диджеев, блогеров, псевдохудожников и прочей сволочи сделал бы отдельное бомбоубежище типа *vip*, и всё такое, из которого бы никто не выбрался. Совершенно случайно”.

Мишу дома не застал. Татьяна сказала, что он ушёл куда-то почти час назад и ещё не возвращался. Пришлось идти одному. На район потихоньку опускались сумерки. Улицы, по-прежнему заваленные всяким мусором, пустынные. Дома, как взерошенные приземистые крепыши, подозрительно осматривались глазами окон, готовясь встречать уже вторую ночь новой жизни. Вдоль боковой стенки “Звёздного” прогуливался солдат с автоматом. На крыльце — двоянный пост. Один из часовых проводил его долгим, внимательным взглядом, затаился сигаретой, спрятанной в кулаке, и опять продолжил свой мерный ход неторопливого маятника.

Площадь перед школой преобразилась. В центре стояли БТР и армейский тентованный “Урал”. Понятно теперь, чьи следы были на проспекте, отчётливо заметные на поваленных столбах. На крыльце школы скучал ещё один постовой. На крыше двое солдат монтировали прожектор, ещё несколько ставили мачту освещения возле техники.

Перед БТРом, вокруг низкого раскладного столика собралась группа военных. Один, видимо, главный, отмечал что-то на расстеленной карте карандашом и негромко отдавал распоряжения. Окружавшие уточняли, иногда, по-видимому, предлагали свои варианты. Главный, не перебивая, выслушивал и либо кивал: “Хорошо, сделаем так”, — либо оставлял своё решение, показывая недостатки в предлагаемом плане. От их неторопливой работы распространялась волна спокойствия и уверенности — чувств, казалось, уже позабытых, хотя не прошло и двух суток. А как будто вечность прошла!

Кроме военных, на площади находились и другие люди. Недостаточно, чтоб назвать толпой. Они кучковались по всему свободному пространству, оставив пустые ореолы вокруг техники и школьного крыльца. В подавляющем большинстве — мужчины всех возрастов, объединяло их одно — одежда. Даже не сама одежда, а её цвет — доминировали олива и хаки.

Необычный вид. Артём, конечно, и сам большую часть времени был одет в оливу, но это сам. А сам себя, как правило, не видишь. А тут как будто попал на слёт выживальщиков, туристов или военизированных формирований.

— Здорóво!

Артём обернулся. Ему протягивал руку какой-то мужик; куртка, брюки — всё та же олива, на ногах — мощные трекинги. Рефлекторно ответил на крепкое рукопожатие, только потом узнав в подошедшем возрастного крепыша. На этот раз он был без очков.

— Что слышно в Датском королевстве?

— Что? А-а... Да я только подошёл.

— Понятно... — тот огляделся, направился к одним, к другим. Везде здоровался, негромко перебрасываясь парой фраз. Минут через десять вернулся к Артёму.

— Говорят, что комендант — вон он, в центре, — обещал через полчасика объявление сделать. Пока ничего не ясно.

Тут они заметили давешнего “военного”, с которым были на дневном собрании, а потом наблюдали штурм “Звёздного”. Тот уверенно подошёл к группе вокруг столика, достал из нагрудного кармана какое-то удостоверение, представился. Главный выслушал, что-то ответил, подкинув руку к козырьку кепки. “Военный” козырнул в ответ, протянул руку для рукопожатия. Ему представили окружающих, процедура повторилась.

— Хм, а у нашего землячка не меньше двух просветов на погонах, — протянул крепыш.

В своей полевой офицерской форме их “земляк” мало отличался от остальных военнослужащих.

— Почему вы так решили?

— Он старше по званию. Но на генерала не тянет.

— Если он старше, почему они не построились?

— С чего это? Он не их начальство. Здесь или в отпуске, или вообще — свеженький пенсионер, по возрасту похоже. А то, что старше, — крепыш хмыкнул, — ты в армии служил? Младшие первыми руку не протягивают.

— Понятно, не знал. Пойду, поговорю, чай, не чужие, может, узнаю что?

Артём неторопливым шагом направился к “земляку”.

— Артём.

— Сергей Станиславович.

Обменялись рукопожатием. Артём задал самый важный вопрос.

— Вот что, Артём, всего я тебе сказать не могу, но про прежнюю жизнь забудь, нет больше той жизни. Умение продавать страховки, стричь пуделей и трясти задом на сцене вряд ли теперь пригодятся. Многим придётся расстаться со своим положением, и им это не понравится. Кроме того, на что способна толпа — ты уже видел. И если кто-то не возьмёт на себя работу пастухов над этим стадом, люди сами себя изведут под корень.

Неслышно появился капитан.

— Товарищ полковник, задачи поставил, планирую к населению обратиться. Есть желание поучаствовать?

— Василь Геннадич, здесь ты старший, ты и распоряжайся.

Капитан кивнул на Артёма.

— Знакомый? В каком звании?

— Да я, честно говоря, в армии не служил, но нужные навыки имею...

Артём хотел было перечислить имеющиеся, но на словах “в армии не служил” капитан явно потерял к нему интерес и дальше не слушал.

Капитан, полковник и весь штаб переместились на крыльцо школы. Туда же потянулись и разбросанные по площади гражданские.

— Так, граждане, — не форсируя голоса, начал капитан, — все заявления, распоряжения завтра. Сейчас коротко введу в курс дела и отвечу на наиболее срочные вопросы.

Из-за того, что говорил он негромко, над площадью повисла мёртвая тишина, собравшиеся боялись пропустить хоть слово.

— Для начала представлюсь. Меня зовут Гаврилов Василий Геннадиевич, назначен к вам в район военным комендантом. Достоверной информации, что произошло, на данную минуту нет. Дело не в секретности, а в том, что сведения поступают очень противоречивые. Вам важно знать: по городу и ряду других, рядом расположенных промышленных центров нанесены ядерные удары.

— Пиндосы? — выкрикнул какой-то парень в камуфляже, по толпе прошёл ропот.

Капитан поднял руку, дождался тишины.

— Прошу не перебивать, я доведу всю информацию, которая необходима. Сейчас для вас важнее не кто, а что делать дальше. Я продолжу. Вашему району повезло, удар пришёлся по воинской части, а она на другом конце города. К тому же ветер был западный, все продукты распада отнесло в другую сторону. Сейчас радиационный фон в районе немного повышен, но это в пределах допустимого. Всем жителям нужно сделать влажную уборку в квартирах и на общественных территориях. Окна закрыть хотя бы плёнкой.

— Эвакуация будет? — опять не выдержал кто-то.

Капитан поморщился. К нему на верхнюю ступеньку поднялся полковник.

— Мужики, я понимаю ваше любопытство, но давайте уважать труд военных. Капитан Гаврилов и его люди второй день на ногах. Если будут ещё глупые вопросы, он просто закончит. Я же вижу, здесь собрались нормальные, здоровые парни, те, кому не всё равно. Только поэтому комендант района тратит своё время вместо того, чтоб хоть полчаса отдохнуть.

— На вопрос об эвакуации отвечу. Во-первых, повторно, радиационный фон в районе приемлемый, жить можно. Во-вторых, куда прикажете вас эвакуировать? Все крупные города поблизости разделили ту же участь. В деревни? Где вы там жить собираетесь и что есть?

В это время из задних рядов раздались громкие возгласы и требования пропустить. Артём попытался разглядеть, что происходит, но с его места было плохо видно. Наконец, в открытое пространство перед крыльцом вывалились представители самопровозглашённой власти. Впереди продирался Расулов. Он также переоделся в полевую форму и был мало отличим от собравшихся. За ним, как ледекол, раздвигал толпу толстяк в спортивном. Рядом вышагивала Антипова в неизменном брючном костюме. Сопровождали “власть” всё те же дружинники, здорово разбавленные бывшими чоповцами. На плечах у многих покачивались помповики.

— Добрый вечер, — начала бывшая депутатша. — Наконец-то мы нашли тех, кто ответственен за творящийся в районе беспредел.

— Капитан Гаврилов, военный комендант района “Заречный”. С кем имею ...?

— Моя фамилия Антипова, — холодно отрекомендовалась “брючная коза”. — Мы выбранный комитет самоуправления района. Почему ваши люди мешают нам проводить инвентаризацию наличных ресурсов?! Сейчас представителей назначенной комиссии не пустили в центральный аптечный склад! Дело чуть до стрельбы не дошло! Я еле уговорила ребят, иначе они просто пристрелили бы ваших гоблинов. И почему убрали нашу охрану от торгового центра?!

— У моих людей приказ. Все склады продовольствия, инструментов, а тем более — медикаментов я взял под охрану.

— Вас прислали нам в помощь. И вы обязаны подчиняться распоряжениям местной власти!

— Я получил приказ обеспечить порядок и не допустить разграбления жизненно важных ресурсов. В первую очередь, вот такими вот “комиссионерами”.

— Да как ты разговариваешь! — Расулов лапнул кобуру, но тут же получил в лицо удар прикладом. Миг, и комитетчики оказались под прицелом нескольких автоматов. Пространство вокруг них, как по волшебству, очистилось, никто не хотел попасть под пулю.

— Этих арестовать, охрану разоружить. — Гаврилов даже бровью не повёл. — Никитенко!

— Я! — отозвался сержант, по возрасту явно из контрактников.

— Найди место, где этих можно до утра подержать. Завтра разберёмся, кто есть кто.

— Сделаем, — протянул “контрабас” и совсем другим тоном обратился к уже бывшему “комитету самоуправления”: — Оружие на землю, руки за голову, по одному проходим вон туда.

— Что вы себе позволяете! — начала было Антипова, но её перебил полковник.

— Мадам, не усугубляйте. Бойцы устали и на грани, просто не показывают вида. При офицерах вас бить, скорей всего, не будут. Но если завтра коменданту доложат, что вы пытались бежать и были застрелены часовым, я не удивлюсь.

Вот тут “комитетчиков”, судя по изменившимся лицам, кажется, проняло. Минут через пять их всех куда-то увели.

— Значит, так, — Гаврилов опять обратился к собравшимся, — сейчас брифинг заканчиваем. Утром на этом же месте в одиннадцать для гражданского населения района я доведу основные положения того, как будем жить дальше. Военнослужащим запаса предлагаю прийти к семи ноль-ноль. Для поддержания порядка требуется личный состав, а со мной людей немного. Никого насильно мобилизовывать не хочу, мне нужны те, кто добровольно захочет вернуться на службу.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться, — из толпы вышел крепкий парень лет двадцати пяти в вудландовском камуфляже.

— Обращайтесь, — кивнул Гаврилов

— Сержант запаса Сеидов, морская пехота. Я готов сейчас остаться и помочь с патрулированием.

— Спасибо, сержант, но этой ночью мы сами справимся. Вас надо проинструктировать, понять, что вы успели забыть. Приходите завтра. Парни вроде вас нам нужны. И обещаю: те, кто вернётся в армию, — не пожалеет.

— Так, может, мы, так сказать, на добровольных началах ночью подежури́м?

— А вот этого, сержант, не надо. Комендантский час объявить не успели, но я всё равно не рекомендую этой ночью на улице появляться. Вы меня понимаете? — Он многозначительно взглянул в глаза парню.

— Так точно, товарищ капитан, значит, до утра.

В сгущающихся сумерках Артём подошёл к подъезду, тихо матеря себя за то, что ушёл из дома без фонарика. Ещё минут сорок, может, час, и наступит настоящая темнота. Без уличного освещения ноги поломать — проще простого.

На двери висела листовка. Они что, запустили печатный станок из местного краеведческого? Оперативно! Текст гласил:

“Граждане района Заречный!

Для обеспечения вашей безопасности в районе устанавливается военное положение. Порядок обеспечивают военные патрули. Для пресечения противоправных действий у них приказ стрелять на поражение. Ради вашей безопасности появляться на улицах после наступления темноты не рекомендуется. Всё огнестрельное оружие подлежит сдаче.

Завтра в 11:00 на центральной площади района, между торговым центром и школой, будет проведено собрание жителей. Комендант района сделает важное объявление. Мужчинам от 16 до 50 лет явиться в крепкой одежде и обуви. С документами”.

В этот момент откуда-то со стороны первого подъезда донеслось:

— Из-за острова-а-а на стре-е-еже-ень...

Ну вот, и следы алкогольных запасов “Звёздного” обнаружились. Тяжело вздохнув, взялся за ручку двери.

— Что говорят?

— Ничего хорошего, Светик. Твой муж не офицер и даже срочную не служил. Значит, буду завтра за еду радиоактивные завалы разгребать. Ты собралась?

— Всё так плохо? — Светка как раз шнуровала новенькие берцы.

“Блин, она же в них всего пару раз выходила, — запоздало спохватился Артём, — да и что это были за походики? В ближайший лес, одним днём. Ну, почему у нас всегда так: на охоту ехать — собак кормить?.. Вроде всё предусмотрено, ан нет же!”

— Может, излишне нагнетаю, но для людей, которые сейчас власть, я не представляю ценности, поскольку в армии не служил. И вот теперь скажи мне, жена моя, зачем нам горбатиться за пайку, если у нас с тобой в тридцати километрах целый склад продовольствия? Скоро дожди, затем зима. Чем отапливать квартиру, мебелью? Нет, надо уходить сейчас, пока ещё из района можно выйти. Что будет завтра — я не знаю.

Супруга выпрямилась, одёрнула такую же, как у него, горку.

— Тогда идём.

Артём по инерции стал приводить ещё какие-то аргументы в пользу того, чтоб уйти, но Света посмотрела на него серьёзно:

— Артём, меня не надо уговаривать. Я твоя жена, слова “в горе и радости, до самой смерти” — для меня не пустой звук. Ты решил — значит, идём. Я верю, мой муж в сырую землянку меня не потащит.

Артёма, как девятым валом, накрыло волной чувств, горло перехватило, он задохнулся, как будто и вправду оказался под водой, пульс ударил в виски.

Собрались быстро, всё и так было уже готово. Взгляд упал на две оставшиеся пятилитровые баклажки с водой. Прикинул: одну можно пристроить на рюкзак. Хоть он и распахал двенадцать литрух по обоим рюкзакам, вода лишней сейчас не будет. Особенно пока не вышли из зоны возможного заражения. Но навьючивать жену дополнительными пятью килограммами Артём не хотел — ей и так несладко будет. Взял баклажку, в пакет сложил

пластиковые бутылки с бензином, слитым с машины, туда же сунул много-топливную горелку.

— Подожди секунду, — кинул жене и спустился на этаж ниже.

Открыл Мишаня, увидел Артёма, посторонился.

— Заходи.

— Прости, Мих, я на минутку. Я... Мы... Короче, мы уходим.

— Вот как? Ну что ж, наверно, ты знаешь, что делаешь.

— Здесь вода питьевая, в пакете горелка, бензин...

— Спасибо, Артём. Только у нас всё есть. Отдай лучше Саньку. У него всё-таки ребёнок.

— Слушай, — подавшись внезапному порыву, зачастил Артём, — а то давай с нами? У меня есть бункер, там запасов на год. Планировали ещё с одной парой, но им не повезло, жили в центре, как раз вы двое.

— Ещё раз спасибо, я, честное слово, признателен. Но мы остаёмся. — Увидел удивлённые глаза приятеля, пояснил: — А что поменялось, Артём? Изменились условия, но жизнь-то продолжается.

Из глубины квартиры появилась Татьяна. Миха привлёк её к себе, обнял за талию.

— А-а-а, ты видел объяву? Ну да, ты же служил, тем более — пограничник!

— Ты про этого кэпа? — Миха насмешливо покачал головой. — Не, кирзой я сыт по горло, двух лет хватило. Да и не думаю, что бойцов потребуется много, не война же, в конце концов. Думаю, через недельку половину тех, кто завтра побежит записываться в армию, уже дембельнут. Я лучше сразу по гражданской линии.

— И чем заниматься?

— Неважно. Думаешь, я работы боюсь? Ты, наверно, меня с “офисным планктоном” спутал. Это у них работа от перекура до обеда штаны протирать. Знаешь, почему я домой частенько затемно возвращался?

— Вот мне дело, следить, кто когда домой с работы приходит!

— Ну, извини, привык, что все окружающие думают: раз на работу в костюме ходит, значит — бездельник. А у меня десять-двенадцать магазинов в день, и в половине приходилось пиджачок и галстук снимать, рукава закатывать — и вперёд, выкладку лопатить. Закончишь часов в полвосьмого где-нибудь в дальнем магазине, а ещё километров семьдесят до дома.

— Ни фига себе, — Артём потрясённо покачал головой, — а я думал, это у меня работа тяжёлая!

— У нас так. Хочешь денег — пашешь, как вол, хочешь в восемнадцать ноль-ноль с работы выходить — иди менеджером в офис, только на з/п не обижайся. — Помолчал, добавил: — А я, между прочим, физик-ядерщик, диплом красный, и дипломная работа рекомендована к публикации. Вот так вот. Женится по великой любви. На сокурнице, только я для неё лузером оказался. Теперь кто-то другой её по Средиземноморью катает и шубы дарит. Хотя от алиментов не отказывается, — вымученно пояснил он, — дочка у нас, хоть я её уже лет пять не видел. Наверно, это правильно, пусть у неё не будет пуганицы в папах.

Артём потрясённо молчал. За пять минут он у знал о Михе больше, чем за предыдущий год знакомства.

— Ладно, Тёма, хватит ностальгировать, разговоры разговаривать будем потом, когда встретимся. Спасибо за предложение, вы со Светкой идите, а мы здесь не пропадём, — посмотрел на Татьяну, та в ответ улыбнулась. — За хатой присмотрю, не бойся, если что — куда вернуться, у тебя есть. Надумаешь — возвращайся, друзья у тебя здесь найдутся.

Он протянул руку, потом обнял. И закрыл за собой дверь.

Поднялся на свою площадку, постучал. За дверью раздалось шарканье, потом хриплый голос, в котором трудно было узнать прежнего Александра: “Кто?”

— Саня, это Артём, открой.

Шарканье перед самой дверью.



— Зачем?

Блин, грабить тебя пришёл, нищеврода!

— Открой, я тебе ещё воды отдам. Ты же из торговика так и не принёс?

Дверь тут же открылась.

— И ещё держи, — протянул пакет, — здесь бензин и горелка. Будешь расходовать экономно, хватит надолго.

Сосед захохотал, захопотал, принимая подарки, рассыпался в благодарностях. Глазки его подозрительно блестели, докатился лёгкий запах алкоголя.

— Как тёща, нашлась?

Тот печально помотал головой.

— Ладно... — протянул руку, — бывай, Саня.

— В смысле, “бывай”? Вы что, уходите? А как же объявление?

— Ты про то, что на двери?

— Ну да. А ещё мужики говорили, что будут набирать в народную дружину. Там и паёк, и льготы...

— Саша, ты в армии служил?

— Конечно! — Сосед даже попытался горделиво выпятить грудь. — Младший сержант, инженерные войска. Артём, такие мужики, как мы, нужны этому району! — О, как заговорил! — Ты пойми, если не мы, это быдло скатится в бардак и поубивает друг друга!

— Не, Сань. К тому же я не служил. Так что мне при этой власти ничего не светит.

Попрощался и пошёл к себе. В квартире осмотрелся. Вот здесь он прожил четыре года, и два — вместе со Светкой. Увидит ли ещё раз ставшие родными стены? Впрочем, это лирика, главное — не забыть чего-нибудь.

Взгляд наткнулся на валяющиеся банки со спортпитом. Вот ведь болван! Это же концентрированная еда, только белки, углеводы и витамины. Жаль, полупустые банки пристроить уже некуда. Пересыпал содержимое по фасовочным пакетам, запихнул в один из боковых карманов и так раздутого рюкзака.

Последний взгляд, вроде все. Помог надеть рюкзак Светке, подогнал лямки, расправил складочки. Осмотрел.

— Ах, ты ж мой маленький походник! — поправил кепку, убрал выбивающийся локон.

Прицепил ружейный чехол на рюкзак, под правую руку, взвалил на плечи — как же тяжело! Обычно он так не навьючивался. Попробовал попрыгать. Ух! Пока лучше так не делать!

— Пошли?

Светка сосредоточенно кивнула. Распахнул дверь...

— Куда это ты собрался? — На площадке, выпятив вперёд брюхо, уперев ручки в бока, покачиваясь, стоял сосед сверху. Полосатая майка и бланш под глазом.

— Не дури, дай пройти.

— Вы куда не пойдёте! Сейчас каждый здоровый мужчина на счету и должен помогать родному району!

— Я думаю, без меня вы здесь справитесь. Вам же лучше, на пару едоков будет меньше.

— Ты поступаешь, как предатель! — наверно, только пересохший рот помешал ему сплунуть. — Хорошо. Иди. Только... Снарягу оставляй! Это собственность общины!

“Сайга” молча прыгнула в руки. Треск разлепляемой липучки на чехле прозвучал, как выстрел.

— Дай пройти.

На улице за это время ощутимо стемнело, район неотвратимо погружался во тьму. Дома мрачными коробками тонули в потемневшем небе. Кое-где за мутью эрзац-остекления пробивался дрожащий свет. Свечи или светильники. Хотя вон там явно фонарик. И вон окно, освещено ярче других. Не боятся! Сейчас на свет могут слететься не только насекомые.

— Держись за меня, иди след в след и не шуми.

Поднимая ноги повыше, чтоб не споткнуться, направился к проспекту. Когда вышли из-за дома, Светка невольно вздрогнула. Но молодец — никакого крика, вдоха. Хотя было от чего — небо над остальным городом багровело отсветами продолжающегося пожара. В голове крутились штампы про филиал ада.

Путь намечен заранее, он и раньше так ходил: через проспект, задворками “Звёздного” — за ним шла окружная дорога, опоясывающая район. Неширокая, по ряду в обе стороны. А за дорогой — пара сотен метров через хаос гаражей-самостроев. Раньше, да ещё днём, проход сквозь них не представлял проблем. А сейчас там можно запросто нарваться. Для многих жителей гаражи — не только дом автомобиля. Артём свою держал под окнами и отлично обходился без гаража. Гараж — это “мужской клуб”, где рукастые и не только мужички проводили время. Ещё это хранилище всего на свете. И в такое беспокойное время иные хомяки могут предпочесть обосноваться поближе к своим запасам. А иные — как раз до этих запасов добраться.

Но в обход — это тащиться с поклажей через полрайона. Поживиться не откажутся как простые граждане, так и представители новонаречённой власти, за кем бы она сейчас ни была. Реквизируют, руководствуясь “общим благом”. Так что придётся рискнуть.

Идти старались, не отвечивая. В буквальном смысле — хоть налобники и занимают свои места согласно названию, но выключены до поры. В руке — тактический фонарик, на две тысячи люменов. В темноте это фактически не легальное оружие. В турборежиме — короткая вспышка в глаза, и ожог сетчатки обеспечен. Впрочем, даже если не попадёшь лучом в лицо противнику, всё равно все, кто не прикрыл веки, минут на двадцать будут слепыми котятками. А двадцать минут — это очень много для того, кто умеет ценить время.

Полная темнота ещё не наступила, шли сквозь густой сумрак. “Звёздный” обходили по краю обширной автостоянки, сейчас пустой. В какой-то момент Артём заметил движение на стороне темнеющей громады торгового центра. Остановились. Точно, вдоль здания неспешно двигался часовой, останавливался, вглядываясь в окружающий сумрак. Интересно, решат они проблему освещения? В дальнейшем, наверняка. Это сейчас народ ещё не перестроился с обычной жизни, в сознании ещё живут установки обыденной жизни. Вот пройдёт неделя, может, месяц, поймут, что голод — это не эфемерная угроза, про которую разве по телевизору расскажут, или в исторической книжке. Что в магазин не метнёшься при опустевшем холодильнике. И что от него реально можно умереть. Вот тогда начнут пробовать на прочность охрану промскладов, ибо терять, по сути, уже нечего.

Подошли к окружной дороге. Через неё — ворота гаражей. Блин, не успели или время не рассчитал — темнота уже сгустилась. Вообще-то по-хорошему подождать бы и выйти перед самым рассветом. Патрули, если и будут, уже утомятся. Да и в лес входить лучше, когда светать начнёт. В темноте да с тяжеленным рюкзаком переломать ноги в буреломе — легче лёгкого. Ну, а со сломанной ногой в лесу не до путешествий, тут бы выжить. Но изнутри прямо жгло, внутренний голос вопил: утром будет поздно! Впрочем, соседка небось успел наябедничать. Так что Артём уже хлопнул дверью, назад дороги нет.

Постоял, вслушиваясь. Со стороны района изредка долетали крики. Иногда — отрывки песен. Кто-то, видимо, напоследок гулял. Где-то в отдалении хлопнул выстрел. Автомат? Или охотничье? Далеко, не разобрать. А вот со стороны гаражей — тишина. Вытащил из чехла ружьё, фонарик занял штатное место под стволом. Надо решаться. Перешли дорогу, ворота прикрыты, но не на замке. С взведёнными нервами, стараясь не шуметь, просочился и сразу ветал в нерешительности. Светка сзади, держится за его рюкзак, чтоб не потеряться.

Темно, хоть глаз выколи. Идти наощупь? Хорошего мало. Включать свет? Ох, как не хочется! Неизвестно, к какому решению он рано или поздно пришёл бы, но тут “дали свет” — из-за тучек наконец-то выглянула

луна. Да так ярко! И Артём непроизвольно вздрогнул. Рядом рукой зажимала себе рот Светка. Сразу за воротами, буквально в паре метров от них лежала куча трупов. Кто-то скажет: ну, что это за куча! Так, человек пятнадцать, ну, двадцать. На фильм ужасов не тянет. Да только куча эта не на картинке, не на экране. Вот она. Вернее, они — ещё недавно, этим утром, живые люди. С кем-то, возможно, Артём мог видаться, даже разговаривать. И вот он здесь стоит, а они лежат. Впалку. Их даже не удосужились подальше оттащить.

Что-то смутно знакомое царапнуло сознание, пригляделся. Да, точно, молодой чоповец, убитый утром на ступеньках “Звёздного”. Лежит в самом низу, по пояс высываясь из-под какой-то тётки. Понятно, надо же было куда-то девать не переживших налёт. Кого подавили в темноте, кто сорвался с лестницы. Кому-то наверняка прилетел на голову здоровенный ящик с верхней полки. Ну, а кого-то убили его же земляки, просто потому что у этих, других, дома дети голодные. Скорее всего, Санькина теща где-нибудь здесь же и найдётся. Впрочем, вряд ли это единственная куча.

Оторопь немного отпустила. Артём тронул жену за плечо, молча мотнул головой в глубину гаражных рядов. Света часто-часто закивала, не отрывая ладошку от рта. Стараясь не задеть чью-нибудь руку или ногу, пошли дальше. И чуть было не наступили ещё на один труп, который лежал немного дальше. Родионч. Вот ты где! Как же тебя угораздило, неугомонный ты наш правдоискатель? Неужели, поддавшись общему настрою, решил поживиться в темноте торгового центра? Хотя, скорее всего, не пришёлся ты ко двору самоизбранному “комитету”. Жалко деда. Пусть и бестолковый, с дурной инициативой, но без гнили внутри.

— Прости, Родионч...

## Лес

При свете луны гаражи прошли неожиданно быстро и без дополнительных приключений. Вот и лес. Как бы ни не хотелось, включил налобник на минимальное свечение.

— Очки.

— Зачем? — удивилась Света. — И так ничего не видно, а в очках — так вообще, хоть глаз выколи.

— Вот именно, “глаз выколи”. Где они у тебя?

Светка вытащила из нагрудного кармана тактические очки.

— Надевай. Не так уж они и мешают, зато глазом на сук не наткнёшься. И близко ко мне не прижимайся, иначе будешь ловить те ветки, которые я отгибаю.

Вломился. Сзади чертыхалась жена.

— Потерпи, родная, на опушках всегда так: света поступает больше, и подлесок разрастается. Сейчас заглубимся, пойдёт полегче.

Через полчаса остановился, расстегнул грудную стяжку рюкзака.

— Достаточно.

— А я думала, мы всю ночь идти будем.

— Ночью по лесу ходить нельзя, слишком травмоопасно. Нам просто нужно было отойти подальше. Сейчас немного поспим, как раз светать начнёт. Тогда и двинем.

Три часа сна пролетели, как одно мигание: веки смежились и тут же поднялись. Через ткань наспех поставленной палатки пробивался робкий свет. В ухо сопела Светка, отдавливая правое плечо. Рука, обнимавшая жену, слегка затекла. Пальцами левой пощекотал ей нос. Светка скорчила смешную мордочку.

— Любимая, просыпайся, — прошептал ей в самое ухо.

— Сейчас-сейчас, ещё одну только минуточку, — забормотала, переворачиваясь на другой бок, пытаясь завернуться в Артёма, как в одеяло. — Представляешь, мне такой страшный сон приснился, будто всё, к чему вы

с ребятами готовитесь, сбилось. — Голос затихал, она опять проваливалась в сон. — Глупость какая.

Внезапно к горлу подкатили слёзы. Остро захотелось, чтобы всё действительно оказалось сном. Вот сейчас Влад бесцеремонно откинёт полог и проорёт своё дежурное: “Рота, подъём!” И откуда-то из-за пределов микромира палатки докатится голос Веры: “Вставайте, лежебоки, или голодными на переход отправитесь”. Зачухает помпа горелки, накачивая давление, а Муха затынет своё извечное, что для супервизуальщиков бензин, как, впрочем, и газ...

— Вставай, малышка, нам надо идти.

Собрались быстро: Артём не стал разбивать полноценный лагерь, ограничившись кинутыми в палатку пенками.

— Замерзла? — взял её ладошки в свои. — Извини, следующую ночь спим по-нормальному: в спальниках, надую коврики. Ну, а в убежище нас ждут нормальные кровати. Мы с Владом пару спален оборудовали, как раз на две семьи. А сейчас давай отойдём от города подальше, тогда и на завтрак остановимся.

— Ты боишься тех, кто остался?

— Скорее опасаясь. Только не спрашивай, сам не знаю, чего. Просто чувствую, что с этими военными мне не по пути. Почему-то мне кажется, что просто так они бы меня не отпустили.

Все планы пошли прахом. Ехать они должны были на Владовом внедорожнике. Дизель, огромные колеса, лебёдка, экранированная проводка. В общем — мечта выживальщика. Машина, подготовленная преодолевать завалы, бездорожье, загазованную местность. Даже выстрел из дробовика способна выдержать. Вот только ударную волну или рухнувший сверху дом она явно не пережила. И даже если пережила — вряд ли уцелела в огненном аду, который бушевал в городе до сих пор.

— Слу-у-ушай, — супруга сменила тему, — а зачем ты на компас постоянно смотришь? Я считала, почти каждый десятый шаг.

— Правда? Уже и не замечаю, видимо, привычка. — Усмехнулся: — Видишь ли, человек не птица, встроенного компаса нет. И ориентиров в лесу нет. Как думаешь, быстро начнёшь сбиваться с направления?

— Ну-у-у... — протянула, — не знаю. Но не каждые же десять шагов? Ты не думай, я с дедушкой все детство за грибами ходила. А он, между прочим, никогда ни с какими компасами не ходил. И навигаторов тогда не было.

Подмигнул, раззадоривая:

— Хочешь, попробуем? Направление вон туда, — показал рукой. — Давай, иди впереди.

На десятом шаге остановил.

— Ну, и куда нам?

Светка уверенно махнула.

— Не-а, — улыбаясь помотал головой, поднёс к её глазам левую руку, где на большом пальце на ремешке устроилась прозрачная таблетка с плавающей двухцветной стрелкой. — Смотри.

— Э-э-э... А у тебя компас не врёт? Не могла же я так быстро сбиться.

— Компас не врёт, — потрепал её по плечу, щёлкнул по козырьку кепки, затем провёл тыльной стороной ладони по щеке. — Ты, когда вон те кусты обходила, уже сбилась градусов на тридцать. Без компаса в лесу делать нечего.

— А, ну да, тем более без навигатора...

Навигатор, и вправду, не работал. Нет, он, конечно, включался, показывал карту, позволял играть с меню. Вот только положение не определял, поскольку не видел ни одного спутника. А без этого он просто хранилище карт. К тому же жрущий акумы. Так что навиг отправился в дальний карман рюкзака, и Артёму пришлось вытаскивать распечатанные топографические карты. И, конечно же, ломая голову, вспоминать, как обходиться без умной электроники.

## Городок

Внутри что-то рухнуло, раздался звон бьющегося стекла и следом — крик.

Пока альтер эго бубнило своё извечное: “Ну что, там без тебя не обойдется?” — ноги сами внесли внутрь. Картинка, в общем-то, ожидаемая. В этом здании Артём был несколько раз: высокий, обрамлённый лестницами зал, типичный провинциальный торговый комплекс, сдающий свои помещения кучке магазинов. На втором этаже витрина, обезображенная проломом. Остатки стекла разбросаны по плитке пола. Поверх осколков валяется мужик средних лет, явно в отключке. В паре шагов от него стоит парень, пытаясь зажать предплечье, из которого подозрительно много льёт. Людей внутри мало. Кто-то озирается по сторонам, кто-то ведёт себя так, будто ничего не случилось: ну, подумаешь, какой-то мужик вывалился сквозь стекло со второго этажа! Десяток человек суетятся, создавая ненужный хаос.

Скинул рюкзак у колонны, кивнул жене:

— Стой здесь и присмотри. Если что — зови меня. Громко. Поняла? Хорошо.

Пока взгляд обшаривал пространство вокруг пострадавших, и главное — над ними — не свалилось бы что-нибудь на голову! — рука автоматом нащупала в набедренном кармане перчатки. После первых же курсов первой помощи купил большую упаковку и распахнул по всем карманам. Когда собирался, так и не выложил — места не занимают. И ведь не думал, что пригодятся!

Задержал взгляд на витрине. Опасных зубьев, только и ждущих, чтоб сброситься на голову, не видно, витрину вынесло почти полностью. Вдохнул, причин не идти не наблюдается. Ну что ж, вперёд! На ходу натягивая тонкий нитрил, пошёл, раздвигая народ плечами.

— Пропустите.

Люди недовольно оборачивались, но увидев здорового парня в синих медицинских перчатках, тут же менялись в лице и поспешно расступались.

— Показывай, что у тебя?

Парень, по виду ровесник, поднял растерянный взгляд и, не меняясь в лице, перевёл его на правое предплечье. Туда, где чуть ниже локтя он прижимал левую ладонь. Из-под ладони продолжал бодро бежать алый ручеёк.

“Твою ж мать! — заголосил внутренний умник. — Это даже не резаные вены. Явно достало до артерии, само не остановится!”

Взглянул в испуганные глаза. Ты ещё жив, но, судя по реакции окружающих, — уже покойник: пока эти бараны будут крутить башками, бекать: “Что случилось?” — и “Какой кошмар!” — кровь у тебя кончится. Вместе с жизнью. Эмоции растаяли с последними сожалениями о ненужном героизме.

— Понятно. Ложись пока... Да не в лужу, потом одежду задолбаешься отстирывать от крови. Рану не отпускай!

Бросил взгляд по сторонам.

— Так, вы и вы, — прямая рука с синим наконечником ладони вытянулась в направлении двух мужиков, выглядящих адекватнее других, — подойдите, пожалуйста, нужна ваша помощь.

Дождался ответных кивков.

— Так, вы... как зовут?

— Фёдор Николаевич.

— Фёдор, встань у меня сзади, посмотри, чтоб нам никто не мешал. Ладь?

— Так, а вас?

— Карим.

— Хорошо, — запоздало сообразил, что просить второго вызвать “скорую” бессмысленно, просто сработали наработанные алгоритмы. — Пока подождите.

— Ложись на правый бок... стой! — похлопал себя по карманам, вытаскивал маленький цилиндрок фонарика из EDC-набора, пристроил его подмышку

пострадавшей руки, чуть поправил, чтоб передавить артерию, — переваливайся. Вот, голову сюда.

Сидя на корточках, поправил пострадавшему голову, согнул левую ногу. “Ты смотри, почти идеальное устойчивое боковое! Видно, научился чему-то, аж гордость берёт!” — жужжало на заднем фоне “второе я”. Так, течь прекратилась, значит, артерия пережата. Облегченно выдохнул, пара минут есть.

— Фёдор, посмотри за ним, хорошо? — Взгляд у того осмысленный, это радует. — Никого не подпускать, всех помощников — в шею. Или мы его потеряем. Отключится — крикнешь мне, я пока второго гляну.

Вокруг второго уже сгрудилось несколько человек.

— Ну-ка, пропустите! Да разойдитесь же! Стоять, блин! — Кровь бросилась в лицо, крик вспугнутой птицей метнулся внутри зала.

Двое парней пытались за плечи и за ноги поднять лежащего.

— Руки в стороны! Отошли! — Приходилось уже орать, форсируя голосовые связки

— Да мы на воздух хотели... — забурчал один.

— А ты кто такой будешь? — попытался наехать второй.

“Ну, конечно! Вот и неравнодушная общественность!”

— Это тебе потом объяснят, — спокойно, глядя прямо в глаза “наезжальщику”, — а ты, в свою очередь, объяснишь, за что ты его угробить хотел.

— Что-о-о?

Уже негромко, обращаясь к первому “помогальщику”, да и ко всем остальным:

— Куда, на фиг, вы его тащите?! Явный перелом со смещением, — показал на правую голень, искривленную под неестественным углом, — сейчас осколками кости сосуды повредите, и хана. Кто его родным будет объяснять, почему вы его убили?

По толпе прокатился ропот. Поднял руки, ладонями на уровне груди, как бы отталкивая народ.

— Отойдите шагов на пять, дайте места. Вот ты, дружище, если на самом деле хочешь помочь, отодвинь людей, дай мне место для работы.

— Ага... Братва, ну-ка, давайте, двигайте, видите — человеку мешаете!

Ну-с, что тут у нас? Лежащий без сознания, по крайней мере, глаза прикрыты, и... хм, не разговаривает. Бледноват, но не чрезмерно, на сильную кровопотерю не похоже. Что там ещё? Про что ты мог забыть? А, да ладно, давай по ходу разбираться. Присел на корточки, потом наклонился, почти прижавшись левым ухом к его губам, взгляд замер на груди.

— Раз, два, три, четыре...

Почти сразу услышал звук вдоха, щеки коснулось дыхание. Грудь и живот мерно ходят — дышит. Ну, слава Богу, хоть это.

— Сынок, на вот, возьми.

Поднял глаза — сквозь толпу протолкалась какая-то тётка и протягивала здоровенную булавку!

— Ты язык-то ему к щеке приколи. Что ты на меня так смотришь? Или вас там этому не учили?!

Внутренний умник заржал в голове.

— Кто-нибудь, приколите язык этой “помощнице”, — выделил голосом последнее слово. Повернулся к “наезжальщику”: — Как тебя?

— Серый.

— Серый, ты за народом смотришь?

— Мать, иди отсюда, видишь — без тебя справляются. Ты говори, братан, чем помочь?

— Помочь? Да, помощь нужна. Надо ему голову запрокинутой подержать, чтоб язык и вправду не запал. Ворочать его сейчас ни в коем случае нельзя.

— Я! Давайте я подержу! — рядом присел паренёк лет двенадцати, добавил сквозь слёзы: — Это мой папа.

— Как зовут?

— Папу?

— Тебя, — выдавил ободряющую улыбку. “Вот ведь засада... Смотри не угробь мужика на глазах сына”.

— Коля... Николай.

— Значит, так, Коля-Николай, держишь папе голову вот так, — запрокинул, проворачивая, как на шарнирах, — в таком положении язык не западёт, и папа будет дышать. Без булавки, — сверкнул глазами в сторону, тётка испуганно юркнула за спины. — И слушаешь дыхание, понял?

Парнишка смахнул слезу, кивнул.

— Голову не отпускаешь. Дыхание слушаешь. Смотришь на грудь и живот — увидишь, как дышит. Если начинает хрипеть или перестаёт дышать, сначала проверяешь, не опустилась ли голова. Потом зовёшь меня. Понял?

Паренёк, уже приняв отцовскую голову в руки, опять кивнул.

Здесь пока всё? Ну, а что ещё? Дышит, без сознания, не течёт. Лишь бы парнишка голову не упустил. “Этот? Этот будет держать”.

Встал, стараясь не коснуться себя перчатками, уткнулся лбом в локтевой сгиб. Господи, ну, где инструктор, когда он так нужен?! Я же не медик и не воевал, как Влад. Я ранения только по видео да на манекенах видел! Вдох-выдох, вдох-выдох. Не раскисай, выживальщик, ты для чего столько на курсы ходил? Давай, реализуй на практике!

— Карим! Ты где?

Тот появился молчаливой тенью.

— Будь добр, найди мне что-то вроде косынки. Знаешь, есть такие, медицинские?

Карим отрицательно мотнул головой.

— Любой кусок ткани, треугольный, чтоб длинная сторона была около метра. Хоть из штор нарви. И нужен вороток. Палочка такая, попрочнее, можно отвёртку.

Вернулся к первому. Над ним нависал Фёдор, оттесняя любопытствующих. Присел на корточки рядом, стараясь не наступить в растёкшуюся кровь. Посмотрел — вроде ничего не сочтётся, да и маленькая лужица под раненой рукой не увеличилась. Немного отлегло.

— Живой? Как звать-то тебя?

— Рустам.

— Хорошо, Рустам, сейчас я тебе закрутку наложу, придётся потерпеть.

— Может, ремнём перетянуть? — Фёдор указал на свой пояс.

Артём поморщился, покачал головой.

— Плохая идея. Его не зафиксируешь, и, если что — не докрутишь потом. Впрочем, как и жгут эсмарха...

У Артёма на поясе в чехле висел отличный кровоостанавливающий медплантовский жгут-турникет, вот только использовать его на постороннем человеке не хотелось.

“Всегда используйте аптечку пострадавшего или подручные средства. Ваша аптечка — для вас, — говорил инструктор на курсах первой помощи, — иначе своё израсходуете на первого раненого, а когда прилетит вам, будете, как говорится, с голой задницей”.

Карим молча возник рядом, как будто материализовался. Протянул комок ткани, две отвёртки и толстый маркер в пластиковом корпусе. Артём выбрал из комка одну тряпочку — вполне сойдёт, хоть и синтетика. Сложил вдвое, пристроил маркер. Ну, теперь только не накосычить! Мысленно прокрутил в голове движения, вроде ничего не забыл.

— Так, Рустам, сейчас перевалишься на спину, кровь пойдёт опять, но недолго, я тебе быструю закрутку наложу... Подожди пока, я всё приготовлю. Давай!

Одним заученным движением перетянул руку под плечом, два оборота маркера, и кровь, пошедшая было снова, опять остановилась. Хорошо, что не бедро, вот там намучаешься! Наскоро зафиксировал свободными концами косынки вороток.

— А вот теперь наложим плановую...

— Э-э-эй! Как вас там... — раздалось со стороны мужика со сломанной ногой. — Папа очнулся.

— Рустам, придержи вороток, я на секунду. А ты, Фёдор, присмотри за ним, вдруг отключится. Сразу меня зови, понял?

Сделал шаг в сторону переломанного. “Эй-эй-эй, куда?!” — заорал умник. Что не так? Оглянулся — он же на спине! Да ещё и сам повязку контролирует! А если сейчас отключится?! Мотнул головой, отгоняя сомнения: прорвёмся! Бросился к лежащему мужику, народ расступался уже сам.

— Меня зовут Артём, я вам помогу, только с другим закончу. У вас перелом со смещением, пожалуйста, лежите, не шевелитесь.

Мужчина закивал. Сын попытался снова запрокинуть ему голову, остановил.

— Сейчас не надо. Просто разговаривай с ним. Вот если опять потеряет сознание, тогда запрокинешь. Ты меня понял?

— Серый?

— Да?

— Как у вас тут со “скорой”? Смысл врачей ждать есть?

— Я сразу понял, что ты не местный... Не, братан, не ездит у нас ничего. И врачи из больнички ни ногой. Их, по ходу, оттуда просто не выпускают.

— Понятно, значит, надо тащить. Так, граждане. Мне нужно как можно больше ткани, подойдёт любая. Карим! Найди какую-нибудь палку поровнее, типа ручки от швабры. Только прочную. И косынок понадобится много. Подойдут ремни, нужно будет к палке его приматывать... Ах, да!

“Ты на чём его тащить собрался?” Подзавис на секунду. Действительно... Снять дверь? Бли-и-ин, про дверь же что-то говорили... Что?! Как отрезало. Альтер эго тоже молчит. Так, спокойно, мы сломанную ногу примотаем к здоровой, через прокладки из ткани, чтоб не шевелить место перелома, так? Так! А здоровую, и всего мужика до подмышки, к палке. Так... А, к чёрту всё, решено, делаем носилки!

— Нужны две длинные палки и верёвка. Найдём?

Серый заверил, что при необходимости из-под земли достанет. Почему-то верилось.

Вернулся к Рустаму. Ну вот, всё хорошо, пациент скорее жив, в сознании и дышит. И придерживает вороток здоровой рукой. А на курсах за такое дисквал, точно. “Блин, а у тебя выходит!” Не торопясь, выбрал косынку из ткани, более всего похожей на х/б. “Не суетись, у тебя всё получается”. Не спеша завязал на двойной узел, затянул потуже. Это же не курсы, сразу после упрямления косынку снимать не придётся. Теперь отвёртку, как вороток, крутим... Зафиксировать...

— Может, с другой стороны? — спросил Фёдор.

А, что? Вот болван! Фиксирующие концы пропустил наоборот!

— Да, спасибо! Забывать уже начал, как обычными косынками работать! — подмигнул Рустаму. — Ну как? Норм?

— Спасибо. А я уж думал — всё, хана. Я держу, а она течёт.

— Ладно, ладно, лежи, береги силы.

Снял временную закрутку, с маркером. Им же прямо на лбу удивлённо-го Рустама крупно написал время. Повернул пострадавшего снова на бок, рану накрыл ещё одной косынкой, поймал взгляд Фёдора.

— Смотри за ним. Контролируй сознание, разговаривай. Отключится — контролируй дыхание. О’кей? А я пока нашим прыгуном займусь.

Изначально в этот городок заходить не планировал. Да и путь лежал немного в стороне. Но сначала Светка высказала робкую идею зайти за новостями, а после и сам Артём, боясь себе признаться: “А может?...” — согласился с тем, что идея хорошая.

Они с приятелями бывали здесь раньше во время походов: городок как городок, обычный спутник промышленного центра, тысяч десять населения, большая часть которого ездила на работу в город; производства как такового нет, филиал вуза, несколько профилакториев, под боком — россыпь дачных посёлков. Кажется, как раз сюда сосед возил свою тещу с рассадой.



Торговый центр “Аврора”... Хотя какой центр! так, центрик недалеко от окраины. Автовокзальная площадь, открытые ряды для частной торговли, большая парковка, сейчас по-прежнему забитая автомобилями. В общем — некое сосредоточие цивилизации, но не центровое. Идеальное место, чтоб узнать новости и сильно не светиться.

Не светиться не получилось.

— Добрый день всем.

“Нарвался!” Краем глаза Артём видел, как справа от него, со стороны ног пострадавшего, толпа раздвигается. Впереди уверенный парень, моложе тридцати, тёмные волосы в пучке, сильно выцветшая, когда-то красная повязка с оставшимися бледно-жёлтыми буквами “...жинник”. Из-за его спины выглядывал совсем молодой, чуть старше двадцати, с очень живыми глазами, подвижный, как ртуть, паренёк в камуфляже.

— И что у нас здесь происх... Ага. Перелом? Да, вижу, перелом. — Взгляд парня уцепился за перчатки, рука дернулась к карману. Но секундой позже он уже опускался рядом на корточки, — давай помогу.

— Там, — Артём показал подбородком, — ещё один. Глубокий порез правого предплечья. Я наложил закрутку, лежит в устойчивом боковом. Должен быть в сознании. Его можно эвакуировать.

— Леший, слышал?

— Да, ща займусь, — камуфлированный паренёк отправился к Рустаму. Оттуда донеслось: — Ба! Какие лица! Как же ты так?

Донёсся оправдывающийся голос Рустама. Что-то какой-то слабый. Неужели успел столько крови потерять? Да не, не должно, судя по луже, пол-литра, может, чуть больше. Ты с повязкой не накосычил? Или закрутка ослабла, и рана подтекает? Чуть не бросился проверять.

— Сталкер, слышишь? Рустам в сознании, мы ща потихонечку своим ходом дотопаем...

— Стой! — Артема обожгла догадка. — Какой, на фиг, “пешком”. Слышишь, как разговаривает? Это его от адреналина отпускает. Сейчас пойдёте, и на улице он у тебя отключится.

— Не бойсь, допру, если чё! Я в армии не таких таскал!

— Да на тебя мне пофиг, а вот если он в кому впадёт? Как там тебя, Сталкер?

Первый парень, довольно споро орудовавший с косынками, поднял глаза.

— Того, — опять ткнул подбородком в направлении Рустама, — надо тоже на носилках. Есть где взять?

— С носилками согласен. Вот только где их... До больнички кого послать?

— Ну-ка, пропусти... Такие подойдут? — объявился Серый с целым пучком гардинных карнизов. Обмотаны они были длинным шнуром с бахромой и кисточками.

— Блин, хлипковаты. — Артём попробовал один из деревянных прутков на прочность. — Жаль, длина в самый раз.

— Подожди, — парень, названный Сталкером, тоже взял один из карнизов. — Их здесь много, можно по два, даже по три связать, у меня скотча есть немного. А шнур хочешь, как полотно, навязать? Тогда нужны короткие распорки. Можно, в принципе, одну палку на них пустить, вот только чем отрезать?

— У меня есть чем, — буркнул Артём.

А ты не слишком вкладываешься в эту ситуацию? Сейчас предъявишь им свою замечательную раскладную ножовку, а потом отправишься дальше с пустыми руками? Но спорить с самим собой не стал, а то шизофрения какая-то получается!

Наконец-то обоих пострадавших под руководством Карима утащили в направлении местной больницы. Сталкер заверил, что врачи там дежурят и в безостановочном порядке оказывают помощь всем, кто обратится. Сам Сталкер, как и его напарник, остались, хотя Артём надеялся на совершенно другой исход.

— Ну что ж, теперь можно и поговорить спокойно. Отойдём?

Расположились у огромного витражного окна. Неподалёку, тревожно поглядывая и переминаясь с ноги на ногу у колонны, Светка изображала стойкого оловянного солдатика, приставленного к двум рюкзакам. Артём ободряюще улыбнулся жене.

— Как нас зовут, ты уже понял. К тебе как обращаться?

— Артём, — пожал плечами.

— Документов при себе у тебя, конечно, нет?

— Документы при себе у меня, конечно, есть. Вот только почему я тебе их предъявлять должен?

— Хм... Вопрос резонный. — Сталкер сделал вид, что задумался. — Может, потому, что нас больше?

От входа к ним направлялись ещё двое. Камуфляж, разгрузки, неспешные, уверенные движения. На рукавах — такие же повязки “Дружинник”. “Доигрался в благородство!” Но велух сказал другое:

— Ага, играете в правильных парней, но руководствуетесь при этом правом сильного? Вы, я так полагаю, — местные органы самоуправления?

— Даже не знаю, на что отвечать. — Сталкер развёл руками, одновременно качая головой. — На вопрос или наезд? Ладно, начну с вопроса. Как ты выразился, “органы самоуправления”, — это не мы. Мы волонтёры, то есть добровольный отряд помощи населению. В том числе приглядываем и за порядком. Теперь — что касается права силы. Согласен, мой косяк, неправильно начал разговор. Но и ты нас пойми. Что видим? Чувак, крепкий, подготовленный, толпу вон как застроил. Опять же — прикинут по-лесному, экипировка, амуниция... Только не говори, что ты обычный дачник-грибник, в лесу заблудился и только что вышел. Не будешь?

Артём усмехнулся, молча покачал головой. Парень продолжал:

— Хорошо. Так вот, всех таких спецов в нашем городке я знаю лично. Тебя не знаю, значит, ты чужой. Возникает естественный вопрос: что чужому спецу у нас нужно?

— Спокойно, — Артём поднял руки в примирительном жесте. — Я на самом деле проходил мимо и зашёл узнать, что слышно. Ничего более. Как сам, наверно, знаешь, с радио, интернетом и тому подобным сейчас напряжёнка. А тут этот прыгун, вот на рефlekсах и вписался. Как выясняется — на свою голову.

— Вписался-то ты как раз правильно. Иначе Рустаму точно кранты, хрен бы ему тут помогли. А он нашему городку нужен. Так что за Рустам спасибо отдельное. — И Сталкер протянул руку.

Артём рефлекторно пожал. Некоторая взвинченность начала отступать. Он, наконец, обратил внимание, что стоящий за плечом Сталкера Леший рассматривает его с интересом, но явно доброжелательно. И двое подошедших какой-либо агрессии не проявляют.

— Артём, такое предложение: идём сейчас в штаб. Ну, этого, как ты говоришь, самоуправления. Там тебе рассказывают, что известно у нас, ну, а ты, если не откажешься, расскажешь, что знаешь или слышал сам. Идёт?

Альтернатива, конечно, так себе, но его явно не хотели отпускать.

— Ладно... — немного замялся. Светка! Сделать вид, что не знакомы? Кто знает, выйдет ли он из этого штаба? С другой стороны, оставить здесь — что она сможет одна? Не то что бункер не найдёт, из города, может, не выйдет.

Разрешил сомнения опять Сталкер.

— Девушку с собой бери, не переживай. Здесь ей одной оставаться не резон.

Снова рюкзак отдавливает плечи. Слева прижимается Светка. Шагая под рюкзаком — это не самое удобное. Сказать бы ей... Но, глянув жене в лицо, Артём передумал. Кстати, Светкин рюкзак тащит Леший. Сам предложил, вон он, впереди шагает. Легко, как будто бы с пустыми руками. Двое подошедших дружинников с ними не пошли, попрощались и куда-то исчезли. Сталкер вышагивает справа.

— А ты у кого учился? Не у Герасимова часом?

— В смысле?

— Я про первую помощь. Представляешь, когда тебя в перчатках увидел, сразу почему-то про него подумал. И работаешь косынками. Ну, и закрутка — это же Сергея Васильевича разработка.

— А-а-а, ты про это... Честно, не помню, как ведущего звали.

— Так ты не из поисковиков?

— Кого?

— Понятно... жаль. — По лицу Сталкера пробежала волна разочарования, но только на мгновение. — Про добровольный поисково-спасательный отряд что-нибудь слышал?

Артём покопался в памяти, пожал плечами.

— А как же ты на курсы к Герасимову попал?

— Да просто порывлся в интернете, нашёл курсы, почитал отзывы, сходил. Понравилось, старался хотя бы раз в год обновлять знания.

— Сталкер, он, наверно, про платные говорит!

— Ну да, платные, а какие они ещё бывают в наше время? Сейчас даже прыщ бесплатно не вскочит.

Сталкер покачал головой:

— Поверь, ты ошибаешься.

С удивлением Артём отметил, что никаких особенных изменений в самом Городке нет. Против ожиданий — ни разрушений, ни следов пожара, даже стёкла везде целые. Улицы чистые, а не заваленные всяким мусором и поваленными деревьями. Малолюдно, это да. Если вычеркнуть из памяти последние пару дней, то легко можно представить, что всё, как обычно, жизнь продолжается, а все недавние события — страшный сон. Хотя чего он ждал? Того же, что было дома?

Вначале сосало какое-то чувство неправильности в этой обиденной картине, потом, наконец, дошло — на улицах нет машин! Спросил Сталкера.

— С автопарком у нас всё нормально, просто на общем собрании решили, что пока не прояснится — бензин не жечь. Он сейчас — невосполнимый ресурс.

— И как, все тут же послушались?

— Сомневаешься? Вообще-то правильно делаешь. Ну да, не все готовы отказываться от своих сиюминутных удобств ради общего дела. Ничего, — он усмехнулся, — пришлось осваивать методики убеждения. Впрочем, коллективное мнение — это сила, если уметь пользоваться. Главное, качнуть мнение большинства в правильное русло, а там активная общественность поможет с особо непонятливыми. Кто-то по-прежнему думает, что самый умный, может на общих собраниях гривой кивать, а под шумок тырить то, что, по его мнению, ничьё. А есть уникамы, до которых вообще, похоже, не доходит. Что поделать, — развёл руками, — дефекты воспитания! Пришлось тут прибегнуть к непопулярным мерам. Нашлись тут шестеро из “золотой молодёжи” на каникулах: четыре великовозрастных балбеса с двумя подружками.

— И что с ними сделали? Убили? — Светка округлила глаза.

— Да по-хорошему, надо было... Вывели на границу городка и — пинка под зад. Пусть тешат свою блажь, где угодно и перед кем угодно. Если найдут таковых. А в городок им появляться заказано.

— А если наплюют на запреты? Они же, как ты говоришь, отмороженные? Что сделаешь?

— Если нам попадутся, так это им повезёт. Потому как есть среди жителей и такие, которые не прочь с ними повстречаться. Вот тогда будут у ребят проблемы.

— А куда же им идти?

— Куда хотят.

— Но это же не гуманно!

— Не гуманно подставлять всех. Чем жизнь этих мажоров ценнее жизни матерей с детьми на руках?

Светка, видимо, хотела ещё что-то возразить, но не нашлась. Дальше шли молча. Штаб располагался в местной мэрии — здании ещё советской постройки из силикатного кирпича, с высоким крыльцом, призывным изоборажать трибуну перед небольшой площадью. На входе — вахтёр, похоже ещё со времён “до”. Кивнул Сталкеру и Лешему, как знакомым.

— Эти со мной. Где Равилич, не знаешь?

— В сто восемнадцатой был.

Сто восемнадцатой оказалась большая комната, метров шестьдесят-семьдесят квадратных, с большим овальным столом посередине, по стенам — ватманские листы, исчерченные схемами и таблицами, несколько досок для рисования маркером, большая карта города.

— Дима, твою мать, ты что, не догоняешь? У нас просто некого поставить на эту задачу!

— Блин, это, кажется, вы со своим узколобым подходом ничего не догоняете. Если сейчас мы не наладим контакт с деревенскими, завтра это может быть в десять, нет, в сто раз сложнее! А когда вы наконец-то признаете, что Ильясов был, как всегда, прав, придёте ко мне каяться: “Дима, мы бараны!” — но момент будет упущен!

Рядом со столом несколько человек о чем-то спорили, надрывая голосовые связки, но появление новых лиц заставило их прерваться.

— Извините, что отвлекаю. Равилич, можно тебя?

Один из спорщиков бросил взгляд на вошедших, задержал его на Артёме, секунду-другую всматривался... И, раскинув руки и широко улыбаясь, пошёл навстречу.

— Ба! Знакомые лица! Земляк, какими судьбами?

Секундное замешательство сменилось удивлённым узнаванием. Ну, точно! Те же очки в тонкой золотой оправе, короткая стрижка ёжиком, тёмно-синяя рубашка, расстёгнутая до середины груди. К Артёму шагал давешний пожилой крепьш, с которым он общался ещё в городе. Он-то как здесь?

— Так вы знакомы?

— Формально да, — крепьш обнял Артёма. Тому показалось, что попал в тиски, — давешний знакомый оказался крепким не только на вид. — Виделись и даже общались. Хотя познакомиться так и не удалось.

Он протянул руку.

— Дмитрий Равильевич, можно по имени. Сталкер со своими просто Равиличем кличут.

Артём представился.

— Так, мужики, — Дмитрий обратился к недавним собеседникам. — Давайте прервёмся. Иначе мы ни до чего не договоримся. Покурим, подышим, да и вообще, надо бы подвигаться, а то с утра не прерывались. Лады? А я как раз с человеком пообщаюсь. Куришь?

Артём покачал головой.

— Правильно делаешь! Я тоже.

Крепьш прошёлся по крыльцу взад-вперёд, сделал несколько наклонов, пояснил:

— Представляешь, второй день говорильни, размяться некогда. А ведь мне рекомендовали уехать. Последний раз совсем недавно, приблизительно за неделю до всего. Отказался. Что мне делать за бугром, кроме как на пляже валяться? Моя родина здесь. Мда.

— А мы должны были улететь в отпуск. У нас и билеты куплены. Сейчас иногда жалею: ну, почему я не взял отпуск на пару-тройку дней раньше?

— Да? — Равилич посмотрел на него внимательным взглядом. — Знаешь, что меня удивляет во всей этой истории? Почему мы оказались не готовы? Сейчас всё кажется таким очевидным. Все события последних дней, да что там — месяцев просто кричали о том, что ситуация не может разрешиться сама собой, что нужно ждать чего-то... страшного.

— Помпей и Геркуланум, — сказала Света. — Тоже косились на Везувий, ведь не мог он взорваться вот так вот сразу, без признаков надвигающегося извержения. С другой стороны, сколько было спекуляций на тему конца света? Самый ближний — две тысячи четырнадцатый.

— А вам, барышня, не отказать в уме, — Равилич показал ей большой палец вверх. Повернулся к Артёму: — Ну что ж, Сталкер мне сказал, вы зашли к нам за информацией. У меня была возможность немного к тебе присмотреться, да и за случай в “Авроре” мы, по большому счёту, должны. Так что инфой поделимся.

— Я, со своей стороны, готов рассказать всё, что знаю. О ситуации.

— Скорее всего, всё, что ты мне можешь рассказать, я и так знаю. Ну, разве что расскажешь мне, что в лесу между городом и нами пошли грибы. — Собеседник наконец взглянул на Артёма, улыбнулся. — Удивлён? Да чему тут удивляться! Весточки из Города к нам поступают регулярно. Вы же явно тащились пешком через лес. Не знаю, какие из вас ходоки, но наверняка не меньше дня топали. Ведь так?

Артему оставалось только согласиться.

— Да, ушли в ночь после того, как виделись крайний раз. От утра не ждал ничего хорошего.

— Вот как?

— Не прельщает работа за пайку на не понятных мне людей.

— А что непонятного в Гаврилове? Он-то действует как раз в очень понятных рамках. Так, как его учили. В этом сила армии — пока мы, гражданские, будем метаться, вопрошая, что же нам делать, собирать собрания и ждать, пока найдутся сумасшедшие, готовые тащить на себе весь этот груз, у них есть штатное расписание и устав, отработанные на ученьях действия и дисциплина. Может, их действия будут и не самыми подходящими для какой-то конкретной ситуации, но они будут. А это в тысячу раз лучше, чем бездействие и паника.

— Может, и так, только я там оказался не нужен. Представляете? Такая амёба, как мой соседка, всё достоинство которого — служба в армии, нужен. А я, полжизни готовившийся к подобным ситуациям, — нет! — Артём даже задохнулся от обиды.

— Понятно, — понимающе улыбнулся собеседник, хлопнул его по плечу. — Пойми, это не плохо, и не хорошо, это данность армейского подхода. Твой сосед, раз прошёл срочную, знает, что такое субординация и дисциплина. И оказавшись опять в армейской среде, не будет умничать, задавать вопросы и обсуждать приказы. Он их будет выполнять, возможно — спустя рукава. Но для армии это зло известное, методы борьбы с ленью там отработаны столетиями. А вот умник, который вместо исполнения приказа начнёт мыслить самостоятельно и делать по-своему, он даже опасен!

— Чем же? Тем, что вместо идиотского приказа сделал так, как было лучше?

— Хм... — на несколько секунд собеседник задумался. — Вот представь, идёт корабль. В каюте лазарет, люди, которые задыхаются и даже могут умереть, если не глотнут свежего морского воздуха. По трансляции поступает команда капитана: закрыть иллюминаторы! Но некто, хорошо разбирающийся в медицине, говорит: приказ — идиотский или даже преступный! Мы можем потерять этих людей. Нельзя закрывать иллюминаторы! И делает по-своему! Вот только он не видит, что идёт волна, а иллюминаторы расположены слишком низко, и их захлестнёт. Он не знает, что корабль перегружен, имеет плохую остойчивость, и даже немного воды на один борт способны его перевернуть!

— Ну, так капитан должен просто объяснить, по той же трансляции. Конечно, если открытый иллюминатор может привести к гибели всего корабля, ни один здравомыслящий человек не откажется его закрыть. Тем более, несколько минут без свежего воздуха никого не убьют, это точно.

— Не убьют? Ладно, наверно, неудачный пример. В конце концов, я не силен в медицине, я же для примера! Важно другое — в иной ситуации вдаваться в объяснения — упустить время. А не объяснишь — обязательно найдётся умник, который скажет: ну, что за ерунда, подумаешь, сколько там успеет влиться в маленькое окошко?! Зато военнослужащий рассуждать не будет — старший приказал закрыть, значит, надо закрыть, а не рассусоливать!

— Да что я, debil, что ли? Не понимаю, что значит выполнение приказа в экстремальной ситуации? У нас тоже, между прочим, бывало, когда один командует, остальные выполняют, а все претензии потом.

— Возможно. Но у тебя же на лбу не написано: “Я не debil, команды исполняю, в сложных ситуациях не умничаю”. Вот поэтому проще взять людей, возможно, не таких умелых и сообразительных, как ты, но понятных и прогнозируемых. А как их отобрать? По формальному признаку — служил-не служил.

— Вот и я говорю, не по пути мне с военными. Не подхожу им по этому самому формальному признаку.

Собеседник посмотрел на Артёма долгим внимательным взглядом.

— Ну, а с нами? По пути? Нам-то ты как раз подходишь.

— С кем это — с вами?

— С теми, кто хочет выжить сам и сохранить жизни другим людям. Правда, вот беда, — Равилич развёл руками, — нет у нас под рукой массы дисциплинированных исполнителей. Да и с недисциплинированными тоже напряжёнка.

— Ну, а как же ваши волонтёры?

— Ты про Сталкера и его команду? Их шестеро всего. Да, с ними повезло, не часто в наше время встретишь людей, готовых безвозмездно помогать другим. Я так понял, вы пересекались в прошлой жизни?

Артём покачал головой.

— Честно говоря, я о таких и не слышал. Всегда считал, что волонтерство — это какое-то жульничество. Ну, кто в наше время бесплатно во всякие экологические пикеты пойдёт? Кто их кормить будет?

— Плохо ты людей знаешь. Не скажу за активистов-экологов, наши из ДПСО, — увидел удивлённо вскинутые брови, пояснил, — добровольный поисково-спасательный отряд. Парни до всей этой задницы в свои выходные, за свои бабки занимались поиском пропавших людей. Просто потому, что у ментов со спасателями ресурсов на всё не хватает. А теперь так же добровольно, не прося ничего взамен, берут на себя самую неблагодарную работу. Просто потому, что кто-то её должен делать. А работы, ты не представляешь, сколько! Мы говорили про то, что неплохо бы знать заранее. Так вот, знал бы заранее...

— Уехал бы, — то ли спрашивая, то ли утверждая, сказал Артём.

— А вот и не угадал! Не уехал! Ни фига! Людей бы нужных постарался спасти. Они наша главная ценность, а не склад с продуктами или медициной.

— Люди, — выдохнул Артём, — это точно, не те люди погибли, не те...

Перед глазами опять встали Влад с Верой, Муха, Толян с Катей, хотя, может, последние трое ещё живы. Потом почему-то вспомнился Родионенч и сразу же, без перехода, — штурмующая “Звёздный” толпа, и перекошенное лицо соседа во время последней встречи. Захотелось сплунуть, но удержался, продолжил уже другим тоном:

— Ну, и скажите, зачем спасать всё это стадо? Да, это люди, но... — Пауза затянулась, Артём никак не мог подобрать слова.

— Стоит ли спасать всех? — продолжил за него Дмитрий. — Ты не оригинален. Порой и мне хочется плонуть на всё, сказать: да живите, как хотите, только потом не плачьте. Знаешь, почему не делаю?

Подождал, пока Артём покачает головой.

— Потому что один я, как бы ни был подготовлен, не выживу. И даже небольшой группой таких же, как я, — не выживем. О-о! — Он невесело рассмеялся. — Вижу скепсис вперемишку с презрением! Думаешь — слабаки? Не то, что ты? Давай я тебе кое-что поясню. Ты из так называемых “выживальщиков”. Идёшь ты, скорее всего, к какому-нибудь выкопанному в лесу бункеру, с запасами гречки и тушёнки, в котором, как в подводной лодке, надеешься пережить тяжёлые времена... — Ильясов расхохотался, потом ещё раз хлопнул Артёма по плечу. — Думаешь, я сейчас начну выпытывать, где твой бункер? Успокойся, на фиг он мне не сдался! Ну, допустим, у тебя там годовой запас жратвы. Фиг с ним, парень ты основательный, скажем так:

на десять лет. На двоих. А теперь сам считай: то, что вам двоим на десять лет, двадцать человек съедят за год. Так? А для двухсот? Сколько? Месяц? Ну, ладно, пусть чуть больше. А теперь сам считай: у меня народу без малого девять тысяч человек, им твоих запасов — один раз перекусить, и всё. Всё! Понимаешь? Так что твой бункер интересен будет только тебе да всяким отщепенцам.

Равилич опять прошёлся взад-вперед по крыльцу.

— Ты пойми, парень, наступившие времена — это не надвигающийся шторм, который можно переждать на глубине, а потом всплыть к той же обстановке, что и до погружения. И я даже не про то, что жизнь меняется, и когда твои запасы гречки подойдут к концу, интегрироваться в какой-то коллектив вам всё равно придётся. Давай поглядим на более простые примеры. Вот у тебя, как говорит Сталкер, неплохая подготовка в области первой помощи. Может, даже какая-то медицинская специальность есть.

Артем покачал головой:

— Нету.

— Ну, понятно, впрочем, не важно. Я вижу, ты не один, с тобой девушка. — Равилич кивнул в направлении Светки.

— Жена.

— Тем более. А скажи мне, выживальщик, ты не только с ранениями и переломами можешь справиться, ты и роды принять сумеешь?

— Что?

— Что “что”? Это жизнь.

— Ну, так рожали же бабы раньше, и без всяких акушеров, — нашёлся Артём и покосился на Светку. Та вроде не реагировала, может, не слушала.

— Рожали. А какая при этом смертность была, в курсе? Ты готов окатиться в статистике не в той графе? — Равилич продолжал втаптывать самолюбие парня. — Ты ловко останавливаешь кровотечения на конечностях, а внутриматочное сможешь? Молчишь... Или с ребёнком что. Ты педиатрию хорошо знаешь? Я уж не спрашиваю, что будешь делать, если твоя девушка поранится и сепсис пойдёт. Или ты ногу сломаешь. Или кто-то из вас глазом на ветку напорется. Или клещ укусит... Да мало ли что?

Равилич замолчал, давая возможность переварить услышанное.

— За те восемь лет, что я хожу в походы, а это отнюдь не простые прогулки выходного дня, бывали разные ситуации. Но ничего — живой до сих пор. — Прозвучало это, скорее, как оправдание, впрочем, Артём и сам это почувствовал.

— Оставайся, Артём. Нам вменяемые специалисты позарез нужны. У меня подавляющее большинство людей или продавцы различных мастей и категорий, или водители, токари и тому подобное — то, что ещё долго будет не нужно. Нам же сейчас нужны люди вроде тебя. А я в долгу не останусь. Поверь, сейчас это важно. Знаешь, что Гаврилов ввёл продуктовые пайки?

— К тому всё и шло.

— А то, что иждивенческий паёк на уровне прожиточного минимума по каллоражу? И не надо так на меня смотреть, это путь, который и нас ждёт, ибо еды катастрофически не хватает. Конечно, у нас тут садовые участки под боком, и в следующем году будем засаживать любой клочок обработанной земли. Но это — только будущий год, а впереди зима, и еду придётся распределять! И конечно, придётся выбирать: либо всем еле ноги таскать от голода, либо кормить наиболее ценных членов общества. Но тогда остальных — оставить за чертой. Вот ты спас Рустама. А знаешь, кто это? Он биолог, последнее время от безысходности выращивал грибы в подвале и был на дух никому не нужен. А сейчас он моя надежда! И я лучше от себя кусок оторву, но он должен выжить. Ибо тогда выживут все остальные.

— А от меня вам какая польза? Я не биолог, не агротехник, я даже картошку последний раз в далёком детстве сажал. И работал простым старшим смены в логистическом распределителе, командовал грузчиками.

— Ивановский РЦ? — заинтересованно спросил Равилич. — Знаю такой, знаю. Человек сто в смене, наверно, было?

— Сто двадцать четыре, это по штату. А так, конечно, кто-то всегда не выходил.

— Понятно. Карщики, комплектовщики, приёмщики, кладовщики — все у тебя?

— Ну да, отвечал за всю смену.

Равилич снова хлопнул Артёма по плечу:

— По армейским меркам, на роту тянет. А если брать количество служб — батальонный уровень. И Гаврилов просмотрел такого спеца! То, что людьми руководить умеешь, это по “Авроре” было понятно. И первой помощи обучен. А ещё, наверно, в лесу хорошо ориентируешься и вообще — не пропадёшь?

Артём в очередной раз пожал плечами: дескать, ну, и что?

— Жена, конечно же, тебе под стать?

— Не, что вы, — откликнулась Света. — Тёма пытался меня брать в лес, но мне в городе привычнее.

— А вы, барышня, чем занимались?

— Я учителем музыки работала.

— Вот как? Я подумал, истории.

— Это так, почти хобби. Замещала иногда историчку.

— Так это же замечательно! — Равилич расплылся в улыбке. — У нас школьный сезон на носу, а в нашей школе большинство учителей, как назло, в отпуска поразъехались. Теперь их кем-то заменять надо!

— Какая, на фиг, школа? — потрясённый Артём выкатил глаза на собеседника. — Ты ж сам только что говорил, на носу голод, и непонятно, кто зиму переживёт! Ты же собрался пайки резать...

Равилич прищурился:

— А скажи-ка мне, выживальщик, у тебя есть мечта?

— Что?

— Мечта. О чём ты мечтаешь, засыпая?

— Да... ни о чём таком. Я хочу выжить в этом бедламе. А ещё у меня есть она, — кивнул Артём на Светку, — и она должна жить.

— Достойно, — покивал Равилич. — По-мужски. А знаешь, о чём я мечтаю? Я тоже хочу выжить и вытащить жителей этого городка. Но есть ещё кое-что. Я мечтаю, что и через два-три поколения люди будут цитировать Пушкина и Достоевского, знать о Суворове и Александре Невском. А не только уметь сажать картошку и отличать съедобный гриб от несъедобного.

Артём задумался. Затем спросил:

— Скажите, Дмитрий Равилич, а какой в этом толк, если завтра сюда прикатит на своих БТРах Гаврилов и отберёт всё, что вы здесь навывращиваете?

— Не отрицаю, такой вариант возможен. Но только возможен. А вот если сейчас не озаботиться производством еды и, во-вторых, — постановкой в стойло всех этих свободно мыслящих индивидуальностей, то завтра эти неповторимые личности перетопчут друг друга за ведро картошки, и никакой Гаврилов или ещё кто нужен не будет. Нам уже сегодня нужно жить.

Артём молчал. Равилич выдержал паузу и продолжил:

— Этот городок — моя родина. Я здесь родился, вырос, начинал свой бизнес. Потом, конечно, подался в большой город, там всё же возможностей больше. Но тогда, послушав этого коменданта, я вернулся домой, сел на велик и уже ночью был здесь. Потому что обойдётся капитан Гаврилов без младшего сержанта Ильясова. А вот мой городок без меня может и не обойтись. Ладно, выживальщик, поступим так: сейчас ты отправляешься в свой бункер, живёшь там с супругой, неделю, месяц, год... В общем — сколько влезет. Пока не завоешь на луну оттого, что заняться нечем, что все твои навыки, полученные за многие годы, не к чему применить. Я думаю, что больше месяца не выдержишь, а может, меньше. И вот тогда приходи. Поверь — не обидим. Будет, что есть, будет, где жить. Будет медобслуживание, всё будет. А ещё, я дам тебе то, что нужнее всего, — чувство нужности. Ах, да, если будет нужна помощь, любая, тоже приходи. Мы не бросим.



## Деревня

Где-то в стороне хлопнул выстрел. Артём присел и настороженно замер, обратившись в слух. Сердце на миг замерло, а потом рвануло с места в карьер, как хороший спринтер. Покосился на Светку, та повторила всё в точности. Пару мгновений ничего не происходило, только птичье пение как обрезало. Один ветер продолжал шуметь листвой. Успела мелькнуть робкая надежда: “Показалось?” Не показалось — откуда-то справа резанул женский крик.

Рука сама нащупала цевьё, ремень аккуратно сполз с плеча. Под аккомпанемент бухающего в висках пульса поднялся на напружиненных ногах, оружие наизготовку, в голове вакуум. Повернулся к жене, зачем-то показал ей прижатый к губам палец: можно подумать, она и сама не понимает. Стараясь ступать как можно тише, двинулся в направлении шума. Крадучись преодолел метров сто пятьдесят, аккуратно отвёл стволом раскидистую ветку какого-то густого кустарника, и глазам предстала картина.

На небольшом прогальчике среди леса напротив друг друга две группы людей. Слева сбились в кучку два парня и две девушки. Яркие цветные банданы и кепки, мембранные куртки и рюкзаки из синтетики. Девчонки, обнявшись, давились слезами, опасно поглядывая на вторую группу. Парни стояли в международной позе сдающихся в плен, подняв руки и в каком-то офигевании выкатив глаза себе под ноги. Там, в невысокой лесной траве ничком лежало тело их товарища, над которым заходила криком ещё одна девушка. Именно этот надрывный отчаянный плач послужил звуковым маяком, приведшим Артёма к полянке.

Группа напротив представляла из себя столь колоритное сборище, что не будь событий последних дней, Артём поискал бы взглядом киношников с аппаратурой во главе с капризным режиссёром. Чуть впереди дед: брезентовая куртка с капюшоном, тёмные штаны, заправленные в кирзачи, и окладистая с проседью борода. Дополняла картину направленная на туристов двустволка, которую дед небрежно держал у бедра. У правого плеча, но на полшага позади стоял его точный клон, лет на двадцать моложе, да борода поменьше и пока что чёрная. В отличие от деда, губы сжаты в нитку, настороженный прищур, приклад упирается в плечо, а ствол нервно рыщет по сторонам.

Позади — бабка, тётка, как назвать? — женщина, не старуха, но и не молоденькая. Тёмный платок, из-под такой же брезентовой куртки длинная чёрная юбка. За руку она с трудом удерживает вихрастого подростка. Пациентка напряжение момента явно не коснулось, и он активно порывался на свободу.

— Смотрите, роя, Федька оклемается, мы рожито ваши ему предъявим. Не дай Господь, узнает в вас тех, кто его отходил, не сносить вам тогда голов.

— Ты-ты чё, дед, я же тебе русским языком говорю, т-туристы мы, вчера еще у К-Козловской балки б-были. Дался нам ваш огород, у нас с-сублиматов ещё на неделю! — заикаясь и не сводя взгляда со своего убитого товарища, говорил один из парней.

— Неделя кончится, а жрать-то всем надо.

— Погоди, Митяй, может и не они, — подала голос тётка.

— Чё это, не они? Федька сказывал, тех тоже шестеро было.

— Там, вроде, две девки было, — басовито подал голос дедов клон.

— Федька мог и ошибиться в темноте.

— Дед, да как тебе д-доказать, не видели мы никакого вашего Федьки, мы неделю от станции Б-Балково идём. Я б тебе трек на навигаторе показал, но он почему-то т-три дня спутники не ловит.

Мысли в голове помчались наперегонки с пульсом. Ясно одно, ребята — простые туристы, в походе больше недели, про катастрофу ни слухом, ни духом. Шли себе в настроении самом благом — погода радует, конец маршрута не за горами: от Балково, станции по другой ветке железки, до их города — десять дней неспешного хода, тропа найденная. И тут им повстречались эти... Кстати, дед что-то говорил про шестерых, из которых две

девушки. Смутная догадка мелькнула в памяти. И что делать? Бежать к деду с криками: “Подождите, я вам всё сейчас объясню!”? Дед, похоже, сначала стреляет, и только потом включает мозг.

В глубине сознания умник альтер эго начал загибать пальцы: “У тебя в магазине десять патронов с крупной картечью — это раз. Во-вторых, у них две двустволки, у клона один ствол, скорее всего, разряжен. Первым выстрелом ты по-любому одного выключаешь, остаётся один с двустволкой против твоей самозарядки”. Всё так, вот только... Стрелять по живым людям, которые тебе ещё ничего не сделали? А может, туристы сами виноваты? А может, они первые напали, а эти деревенские защищались? И ещё, ладно дед со вторым мужиком, но тётка и пацан! С ними-то что дальше делать?!

“А может, так? Руки вверх, бросай оружие!” И что потом? Даже если бросят, не пальнут дулетом на голос и не залягут. Что потом?!

Чтоб не затекли плечи, Артём осторожно перехватил “сайгу” поудобнее, и в этот момент из-за края поля зрения в ствол вцепилась рука и потянула ружьё книзу. Да с такой силой, что чуть не вывернула из ладоней. Парень на секунду опешил от неожиданности, каким-то чудом подавив испуганный возглас. Растерянный взгляд пробежал по руке, плечу и упёрся в широко распахнутые глаза. Лишь миг спустя сознание охватило картину целиком — рядом стояла Светка, мёртвой хваткой вцепившись в оружие, и в каком-то молчаливом припадке трясла головой. Нет, не трясла — быстро-быстро мотала ею в стороны, а широко распахнутые глаза молча кричали: “Нет! Не надо!”

Продолжая удерживать левой рукой ружьё, правую поднял ладонью перед собой, изобразил жестом: “Всё хорошо”, — подкрепляя беззвучной артикуляцией. Потом опять прижал палец к губам. Супруга продолжала мотать головой, но уже больше по инерции. Осторожно отцепил её руку, ещё раз повторил успокаивающую жестуляцию. Убедившись, что Светка берёт себя в руки, показал себе за спину, дескать, постой пока там. И вернулся взглядом к полянке, надеясь, что собравшиеся на ней не обратили внимания на какую-то возню в кустах неподалёку.

Как раз в этот момент парнишка, наконец, высвободил свою руку из плена тёткиной ладони, и не успела та что-либо предпринять, бросился к убитому. Дед грозно выкрикнул, тётка вплеснула руками, туристы замерли, даже девушки, казалось, на миг забыли про рыдания. Только подруга убитого не отреагировала никак. Она уже не заходила криком, а бессильно опустив мелко подрагивающие плечи, сидела в траве возле мёртвого тела, и слёзы текли двумя ручейками по щекам.

Пацан подскочил к труп, наклонился и с усилием вытащил из-под него ружьё.

— Андрейка! Уши оборву! — Дед, похоже, подходил к точке закипания. — Ну-ка, подошел ко мне. Быстро!

Андрейка неохотно подошёл и отдал добычу. Дед взял ружьё в руку, мазнул взглядом и закинул его ремень на плечо.

— Вы уж не сердитесь на него, — тётка оправдывалась, как будто и не держали ребят под направленными стволами её родственники, — это племяш мой, из города. Родители нам на лето сбагрили, а сами на юга укатили. Теперь, видать, мы его единственная семья.

Дед в это время кивнул своему клону:

— Слышь, Сёма, а винтарь-то, оказывается, пневматика. Выходит, ты парня зря вальнул.

— Может, и не зря, — недовольно пробурчал тот, — если Федька их опознает, мы так и так их закопаем.

— Да вроде не врут, городские. Похоже — не они это.

— Ну, значит, парню просто не повезло. Прости, бать, нервы за последние дни ни к чёрту... Ну, а вдруг бы у него настоящий винтарь оказался?

— Тоже верно...

Парни тем временем, облегчённо вздыхая, стали опускать руки.

— Куда это? Я не давал команды руки опускать! — дед продолжил как ни в чём не бывало. — Может, это и не вы нашего Фёдора отходили, но что вы за люди, это ещё разобраться надо.

Он оглядел их ещё раз, а потом скомандовал:

— Значит, так, робя, берите свои вещички и товарища своего — нечего ему в лесу валяться, похороним по-людски. И давайте, двигайте за... — оглянулся: — Андрейка! Ну-ка, давай, топай вперёд, будешь дорогу указывать. — Повернулся к туристам: — Вот за ним пойдёте.

Парни неуклюже, за руки-за ноги подхватили своего убитого товарища. Тело ещё не окоченело, норовило выскользнуть. Так и двинулись: впереди — Андрейка, затем — две девушки-туристки, продолжающие утирать слёзы, за ними, почти волоча по земле труп, двое парней. Следом дед и не отстающий от него Семён. Замыкали колонну девушка убитого туриста и взявшая её под руку тётка.

— Ничё, ничё, милая, мы ж не злодеи какие. Кажись, Семка твоего случайно стрелнул. Ну ничё, сейчас не известно, чего ждать от человека с оружием. Знать, судьба у вас такая. Его — в землю лечь. А тебе мы парня найдём, нам сейчас люди, ох, как нужны. Да вон хотя бы и Семёна? У него жёнка как раз перед всем этим в город подалась, видать, там и сгнула...

Наконец, слова стали неразборчивы, и все они скрылись за деревьями.

По-хорошему бы развернуться и уходить, но время шло, а Артём как будто застыл, всё глядя вслед ушедшим. То ли ждал чего-то, то ли боялся пошевелиться, он и сам не знал.

— Да-а-а, а это, между прочим, ближайшая к убежищу деревня. А я то ещё думал сходить, так сказать, навести мосты.

Повернулся к жене:

— Идём?

— Тёма, они что, вот так вот просто взяли и убили человека?

— Похоже на то, родная.

— Но ведь их же теперь...

— Что? Арестуют? Посадят?

Светка часто закивала. Артём привлёк к себе жену, обнял за плечи, пригладил волосы. Потом чуть отстранил, посмотрел прямо в глаза:

— А кто это сделает, солнышко? Полиция, власть?

Та снова прижалась к нему, крепко, как будто стремилась спрятаться у него на груди, и снова закивала головой.

— Малышка, — Артём опять принялся с нежностью гладить её по волосам, — ну, какая теперь власть? Похоже, в каждом населённом пункте своя.

Перед уходом Равилич, как и обещал, рассказал, что было известно ему самому.

— Да кто ж тебе скажет, что случилось? — Ильясов, как бы извиняясь, развёл руками. — Это в фильмах, дорогие мои, вам всё объяснят закадровым голосом. Или герой обязательно окажется в жутко секретном правительственном бункере, где станет случайным свидетелем разговора посвящённых. Ну, или персонаж по пути попадётся очень информированный и всё поведаёт, как на духу. Вам, кетати, случайно по пути такой не попался? Нет? Жаль, я бы тоже послушал.

Те, кто нанёс удар, не представились. Наверху, скорее всего, правду знали, вот только где этот верх? Докатилась информация, что на месте Москвы, Питера и нескольких самых крупных городов — радиоактивный пустырь. Никто из тех, кто это рассказывал, конечно, своими глазами ничего не видел, но здравый смысл подсказывал, что это так. Даже признаков центральной власти не наблюдалось. Хоть Гаврилов на том собрании и говорил, что его назначили, но кто это сделал? Может, сам Гаврилов, кто знает?

Нашлись очевидцы, что то была ответка, — видели старты ещё до удара. Каждый в отдельности сначала подумал про ученья, но потом те, кто выжил и смог рассказать, уже не сомневались: с кем-то мы оплеухами обменялись. А вот что дальше? Начались наземные операции, или каждая сторона, получив по мордасам, решила не лезть на чужие территории, со своими бы разобраться? Никакой информации. Военные, возможно, знали, но поделиться не спешили.

Стало быть, надеяться на некую “центральную власть”, что покарает заравшихся местечковых князьков и баронов, не приходилось.

## Лес

Маленький вентилятор, запитанный от солнечной батареи, гонит воздух в печку-щепочницу, превращая её в подобие горна. Сверху водружена походная титановая кастрюлька. Радиатор на дне способствовал более эффективному поглощению тепла: вода закипела буквально мгновенно.

— Опять сублиматы?

— Потерпи, родная, ещё три часика, и я тебя настоящей кашей накормлю: гречка с тушёной! Мы с Владом этого добра в бункер на год натащили. — Подумал, невесело усмехнулся: — Теперь получается, уже на два года.

Он скинул куртку и оставался в одной тонкой термухе, позволяющей телу дышать, распустил шнуровку на берцах — пусть ноги тоже отдохнут. Спину прижался к дереву, ноги вытянуты, тело расслаблено, сквозь листву пробиваются солнечные лучики. Что ещё нужно после длинного перехода?

— Гречка с тушёной? — Светка, в отличие от мужа, ограничилась снятым рюкзаком, разве что куртку расстегнула. Так и оставалась сидеть с подобранными ногами. Задумчиво проговорила: — Всю жизнь мечтала питаться одной гречкой с тушёной.

— Ну, что ты, солнышко, да разве я мог бы допустить, чтоб моя радость оказалась на столь однообразном рационе? Не хотел говорить раньше времени, — он заговорщически подмигнул, — у нас там не один тушьяк да гречка с макаронами. Есть и картошка, и яйца порошковые с молоком. Буду тебя по утрам омлетами кормить. Есть шоколад, орехи, “несквики” всякие. Ну, а конец похода отпразднуем консервированными персиками! Поверь, о разнообразии мы позаботились.

Но весь его нарочитый энтузиазм не достиг цели.

— Тёма, ну, что мы там будем делать?

Он помолчал немного, потом заговорил бесцветным голосом:

— Мы натащили кучу настольных игр, хотя планировалось, что нас там будет четверо. Кроме того, в убежище большая библиотека. Представляешь? — В голосе опять прорезались весёлые нотки. — Бумажные книги совсем недавно не стоили почти ничего. Кому они были нужны, когда есть электронные гаджеты? Теперь, думаю, опять подскочат в цене. Кстати, думаешь, зря я ташу ноуты? В бункере ждут несколько квадратных метров солнечных панелей — только расстилай на открытом пространстве. Можно будет даже мини-сеть на два компа соорудить и зарубиться во что-нибудь на двоих. Да что мы, вдвоём не найдём себе занятия?

— Артём, а почему ты не остался у Дмитрия?

— У Равилича? Ну, понимаешь...

Пауза затянулась. Он несколько раз порывался начать говорить, набирал воздуха, да так и сдувался. Наконец вымученно улыбнулся:

— Если честно, сам не знаю. Всё он правильно говорит, вот только...

Опять повисло молчание.

— Знаешь, милый, я твоя жена и пойду за тобой, даже если буду сомневаться в правильности пути. Но мне кажется, что ты и сам больше тянешься к людям. Ты нужен им, твой опыт, знания, навыки. А люди нужны тебе, я видела твоё лицо, когда ты оказывал помощь. Это же твоё призвание!

Она помолчала, задумчиво ковыряя поднятой веткой в траве.

— До бункера нужно дойти. Это твоя цель. Это ваш с Владом план. Вы его задумали, вы долго работали над его реализацией, и будет обидно всё бросить буквально на пороге. Но...

Что “но”, Светка договорить не успела: в кустах совсем рядом раздался хруст сухой ветки.

— Эй, кто там?

Артём непроизвольно положил руку на чехол. После того случая ружьё он прятал. Ну на фиг, эдак нарвёшься на таких же, как дед Митяй с его нервным сыном Семёном — сначала стреляют, потом уже вопросы задают.

В ответ с шумом затряслись ветки кустарника, обрамлявшего стоянку, и на огонёк вывалились двое.

— Привет честной компании! — нарочито бодро начал паренёк на вид лет двадцати, в джинсовом костюме и зелёной бандане. — Разрешите погреться у вашего камелька?

Артём хмыкнул, оглядывая вновь прибывших:

— Да сейчас вроде не холодно? И это не камелёк, греться не получится.

— Проходите, конечно, присаживайтесь. Чаю хотите? — Светка преобрилась — само радушие и гостеприимность. — Вижу, давно по лесу ходите, вы заблудились?

— Ага, заблудились, — согласилась девица под стать парню возрастом, одетая также не для леса: флисовая худи с кашушоном и узкие короткие джинсы. Естественно, оставляющие открытыми лодыжки, по непонятной Артёму моде. Он злорадно ухмыльнулся про себя — сейчас лодыжки были замотаны какими-то тряпками. На мысли о длительном пребывании в лесу наводила замызанная и изрядно помятая одежда. Взгляд зацепился за почти разваливающиеся кроссовки парня. У девушки обувь выглядела лучше.

— Артём, вскипяти воды побольше, ребят надо напоить горячим.

Воды оставалось немного, в городке набирать постеснялся, хотя Сталкер, снова проважавший их до леса, предлагал. Оставалось два литра, на четырёхчасовой переход за глаза, а рядом с бункером притаился небольшой родничок. Когда-то была даже мысль сделать отвод воды из него прямо в укрытие, но руки так и не дошли. Ладно, в конце концов, воды можно набрать в реке, только потом прокипятить, — бутылки не выбрасывал, а, выпустив воздух, привязывал к рюкзаку свободной стропой.

Вылил одну литрушку в высокий стакан от газовой горелки “Джетбойл”, пристроил на щепочницу вместо маленькой кастрюльки.

— Так как же вас угораздило здесь оказаться?

— Заблудились, — развёл руками успевший расположиться парень. Он взял лежащую в стороне пенку, расстелил и уселся сверху по-турецки. Девчонка устроилась на корточках у горелки, протянув к ней руки.

— Действительно, а здесь тепла совсем не чувствуется. Какая интересная у вас горелка.

— Это не горелка, это турбо-печка с принудительным наддувом. Газ или бензин не нужен, достаточно крупных щепок. Вентилятор создаёт тягу, а сам запитан от солнечной батареи. Откуда идёте, ребята?

— Вышли из города, как шарахнуло, испугались радиации. А идём в деревню, к Майкиным старикам.

— То есть вы пятый день вот так по лесу шарахаетесь? А чего не по дороге-то?

— Хотели срезать, да вон как получилось!

Странно, пронеслось в голове у Артёма, как раз дороги-то и были в их лесистой местности самым прямым путём. Мысленно нарисовав в голове схему дорог, он не мог понять, где тут можно было срезать? То, что по дорогам люди ходили взад и вперёд, знал от Равилича.

— Тём, ну что ты ребятам какой-то допрос устроил. Ты же видишь — нет у них твоего опыта.

— Простите, а вы?.. — девчонка изобразила на лице вопрос.

— А мы тоже идём в Игнатовку, у нас там тоже родня, — названия окрестных деревень он помнил, эта была как раз в нужном направлении, километров на двадцать дальше.

— И чего, только вдвоём?

— Да, но Тема опытный походник...

Опытный походник поморщился, как от зубной боли, он-то хотел сказать, что они — часть большого отряда, который где-то неподалёку.

— Послушай, дядя, а может, махнёмся обувкой? — Тон парня как-то неожиданно изменился.

— Что? — Артём оказался не готов к такому радикальному изменению в поведении гостей.

— Да ладно, Вовчик, ты же видишь, — девчонка тоже неожиданно перешла на тон громче, — этим утыркам на тебя по фиг. Ты сохнешь, они дальше пойдут.

— Что за ...? — В голове не укладывалось, во всей ситуации была какая-то неправильность. — Эй, а ничего, что вы наш чай пьете?

— Блин, да он чая пожалел, козёл! — Девка уже почти кричала.

Светка огорошенно переводила взгляд с Артёма на пришлых, потом обратно.

— Так, хватит! — Артём, закипая, вскочил на ноги. — Ну-ка...

Краем глаза успел заметить, как в ужасе распахнулись глаза Светы, глядящие ему куда-то за спину, и, уже начиная догадываться, попытался обернуться... В этот момент затылок взорвался болью. Ещё успел увидеть брошенную в лицо землю, слух донёс сухой хруст, сдавленный Светкин вскрик, и сознание потухло.

Сначала Артём осознал, что лежит, уткнувшись лицом в землю. Потом накатила тупая боль, разливающаяся от затылка по всей голове, и тошнота. В правую щёку, почти пропоров её, вонзилась ветка. Хорошо, что не в глаз! Под щекой что-то липкое. Мысли еле ворочались и путались. Сильно мутило. Где я? Сквозь пелену в памяти начали проступать картины: лес, куда-то шли... Куда? В поход? А почему я валяюсь?

А, ну да! Разом вспомнилось: горящий город, Влад и Вера, Миха, Родионич, двое парней, неумело тащивших тело третьего. Мы же шли к убежищу. А потом? А потом эти двое и боль в затылке. Я жив? Судя по всему, ещё да... Светка! Что с ней?!

Как сквозь вату, стали доноситься звуки. Голоса. Как много! Было же двое незваных гостей и Света? Ну да, должен быть ещё кто-то, кто огрел по голове. Но ему показалось, что вокруг какая-то гомонящая толпа.

Так, меня вырубил, и, похоже, сейчас грабят наши вещи. Что делать? Ружьё! Оно в чехле, могли и не заметить. Должно лежать где-то рядом. Мне бы только добраться до него. Магазин уже пристёгнут, чехол быстро-разъёмный, не помеха. Останется только передёрнуть затвор, и стрелять, стрелять, стрелять. Стрелять, пока враги не кончатся. Стрелять в их мерзкие рожи, видеть страх в глазах, и осознание, что кончились их весёлые деньки...

— Смотрите-ка, — донёсся чей-то удивлённый голос, — зашевелился! Длинный, так ты не наглушняк его? А говорил, что черепашка треснула!

— Не может быть! — это, вероятно, помянутый Длинный. — Видели, какая лужа с него натекла? Да и хруст я отчётливо слышал!

— Во, — женский голос, не Майки, другой, рядом, — это дрын твой хруснул. Говорили тебе, гнилушка, а ты всё — берёза, крепкая древесина! Знаток, бляха.

Под грудь подсунулся носок ботинка, и с натугой его перевернули.

— Тяжёлый, бляха.

На фоне неба над ним склонились, разглядывая, трое незнакомцев — девушка и два парня.

— Точняк, живой, глазёнками ворочает. Эй, дядя, говорить можешь?

Попытался поднять голову и скривился от пронзившей боли.

— Света, — позвал слабым голосом.

— Да жива твоя тёлка, — рассмеялась склонившаяся над ним девка. Смахнула малиновую прядь, — даже пацаны не тронули. Хотя хотели. Мне скажи спасибо!

Попытался подняться, но руки не держали, и он опять растянулся на земле. Тогда, собравшись с силами, отполз к дереву и облокотился одними плечами. Теперь стало видно происходящее.

Сначала взгляд нашёл Светку. Та рыдала, сидя прямо в траве. Губы с левой стороны разбиты, на скуле кровоподтёк. Потом до него дошло, что же она сидит в одном термобелье.

Вован рылся в Светкином рюкзаке, как раз доставая оттуда очередной сверток.

— О, Майка, тебе обновки нужны?

Это оказались Светкины летние платья. Майка повертела в руках.

— Да я такую дешёвку, даже если мне вообще носить будет нечего, не надену.

И платья полетели в траву. Сама Майка щеголяла в Светкином костюме и берцах.

Ещё один достаточно упитанный парень в такой знакомой горке отвязывал от его рюкзака пустые пластиковые бутылки.

— Он, чё, старьевщик что ль? На хрена с собой пустую тару таскает?

— Он не старьевщик, он... как его, этот — “берегите лес”.

Раздался смех.

— Во, дебил, мог бы просто сжечь. Всё одно их потом на мусорный полигон отвезут, где они гнить полета лет будут.

Идиоты, пронеслось в мозгу Артёма, а вы воду во что набирать собрались? К лесу ребята явно не приучены.

— Слышь, дядя, снаряга у тебя классная, что ж ты ножиком нормальным не обзавёлся? — Один из парней крутил в руках его Мору-две тысячи, самый популярный у выживальщиков шведский нож. — У моей бабки на кухне и то ножки круче!

Мародёры собирались уходить. На земле остались валяться последствия потрошения рюкзаков: обёртки от пайков, смятые бутылки, тряпки. Артёмов рюкзак, пытаясь, напялил на себя толстый парень, Светкин — Вован.

— Ладно, дядя, спасибо тебе за подарки, ты прям Дед Мороз какой-то. Но нам пора. Подругу твою мы с собой забираем...

— А вот это хрен тебе, Русик! — Крашенная девица в высоких, проклёпанных ботинках и косухе резво обернулась к говорившему.

— Диана, солнце моё, я ж не для себя стараюсь, — притворно расплылся Русик, — вон Длинный с Пухлым одиночеством страдают.

Артём, с трудом перевернувшись на живот, упёрся обеими руками в землю.

— Я сказала, она с нами не пойдёт! — В голосе прорезались истерические нотки

— Дианка, ты чего? Думаешь, я на неё запал? Вот ещё! Там же смотреть не на что!

— Я тебя знаю, кобелина, ты ни одной дырки не пропустишь, так что никто с нами не пойдёт! — сорвалась на крик крашенная.

Отжавшись, ему с трудом удалось оторвать тело от земли и подставить под себя согнутую ногу. Толчком привёл себя в вертикальное положение, разворот... Повело, пришлось схватиться за дерево.

— Пошли, красавица.

Высокий тощий парень схватил Свету за руку и рывком поставил на ноги. Та попыталась вырваться, Артём, сжимая кулаки и набычавшись, сделал неуверенный шаг вперёд. Его еще мутило, но закипевшая в крови злость накачивала силой.

И в этот самый миг крашенная подлетела к Светке и резко наотмашь взмахнула рукой. Светка отшатнулась.

Со своего места Артёму показалось, что крашенная промахнулась, но та с вызовом повернулась к своим спутникам и подбоченилась.

— Я же сказала, никто с нами не пойдёт!

— Да ты просто сука бешеная, — с какой-то укоризной, смешанной с восторгом, сказал Русик. — Длинный, пошли.

И он пошагал, догоняя ушедших вперёд Вована, Майку и толстого парня. Длинный бросил взгляд на Диану, перевёл на Артёма, вымученно улыбнулся, как будто говоря: “Ну, извини, видишь — баба не в себе!” — и пошёл вслед Русику. За ним, не оборачиваясь, ушла крашенная.

Артём перевёл взгляд на жену. Та стояла, растерянно-виновато глядя на него, и зажимала себе шею. Из-под руки текла тёмная струйка.

Мир сузился до размеров этой маленькой, такой родной фигурки и пары метров поверхности вокруг. Пропал лес, вылетели из головы уходящие мародёры и глобальная ядерная катастрофа, всё стало неважным и таким далёким. Сознание разделилось.

Шансов никаких. Ты же знаешь, в данной ситуации... Заткнись! Другая часть Артема, эмоциональная, любящая, отказывалась принимать происходящее. И надеялась: это просто порез. Ничего страшного, капиллярное кровотечение, сейчас наложим давящую повязку, и всё будет хорошо... Ты посмотри, разве из капилляров столько натечёт?

— Убери руку, дай посмотреть!

Длинный порез с правой стороны от гортани, и небольшой, такой с виду не страшный фонтанчик, не то, что в фильмах.

— Вот видишь, разве это струя из перерезанной артерии? — с вызовом бросил Артем своему второму я. — Где фонтан на пару метров?

Руки действовали сами по себе — одна легла на шею сзади, вторая, сжатая в кулак, уперлась рану, зажимая. Пальцы тут же стали мыльными от крови.

— Ложись, ложись, ложись, — шептали губы заученную мантру. Жена послушно сползла по подставленной ноге.

А помнил тот ролик? Ледяная волна пробежала по спине, сжала сердце. Он помнил, им показывали реальную запись с камер наблюдения в баре: парню так же резанули шею. Он какое-то время ходил, прижимал салфетку, протянутую “сердобольным” барменом, вокруг озирались зеваки, всё буднично и просто... Только тот парень не выжил.

Нет, со мной такого не будет, только не со мной! Там, в баре, была толпа баранов. Никто даже “скорую” вызвать не удосужился... А ты, конечно, вызовешь? Или сам справишься? Ты сосудистый хирург, и у тебя под боком операционная?

— Лежи, маленькая, видишь, всё под контролем, кровь уже не течёт.

Света несмело улыбнулась, доверчиво глядя в глаза, а он нависал над ней, навалившись всем весом на выпрямленную руку, упиравшуюся кулаком в шею.

“Выпрямляй руку, и всем весом дави, иначе не пережать!” — Голос Герасимова звучал как наяву: “Не сгибай в локте, иначе нажим постепенно ослабнет, сам не заметишь”.

Давай, вспоминай. Забыл? Дальше инструктор говорил про то, что вторая рука теперь свободна, самое время достать телефон и вызывать помощь. Конечно, помощь! Мобила сейчас бесполезный кусок пластика и проводков, сотовые вышки не работают, но у него же есть рация! Если вызывать на всех частотах, может, кто-то и ответит. Нет, не так — обязательно кто-то ответит. Надо только дотянуться до рюкзака...

Осознание прошло по телу, как удар электрического тока; зародившаяся надежда рухнула куда-то вниз, в бездну, увлекая за собой сердце: их рюкзаки сейчас удалялись на спинах шестёрки молодых мерзавцев. Нет. Нет! Нет!!! Такого просто не может быть!

— Сейчас, родная, сейчас. Кто-нибудь пройдёт мимо, это же не лес, а какой-то проходной двор...

Зачем-то в памяти всплыл эпизод расставания со Сталкером у окраины городка. “Почему ты сказал: жаль, что я не из поисковиков?” — спросил тогда Артём, когда уже пожимали друг другу руки. “Волонтёры сейчас по бункерам не тихарятся”, — ответил Сталкер.

Эврика! Я знаю, что делать! Я не могу вызвать помощь. Ну и что?! Да я сам доставлю её в больничку! Я буду держать рану, и мы потихоньку, потихоньку пойдём в направлении городка...

— Слушай, малышка, я сейчас зажму рану, потом ты поднимешься, и так бочком-бочком пойдём к городку. Это будет долго, но мы дойдём!

Света попыталась кивнуть, в глазах не гасла надежда. Но стоило ей пошевелиться, кровь начала лить снова. Артём сдался:

— Ладно, родная, придумаем что-нибудь ещё.



В ответ — ободряющая улыбка. Жена как будто говорила: “Конечно, милый, ты обязательно придумаешь!”

Перед мысленным взором всплыл учебный класс курсов первой помощи, занятия по сердечно-легочной реанимации. Они только что закончили упражнение, когда, меняясь по очереди, держали на СЛР манекены в течение сорока минут. “А как долго можно “качать” пострадавшего? — Пока “скорая” не придет”, — Герасимов отключал манекены. “А если она долго не едет? — Тогда до тех пор, пока не решите, что сделали всё возможное. Вы же не сможете поддерживать жизнь в человеке вечно. Поймите, вас никто за это не осудит — вы не врачи и не спасатели, обычные гражданские люди. Вы сделали всё от вас зависящее, и даже больше. Любой суд будет на вашей стороне...”

Получается, не любой. Свой, внутренний суд неумолим.

Артём представлял тогда, что когда-нибудь может оказаться в ситуации: вот пострадавший, он ещё жив, но возможности ему помочь нет, надо принимать решение... Но только не так! Пусть это был бы незнакомый человек, пусть даже знакомый, пусть даже Влад! Но не Света, только не она!

Она не умрёт. Я буду держать столько, сколько надо, я не сдамся...

Он продолжал нависать над расprostёртой супругой в неудобной позе, согнувшись, опираясь выпрямленной рукой в шею, фактически — глаза в глаза.

Постепенно эффект от выброшенного в кровь адреналина стал подходить к концу, сказывалась усталость от переживаний, давала себя знать травма головы. Сознание путалось, в глазах начало смеркаться. Артём, замерев в неудобной позе, как стойкий оловянный солдатик, отключился.

Пришёл в себя рывком, как будто тумблером щёлкнули. Кольнул страх: Света! Неужели он в отключке ослабил нажим, и кровотечение возобновилось? Нет! Слава Богу! Его глаза нашли глаза жены. Света была в сознании и ответила ему спокойным взглядом.

— Извини, малыш, я немного отрубился...

“Всё хорошо, — отвечали её глаза, — я еще здесь”.

Вечерело. Потускневшее солнце клонилось к горизонту, заливая полнеба багровым закатом. Длинные тени протянули вокруг них свои щупальца. Артём поёжился, холодало.

Точно! Запоздалая мысль кольнула в сознание. Лето катилось к закату, и ночи становились холоднее. Света лежала в одном тоненьком термобелье, вся задача которого — отводить пот от тела. И холодная земля вытягивала из её тоненького тела остатки тепла. А под утро выпадет роса...

Внезапно до него дошло, что уже некоторое время Света смотрит на него как-то по-особенному, как будто...

Как будто пытается запомнить!

— Милая, всё будет хорошо!

— Пообещай мне, — Артём даже не сразу понял, кто говорит. Голос жены был еле слышен, — пообещай, что вернёшься к людям и будешь помогать им.

— Ну, что ты, родная, мы вместе вернёмся. Вместе. Ты ещё помогать мне будешь...

Тонкие пальцы легли ему на губы, останавливая слова. Какие же они холодные! Света замерзала.

— Пообещай...

И неотрывно глядя в её глаза, так, что мир сузился до размера этих карих, таких любимых глаз, он отчётливо кивнул:

— Да, любимая. Я вернусь и буду помогать

Обе её руки легли ему на запястье. Света вздохнула, решаясь, и с неожиданной силой оторвала руку, зажимающую рану.

Он отстранённо, как будто всё это происходило не с ним, смотрел на вновь полившуюся кровь. Потом взглядом снова нашёл глаза жены и неотрывно смотрел, как гаснет в них жизнь.

— Ты пообещал... — коснулось его слуха. И глаза Светы погасли навсегда.

## Эпилог

Совсем недалеко от крайних домой городка на старой сосне сидел дятел, старательно простукивая кору дерева в поисках вкусных личинок. Он так увлёкся, что не сразу заметил бредущего внизу человека. Он шёл, пошатываясь из стороны в сторону, неуверенной, заплетающейся походкой. Он был грязен и неопрятен. Лицо и верх тонкой водолазки в каких-то бурых пятнах. На руках он нёс другого, поменьше. Это была девушка, одетая в легкое летнее платье. На руках у большого ей было так удобно, что она задремала, склонив голову на грудь своему спутнику, только длинные светлые волосы сбегали ручьём по руке мужчины и свисали вниз, слегка развеваясь на ходу.

Дятел прервался, настороженно приглядываясь, а потом и вовсе решил отлететь подальше. Он легко снялся с дерева и полетел в поисках другого старого дерева, оставляя за спиной странного незнакомца, и через минуту тот стёрся из птичьей памяти, как будто его и не было.

*В 2020 году исполнилось 640 лет величайшему событию в истории России: в 1380 году соединённые рати Русских княжеств, возглавляемые Великим Московским князем Дмитрием и князем Дмитрием Боброком-Волынским, вышли на Куликово поле...*

*Александр Блок отметил: “Куликовская битва принадлежит... к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их ещё впереди...”*

## АНДРЕЙ ШАЦКОВ



# И НЕ БУДЕТ РОССИИ КОНЦА

## І. РУЗСКИЙ РУБЕЖ /ТРОСТНА/

Над Русью — мгла! Выиграло небо  
Снегов свинцовых пеленой.  
И лето минуло, как небыль,  
И кануло, как в мир иной.

Всё, что завещано веками,  
Незримой брагой бродит тут.  
Леса, покрытые снегами,  
Безмолвно Рузу стерегут.

---

*ШАЦКОВ Андрей Владиславович родился в 1952 году в Москве. Автор двенадцати поэтических книг. Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов. Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ и лауреат многих литературных премий. Главный редактор альманаха “День поэзии — XXI век”. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры и Всероссийской литературной премии “Русский путь” им. Ф. И. Тютчева (Овстуг). Живёт в Москве и Рузе.*

Застыл вдоль речки полк засечный,  
Спиной упёршись в дерева.  
Им путь лежит на облак млечный,  
Но ими выстоит Москва!

И выйдет в поле Куликово,  
Когда придёт заветный час...  
А ныне — крест сожми сурово,  
И встань к своим, где реет Спас...

Ударит смерть стрелой Литвина,  
И выбьет с маху из седла.  
Земля!.. Прими в объятия сына,  
Что Русь для воли родила!

Глаза туманит слёз обузой,  
Но синова омоет взгляд...  
Встают дымы над древней Рюзой,  
И хлопья снежные летят!

## II. ОСЕННЯЯ РОССТАНЬ

*Памяти сына Дмитрия*

И пахла росстань брагою хмельной,  
И старый клён ветрами укачало,  
И бьёт копытом в землю вороной,  
И трензелем позвякивает чалый.

Сентябрь пригож, и так прекрасна Русь  
Сим наступившим в пору бабьим летом,  
Что я никак с тобой не соберусь  
В дорогу, сын,  
                                за нашей славой следом.

Ну, вот и наша сотня, поутру  
Мы встанем с нею около Непрядвы,  
И заполющут стяги на ветру  
Взыскующих единой русской правды!

Под клёкот лебединых верениц  
Святая Мать за воинство заступит.  
И Красный Холм Мамаю ринет ниц  
И в степь отбросит, словно чёрта в ступе!

\* \* \*

Прощай, сынок! Я тайну сберегу,  
Не рассказав, что снилось в дебрях ночи:  
Ковыль дымился кровью на лугу,  
И синь дождя стекала павшим в очи.

Крестом, простёршим руки средь жнивья,  
Застыв навек в молчании суровом...  
Зачем уходят к звёздам сыновья,  
Не одарив отцов прощенья словом?

### III. ЧАБРЕЦ (БОГОРОДИЦКАЯ ТРАВА)

В Богородичный день, утопающий в ласковой сини  
Осенин, облачённых в сентябрьский, кровавый багрец,  
На бескрайних полях, на безмолвных полянах России  
Богородской травой возрастает пахучий чабрец.

Сколько сложено сказок о сём на людскую потребу,  
Как причудлива их златотканая, мудрая вязь...  
Рождество Богородицы — лествица в чистое небо,  
Рождество Богородицы — осени топкая грязь.

А из грязи, хвостатый бунчук на скаку поднимая,  
Смертным мороком явятся тысячи волчьих сердец.  
И падут ковыли в полный рост под пятою Мамаю,  
Но пригнётся к земле, распрямившись, Непрядвы чабрец!

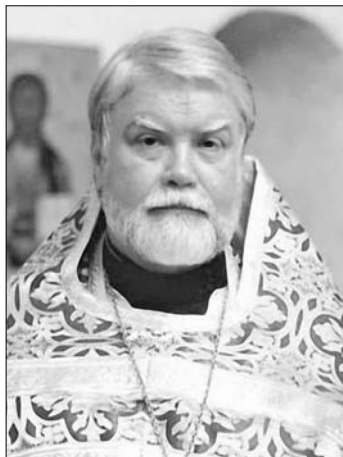
И навстречу врагу, под хоругвью “Ярого ока”,  
В Богородичный день, богородской любимой травой,  
Вылетают засадные вершники князя Боброка,  
Созываются в битву Архангела звонкой трубой!

И усееся поле коростю ратного спора —  
Куликово,  
                    заветное,  
                                    в поросли из чабреца.  
Расточится туман, и заря, словно плат омофора,  
Ниспадёт на траву —  
                                    и не будет России конца!

*г. Руза*

.....  
Уважаемые читатели! В номере 12 за 2020 год на странице 56 заглавие к подборке стихотворений Светланы Пешковой следует читать так: “Я всему ищу живое имя”.

ПРОТОИЕРЕЙ ЯРОСЛАВ ШИПОВ



ТРИ РАССКАЗА

ТРАКТОР

Трактор тоже мобилизовали. Поскольку его родной тракторист ушёл воевать, а в ближайшей воинской части механизаторов не отыскалось, позвали сына тракториста — шестнадцатилетнего Витьку, который с детства таскался за отцом и знал технику.

Фронт был теперь совсем рядом, и деревня оказалась в ближнем тылу. Витька мотался по лесным дорогам, перевоза продовольствие, одежду, шанцевый инструмент. Когда листва облетела и выпал снег, от дневных поездок пришлось отказаться: следы трактора и дым из трубы делали Витьку слишком заметной мишенью. Однажды лётчик его обстрелял, но промазал, а пока самолёт разворачивался для следующей атаки, Витька свернул в старый ельник и заглушил двигатель, чтоб не дымил. Немец, конечно же, определил место и дал ещё одну очередь — трактор завалило перебитыми ветками, но пули до него не дошли.

Витька стал ездить по ночам: с вечера уедет — к утру вернётся. Однажды не вернулся. Валентина пошла за водой, встретила у колодца Витькину мать, а та рыдает:

— Убили, девонька, твоего жениха!

Валентина:

— Где? Кто?

— Ночью бомбы слышала?

---

*ШИПОВ Ярослав Алексеевич родился в 1947 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. С 1979-го по 1981 год работал в журнале "Наш современник". Автор нескольких книг прозы. Член Союза писателей России. С 1991 года — священник. Служил на отдаленных сельских приходах. В настоящее время служит и живёт в Москве.*

- Так это ж далеко, на озёрах...
- Он через озёра по льду и ездил.
- А кто вам рассказал?
- Сердце.

Потом военные объяснили, что немецкий бомбардировщик, летевший на Москву, сбросил бомбы и повернул назад.

Дело в том, что бомбардировщики не возвращаются домой с бомбами: во-первых, у тяжелогружёной машины расход горючего больше — может и не хватить, во-вторых, садиться с полной бомбовой нагрузкой и труднее, и опаснее, а самое главное: если не отбомбился, значит, не выполнил задание. Вот почему в случае какой-либо поломки в воздухе пилоты старались избавиться от бомб. То же происходило, когда не хотелось нарываться на противоздушную оборону. Возможно, именно по этой причине самолёты союзников с таким загадочным остервенением превращали в руины незащищённые немецкие города вроде Дрездена или Магдебурга, не долетая до Берлина. А здесь вот по неизвестным причинам самолёт сбросил бомбовый груз в глухомань, завалив озеро крошечным льдом и обломками древесных стволов.

Поскольку никаких следов тракториста не обнаружилось, его признали пропавшим без вести. Кто-то предположил, что он мог эвакуироваться с беженцами, кто-то считал, что он добавил себе лет и его зачислили в какое-нибудь подразделение, но мать была уверена, что он погиб и лежит на дне озера. Валентина соглашалась с ней, зная, что если бы Витюшка был жив, то непременно сообщил бы о себе.

Спустя многие годы горестное событие это неожиданным образом осветит и согреет жизнь Валентины.

Но сначала надо было отправиться на курсы медсестёр, затем поработать в госпитале неподалёку от дома. Её полюбил раненый солдатик, и сразу после войны она вышла замуж. Валентине повезло, а то ведь к тому времени численность мужчин в стране катастрофически сократилась.

Потом были годы в трудах, скорбях и болезнях. Она родила и вырастила четверых детей, овдовела и тихо доживала свой век в родной деревне. Дети разъехались по городам и весям, впрочем, изредка навещали её, как правило, в ягодную и грибную пору.

Валентина стала забывать сиюминутное, но при этом всё ясней и подробней вспоминались детство и молодость. Она вдруг поняла, что самая яркая, ничем не затенённая радость её протяжённой жизни связана с Витюшкой. Счастливыми были их детские игры, счастливым было его ухаживание в школьные годы. Она пыталась представить, как могло бы сложиться их семейное житие, но кроме соображения насчёт народить побольше детишек ничего не придумывалось.

Омрачало воспоминания только чувство некоей задолженности: Витюшка, числившийся пропавшим без вести, лежал на дне озера — не ответ и не похоронен.

Однажды летом в деревне разместились поисковая группа: они искали самолёт, сбитый над озёрами во время войны. Валентина приняла на постой двух волонтеров и как-то при случае поведала им историю исчезновения юного тракториста, но ребята сказали, что занимаются поиском красноармейцев, а Витюшка таковым не был. Однако утонувший трактор взволновал экспедицию — и волонтеры нашли его. На катере с эхолотом это оказалось делом несложным. А вот самолёт не нашли — вероятно, он упал в болота, и нужно было готовить группу с другим снаряжением, но это уже на следующий год. А пока... пока Валентина стала плакать беспрерывно: вроде ведь и нашли Витюшку, а всё равно: ни ответ, ни похоронить...

Пришла пора гостям собираться. Когда приехали к берегу вытаскивать катер, решили на прощанье сгонять к трактору. Один из постояльцев надел акваланг...

В общем, и отпели Витюшку, и рядом с матерью похоронили. И людей было множество. И никто из них никогда не видал таким счастливым лицом женщины, которая хоронила своего любимого.

## НА РАБОТУ

Со старшим братом идём в ЦИАМ — Центральный институт авиационного моторостроения. Брат — работать, я — на медицинский осмотр перед отправкой в летний лагерь, которые тогда именовались пионерскими. В те времена ещё не было станции метро “Авиамоторная”, и следовало добираться от “Бауманской”. Попутно едут трамваи, но они переполнены так, что не втиснешься. Надо пройти пешком хотя бы несколько остановок, когда трамваи слегка разгрузятся. А пока идём, кто — в ЦИАМ, кто — в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), кто — в НИИ авиационных металлов, кто — в КБ Туполева... Навстречу прямо по проезжей части, но у самого тротуара вальяжно шагает чудной человек в чёрной железнодорожной фуражке, к тулье которой приклеены буквы: “генерал”. Грудь его украшают бумажные медали и ордена, вырезанные, вероятно, из Большой советской энциклопедии. Некоторые приветствуют: “Здравия желаю, товарищ генерал!” — и тогда он снисходительно прикладывает ладонь к фуражке. Это известный на всю округу городской сумасшедший.

К нам присоединяется старший коллега моего брата, он бывал у нас в гостях, и я называю его дядей Сашей. Знаю, что дядя Саша считается “отцом сверхзвуковой лопатки”. Правда, не знаю, какой: для турбины или для компрессора. Дома у меня есть большая лопатка — можно дрова колотить, есть поменьше, есть даже обгорелая от американского самолёта-разведчика U-2, сбитого над Уралом.

Тут начинается дождь, и мы прячемся в какую-то подворотню. Туда же следом за нами ныряет ещё один циамовец — мне говорят, что это Михалыч и что он — фрезеровщик, но не простой, а выдающийся. Оказывается, Михалыча из-за его таланта даже на фронт не послали — всю войну он выполнял разные секретные задания, а рядом с ним постоянно находился охранник. “Даже в уборную сопровождал”, — смеётся Михалыч. Самой кропотливой работой было изготовление воздушных сирен для пикирующих бомбардировщиков Петлякова: требовалось добиться, чтобы вой сирен стал невыносимым.

Дождь затихает, и мы выбираемся из своего укрытия. Тут же несколько человек выходят из ближайшего подъезда, а среди них ещё один коллега. Зовут его непривычно: Гайк Авакович. Я догадываюсь, кто это: брат рассказывал, что фильм “У твоего порога” — как раз о нём и о его зенитке.

В сорок первом году при обороне Москвы не хватало пушек, которые могли бы противостоять немецким танкам. Было принято болезненное решение: снять с противовоздушной обороны несколько зенитных расчётов и разместить их на танкоопасных направлениях. Считалось, что прорыв танков к Москве страшнее бомбардировок, тем более что немецким самолётам, кроме зенитных орудий, противостояла истребительная авиация и аэростатные заграждения. Вот Гайк Авакович Шадунц со своей зениткой и встречал немцев неподалёку от Лобни.

Циамовцы вспоминают, как по выходным всю весну ездили в Лыткарино достраивать свой пионерский лагерь. Выбрав мгновение, я шепнул Гайку Аваковичу, что у меня секретный вопрос. Он остановился, показав рукой, чтобы остальные шли дальше.

Я спросил его:

— А по самолётам так ни разу и не стрельнули?

Он улыбнулся и вздохнул:

— Случалось. И даже удачно. Но, конечно же, не докладывали.

Дождь совсем прекратился, и тротуары снова заполнились людьми, которые спешили на работу. Созданная ими авиация летает и летает.

Но улица, по которой мы тогда шли, со временем опустела.



## ПОСЛЕДНИЙ АРИСТОКРАТ

Он позвонил мне, сказал, что заболел, жена отлучилась по каким-то делам и некому выпулять пойнтера. Я сразу приехал. Мы были знакомы с Олегом Васильевичем Волковым и по литературно-издательским делам, и, главное, по общему увлечению — охоте. Так что почти полувековая разница в возрасте отношениям нашим нисколько не мешала. Олег Васильевич вернулся из вятских лесов с глухариного тока, а я из костромских — с тетеревиного.

Мы сидели на кухне и обсуждали наши поездки. Пёс, поздоровавшись со мной, лёг на законное место под столом, а ворон Карлуша, сидевший в огромной клетке на столе, каркнув для приветствия, продолжил чистить перья. Ворон этот упал в лоджию к Олегу Васильевичу с повреждённым крылом и теперь проходил курс лечения.

Говорю:

— Воспитанные ребята.

— Стараюсь внушать им, что на всё есть свои манеры, — отвечает хозяин, — мне это важное правило с малолетства внушали родители и гувернантка, а потом — Тенишевское училище. Внушали и на французском языке, и на английском, и на немецком... Правило относится не только к собственно этикету, но ко всем сферам жизни вообще: например, ухаживать за барышней — свои манеры, быть охотником — свои... Сидеть в тюрьме — тоже свои... Теперь, к сожалению, представление обо всех этих манерах утрачено.

Разговор смещается к Соловкам, на которых Волков провёл немало времени. Он рассказывает, как служили литургию в лесу на камне, и вместо вина был клюквенный сок, а вместо просфоры — пайка. Я, только начавший воцерковляться, прошу его поточнее повспоминать, в каких местах заключённые хоронили священнослужителей, расстрелянных после получения приказа освободить триста нар для уголовников. Теперь было уже очевидно, что в скором времени Церковь причислит убиенных к лику святых, и следовало бы отыскать их останки. Расстреляли осенью. Они пролежали всю зиму под снегом, а весной, чтобы не случилось эпидемии, стали прикапывать. Олег Васильевич хотел было рассказать что-то ещё, но тут кобель запросился гулять. Спрашиваю:

— Куда вы ходите?

— Не волнуйтесь, — отвечает хозяин, — он сам всё знает, сам всё покажет.

Взял на поводок, пошли. Немного отделились от дома, собака сворачивает к помойке. Я останавливаюсь, говорю: “Ты чего?.. А манеры?” По моим представлениям, столь знатный пёс никак не должен лезть в помойки. Он смотрит на меня удивлённым, невинным взглядом, дескать, мы всегда и пренебреженно посещаем это знатное место. “Ну, коли так, — говорю, — тогда ладно”. Обнюхал мусорные ящики, и пошли дальше. “Куда теперь?” — спрашиваю. Оказалось — к следующей помойке. И снова этот убедительно честный взгляд. А потом ещё к одной и ещё, и ещё... Мы тогда с неизменяемой щепетильностью исследовали все мусорные баки между проспектом Мира и больницей имени Склифосовского.

Вернулись, хозяин распрощался, я отчитался. Олег Васильевич сказал пойнттеру:

— Да как же тебе не стыдно! Разве можно лукавить? Лукавство, знаешь, от кого?.. Не знаешь?.. От лукавого!

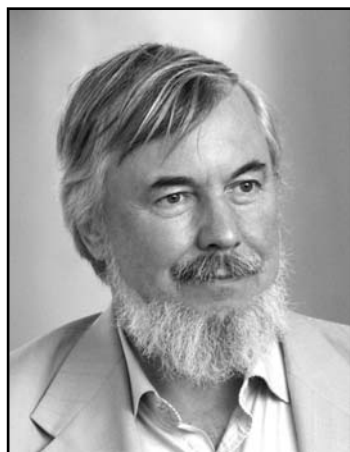
Пёс быстро убрался под стол, а ворон, радуясь этой выволочке, так раскаркался, что хозяин вынужден был строго осадить его:

— Карлуша!.. Злорадство — уж очень пошлый грех — тебе не к лицу...

Ворон мгновенно умолк и, как ни в чём не бывало, продолжил зачистку перьев.

Когда я уходил, пойнтер вылез из-под стола и виновато ткнулся мне в колено, а Карлуша попрощался каким-то невероятно нежным горловым скрежетом.

— Так-то лучше, — оценил их поведение Олег Васильевич. — Сколько вам повторять: на всё есть свои манеры.



## СКОРБИМ И ПОМНИМ

Письма в конвертах, письма электронные, правительственные телеграммы, телефонные звонки непрерывным потоком шли и до сих пор идут в редакцию журнала. Нам выражают сочувствие известные политики, общественные деятели, люди науки.

Сотрудников журнала и семью Александра Ивановича утешают творческие организации писателей России, коллективы библиотек и журналов.

Слова соболезнования дошли до нас из Белоруссии из Казахстана...

Но более всего откликов на смерть Александра Ивановича мы получили от писателей, поэтов, прозаиков, критиков, с которыми он встречался в городах и весях нашей необъятной родины. Предоставляем им слово прощанья.

### I

#### **ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА**

8.12.2020. ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА "НАШ СОВРЕМЕННОК"  
С Ю КУНЯЕВУ=

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ ВАШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПУБЛИЦИСТА ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КАЗИНЦЕВА

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПРИМЕР ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЕГО САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД КРОПОТЛИВАЯ ЧЕСТНАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ РАБОТА С РУКОПИСЯМИ АВТОРОВ ТАЛАНТ КРИТИКА И НАСТАВНИКА ВСЁ ЭТО ПОЗВОЛИЛО НАМ ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ЯРКИЕ ИМЕНА СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ И ГОРДИТЬСЯ СОХРАНЁННЫМИ ТРАДИЦИЯМИ РУССКОЙ КЛАССИКИ. СКОРБИМ ВМЕСТЕ С РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КАЗИНЦЕВА ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ=РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"  
С М МИРОНОВ

## ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА НАШ СОВРЕМЕННОК С Ю КУНЯЕВУ=

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ВСКЛ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ВСКЛ

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КАЗИНЦЕВА С ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОЙ СКОРБИ И БОЛИ Я ПРИНЯЛ ЭТО ГОРЬКОЕ ИЗВЕСТИЕ

ИЗ ЖИЗНИ УШЁЛ ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ГОРЯЧО И ПРЕДАННО СЛУЖИВШИЙ ЕЙ РОССИЙСКИЙ ПУБЛИЦИСТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК ЖУРНАЛИСТ И ПОЭТ БОЛЬШОЙ ПОДВИЖНИК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВСЕ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОНИЗАНЫ ПАТРИОТИЗМОМ И ИСКРЕННЕЙ ЗАБОТОЙ О СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ

СОРОК ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОН ОТДАЛ РОДНОМУ ЖУРНАЛУ НАШ СОВРЕМЕННОК ТРИДЦАТЬ ИЗ КОТОРЫХ ОН ЯВЛЯЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Я ЗНАЛ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ НАС С НИМ СВЯЗЫВАЛО НЕ ТОЛЬКО МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА НО И ТЁПЛЫЕ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БЫЛ БЕССМЕННЫМ ЧЛЕНОМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ ВНЁС ПОИСТИНЕ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В ЕГО РАЗВИТИЕ В 2008 ГОДУ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОХОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВРУЧЕНИЕМ ЕМУ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК НАДЁЖНЫЙ ДРУГ ТАКИМ ОСТАНЕТСЯ В МОЁМ СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

ЕГО УХОД ИЗ ЖИЗНИ ЭТО НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ ВЫРАЖАЮ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ВСЕМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ С ЭТОЙ ТЯЖЁЛОЙ УТРАТОЙ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВИЧЕ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ = Н И РЫЖКОВ СЕНАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ

### **Дорогая Нина Алексеевна, уважаемые друзья и коллеги Александра Ивановича!**

Позвольте выразить вам искренние соболезнования в связи с неожиданной и безвременной кончиной Александра Ивановича Казинцева – замечательного литератора, поэта, публициста, воспитателя талантливых писателей и поэтов, прекрасного человека. Из жизни ушёл православный, добрый, мудрый человек, истинный патриот своей Родины, всю свою жизнь горячо и преданно служивший ей.

Профессионализм и целеустремлённость, колоссальная эрудиция, работоспособность и самоотдача Александра Ивановича вызывают глубокое уважение и усиливают потрясение от тяжелейшей утраты.

Александр Иванович был настоящим энтузиастом, просветителем и подвижником. Многогранная востребованная деятельность, весомый личный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, литературного, духовного наследия снискали ему высокий общественный авторитет и признание.

Добрая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и друзей, коллег и учеников, многочисленных почитателей его творчества.

Родным и близким выражают свои глубокие и искренние соболезнования все соратники, друзья Александра Ивановича и читатели “Нашего современника” на Белгородчине. Стойкости и самообладания вам в эти скорбные дни.

С уважением – руководитель представительства  
Белгородской области  
при правительстве РФ  
**А. Г. Мацелуро**

\* \* \*

Уважаемый Станислав Юрьевич!

С тяжёлым чувством узнали о смерти писателя, поэта, нашего коллеги и друга Александра Ивановича Казинцева. Выражаем Вам и семье покойного наши соболезнования. Наше сотрудничество всегда было на уровне дружеских отношений, полного взаимопонимания и любви молодых писателей к Александру Ивановичу. Это большая потеря для русской литературы, для журнала “Наш современник”, для нашей с Вами программы “Молодые писатели”. В этой работе у него проявился особый талант поиска талантливых писателей, которых он выводил в большую литературу. Нам всем будет очень его не хватать.

Уважаемый Станислав Юрьевич! Надеемся на продолжение нашей совместной работы в том же русле, как это было в течение последних двадцати лет.

С уважением,  
Председатель Союза писателей Москвы  
Президент Фонда СЭИП  
**Филатов С. А.**

\* \* \*

Всему коллективу редакции журнала.

С чувством боли узнал о кончине Александра Ивановича Казинцева, большого писателя, публициста, философа, организатора журнального дела. Несколько десятилетий он сохранял свечу русской литературы, русский дух нашей поэзии, прозы, литературной критики от ядовитых ветров торгашества, холопства, лжи. Вам, да и всем читателям и почитателям журнала будет очень трудно без Казинцева, его твёрдой, но деликатной редакторской руки, без его человеческого обаяния. Держитесь!

Передайте мои искренние соболезнования семье Александра Ивановича.

Академик РАН  
**А. М. Васильев**

\* \* \*

9 декабря взял в руки газету “Завтра”. На первой странице – портрет Александра Ивановича Казинцева и сообщение о его кончине. Оцепенел: этого не может быть, не верю. Вспомнилось: ведь виделись мы с ним не так и давно – в конце октября. Я принёс в журнал “Наш современник” большой материал – 60 страниц, под названием “Феномен нашего времени” – публицистическую статью. Он пролистал её, сказал: “Многовато, сократить надо. Опубликуем в двенадцатом номере или в первом в новом году”. Я говорю: “А не побоитесь, здесь же обоснованная критика власти, в том числе и президента, да к тому же деятельности Зюганова, а вы ведь были когда-то его доверенным лицом?” Ответил коротко: “Не побоюсь. Страна движется неизвестно куда, бояться – преступно”.

А я не могу даже представить, как приду в редакцию журнала “Наш современник”, а вас там нет. Грешен, из всего, что написано вами, читал только публицистику. Утешаю себя: но она ведь и есть самое главное в вашем творчестве, в вашей борьбе, а проще сказать – это и мои идеи.

Я намного старше вас, Александр Иванович, но могу сказать, что, не уйдя вы от нас так неожиданно, я с вашей помощью мог бы сделать ещё много хорошего в литературе. Прощай, друг, пусть земля тебе будет пухом, а мы, оставшиеся жить, будем помнить тебя, твой бойцовский характер, твою улыбку, твоё литературное наследство.

**Н. Л. Пирогов**  
доктор экономических наук, профессор

## II

Дорогие друзья, соратники!

Нет слов, чтобы выразить глубину скорби в связи с кончиной Александра Ивановича Казинцева.

Выдающийся подвижник Русского Дела, талантливый публицист, мыслитель, собиратель лучших русских людей под знамя главного нашего редута – журнала “Наш современник”, – он навсегда останется примером мужественного служения нашему народу. Вечная ему память!

Есть что-то очень грозное в нарастающих потерях Русской Силы. В. Н. Осипов, в Питере – И. Я. Фроянов, ратоборец Православия В. П. Филимонов. Високосный год косит беспощадно. Остаётся держать оборону на немногих островках Русской земли всем ополченцам, кто ещё жив и пока есть силы.

Профессор **О. Г. Каратаев**, профессор **С. В. Лебедев**,  
профессор (б. депутат Госдумы) **Ю. П. Савельев**,  
художник **А. Л. Набатов**,  
**М. Н. Любомудров**  
г. Санкт-Петербург

\* \* \*

Уважаемая редакция журнала “Наш современник”! Примите наши сопереживания в связи с уходом из жизни первого заместителя главного редактора Казинцева Александра Ивановича. Публицист Александр Иванович Казинцев, прежде всего, автор, с которым хотелось советоваться, сверять свои мысли и учиться пониманию русской литературы. Александр Иванович для библиотечарей был навигатором в книжном море России.

Мы, читатели уважаемого журнала “Наш современник”, библиотекари Мемориальной библиотеки В. М. Шукшина, понесли тяжёлую утрату и скорбим вместе с вами.

С уважением **Т. Кеврух**  
и библиотека В. М. Шукшина  
с. Сростки

\* \* \*

С болью в сердце о России, её судьбе и людях, в ней живущих, писал, жил и ушёл Человек, Патриот, Мастер слова и дела Александр Иванович Казинцев.

Утрата надолго останется невосполнимой, ощутимой для всего литературного сообщества России и особенно для журнала “Наш современник”, которому Александр Иванович отдал бóльшую часть своей жизни.

“Наш современник” – главный и лучший журнал нашего времени, самый значимый и читаемый, и в этом немалая заслуга Александра Ивановича Казинцева.

Члены литературного объединения “Земляки”,  
авторы и читатели альманаха Бийского района Алтай-  
ского края. **От имени и по поручению редакции**  
**журнала “Земляки”** и по велению своей души –  
**Галина Ульянова**, бывший старший научный сотруд-  
ник ВММЗ В. М. Шукшина в Сростках, лауреат Первой  
премии Всероссийского историко-литературного кон-  
курса “Александр Невский” 2009 года  
Сростки–Бийск

\* \* \*

Дорогие друзья!

С горечью прочитал скорбные строки о кончине Александра Ивановича Казинцева. Прошу передать семье покойного мои искренние соболезнования и примите моё сочувствие по поводу утраты замечательного литератора и прощательного, взыскательного редактора.

Кончина А. И. Казинцева – невосполнимая утрата для русского литературного процесса, да и русской мысли в целом во всех её проявлениях.

**А. С. Белоненко,**  
директор Свиридовского института,  
кандидат искусствоведения,  
заслуженный деятель искусств России,  
лауреат премии мэра Санкт-Петербурга

\* \* \*

Дорогой Станислав Юрьевич!

Позвольте от имени редколлегии журнала “Новая Немига литературная” и от себя лично выразить свои глубочайшие соболезнования по поводу безвременной кончины первого заместителя главного редактора лучшего в России литературно-художественного журнала “Наш современник”, выдающегося публициста и критика, самобытного русского поэта Александра Ивановича Казинцева, кончина которого глубокой болью отозвалась в сердцах всех литераторов Беларуси, которым доводилось за эти годы встречаться с этим уникальнейшим человеком. Александр Иванович был настоящим другом Беларуси, во многом благодаря его стараниям постоянно укреплялось творческое сотрудничество между редакциями “Нашего современника” и “Новой Немиги литературной”. Александр Иванович часто рекомендовал нашей редакции произведения молодых российских прозаиков и поэтов, сочувственно относился к творчеству наших талантливых авторов.

Очень горжусь многолетней творческой и человеческой дружбой с этим человеком, писателем от Бога и мыслителем высочайшего уровня. Понимаю, что заменить его в редакции “Нашего современника” будет очень и очень трудно... Держитесь, дорогие друзья и коллеги. Мои глубочайшие соболезнования Нине Алексеевне – супруге Александра Ивановича Казинцева. Склоняю голову перед памятью этого человека! Дело нашей чести – достойно продолжать дело, которому он посвятил жизнь!

**Анатолий Аврутин,**  
главный редактор журнала  
“Новая Немига литературная”

\* \* \*

Дорогой Станислав Юрьевич!

С глубочайшим прискорбием узнали, что не стало дорогого для нас Александра Ивановича Казинцева. Трудно поверить, невозможно согласиться с утратой этого талантливого писателя, замечательного человека, настоящего гражданина и патриота, большого друга Беларуси и активного сторонника нашего единения...

Искренне соболезнуем редакции журнала “Наш современник”, родным и близким Александра Ивановича. Скорбим вместе с вами, ибо потеряли поистине незаменимого друга и товарища. Будем всегда помнить его – широко эрудированного, интеллектуального, яркого, искреннего писателя и человека.

С уважением –  
председатель Минского городского отделения  
Союза писателей Беларуси  
**Михаил Поздняков**

\* \* \*

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Вологодская писательская организация выражает искреннее соболезнование в связи со смертью первого заместителя главного редактора журнала “Наш современник”, публициста Казинцева Александра Ивановича. Он с радостью откликнулся на наши приглашения и приезжал на литературные встречи в Вологду, Тотьму, Тимонику... Совсем недавно был в Белозерске, на родине бывшего редактора журнала “Наш современник” Сергея Васильевича Викулова, на открытии музея журнала. Будем помнить Александра Ивановича как яркого русского публициста, много потрудившегося в главном литературно-художественном и общественно-политическом журнале России.

**Писатели-вологжане**

\* \* \*

Уважаемый Станислав Юрьевич, друзья! Иркутское отделение Союза писателей России выражает глубокое соболезнование и скорбит о безвременной кончине замечательного человека, блестящего литературного критика, публициста, философа и знатока русского слова Александра Ивановича Казинцева. Мы всегда будем помнить и чтить его духовное наследие.

**Юрий Баранов, Владимир Скиф, Анатолий Байбородин**

\* \* \*

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА “НАШ СОВРЕМЕННОК”

С. Ю. КУНЯЕВУ

Париж, 8 декабря 2020

Уважаемый Станислав Юрьевич!

С болью и горечью узнали о внезапном уходе Александра Ивановича Казинцева, подвижника русской литературы, чудесного поэта, блестящего критика и публициста, первого заместителя главного редактора “Нашего современника”, ведущего направление работы с молодыми писателями.

Его новых открытий из числа юных талантов, на которых у Александра Ивановича было особое чутьё и о которых он без устали и по-отечески заботился, его профессиональных советов и честных суждений, которые очень помогали в работе, его добрых и верных слов нам будет очень не хватать.

Мы навсегда останемся благодарны Александру Ивановичу за содействие в организации участия Андрея Антипина в Днях русской книги в феврале этого года, представления французскому читателю творчества Елены Тулушевой, Андрея Тимофеева, Юрия Лунина и других ярких прозаиков из поколения тридцатилетних.

Примите, пожалуйста, искренние и глубокие соболезнования, уважаемый Станислав Юрьевич, в связи с нашей общей тяжёлой потерей. Разрешите передать слова поддержки и соболезнования всему коллективу легендарного журнала, супруге Александра Ивановича Нине Алексеевне Казинцевой, его родным и близким от Российского центра науки и культуры в Париже и меня лично.

Руководитель Представительства  
Россотрудничества во Франции

**К. Волков**

Париж

### III

## ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

*Памяти Александра Казинцева*

*Даже с болью неизбывной говорю без осужденья:  
траурных хлопот команда, словно стая воронья,  
налетела с шумом, с криком на худое сообщенье,  
от которого забилась*

*в плаче*

*русская земля.*

*Умер человек большого пониманья слов глубоких.  
Сколько храмов просвещенья он с душой воздвиг из них!  
И теперь в палатах света, чести, совести для многих  
он пребудет среди самых*

*восхитительно*

*живых.*

\* \* \*

Станислав Юрьевич, редакция “Нашего современника”!

Примите глубокие соболезнования по поводу безвременного и внезапно-го ухода из жизни Александра Ивановича Казинцева! Огромная потеря для журнала, читателей, огромная потеря для русской публицистики!

Его дотошный и обжигающий “Дневник современника” вёл читателя сквозь самые тяжкие десятилетия постсоветской России, помогал осмысливать происходящее, предостерегая от неверных шагов в новой реальности. Острое чувство долга перед будущим привело его к работе с молодыми литераторами, которым он помогал становиться на крыло, не жалея ни сил, ни времени. Светлого разума и отзывчивой души человек – таким запомнится Александр Иванович всем тем, кто его знал. Пусть земля ему будет пухом!

**Валентина Семёнова**

Иркутск

\* \* \*

Дорогой Станислав Юрьевич, друзья! Выражаю самые глубокие соболезнования в связи со скоропостижной и непостижимой кончиной Александра Ивановича Казинцева. Журнал “Наш современник”, русская публицистика и журналистика понесли невосполнимую утрату. Скорблю вместе со всеми вами!

С уважением,

**Андрей Воронцов**

\* \* \*

Скорблю вместе с сотрудниками, авторами, читателями “Нашего современника”, вместе со всеми русскими людьми... Это невосполнимая потеря. Буду помнить его приветливым, улыбчивым, добрым человеком, мудрым и сильным воином. Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшагося раба Твоего и брата нашего Александра, прости ему согрешения вольные и невольные и введи его в Царствие небесное...

**Василий Козлов**

Иркутск



\* \* \*

Уважаемый Станислав Юрьевич! Высылаю стихотворение, посвящённое Александру Ивановичу Казинцеву.

### ЛЁТКА

*Памяти Александра Казинцева*

*Пересчитаю голубей,  
Застывших на декабрьской лётке,  
И ужаснусь, что нет на ней  
Его следов, его походки.*

*Глаза опухли у друзей,  
А он уже в дороге к раю.  
Каких красивых голубей  
Я на земле сейчас теряю?!*

*У них особенная стать,  
У них и взгляд на всё иначе,  
Но им над лёткою не встать  
Во всей любви своей горячей.*

*Как мало мне осталось их!  
Я в жизни больше не увижу  
Красивых голубей своих,  
Ушедших на другую крышу.*

Заслуженный работник культуры РФ,  
лауреат Государственной премии России,  
секретарь Правления Союза писателей России  
**Владимир Силкин**

### РУССКИЙ ДО МОЗГА КОСТЕЙ

... Мне посчастливилось не раз общаться с Александром Ивановичем как в стенах редакции "НС", в его маленьком, заваленном рукописями кабинете, так и в совместных творческих командировках по городам и весям страны.

Когда группа московских литераторов приехала на Кубань на научную конференцию, посвящённую памяти В. В. Кожина, студенты и преподаватели Армавирского педагогического университета буквально толпой шли посмотреть на А. И. Казинцева, послушать его выступление.

Необычайно доброжелательный, уравновешенный даже в жарких полемических "битвах", всегда с тёплой, умной улыбкой на устах, он без преувеличения очаровывал публику своим ровным, мягким, негромким голосом.

Я никогда не видел его раздражённым, чем-то недовольным, тем более нелюдимым или бесконечно унылым. "Уныние Богу противно!" – часто приходилось от него слышать. И он неизменно следовал этому жизнелюбивому православному завету.

Даже в пылу горячих, бескомпромиссных споров со злостными оппонентами Александр Иванович сохранял удивительное самообладание, хладнокровие, не поддаваясь на провокационные выпады недругов. Но и умел держать крепкие удары, давать сдачи, отвечать так жёстко, хлёстко и убедительно, что одолеть его было просто невозможно.

А сколько молодых, начинающих литераторам он дал путёвку в трудный, суровый и прекрасный мир литературы! Через руки чрезвычайно благожелательного и вместе с тем требовательного критика прошли сотни и тысячи рукописей, которые отнимали у него массу драгоценного времени. Но Александр Иванович понимал: надо, не жалея сил, растить молодую творческую поросль, ведь ей придётся продолжать и утверждать благородное дело русской изящной словесности в будущем, в необычайно трудных жизненных условиях...

...Уверен, придёт час, и кто-то из единомышленников напишет глубокое, проникновенное исследование о жизни и творчестве А. И. Казинцева, который и своим нравственным поведением, и ярким творчеством покорял сердца современников, являя образец ни “левого”, ни “правого”, а именно Русского православного Человека до мозга костей.

**Владимир Юдин**, писатель  
г. Тверь

\* \* \*

Ах, Александр Иванович, Александр Иванович...  
Что же вы так рано нас покинули... И внезапно...  
Мы ошарашены были, оглушены этим известием, прозвучавшим перед самым открытием сегодняшнего писательского пленума.  
Встали на одном дыхании, чтобы почтить вашу память...  
Перекрестились... Кто-то заплакал...  
Русская литература в вашем лице потеряла горячего публициста, патриота, государственника, мудрого тонкого критика, не по диагонали читающего русскую литературу. Потеряла умного наставника молодых, к которому они тянулись и к мнению которого прислушивались с особым вниманием.  
Потеряла поэта, написавшего немного, но писавшего душой.  
Потеряла... потеряла... потеряла – много ещё чего потеряла русская литература вместе с вашим уходом в иные – поднебесные – ипостаси.  
Мы остались без вас, без вашей широкой доброжелательной улыбки, без вашего острого критического пера, без вашего умного соучастия во многих литературных проектах.  
Скорбим... И будем помнить...

**Валентина Ерофеева**  
“День литературы”

\* \* \*

Казинцев был верным рыцарем поэзии: мастером глагола, не допускающим ни технических сбивов, ни эстетических погрешностей.

*Сколько тут домов снесли  
под один замах,  
лишь проплешины земли —  
память о домах.  
Взялся поздний снегопад  
выбелить дотла  
пустоту, где год назад  
жизнь своя текла.*

И боль, проходившая часто красной нитью по руслам строк, была подлинной, корневой, но и соединённой с силою веры: так есть, но в грядущем должно измениться нечто, потому что не может всё время царить пустота, не может темень считаться светом...

Он поднимал к небу наполненные прекрасным содержанием чаши стихов, и они лучились драгоценно на солнце духа...

...Смерть поэта – понятие условное: расшифровавший душу свою в стихах, остаётся в них сильным и смелым, ярким и грустным, добрым и трепетным...

**Александр Балтин**

\* \* \*

В 2007 году я написал стихотворение “Напевный звук” и посвятил его Казинцеву. Если будет возможность, опубликуйте, пожалуйста, это стихотворение. Пусть оно станет моей скорбящей памятью об Александре Ивановиче – ярком и неповторимом русском поэте и страстном публицисте, которого я знал и с которым был в дружеских и творческих отношениях не один десяток лет.

## НАПЕВНЫЙ ЗВУК

*...Вот-вот рассвет сквозь мглу пробьётся,  
И распахнётся небосвод.  
И лёд, как склянка, разобьётся,  
И воды вырвутся вперёд.  
Жизнь как бы заново начнётся.  
Стрижи заложат виражи...  
Внутри вдруг что-то оборвётся,  
И я пойму: порыв души!*

*И мне, смятенному, неймётся,  
В глубинку рвусь я, где придётся  
Пахать, косить, колоть дрова,  
Таскать водицу из колодца...  
Лукавый критик ухмыльнётся:  
“Здесь стихотворцу достаётся  
Набор из рифм: “Трава — дрова”.*

*Ты, критик, прав, но лишь отчасти...  
Ужель всерьёз приму за счастье  
Литературные труды,  
Прияв Небесное причастье  
От солнца, ветра и воды?*

*Светило! Тень земли оттисни  
На облаке, где Дух мой виснет,  
Явив земле Напевный звук,  
Чтоб поукрепи скрепы жизни,  
А чувство личное к Отчизне  
Не угнетало... как недуг.*

**Геннадий Морозов**

г. Касимов Рязанской обл.

\* \* \*

*Приют певца угрюм и тесен,  
И на устах его печать.*

М. Лермонтов

Четырнадцатого декабря 2020 года, пообщавшись со Станиславом Юрьевичем, узнал прискорбную весть, что уже три дня как схоронили **Александра Ивановича Казинцева!** Не вмещается в сознание! Трудно восприятие...

**Это потеря! Потеря не только для семьи! Это потеря для журнала, для литературы, потеря для общества соотечественников!**

Этот человек мог всегда оценить состояние собеседника, найти общий язык и прояснить не поддающееся скорому пониманию. Всегда был уравновешен в своих понятиях.

**Александр Иванович покинул тот путь, по которому шёл и творил! На его путь никому не взойти – он опустел!**

Мы уже не сможем услышать его мнения о происходящем.

На его пути никто его не заменит. Он шёл по нему, исполняя порученное. Ведь у каждого человека свой путь.

Нам всем остаётся только одно – скорбь о преждевременном уходе из жизни земной человека, который был дорог всем, кто знал и ценил его. Он тратил своё жизненное время на сохранение человеческих ценностей, так обесценивающихся в текущем времени.

*Будут те же дома, те же люди,  
Будут заснеженным днём.  
Александра лишь с нами не будет —  
Будет светлая память о нём.*

Поэт **Алексей Шерник**  
Казахстан

## “ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ЛЮДИ — И СТИХИ...”

*Памяти Александра Ивановича Казинцева*

Утром седьмого декабря, как только пришло неожиданное и страшное известие о смерти Александра Ивановича Казинцева, социальные сети наполнились множеством личных записей, в которых были боль, растерянность, благодарность. Причём писали в основном люди молодые. И все в один голос говорили о нём как о своём учителе.

О новом поколении в литературе Александр Иванович начал говорить задолго до появления “новых традиционалистов”. Помню его небольшую заметку в “Дне литературы” в 2014 году, в которой он уже называл конкретные имена молодых авторов поколения, которые тогда ещё были “двадцатилетними”. Молодые стали его последним большим проектом. Он лично приглашал интересных авторов, редактировал “молодёжные” номера “Нашего современника”. По крупицам создавал и скреплял поколение в единое целое.

А мы принимали его внимание и заботу как должное, не понимая до конца, какой труд стоит за его деятельностью. И сколько веры в молодость нужно, чтобы серьёзно рассматривать наши первые неловкие шаги, угадывать в них что-то талантливое, развивать это, редактируя рукописи, исправляя ошибки, поддерживая. Мы ценили его недостаточно — как не можешь оценить явление, находясь с ним “лицом к лицу”, как не можешь до конца оценить родителей, пока они рядом. Возможность показать любую новую вещь, позвонить по любому поводу, найти понимание и поддержку. Услышать мнение человека, понимающего и тонко чувствующего литературу. Мы привыкли к нему, как привыкаешь к родному дому. А он ушёл, и осталась пустота сиротства.

Он часто критиковал, но делал это, ласково улыбаясь, как будто говоря: ничего, ничего, скоро и сами поймёте. И действительно, время проходило, и оказывалось, что он был во всём прав.

Думаю, нам ещё предстоит осмыслить Александра Казинцева уже не только как человека, но и как крупную фигуру в русской литературе XX–XXI века. Перечитать его статьи и стихи, ещё раз оценить его роль в русском движении, его подвижнический труд на благо литературы, его влияние на творчество и на судьбы многих писателей, которые сейчас застыли в молчании и горе.

Пока же перед нами, как наяву, его тёплый взгляд и добрая улыбка. Пока же произносятся первые слова о нём. Эти слова его учеников и молодых коллег мы и предлагаем читателям.

**Андрей ТИМОФЕЕВ, прозаик, критик,  
руководитель Совета молодых литераторов  
Союза писателей России**

## Елена ТУЛУШЕВА, прозаик (Москва)

Читаю некрологи, новостные колонки — всё как будто слишком сухо, официально, пусто. Наверное, так полагается: перечисления, достижения, идеолог, борец... Не то. А залезаешь в личные посты в социальных сетях — там, словно на рынке, у кого ярче воспоминание, у кого интереснее: “а мне он...”, “а я с ним...”, “а для меня он...”, “а мой рассказ он...” И пульсирующее раздражение накачивает: почему, зачем они всё про него только через себя? Что это за ярмарка достижений? И только пролистывая в голове трогательные воспоминания совместных встреч, поездок, разговоров, постепенно осознаёшь — ведь он и правда был весь в этой постоянной неуёмной деятельности для кого-то, в этом стремлении успеть помочь... талантливым и ярким, тихим и забытым, старым друзьям или просто порядочным, но едва знакомым людям. И, конечно, помочь молодым и начинающим.

Таких ведь можно по пальцам перечесть — тех из старших, кто улыбается нам искренне, кто болеет за молодую литературу, кто ищет, приводит, публикует, помогает, спорит, ругает и всё-таки снова потом улыбается. Мало таких, кому не жалко места для новых в этом крохотном мире современной русской литературы.

Александр Иванович постоянно ездил по России не только с важными “взрослыми” писательскими делегациями, но и на бесконечные, любых масштабов (будь то русско-китайский или белорусский форум, всероссийские “Липки” или кулуарные уютные “Некрасовские”) молодёжные семинары. Он говорил, что молодёжь заряжает его азартом, энергией, даёт силы. Конечно же, и отнимали мы сил немало — спорящие, горячие, воинствующие, мнящие себя особенными, новыми и непохожими. Он любил наблюдать, когда мы дискутировали, искали аргументы, анализировали. А сам всегда начинал своё критическое выступление словами “Хорошие мои...”. Дальше могло быть что угодно: и доброе, и оценочное, и совсем обезнадёживающее для начинающего автора какой-нибудь саги про вампиров, но всегда очень человеческое обращение к самому автору. В разгар своей речи Александр Иванович мог говорить очень громко, вспыхивал, возмущался, призывал, а потом снова затихал, голос становился мягче, улыбка возвращалась и завершала это послание.

Он умел общаться с людьми абсолютно разного ранга и возраста. Библиотекари и депутаты, генералы и дипломаты, учёные и министры, молодые и те, кому чуть-чуть остаётся до столетия. Александр Иванович признавался, что не умеет общаться только с детьми, поскольку у него нет с ними общих интересов: “Вот когда вырастут и что-то напишут, тогда и поговорим”. При этом всегда внимательный, он помнил имена детей своих знакомых, в письме или в телефонном разговоре передавал “поклон”, а при наших встречах всегда имел припасённую шоколадку для моей дочери. Этим тревожным летом 2020-го я приехала к Александру Ивановичу в редакцию с дочкой. Она со своей детской непосредственностью и открытостью решила тоже что-то подарить в благодарность за все сладости, собрала букетик из клевера, довезла, как ни странно, не растеребив по дороге. Протягивает свой дар, а Александр Иванович вдруг просиял, застеснялся как будто: “Это что, мне?” Вставил в петлицу пиджака, гордо распрямился. Тут уже моя шестилетка расцвела: “Вы так и будете весь день ходить с моим подарком?” И пока он показывал ей сквер на Цветном бульваре, она всё поглядывала, проверяла, а он, не стесняясь, так и шёл с её букетиком на пиджаке. Видела она его всего раза три в жизни, но запомнила очень улыбчивым и приятным.

Удивительно деятельным Александр Иванович был, как будто жил в другом временном ритме. Он не пользовался современными гаджетами, носил телефон, кажется, лишь для того, чтобы в перерыве между встречами или обсуждениями текстов набрать номер своей дорогой супруги, где бы он ни находился, чем бы ни был занят: “Как ты, моя родная?”

Всё остальное он помнил без телефонов и планшетов, отлично удерживая в голове десяток дел, сроки, встречи, обязательства по текстам. Отвечая на звонок городского телефона в редакции, с первых слов собеседника выуживал из памяти детали общих поездок и шуток, отчества и должности, имена жён, чтобы передать привет, названия книг, статей, изданий... Нашему по-

колению, создающему вокруг себя иллюзию сотни дел, подразумевающему под этим просто переписку в десятках чатов ежедневно, нам, наверное, столько вживую переделать будет не под силу, а уж перечитывать столько текстов каждый день...

Стол Александра Ивановича в редакции журнала – это был фактически отдельный кабинет в кабинете: кипы и кипы рукописей, башни из книг, листов и крохотных листочков. Бывало, придёшь, а у него как будто всё подготовлено: вытаскивает осторожно, чтобы не свалить всю стопку, сборник – вот здесь прекрасный рассказ Убогого, посмотрите, как он описывает уход человека, а вот здесь – выуживает предпоследний номер журнала “Берега” – вот здесь я отметил отличную подборку стихов, не читали ещё? И в этом хаосе рабочего стола у всего было своё место, своя роль у каждой записки.

Покойный ректор Литературного института Сергей Николаевич Есин на шанхайском форуме молодых писателей рассказывал, что прочитывает все литературные толстые журналы и литературные газеты ежемесячно, призывая нас делать, как минимум, столько же, чтобы хотя бы просто ориентироваться в литературном процессе. У Александра Ивановича, помимо этой задачи, были ещё и бесконечные тексты, присланные в редакцию, и вереницы рукописей молодых писателей для очередного семинара. И ведь честно читал нас! Ему искренне хотелось найти этих новых, ещё не известных, научить, продвигнуть, опубликовать.

Сотни откликов в интернете, сотни слов благодарности – так много он делал, успевал. При этом внешне неторопливый, спокойный. Как сказал белорусский поэт Анатолий Аврутин: “Как будто скала в море: вокруг него бурлит всё, пенится, а он всё равно стоит крепко, ничем не сломишь”. Мягкая походка, певучая размеренная речь, никаких жёстких линий или стрелок в одежде: шерстяные свитера, бежево-коричневая тёплая цветовая гамма, редкость жестов, разве что его фирменный наклон головы, когда слушал, да ироничная, но светлая улыбка – почти всегда. Никогда нельзя было по этой улыбке точно догадаться, что он сейчас скажет.

“Для меня самое главное – успеть сесть в поезд, я всё время мешкаю перед выходом и опаздываю. А уж как в вагон запрыгну, то дальше мне всё равно – отдаю всю ответственность машинисту, куда он там нас повезёт”. Он и сам был таким поездом для молодой литературы – найти новые имена, собрать их вместе в одном номере, перезнакомить, повести вперёд: к публикациям, к дружбе, к работе на года...

Работать он умел много, призывая и нас к тому же, поторапливая, подталкивая где-то. Когда мы познакомились, я была на первых месяцах беременности. После первой публикации Александр Иванович, окинув меня взглядом, очень серьёзно сказал: “Лена, я вам скидку на материнство не дам. Надо писать, надо обязательно писать, нельзя сейчас останавливаться, вы только начали”. Мне тогда смешной показалась такая серьёзность, отмахнулась, что, мол, и не планирую бросать, уж придумаю что-то, а оказалось, тяжело было не провалиться в эту рутину, однообразие, находить ещё время на такое отдалённое и абстрактное дело, как литература. Он действительно скидок не давал, несмотря на жалобы на недосып, писание урывками, пока качаешь коляску одной ногой, на то, что мир сузился до бытового, простейшего и раздражающего.

Шлешь, бывало, рассказ, в прямом смысле выстраданный – сколько бы часов можно было вместо него поспать! Шлешь с надеждой: хорошо ведь вышло, интересно же! А в ответ тебе разгромное что-то, грохочущее, крупными мазками про высокое в литературе, про идею, про подлинность, про героев... Что ещё страшнее – целые цитаты из твоего текста с негодующими комментариями: “Вот так писать нельзя!” И сидишь, ноешь сама себе, на жизнь сетуешь, что только время потратила, что всё это ни к чему, и нет никакого творческого зерна... А потом проходит пару дней, собираешься, вновь садишься с тоской за текст, работаешь, трудишься. И во второй раз уже получаешь в ответ правки, вопросы уточняющие, крупницы намёков на похвалу.

На похвалу во время работы над текстами Александр Иванович был крайне скуп, на жёсткие замечания – напротив: раздавал их обильно и эмоционально. Порой боялась слать что-то недописанное – резкостью критики сразу желание писать отобьётся. Зато уже после публикации (десяток раз переписанного текста) на добрые слова не только лично, но и при всех Александр

Иванович был удивительно щедр. Иногда даже сидишь, краснеешь, неудобно слушать про себя, меня родители так никогда при ком-то не хвалили. И вот в такие моменты только и понимаешь, для чего были те споры, правки, обиды на резкость, поторапливания.

Мы много говорили и о личном, он охотно делился с молодыми писателями своими воспоминаниями о взрослении, взглядами на страну и семью, на мир и духовность, на политику и литературные события. С какой-то завистью, как о чём-то невозможном, нереалистичном, слушали мы, как Александр Иванович говорит о своей супруге, об их традициях, разговорах, поездках. И веяло от этих рассказов чем-то глубоко русским, духовным, ещё дореволюционным в этом уважении, нежности друг к другу. “Мы с Ниной начали перечитывать Толстого. Сейчас она мне читает его “Севастопольские рассказы” по утрам, потом обсуждаем...” Читать друг другу вслух – это что-то из чёрно-белых и невозможно тёплых рассказов моих родителей про их молодость... И с такой грустью он говорил нам: “Куда же вы, молодые, все расходитесь, разводитесь, как же вы с этим совместным опытом, воспоминаниями лет отрываетесь друг от друга”. С такими людьми, как Александр Иванович, уходит эпоха – они не только по-другому писали, они по-другому жили: иные отношения, иная бережность к людям, культуре, предметам.

Как-то он рассказал, что после смерти отца продолжал с ним вслух разговаривать ещё долгие месяцы, как будто тот всё ещё был рядом. Мне кажется, что многие из нас, его учеников, ещё долго будут по инерции обсуждать что-то с Александром Ивановичем, спрашивать.

Мне так хочется снова с вами поговорить, показать эту статью, поспорить о правках и обязательно потом посмеяться вместе... На столе лежит (конечно же, распечатанная им, а не присланная в цифровом варианте) чёрно-белая фотография с вручения премии имени Лескова. Александр Иванович только что что-то сказал и уступил мне место у микрофона. Мне казалось, неудачный ракурс схвачен: оба улыбаемся, вроде бы и повернуты навстречу друг другу, но в разных плоскостях, я – на переднем плане, стоя у микрофона, а он – на заднем плане. И улыбается он, уходя, так, что мне его уже не видно... Светлая память вам, Александр Иванович.

### **Юрий ЛУНИН, прозаик (Электросталь)**

Начну с короткого предуведомления. В этом тексте я не буду говорить об ушедшем Александре Ивановиче в контексте его вклада в литературный процесс. Во-первых, я ничего не понимаю и никогда не пытался понять в этом процессе и сам никогда не соотносил с ним свою литературную деятельность. “Только не надо этим гордиться”, – любит в таких случаях говорить мой отец. Я и не горжусь, ни в коем случае. Просто это так. Такой я человек. Надо это признать. Во-вторых (и это напрямую связано с первым), я могу судить и говорить о людях, только исходя из личных душевных ощущений, испытанных в общении с ними. В этом случае уже не очень важно, является ли тот или иной человек “большим” или “не очень большим” в своей профессиональной сфере, оставил ли он в ней “значительный” или “малозначительный” след. Мерило одно – моя конкретная жизнь.

Хорошо помню первое – исходящее из одной только внешности – впечатление, произведённое на меня Александром Ивановичем. Это было на Звенигородском форуме молодых писателей (то ли 14-й, то ли 16-й год, не помню – я тогда, к своему стыду, очень сильно пил). Когда я увидел его, мне тут же вспомнился отрывок из книги Леонида Пантелеева “Верую” – тот, где автор вспоминает о Данииле Хармсе.

“ – Каким вы представляете Бога? – спросил меня однажды Даниил Иванович. – Стариком Саваофом, каким его изображают под куполом церквей?

– В детстве – да, представлял таким.

– А я и сейчас именно таким. Краснолицым, с белой пушистой бородой”.

Помню, я так и сказал кому-то про Александра Ивановича в тот день: “Краснолицый Саваоф”. Мне нравился его неизменный детский румянец, напрямую, как мне казалось, говоривший о здоровье, и не только физическом: о спокойном порядке в мыслях, о согласии человека с совестью. Когда я узнал

о его кончине, в голове раньше всяких слов зажёгся, как светофор, именно этот румянец. Зажёгся вопросом: “Как же так? Неужели это была не та *кровь с мо-локом*, которая гарантирует долгую-предолгую жизнь?” Может, именно этот румянец до сих пор не даёт мне по-настоящему осознать, что Александра Ивановича среди нас уже нет.

Это был, как мне кажется, человек жизни и о жизни. Это не значит, что он не думал о смерти. Просто он был не о ней. Уход таких о-жизненных людей всегда особенно обескураживает. Понимаешь народное выражение “на-гляя смерть”...

Как завязалось моё личное знакомство с этим замечательным “Стариком Саваофом”?

Насколько я понимаю, завязалось оно через Андрея Тимофеева, которому понравились мои тексты и который обратил на них внимание Александра Ивановича. И если в 14-м году, заявляясь на Звенигородский форум, я как-то полунаобум записался в “Октябрь” (с которым в итоге ничего не получилось), то в 16-м имел уже своего рода приглашение на семинар “Нашего современника”. Я откликнулся.

И не пожалел. До сих пор улыбаюсь при воспоминании об этом контрастном тандеме: романтический, взвихрённый, какой-то бетховенско-гофмановский и как-то не жутко, а весело пугающий Куняев в чёрной рубашке с расстёгнутым воротом – и румяный “Старик Саваоф” Казинцев с его негромкой речью, которую можно было слушать и слушать и которую я несколько раз пытался, но так и не смог дружески спародировать. Не смог, видимо, оттого, что пародия, как правило, опирается на некие слабости оригинала, на те моменты, в которых оригинал объективно смешон, а Казинцев не был смешон. Он обладал замечательным чувством юмора, но смешон не был. В его словах была сила, а силу спародировать сложно.

Внутри и вокруг этого живописного тандема рождалось необходимое творческое электричество. И ничем “консервным”, “законсервированным” (что тянется по коннотации за словом “консервативный”) на семинаре “НС” не пахло. Было хорошо и свежо. Было о литературе, о жизни.

Я сказал, что никак не соотношу себя с литпроцессом. Теперь я должен буду немного себя опровергнуть. У меня такое часто бывает. Признаюсь, иногда моя волей-неволей окрепшая связь с “Нашим современником” казалась мне чем-то вроде печати на лбу. Как, например, и моё вечно заочное нахождение в рядах “новых традиционалистов”, запротоколированное лёгкой рукой Андрея Тимофеева (как ты понимаешь, Андрей, всё это говорится любя). Ни идейным приверженцем “НС” (как и любого другого издания), ни “новым традиционалистом” я себя никогда не чувствовал и помню, что, говоря с кем-нибудь на эту тему, иной раз как бы оправдывался: “Без меня меня женили”. Что поделаешь – хочется иногда, чтобы твои рассказы воспринимались как странные, какие-то андеграундные, трудноопределимые, “для всех и для никого”. А тут – “новый традиционалист”!

В то же время, когда что-нибудь слишком уж иронизировал (или, лучше сказать, выражал слишком горячее соболезнование) по поводу “нового традиционалиста Юрия Лунина”, которого захомотал журнал, я уже не склонен был оправдываться и всегда говорил: “Что бы там ни было – для меня это, прежде всего, люди, которые меня поняли и полюбили. Они, а не кто-то другой, сказали мне слова, укрепившие меня в том, что у меня действительно есть писательский талант и мне надо продолжать писать”. Александр Иванович занимал среди этих людей важнейшее место.

В одном из писем я написал ему что-то вроде... хотя лучше подниму переписку и приведу, как было. Вот, нашёл: “Пожалуй, Вы единственный старший человек, с которым у меня получился неформальный разговор”. Это действительно так.

Быть может, в силу воспитания, а может, ещё по каким-то причинам, но я никогда не мог позволить себе запросто – то есть естественно и прямо – общаться со старшими людьми. В особенности людьми литературы. К примеру, Александр Евсеевич Рекемчук, чей творческий семинар я посещал в Литинституте, несколько раз, как мне кажется, давал мне почувствовать, что готов к чуть более личному и доверительному, чем на семинарах, диалогу со мной, но я, к сожалению, так и не смог начать этот диалог. Я боялся, что с моей стороны это будет выглядеть как непочтение, фамильярность. Что я не знаю ка-



кого-то особого языка, необходимого, чтобы говорить с мастером на равных.

Александр Иванович Казинцев каким-то образом сумел разрушить во мне эту возрастную преграду. Я спокойно говорил с ним на своём обычном языке, разве что в моих словах и мыслях обнаруживалось какое-то особенное, обретенное в самый момент разговора достоинство, самоуважение. Разговор с Казинцевым всегда делал честь. Облагораживал. Притом что позволял и не расшаркиваться.

В конце другого письма, в котором я неожиданно поведал Александру Ивановичу кое о чём глубоко сокровенном, хотя изначально намеревался всего лишь обсудить какой-то момент по поводу очередной публикации, я написал: “Вот видите, какой Вы человек, Александр Иванович. Даже не вижу Вас, а одно понимание, что Вы – мой адресат, уже рождает во мне какую-то особую доверительность, желание рассказать себя”.

Он звонил мне чаще, чем я ему. И я бы, наверно, звонил не реже, если б не тяготился тем, что придётся в очередной раз разочаровывать его, докладывая об отсутствии новой прозы. Видно, всё-таки не до конца я преодолел в себе какие-то преграды. Сейчас понимаю: не надо было тяготиться, а надо было звонить. Спросить о здоровье, признаться в любви – слушая собственный улучшенный голос.

### **Дмитрий ФИЛИППОВ, прозаик (Санкт-Петербург)**

Я вспоминаю. Заходишь в редакцию “Нашего современника”, поднимаешься на второй этаж, потом налево, центральная приёмная. Перед тобой маленький столик с книгами по смешным ценам. Таких цен в книжных магазинах давно нет. И книг таких там нет. Бери любую – нетленка.

Крайний слева – кабинет Александра Ивановича.

Каждый свой приезд в Москву я старался найти время, хоть полчаса, чтобы зайти в редакцию и поздороваться с Казинцевым. Это был ритуал. Он мягко жал мне руку, смотрел с “ленинской” хитринкой и спрашивал: “Ну, что, Дмитрий, когда пришлешь новый рассказ?”

Вопрос был риторическим, и мы оба об этом знали. Потому что ни у меня, ни у кого другого не было индульгенции в отделе прозы. Пришлешь рассказ – молодец, но мы ещё посмотрим, публиковать или нет. И не публиковали, бывало. И обижался. Но на Александра Ивановича нельзя было долго обижаться.

Надо проговорить это вслух. Он первый в “толстых” журналах начал работать с молодыми авторами. Молодёжные августовские номера неофитов – это его заслуга. И только потом эстафету подхватил “Октябрь”, почивший в бозе, и остальные “толстяки”. Но первым был “Наш современник”. Я и сам такой же неофит, которого Казинцев когда-то заметил среди туманного и разухабистого угара “Липок”.

Каждый приезд – особенный. Александр Иванович не предлагает выпить чаю, а тут же нагружает работой:

- Вот, рукопись прислали, посмотри.
- Александр Иванович, ну, я же на минутку...
- Ничего, ничего, посиди, почитай.

Уходит. Оставляет тебя с рукописью. Читаешь. Потом разговоры о тексте. Никогда не говорит, кто прислал.

- Зачем тебе имя? У тебя есть текст, вот его и пробуй на вкус.

Мне казалось, что этот человек никогда не умрёт, как не может умереть отец. Ну, он же есть, он всегда рядом, ты с ним не видишься по полгода, но знаешь, что он где-то есть, и от этого знания тебе просто спокойно. Ты всегда можешь написать, позвонить, что-то обсудить. Почти никогда не звонишь и не пишешь, но ведь есть сама возможность! И тебя это успокаивает. Система координат цельна и нерушима. А потом тебе звонят и говорят: “Дима, Казинцев умер”. Как табуретку из-под ног выбили.

В 2013-м или 2014 году он заметил меня, молодого и глупого, на семинаре в “Липках”. Возвращались обратно в Москву автобусами, он сел сзади меня, как всегда спокойный и умиротворённый. Внезапно автобус наполнился весельем, гамом, ввалилась компания мастеров одного “толстого” поэтического журнала. И главред этого журнала, поравнявшись с креслом Александра

Ивановича, увидев стопроцентного мастера, пьяненько и по-свойски спросил:

– С вами можно?

– Нет, со мной нельзя, – ответил Казинцев.

Главред опешил, но попытался выйти из этой неудобной ситуации. Спросил утвердительно:

– У вас, наверное, занято.

– Нет, у меня не занято.

Повисла долгая пауза. Не два редактора – два полюса смотрели друг другу в глаза. Даже в воздухе что-то скрипнуло. После этого главред молча сглотнул и прошаркал вглубь автобуса.

Я таким и запомню Александра Ивановича: спокойным, интеллигентным, непримиримым к пошлости и бездарности. Пошлости он не терпел, не подпускал к себе на пушечный выстрел.

Как-то всё дальше без него будет идти. Как – не представляю...

### **Ирина МИХАЙЛОВА, прозаик (Люберцы)**

С Александром Ивановичем Казинцевым мы знакомились три раза. Первый – заочно, через Бориса Николаевича Тарасова, бывшего ректора Литературного института, когда тот порекомендовал мой рассказ для публикации в журнал “Наш современник”. Помню, как Борис Николаевич спросил меня: “Знаете ли вы Александра Ивановича? Дайте ему свой рассказ для молодёжного номера”. Александра Ивановича я тогда не знала, хотя о “Нашем современнике”, конечно, слышала. Но мне всегда казалось, что опубликоваться в таком журнале почти невозможно – слишком серьёзный и неподъёмный он для меня. Борис Николаевич дал мне телефон Казинцева и просил позвонить ему как можно скорее. Звонить я боялась. Наверное, на первом курсе института я бы позвонила, не раздумывая. Тогда была какая-то смелость, которая сродни наглости – хорошей, заставляющей двигаться вперёд. Сейчас она исчезла, и звонить заместителю главного редактора, рекомендоваться, просить прочитать свой рассказ я не решалась целый день – думала, как начать разговор, как представиться, что говорить. Но вечером всё же позвонила... после рабочего дня, и не сразу обратила внимание на позднее время. Александр Иванович ответил быстро, выслушал меня и попросил прислать рассказ. Я уже не помню, что именно я говорила, помню только, что волновалась, перепутала его отчество и, кажется, забыла поблагодарить и попрощаться. Любой другой редактор, наверное, после такого первого разговора не дал бы шанс на второй. Но то ли Александр Иванович не обратил на всё это внимания, то ли понял и оправдал моё волнение, однако уже через месяц вышел молодёжный номер журнала с моей первой серьёзной публикацией. Всё оказалось просто. И эта простота, с которой со мной, начинающим писателем, говорил такой человек, внушала уверенность в своих силах.

Александр Иванович всегда говорил со мной уважительно, как будто мы коллеги, как будто мы на равных. Мне и раньше доводилось общаться с редакторами журналов, куда я приносила на рассмотрение свои рассказы, но всегда чувствовала напряжение, словно я просила того, чего мне пока не полагалось по статусу. В разговоре с Александром Ивановичем такого не было. Было ощущение, словно разговариваешь со знакомым, которого давно знаешь. Лёгкость, обходительность и уважение, наверное, сразу и привлекли меня. В момент, когда ты не уверен в себе, просто необходима такая поддержка. Я чувствовала её во всё время нашего, к сожалению, недолгого знакомства – почти три года.

Второе наше знакомство состоялось ровно через год. Александр Иванович позвонил мне на этот раз сам и сказал, что берёт мою повесть в журнал. Я отправила текст на общую редакторскую почту, ни на что особенно не надеясь, и каким-то чудом его выдернули из общего потока рукописей. Он тогда позвонил и спросил просто: “Это Казинцев. Помните такого?” Конечно, я помнила. И не только потому, что он помог мне с публикацией. Что-то было в нём, что заставляло помнить, – мягкость, доброжелательность. У меня сохранились письма от Александра Ивановича. Недавно я пересматривала их: они короткие, по существу, всегда начинаются со слов “Дорогая Ирина”. Так в письмах ко мне обращался только Александр Евсеевич Рекемчук – мой ма-

стер по семинару Литературного института. Сейчас, когда ни моего мастера, ни Александра Ивановича больше нет, я смотрю на эти письма и чувствую поддержку. Забыть такое уже невозможно.

Но основательно мы познакомилась уже на Форуме молодых писателей в 2019 году. Тогда Форум проходил в Ульяновске, я была на этом мероприятии первый раз, но страшно не было, потому что я выбрала семинар “Нашего современника” и знала, что там царит рабочая, но дружественная атмосфера. Во многом её создавал Александр Иванович – своим присутствием, отношением к участникам, к рукописям. Он всегда вначале давал слово нам. Иногда мы говорили долго, но нас никто не перебивал, не останавливал, Александру Ивановичу нравилось слушать нас. Возможно, он находил что-то и для себя в наших словах, что-то новое, важное. И это тоже было его удивительное качество – он учился у нас точно так же, как мы учились у него. Это были равноправные отношения, которые двигали вперёд и нас, и его. Я абсолютно уверена, что только в таких отношениях и можно что-то построить.

Запомнилось мне и наше неформальное общение после семинара, когда мы говорили о том, что такое настоящая литература. Честная? Искренняя? Обращённая к человеку? Созидающая? Наверное, всё вместе. Как говорил Александр Иванович на семинарах: “Это хорошая основа для художественности”. Основа. Вот что он для меня значил – основа, на которую можно опереться. И мне никогда после окончания института не было так спокойно.

Потом, уже в 2020 году была короткая переписка по поводу моей новой повести. Её не взяли в журнал, за что я тоже благодарна Александру Ивановичу: повесть сырая и совершенно не готова к публикации. Он опять оказался прав – необходимо работать. Работать на износ, если хочешь, чтобы хоть что-то получилось. Наверное, он и сам так работал. Даже в этот страшный год, когда многие поставили свою жизнь на паузу, он не остановился. Семинары, встречи, съезды, форумы... Он просто не мог иначе. Это была огромная, очень значимая часть его жизни. Потребность двигаться вперёд, постоянно развиваться. На моём пути должен был встретиться такой человек, как Александр Иванович: принципиальный, предельно тактичный, думающий, прежде всего, о тех, кому нужна поддержка и помощь. Он появился именно в тот момент, когда такая поддержка была мне необходима. И это не только помощь в публикациях, мне нужно было с чего-то начать свой путь. Если бы не Александр Иванович, я бы так и продолжала топтаться на одном месте.

В последнем его письме, адресованном мне, я читаю: “Умница. Всё правильно сделала”. Я не знаю, так ли это. Правильно ли я поступала, о том и так ли писала, верный ли выбирала путь. Но я уверена в одном: поддержку Александра Ивановича я чувствую до сих пор. Сейчас я опять, как и в 2018 году, стою на очередном перекрёстке, но Александра Ивановича больше нет. И эта пустота уже не заполнится. Терять людей тяжело, а терять их так неожиданно, когда ещё не обо всём поговорили, не всё обсудили, не все планы реализовали, ещё тяжело.

Наверное, единственное, что я могу сделать, – это работать дальше. Вплощать то гуманистическое начало, о котором мы часто говорили. Думать о человеке, писать о том, что происходит сейчас. Идти своей дорогой. И помнить тех, кто шёл рядом, хоть и не так долго, как хотелось бы.

Вечная память Александру Ивановичу Казинцеву. Ведь человек жив до тех пор, пока в него верят и пока о нём помнят.

### **Платон БЕСЕДИН, прозаик и публицист (Севастополь)**

С Александром Казинцевым мы познакомилась на Форуме молодых писателей в Липках. Конечно, я знал, кто это такой, и до того момента, смотрел восхищённо, но полноценного разговора у нас с ним не случалось. Тут же ко мне подошёл благообразный седовласый господин с молодым фруктовым румянцем на щеках и, дыша паром (дело происходило на улице, под соснами лежал снег), умиротворённо сказал:

– Платон, я слышал, у вас хорошие рассказы...

Я смутился, ясное дело. А как иначе? Что-то ляпнул в ответ. Но разговор, вопреки моей угловатости, вдруг завязался, стал чем-то обязательным и естественным. И мы отправились гулять с Александром Ивановичем по засне-

женному парку. Всё как-то быстро срослось, устроилось. Я в принципе такой: чувствую сразу — мой человек или нет. К Александру Ивановичу тянуло, как пишут плохие авторы, словно магнитом. Сам Казинцев такого штампа однозначно бы не одобрил — он был справедлив и строг на “липкинских” разборах, но вместе с тем всегда защищал того (из милосердия, прежде всего, дабы не оказалось совсем горько на душе критикуемого), на кого набрасывались остальные. Собственно, о литературной критике мы и беседовали в ту первую нашу прогулку.

Со временем они стали постоянными.

— Пройдёмся? — спрашивал я его.

А он охотно соглашался. И мы гуляли. По волглому пансионату в Листвянке, по душному Краснодару, по промозглому Санкт-Петербургу — много где. Я старался идти рядом, поначалу относясь к нему с трепетным восхищением (так смотрят подростки на рок-кумиров), но со временем уже с товарищеским братством.

Говорили мы, конечно, в основном, о политике. И меньше — вот что странно — о литературе. А если и затрагивали её, то, главным образом, в контексте молодых писателей. Собственно, я ведь тоже так и попал в круг Александра Казинцева. Его радушное, почти отцовское отношение к молодым было удивительно ласковым и дальновидным. Он, пожалуй, верил, что именно 30-летние и те, кто младше, способны принести решительные перемены. Не только в литературу — в мир.

Казинцев собрал вокруг себя, вокруг “Нашего современника” тех молодых авторов, которые должны были стать, если угодно, ударной группой. Не знаю, удастся ли это им в итоге. Почему им, а не нам? Я всегда держался, как говорят, особняком. Не из-за высокомерия или превосходства, нет — скорее, из-за стеснения. А ударная группа меж тем росла: Андрей Тимофеев, Елена Тулушева (любимица, чего уж скрывать), Юрий Лунин, Андрей Антипин, Марина Перова и множество других. Дай Бог, всё у них получится. Так или иначе, Александр Иванович приложил для этого все необходимые усилия — и даже больше.

Он был, конечно, выдающимся подвижником, в том числе и в работе с молодыми авторами. Уверен, что если появится новая премия, то назвать её необходимо именем Александра Казинцева. И давал бы я её, прежде всего, молодым (до 35 лет) литературным критикам и публицистам.

Много мы беседовали и о религии. Редко у кого я встречал столь глубинное понимание Православия, как это было у Александра Ивановича. Он объяснял очень тонкие, возвышенные материи заботливо и доступно. И на душе становилось радостнее. Казинцев вообще умел дарить, знал, какое это чувство — радость. Впрочем, о наших православных беседах тут говорить не стану. Вспомню лишь один эпизод. В тот день, когда Александр Иванович подошёл ко мне после прогулки на ужине, мы, сев за один стол, одновременно перевернулись перед приёмом пищи — и тут же тепло друг с другом переглянулись. С пониманием, как единомышленники.

Благодатная картина получается? Ну, так он был мудрейший, тактичный человек. Из другой эпохи, не иначе. Что, впрочем, не мешало нам спорить — и делать это регулярно. Я наваливался пламенно, рьяно, точно булавой размахивал, а он отвечал иронично, тонко, будто делая изящные выпады шпагой. Кстати, что-то мушкетёрское было в его облике, не правда ли? Не только благообразное, как у старца, — кто-то о нём так отозвался: “благообразный старец”. Помню, меня это ещё резануло. Какой старец? Молодого — и молодецкого даже — в Александре Ивановиче хватало.

Этот его несравненный — рапирный — взгляд. Одна только высеченная искра, но её хватало, чтобы зажечь собеседника или, наоборот, спалить оппонента. Когда Казинцев бывал не согласен, то в глазах его мелькала это ироничное, чуть колкое и вместе с тем добродушное выражение. Мол, я знаю чуть больше — и козыри у меня припасены. Но всё это без какой-либо навязчивости или тем более тщеславия. Тут мне вспоминается известная история — она, мне видится, применима к *modus operandi* и *modus vivendi* Александра Ивановича — из китайской то ли истории, то ли мифологии. Когда у Конфуция спросили: “Скажи, учитель, можно ли прожить жизнь, руководствуясь одним словом?” — мудрец ответил: “Да, такое слово есть. И слово это “снисходительность”. Умение понимать и принимать человека, несмотря на все его не-

достатки — великое достижение.

Тут, впрочем, важно не путать снисходительность со всеогласием. Это явление — совсем из другой области. К Александру Ивановичу соглашательство не применимо ни в коей мере. Я мало видел людей столь увлечённых, принципиальных, умеющих мягко, но вместе с тем последовательно отстаивать собственные убеждения. И ведь Казинцев, будем честны, пожертвовал ради них многим. Сколько литераторов, мыслителей пусть и на мгновение (а некоторые используют сию практику регулярно) становились подобны флюгеру, но только не Александр Иванович. Тот был верен своим идеалам всегда. Да, воззрения его, как у человека разумного, мыслящего, развивающегося, модифицировались в зависимости от получаемых впечатлений и знаний, однако ключевое — то самое ядро — оставалось неизменным и тщательно им оберегалось.

Александр Иванович, как никто другой, умел решительно отстаивать свою позицию, говоря настолько убедительно, что несогласные порою колыхались, точно от порывов ветра. Он был блестящим полемистом, преобразавшимся перед публикой, — из спокойного господина Казинцев превращался в огненного великана, готового биться за соль земли. Помню, к примеру, как на Лихоносовских чтениях (это, к слову, была наша последняя встреча) Александр Иванович, пламенея, выступал перед молодыми, говоря о важности самоорганизации, о переменах, которые назрели. И тогда я имел дерзость спорить с ним, а он отвечал жёстко — в общем, сцепились. Мне до сих пор кажется, что мы так и не поняли друг друга по-настоящему, а объяснить толком затем не сумели.

Александр Иванович вообще любил это слово — “боец”. Просил стойкости от остальных, но, прежде всего, требовал её от самого себя. Он снова и снова доказывал, что настоящий боец — не тот, кто машет кулаками, бросая яростные лозунги, а тот, кто несгибаем внутри, кто готов отстаивать свои взгляды до последнего и вместе с тем признавать ошибки. Нельзя уступать ни пяди своих идеалов. Нельзя равнодушно наблюдать за происходящим. Александр Иванович учил молодых (впрочем, тут скорее мне правильнее говорить за себя) не столько литературному мастерству даже, сколько желанию и смелости отстаивать человеческое достоинство. И при этом не костенеть, не вязнуть в топи обыденности.

Он ведь сам прошёл удивительную эволюцию от поэта с довольно-таки либеральными взглядами до истинного патриота из журнала “Наш современник”. Его стихи — я перечитывал их на днях — удивительно нежные и мудрые в своих глубинных касаниях (понимаю, что не все могут воспринять данную формулировку). Но это именно лёгкость настоящего — когда возвышенное не прячут за нагромождениями, требуя инициации, но, наоборот, стараются сделать максимально доступным; достаточно лишь уметь слышать сердцем или пытаться уметь, впрочем, подчас это и есть самое трудное.

А вот полемистом, публицистом Казинцев был во многом другим. Тут правила стихия огня, но опять же не разрушительная, а согревающая. Не самый свежий и тонкий образ я сейчас, возможно, использую, пусть Борхес и писал, что банальности самые точные вещи на свете, но, согласитесь, в Александре Ивановиче было многое от Прометея, несущего огонь людям. И, повторяю, ради этого он жертвовал многим.

Ещё одно научение от Казинцева — это быть готовым к тому, что если ты ищешь правду и не желаешь примыкать ни к одному из лагерей, примыкать до растворения в них, то будь готов страдать за свои убеждения, терпи. Его самого обвиняли во многом лишь потому, что он не желал вписываться ни в какие схемы. Слишком “левый” для “правых”, слишком “правый” для “левых”. Истинный патриот, но не из тех, кто за деньги, кто подобоострастен, а патриот настоящий, пламенный, за Родину, за народ, а не за власть бьющийся. “Патриот” вообще очень важное слово для понимания роли Александра Казинцева в истории.

Александр Иванович всегда оставался абсолютно самодостаточной фигурой, точно русский остров, к которому ещё предстоит навести мосты. Но ведь он и сам настойчиво предлагал строить их. Одним из первых и ярче многих Александр Иванович заговорил о необходимости из “двух великих культур сделать одну” и стал удивительной по своей отваге и масштабу фигурой в бесконечном споре славянофилов и западников. Наверное, в идеальных услови-

ях, в мире правильном, а не вывихнутом, Казинцев оказался бы не просто мостом, примирителем, но своего рода проводником для синергии нового свойства, которая объединила бы в себе лучшее. Но то – в идеальном мире. А в реальном Казинцеву приходилось отстаивать даже самую возможность того, чтобы давать не чёрно-белый, а цветной взгляд, не сводя его к замшелым банальностям и скучным лозунгам.

Непростительно мало издано его книг, но достаточно статей, которые, безусловно, необходимо объединить и издать несколькими томами, чтобы изучать их тщательно и глубоко – штудировать, не иначе. Ведь Александр Иванович был визионер, который меж тем, по аналогии с его известной статьёй, играл не на понижение, а только на повышение. Он задавал новые стандарты для русской литературы, которые, к сожалению, одним виделись слишком “правыми”, другим – слишком “левыми” (хотя тут можно использовать любые иные антитезы). Но именно это и изумляло меня в нём – умение примирять, сочетать, объединять и создавать в конечном счёте идеальный сплав наивысшей духовной и социокультурной пробы.

Однако при всей его многогранности имелось то, что характеризовало его наиболее полно: Александр Казинцев был русским мыслителем. Вот что важно. И это не вопреки многогранности, а как раз-таки благодаря ей, потому что подлинно русское подобно тканому ковру, органично сочетающему в себе самые разные элементы, соединённые одним могучим талантом. Русский – это когда ищешь и отстаиваешь правду, правду как истину и как справедливость. Русский – это когда возвышаешься через очищающее страдание, но не упиваешься им. Таких людей в истории, на самом деле, было совсем немного. Александр Иванович Казинцев стал одним из них.

И дай Бог, чтобы семена, посаженные им, в итоге всё-таки проросли. Потому что тогда у России есть будущее. То будущее, в основе которого будут великая традиция и самоорганизация талантливых людей, как и желал того Александр Казинцев.

### **Кристина КАРМАЛИТА, поэт (Новосибирск)**

*Стихи повалятся, повалятся,  
как снег в сибирском феврале,  
и Александр Иванович отправится...*

Хуже недописанных стихов только неотправленные письма. Это стихотворение я нашла в черновиках переписки за 2018 год. Куда отправится Александр Иванович? Теперь уже и не вспомнить. . .

Память – своенравная дамочка – зачастую хранит пустяки и выбрасывает важные вещи. Во всяком случае, моя. Я борюсь с ней так много лет и теперь уже точно могу сказать: она победила. И так, празднуя победу, память снисходительно подкидывает мне некоторые картины, чтобы уж совсем я не потеряла себя – такой расклад и ей не сулит ничего хорошего.

Одной из таких “подкинутых” картин является картина знакомства с Александром Ивановичем Казинцевым. Как бы уберечься во всех этих воспоминаниях о другом человеке – от воспоминаний о себе? Никак не получится. Но ты, читатель, имей в виду, что “и это всё о нём”.

В 2015 году судьба устроила меня на Советствие молодых писателей Сибири, Урала и Дальнего Востока – первое и последнее советствие под таким названием, проведённое фондом Сергея Филатова на базе отдыха под Томском. Это был мой первый “липкинский” опыт, довольно сильно изменивший дальнейший ход жизни. Но перемены не приходят сами по себе – их приводят или события, или другие люди.

Ничего, в общем, не предвещало мне знакомства с Александром Ивановичем, кроме того, что мы находились в одном пространстве и времени. Он вёл один семинар поэзии, я участвовала в другом. С половиной людей, собравшихся тогда на базе, я до сих пор так и не знакома лично.

– Кто это? – спросила я через пару дней у своего товарища Антона Метелькова.

– Казинцев, наш руководитель.

– Почему он на меня так смотрит?

— Он на всех так смотрит.

На всех, так на всех — успокоилась я, но на всякий случай старалась меньше попадаться на глаза Деду Морозу в белом костюме — белая борода, округлое румяное лицо, неизменная улыбка, добрый, чуть грустный и одновременно лукавый взгляд — внешность Александра Ивановича не оставляла вариантов для прозвища.

Номер не вышел, вернее, его номер вышел где-то на одном этаже со мной, так что мы неминуемо столкнулись вечером у кулера.

“Что же это он опять смотрит и улыбается, надо бы что-нибудь выкинуть”.

Улыбающиеся мне незнакомые люди почему-то всегда вызвали желание схулиганить или, по крайней мере, переглядеть их улыбку непроницаемым лицом злого бегемота. Так мы познакомились с бывшим мужем.

— А вы пойдёте слушать талантливых молодых поэтов? — сказала я и тут же смутилась своей наглости.

Шутку надо понять. По вечерам проходило поэтическое мероприятие, в котором соревновались участники совещания. Я была одним из них и, конечно, выступала со всеми. Никаким, Боже правый, талантливым поэтом я себя сроду не называла, но Александр Иванович так улыбался, что мне захотелось повыделываться. Думаю, однако, что всё это было только в моей голове.

— Нет, слушать не пойду, но вот если вы принесёте мне распечатку своих стихов, с удовольствием прочту.

— Почему же с удовольствием, может, у меня плохие стихи.

— Не думаю. У вас небанальное лицо.

На этом пластинка съехала, я залепетала что-то о том, что “обязательно — завтра, правда, распечатки у меня нет, но я найду, придумаю, смастерю принтер... а сейчас надо идти, доброй ночи, прекрасного утра, хорошего завтрака...” — долго ещё какое-то бормотание бродило в моей голове, а перед глазами стоял спокойный молчаливый улыбающийся совершенно не известный мне человек.

Что здесь, собственно, такого? Велика важность — попросил почитать стихи. Во-первых, это был первый и единственный в последующие пять лет участия в различных совещаниях представитель руководителей семинаров, который сам — не то, что будучи знакомым, даже не зная моего имени, — попросил тексты.

А во-вторых, конечно, в том была большая доля провинциальности моего сознания: москвич, руководитель — где он и где никому не известная девушка из... кстати, откуда я, он также не имел понятия. Да это и не волновало Александра Ивановича — кто и откуда. Потому что кем-то для него человек становился не благодаря своему происхождению или званию, а благодаря собственному особому взгляду Александра Ивановича, видевшему что-то своё, чего, может, и не было вовсе, но, как известно, красота в глазах смотрящего.

Так, по крайней мере, мне думается — по размышлению об этой и других подобных историях, которые посыпались по “Фейсбуку” после трагического известия седьмого декабря: “Александр Иванович был первым, кто меня напечатал, когда я никому не был нужен”; “Александр Иванович много для меня сделал”; “Александр Иванович очень помог”...

В той же переписке 2018 года, в которой я писала и не дописала шуточное стихотворение о нём и ему, мы решали важную проблему: как выставить на сайт журнала “Сибирские огни” электронную версию книги Елены Тулушевой “Первенец”. Что-то было не то с форматом PDF, текст в книге не хотел ни быть русским, ни стоять в строке. Александр Иванович пересылал мои письма верстальщику, потом от него обратно мне. Когда книга была выставлена, он заметил, что заглавие публикации таково, что её трудно будет найти по поиску — снова письма, просьбы исправить, проверка, благодарность...

Уходило его время, силы, мысли сбивались всей этой суетой — не знаю даже, знал ли сам автор о том, как о нём хлопчут и переживают. Через полгода мы встретились в Кемерово, и Александр Иванович подарил мне бумажный вариант книги Елены с предложением написать на основе какого-нибудь рассказа сценарий или пьесу. А ещё через полгода интересовался, какова статистика просмотров публикации “Первенца” на сайте.

Не сказать или сделать — и забыть, а постоянно вести человека, в кото-

рого он верит, искать для него новые возможности, держать руку на пульсе. При некоторой патетичной манере высказывания, Александр Иванович, как мне кажется, не был пафосен, поэтому и я не буду ударяться в эту область, а вернусь в прошлое, в переломный для меня 2015 год.

Можно было решить, что незнакомый человек попросил стихи из вежливости или неловкости ситуации, когда тебя куда-то зовут, а ты отказываешься и хочешь сгладить свой отказ другим согласием. В общем, я тихонько про себя так и решила и, вернувшись в Новосибирск, воспользовалась своей короткой памятью и быстренько обо всём забыла. Но у Александра Ивановича память была длиннее и крепче. Да и вообще, дело было не в памяти.

– Это Кристина Кармалита?

По особой манере речи я, конечно, сразу догадалась, кто мне звонит.

– А это Александр Иванович?

– Звоню порадовать вас, вы – в списке участников “Липок”, поздравляю! Антон тоже, но ему пока не говорите, это секрет.

Стихи Александру Ивановичу понравились, он опубликовал их в ближайшем молодёжном номере “Нашего современника”, рекомендовал меня на молодёжную премию журнала. Дальше было ещё много разных рекомендаций, более или менее успешных, упоминаний моей фамилии при всяком удобном случае (из письма А. К. 2015 года: “Я говорил о Вас и просил запомнить Ваше имя”), пятилетняя переписка с постоянной просьбой присылать стихи, редкие, но очень тёплые встречи в разных городах России.

Но всё это – лишь частный случай большой работы и заботы Александра Ивановича о литературной молодёжи – зачастую дезориентированной, чувствующей себя потерянной и ненужной. Не случайно именно Андрей Тимофеев, которого Александр Иванович очень высоко ценил (из письма А. К. 2015 года: “Надеюсь, у меня в этом году будет хороший семинар, не зря я всё лето отбирал молодых авторов. Правда, лучший из них – Андрей Тимофеев – приехать не сможет”), возглавил первую на постсоветском пространстве организацию, ставящую своей задачей поддержку и продвижение молодой литературы. Большое начинается с малого и, как мне кажется, не без участия Александра Ивановича заварилась эта густая каша молодёжного движения – не обязательно личного участия, но опосредованного всей его многолетней деятельностью по собиранию и сопровождению молодых авторов.

Портрет получился довольно благостным, а между тем – “широк человек”, и как бы не показался Александр Иванович слишком узким в моих воспоминаниях. Но что делать – мне повезло узнать лишь лучшую его сторону. Однако ничто не расскажет о человеке так хорошо, как он сам. Поэтому позволю себе процитировать некоторые выдержки из писем Александра Ивановича ко мне, в которых хорошо видно, что его добрый портрет не был скучен. По прочтении обнаружила (а так и не задумывалась, увы), что он был единственным человеком, которому я регулярно в течение пяти лет отправляла все свои новые стихи.

*“Дорогая Кристина!*

*Читаю Вас в унынии и скорби.*

*Как это Вас не будет на моём семинаре?! Да что же это деется? Я так рассчитывал на Вас. Скажу честно, не только на Вас, но и на замечательного прозаика Андрея Тимофеева... На талантливейшего прозаика Андрея Антипина... Тут и Метельков отписал: “Пока денег нету”. И с кем же я останусь? И зачем же я всё лето мотался по форумам молодых, искал таланты для Липкинского – самого главного – совещания?*

*Нет уж. Будьте добры. Хоть на один день, но приезжайте. Я Вам семинар покажу, а Вас семинару. Погоржусь: вот какие таланты в Сибири водятся!”*

*“В России издавна повелось, что уважают своего только тогда, когда его уважили иностранцы”.*

*“Простите, что не ответил сразу. Был в Краснодаре, где проходила Конференция, посвящённая выдающемуся русскому публицисту и политическому деятелю (это в советское-то время!) Юрию Селезнёву. Я вывез туда двух моих учеников – прозаиков Тимофеева и Тулушеву. Делали доклады они, делали доклады о них, потом я спорил со всеми. На следующий день мы выехали на мо-*



ре – катались на яхте, они плавали, а я грустно сидел один и ко мне подходил классик современной литературы Виктор Иванович Лихоносов и каждый раз поднимал бокал со словами: “За Ваше одиночество, Александр Иванович”.

Это была его маленькая месть за мой спор с ним по поводу молодых. Представьте, Кристина, не читая произведения, вообще не имея представления об этих авторах, только по докладу Виктор Иванович вынес вердикт: молодые копаются в грязи, он их читать не будет и другим не советует. Ну, пришлось поспорить с классиком. Я превознёс его достоинства и интуицию, но не без ехидства заметил, что даже самый чуткий человек не может судить о произведении, которого он не читал! Виктору Ивановичу пришлось извиниться, но месть, как оказалось, он затаил”.

“Стихи прочитал с удовольствием. Как и все Ваши. Хотя начинаю побаиваться кармалитазависимости. Или как это сказать точнее? Всё действительно здорово. Но временами во мне просыпается задушенный 30 лет назад критик. Он сомневается: не слишком ли легко так писать? Поймала интонацию, драйв, окутала всё это блестящей кисеей непонятности – и готово, пожалуйста! Есть ли за этим завораживающим покровом человеческая глубина? Больше всего мне понравилось стихотворение “В этом мире волооком”. Там человек точно есть. Об остальных стихах предоставляю думать автору. Кто же, как не он, знает свои творения”.

“Будьте покойны: человеческая глубина – это художественная категория, она присутствует в тексте и может быть идентифицирована. Она не разгуливает сама по себе по Невскому проспекту. И от Вас не убежит”.

“С удовольствием буду читать Ваши новые стихи и просто рассуждения о погоде в Москве и Новосибирске. Приятно знать, что у кого-то погода хуже, чем у тебя!”

“Вы говорите: “Стихи не пишутся”, – а сами только что написали стихотворение в прозе “О стрижах”. Бросьте хандрить, погуляйте и начинайте нащёптывать в такт шагам. Не знаю, как у Вас, а у меня именно так всё и пишется”.

Формула простая, но так просто применить её не удаётся, и недописанное стихотворение в неотправленном письме Александру Ивановичу никак не двигается дальше трюеточия. Но в этом нет особой беды, настоящая беда в том, что письмо уже никогда не сможет быть отправлено адресату.

### **Яна САФРОНОВА, критик (Москва)**

Последней рабочей поездкой Александра Ивановича стал Белозерск, где открывали музей журнала “Наш современник”, в котором он проработал без малого сорок лет. “Это большая часть моей жизни. В каком-то смысле журнал и есть моя жизнь”, – говорил он на открытии. Видел и свои книги среди предметов экспозиции, гордился и любовался. До открытия в качестве консультанта помогал разрабатывать концепцию, подсказывал, где и какие статьи разместить, на чём сделать акцент... Александр Иванович в совершенстве знал историю журнала, потому что был одним из её создателей. Он с благодарностью смотрел видеообращения молодых писателей, которые показывали на мероприятии. Многие говорили о нём, признавались, что именно он привёл их в журнал.

А он и правда приводил, иначе не скажешь. Меня, например, высмотрел зорким взглядом на одном литературном интернет-портале. Попросил своего ученика намекнуть, что сотрудничество было бы возможно, если бы я предложила какую-нибудь статью для “НС”. Упустить такой шанс было бы просто глупо, и вот через три месяца статья про молодого прозаика Дмитрия Филиппова вышла. Александр Иванович пригласил в редакцию за авторскими – так началось наше с ним творческое общение, а после публикации той работы и моя карьера критика. Удивительное дело: мы регулярно созванивались, чтобы поговорить о продолжающемся сотрудничестве, и ни одно моё письмо

по электронной почте он не оставил без ответа. И это Александр Казинцев, глыба публицистики и многолетний заместитель главного редактора, у него наверняка на это совсем не было времени... Уже позже, работая в журнале, я узнала, что свой рабочий день Александр Иванович начинает с обширной переписки с авторами со всей страны и телефонных звонков. Для каждого у него находился ответ, важное и нужное именно сейчас слово.

Но особенно подробными и вдумчивыми были его диалоги с молодыми писателями, к новому поколению "НС" он относился трепетно. В этих диалогах он делился сокровенным, героями их становились Валентин Распутин, Василий Белов, Юрий Селезнёв, Вадим Кожинов, Пётр Палиевский, Сергей Викулов... перечислять можно бесконечно. И литература оживала, разворачивалась перед тобой кипучей жизнью, хотелось сразу читать и перечитывать тех, о ком он рассказывает с таким теплом и увлечением. Деятельность его как наставника не ограничивалась одними только наставлениями. Александр Иванович регулярно вёл самые разные семинары, искал талантливых ребят буквально везде. А потом не бросал их, но наблюдал и поддерживал, предлагал их произведения в журналы, номинировал на премии, способствовал заграничным писательским поездкам. Словом, он своими руками создавал литературные судьбы многих и многих, делал всё, чтобы литературный процесс в России продолжался.

А ещё он, конечно же, писал. Много и разное: начинал как поэт, продолжил как критик, прославился как публицист, а в конце жизни опять вернулся к поэзии. Александр Иванович делился, что в последнее время ему не давалась малая форма. Он начинает писать, но мыслей так много, что текст всё разрастается, структура усложняется, и вот она уже давит всей своей силой и никак не даёт закончить. Порой Александр Иванович побеждал в этой борьбе (например, в статье под названием "Новая ненормальность" в № 7 за 2020), а иногда оставлял её. И тогда возвращался к стихам. За последний год у него было две поэтические публикации, составленных из стихотворений прошлых лет: в февральском номере журнала "Москва" и в одном из августовских номеров "Литературной газеты". Критиком он был хотя и доброжелательным, но строгим и внимательным, молодым всегда давал совет: пишите о ровесниках, вам будет проще понять их тексты, ведь вы из одного поколения. Моя любимая его статья как раз об этом – "Начало пути: жизненный опыт и схемы" в № 12 "Нашего современника" за 1983 год. Критик в этой статье выступает против вхождения в литературу рейдерскими группами, предупреждает: "Молодые и не такие уж молодые авторы обнаружили, что в литературу проще входит группами, эшелонами, с бою. Необходимо только напомянуть представителям "новой волны", что монолитность литературных волн относительна. Их направленность, силу, эффект определяет не безымянная масса, а творческие индивидуальности". Создавая свою волну через многие годы, Александр Иванович помнил об этом. "Поколение НС" – сформированное им в литературную группу поколение прозаиков – это, прежде всего, творческие индивидуальности.

Немногие знали, каким человеком на самом деле был Александр Иванович Казинцев. Я тоже не могу похвастаться этим знанием в полной мере, хоть мы и работали бок о бок последние два года. Ты вроде и составил о нём мнение, вместил его в свою картину мира, и вот – он удивит тебя так, что осознаёшь: ничегошеньки ты о нём так и не понял. Вот как начнёт рассказывать про своих двух кошек, описывать, как наклоняют они пушистые головки, ласково ложатся под его руки. Или придёт на работу и сразу позвонит жене, из незакрытой двери кабинета доносится: "Да, мой хороший, я пришёл. Погода сегодня чудесная, листья ложатся удивительным золотым ковром...". И так каждый раз рассказывал о том, что видел по пути на работу, стремился запечатлеть каждое состояние природы, малейшее изменение. Ну, и самая милая его привычка, очень меня когда-то удивившая и прочно вошедшая в мой (и даже более – в семейный) обиход и лексикон. "Время яблочка" неизменно наступало в середине рабочего дня. Это значит, что нужно прерваться, отложить на время все дела и съесть яблоко, насладиться его вкусом и замершим моментом. В любой рабочей поездке за обедом Александр Иванович не изменял своей традиции, тихо улыбался и отрезал маленькие кусочки, вспоминая в это время о великом прошлом или вслух мечтая о будущем...

Пишу это, и параллельно в сознании вспыхивает ещё множество кадров,

историй, реплик, интонаций. Первый год моего пребывания в “НС”, последние тёплые дни осени, сижу в редакции и чем-то привычно занимаюсь. Звонок – Александр Иванович. “Яна, у меня для Вас рабочее задание. Немедленно отложите дела и прогуляйтесь по бульвару, погода просто невероятная”. Конечно, это было очень приятно, такая неожиданная забота и чуткость. Он вёл себя так со всеми нами: регулярно радовал женскую половину редакции шоколадками, делал комплименты, всегда замечал малейшие перемены во внешнем виде. “Ве-ли-ко-ле-пно”, – как бы пропевал он и всплёскивал руками. И хотелось действительно соответствовать этому “великолепно”, и день становился чуточку лучше.

И одновременно с этой расположенностью и учтивостью Александр Иванович Казинцев никогда ничего не говорил просто так, не льстил попусту. Снова вернусь на четыре года назад, в уютный кабинет первого заместителя главного редактора, куда я пришла забирать первые в своей жизни авторские экземпляры. “Александр Иванович, а как Вам мои стихи?” – задала я волнуемый меня на тот момент вопрос. “Плохо. Это всё не то”, – честно ответил он мне. Те, кто был знаком с Александром Ивановичем, знают, как искусно он умел подбирать слова и давать мягкие рекомендации. Но тогда он, видимо, понял, что мне нужна была правда. И это “плохо” не обидело, а только подтвердило и укрепило в выборе правильного пути. Спасибо Вам за ту правду, Александр Иванович. За всю правду, которой Вы со мной делились. Я постараюсь навсегда её сохранить.

### **Карина СЕЙДАМЕТОВА, поэт (Москва)**

... Учителем моим он не был.

Познакомились мы впервые в 2010 году на международном Форуме молодых писателей в подмосковных Липках. Семинар журнала “Наш современник” вели тогда заместитель главного редактора, публицист и поэт Александр Казинцев и литературный критик Сергей Куняев. Первое, что сразу бросилось в глаза, – это какие-то невероятные интеллигентность, доброжелательность и такт Александра Ивановича. Более того, интеллигентность классическая, как “способность к пониманию другого, к восприятию, терпимое отношение к миру и к людям”. И если Сергей Станиславович где-то был экспрессивен, запальчив в разборе того или иного семинариста, то Александр Иванович всегда сглаживал острые углы литературных обсуждений, как бы подытоживая прения. Казинцев чувствовал необходимость поддержать молодого автора аккурат в тот момент, когда особенно велик шанс оступиться, свернуть с едва обозначенного пути.

Были и ещё встречи – семинарские и редакционные. Когда в 2017-м я пришла в редакцию уже в качестве сотрудника, как раз Александр Иванович одним из первых меня поддержал. Рассказывал, как сам пришёл в журнал, будучи довольно молодым человеком. В журнал, служению которому отдал почти сорок лет своей жизни. Ведь редакция журнала – не просто рабочий коллектив, а своего рода шумная семья с ежедневным выяснением отношений, обсуждением ежемесячных планов, жаркой полемикой, интеллектуальными беседами, юмором, теплотой встреч. Но прежде всего – это слаженно работающий единый организм. Наверное, нет нужды говорить, что произойдёт, если взять и ампутировать какую-то часть этого организма. Справедливы слова, когда-то написанные Лией Киргетовой: “Если терпеть возможно, это ещё не боль”. Так вот, боль сейчас нестерпимая: Александр Казинцев был человеком из той когорты старой московской интеллигенции, ныне почти исчезающей как вид. Был... Не верится, что пишу о нём в прошедшем времени. Но запомню его таким, каким видела последний раз в минувшем августе, возвратившимся в редакцию после весьма значимой для него встречи: молниеносно взбежавшим по лестнице в приёмную, улыбающимся. Сиятельным и счастливым... А из нагрудного кармана казинцевской ветровки подрагивали луговые цветы.

... Он много ездил. Даже в этот непростой для всей страны год были и Овстуг, и Уфа, и Питер, и Белозерск. Именно командировка в Белозерск Вологодской области, где состоялось открытие литературного музея журнала “Наш современник”, по стечению обстоятельств оказалась для него последней. Те-

перь отчётливо вспоминается наш с ним телефонный разговор за пару недель “до”. Ничего необычного, обсуждали детали ещё предстоящей поездки, планы будущих номеров и... сама не понимая почему, стала вдруг читать ему строчки из стихотворения Дианы Кан “Купите ошейник, и я буду Вашей собакой/ <...> Весеннюю воду из лужи сиреневой пить”. На что Александр Иванович, рассмеявшись, ответил: “Карина, Вы не собака, Вы прекрасная птица!” Произносил он это как-то нараспев, ласково, спокойно. И задумчиво продолжал: “Только представьте... Под куполом цирка Вы будете птицей, а я на арене весёлым клоуном, развлекающим публику. Я буду постоянно падать, а все будут смеяться, смеяться!..” Вспоминаю этот разговор и плачу.

У русского поэта Анатолия Константиновича Передреева есть прекрасные и трагичные стихи, посвящённые памяти Александра Яшина:

### *СОВЕСТЬ*

*Теперь спокойно Вам...  
А мне  
Печально...  
Я помню Вас,  
Я вижу Вас  
Во мгле!  
Хоть, кажется, встречались мы  
Случайно  
Всего лишь два-три раза  
На земле,  
И всякий раз мне виделось  
При встрече —  
Друг друга  
Узнавали мы  
С трудом,  
Когда шумел  
В разгуле красноречья  
Меня и Вас объединявший  
Дом.*

*Ничем души моей  
Вы не касались,  
Когда с прямой —  
Подчёркнуто —  
Спиной  
Нетерпеливым путником казались,  
Прислушавшимся  
К ветру за стеной!*

.....

*...И вот теперь —  
Страницы книги Вашей  
Посмертные  
И — узнанные вновь...  
Я чувствую,  
Всем сердцем  
К ним припавши,  
Какая  
Вами двигала  
Любовь!*

Безжалостные по своей точности чеканные строки...  
Да, Вашей ученицей я не была, но Вы научили меня многому. И ещё, может быть, самое главное: Ваша печальная “птица” будет очень скучать по Вас!  
Мы все будем очень скучать...

**Мария ЗНОБИЩЕВА, поэт (Тамбов)**

\* \* \*

*Памяти  
Александра Ивановича Казинцева*

*Снег — молитвенный, старинный, золотой...  
Что останется за чёрною чертой,  
За движением — “от света и на свет”,  
За молчанием, раздавшимся в ответ?*

*Под седьмое, в прежний век какой-нибудь  
Проложил бы русский барин санный путь,  
Чтоб следить, как за верстой летит верста,  
Как земля его становится чиста,*

*Он крестился бы на колокольный звон,  
Он дивился бы на свет со всех сторон  
И смеялся бы, не тронутый зимой,  
И он верил бы, что это — путь Домой.*

*Белый путь — последний путь — великий тракт  
Человеческих сомнений и утрат...  
Скорбный ангел примет душу на крыло,  
А оставшимся — подняться тяжело.*

*О сиротстве — если наш удел таков —  
Будут плакать голоса учеников  
По России, по степям и по снегам,  
И по обским, и по волжским берегам.*

*Отгремели искромётные бои.  
Только чудится: “Хорошие мои...  
Как снега, слова у Господа тихи.  
Остаются только люди — и стихи...”*

*То ли слёзы, то ли белая роса,  
То ли в трубке телефонной голоса,  
Но над чёрною земною пустотой —  
Снег молитвенный, нездешний, золотой.*

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

### Глава 14

#### Русская Идея (окончание)

В 1965 году состоялось ещё одно знаковое событие для общекультурной жизни советского государства: страна впервые всенародно отметила юбилей Сергея Есенина – семидесятилетие со дня его рождения.

Десятью годами ранее был издан есенинский двухтомник, мгновенно исчезнувший с книжных прилавков. В самом начале 1960-х годов после тридцатипятилетнего перерыва (!) было выпущено пятитомное собрание сочинений поэта. И, наконец, его имя официально стало именем классика отечественной литературы (притом, что в народе это имя Есенин обрёл давным-давно – когда его стихи переписывали от руки по всей стране в никогда не учтённом и не могущем быть учтённым количестве экземпляров). Родительский дом Есенина в Константинове официально обрёл статус музея и стал местом ежегодного паломничества, газеты и журналы наперебой печатали статьи и заметки о поэте, его прижизненные фотографии. А по радио звучали “Клёны мой опавший...” и “Письмо к матери” на музыку Василия Липатова из его фортепианно-вокального реквиема “Соловьиная кровь” (композитора не стало в 1965 году) и – совершенно неожиданно для слушателей – “Шёл Господь пытаться людей в любви...” на музыку Георгия Свиридова.

Далеко не всем – в том числе из кожиновских знакомых – этот праздник пришёлся по душе.

“Любимый поэт таксистов”, – фыркал Борис Слуцкий, по ходу дела в разговорах цитируя Шкловского: “Беда Есенина в том, что искусство явилось для него не отраслью культуры, не суммой знания-умения, а расширенной автобиографией”. (Кожинов на это позже ответит: “Есенин обладал такой богатой, сложной и по-своему цельной поэтической судьбой, которой очень не хватало многим его образованным современникам... С другой стороны, он имел достаточно знаний интеллектуального характера, достаточно для создания той великой поэзии, которую он мог и должен был создать... Думать, что культура измеряется количеством интеллектуальных знаний – значит волей-неволей приходиться к выводу, что все Сальери мира – люди более высокой культуры, чем Моцарт...”)

... Этот праздник вообще заставил задуматься о многом. Прежде всего, он заставил многих и многих людей заново прочитать в Есенина, а заодно и подумать: что значит его судьба на катастрофическом переломе времени, какой смысл имеет она для наших дней, в чём, наконец, смысл той **революции**, торжественный полувековой юбилей которой всё более неумолимо приближался...

И, наконец, с полным правом (как будто заново обрётённым именно в связи с Есениным) люди начали говорить о нём как о великом русском поэте. Не советском, а именно русском. Соответственно, и в разговорах о современной поэзии разделяя понятия “советская” и “русская”.

А за полгода до есенинского юбилея в 5-м номере “Молодой гвардии” появилось открытое письмо “Берегите святыню нашу!” за подписью Сергея Коненкова, Павла Корина и Леонида Леонова с эпиграфом из Пушкина: “Неуважение к предкам есть первый признак дикости, безнравственности”.

“... В последние годы довольно усердно производится разгром памятников нашей национальной старины. Мало того, что многие первостепенные памятники истории оставлены без охраны, без какой-либо государственной поддержки, полностью или почти полностью сняты с “казённого довольствия”, но зачастую они просто превращены в щёбёнку, в щепу, в утиль. Мы потеряли необычайно большое число образцов зодческого искусства, обладавших значительной художественной и исторической ценностью. В редакции газет и журналов, в адрес общественных деятелей, писателей и художников приходят многочисленные письма наших современников и патриотов с требованием остановить, пока ещё не поздно, уничтожение вещественных реликвий былого народного величия и вековой славы нашего народа.

Ни для кого не секрет, что на Севере разбираются на дрова, летят в топки пароходов, полыхают яркими кострами на лесосеках маленькие деревянные шедевры, создания безымянных предков, самородных русских зодчих. Гибель этих творений человеческого гения проходит в тишине, как явление вполне законное и закономерное. Если время от времени вспоминается у нас двадцатидвухглавый собор в Кяхте, произведение хрестоматийное, вошедшее во все истории искусств, то никто и никогда не вспоминает о гибели подобного ему Вытегорского собора, судьбу которого также разделили сотни и сотни памятников...

Мы должны встать на борьбу с ханжеским мнением ограниченных людей, будто церкви и другие культовые здания — объекты только религиозного значения, что под золотыми куполами содержится лишь “опиум народа”, потому что их создатель — русский крестьянин — в доступной ему форме запечатлел в них труд, страдания, жертвы, ум, отвагу и подвиг народа, в этих зданиях высочайшее для каждой эпохи проявление художественного творчества нации. Некоторые пытаются также оправдать снос памятников некими экономическими причинами, в частности, это относится к положению в Москве. Мы понимаем, что население города растёт, изменяется, он ширится, меняет одежду, но взглянуть, как уже обезличена наша столица. Прекрасно видна абсолютная бессмыслица большинства сносов (а в Москве снесено более 400 памятников!). Архитекторы-планировщики, создавая проекты застройки города, при которых гибнут или заслоняются башнями из стекла и бетона памятники, должны сохранять творения, пускай безвестных, русских плотников и каменотёсов. Пусть эти старинные камни станут жемчужинами в оправе современных построек — они лишь усилят исторически гармоничный ансамбль старого и нового. Видимо, вопросами застройки городов нередко занимаются у нас случайные, прохожие люди.

Наша гордость и святыня должна быть спасена. Надо воспитывать в детях наших любовь и уважение к дедам и прадедам, наполнять душу ребёнка чувством патриотизма, чувством уважения к каждой крупинке памяти о пращурах наших, о прошлом России.

Культурное наследие должно бережно сохраняться, пропагандироваться, становиться органической частью нашего бытия.

Из души, из сердца каждого русского человека исходит требование: “Остановитесь! Берегите нашу святыню!”

Борьба общественности против хрущёвского вандализма длилась уже несколько лет. Ещё в марте 1962 года в журнале “Москва” было напечатано письмо в защиту уничтожаемых памятников архитектуры “Как дальше строить

Москву?”, подписанное группой энтузиастов (в частности, художником А. А. Коробовым и членом Советского Комитета защиты мира В. П. Тьдманом). Газета “Правда” ответила уничтожающей статьёй, был вышвырнут из редакции журнала заместитель главного редактора – талантливый поэт Василий Кулёмин, скончавшийся после этого от инфаркта, – и разрушение того, что осталось от старой Москвы, продолжалось... Новое послание с требованием остановить это варварство, написанное неумолимым борцом за сохранение храмов и исторических зданий Петром Дмитриевичем Барановским и его единомышленниками, вручил Илья Глазунов Сергею Михалкову для передачи первому секретарю ЦК КПСС. Хрущёв, жаждавший извести под корень в стране всё, что было связано с именем его предшественника (включая частичную реабилитацию Русской Православной Церкви в военное и послевоенное время), жаждавший в год “наступления коммунизма” показать по телевидению “последнего попа”, назвал православные храмы “спасами на яйцах” и отказался вообще продолжать разговор на данную тему. 11 апреля 1964 года художник и искусствовед Владимир Десятников записывал в свой дневник:

“По студенческой Москве прокатилась волна вечеров, посвящённых охране памятников истории и культуры. Такой всплеск гражданской активности во многом вызван тем, что Главное архитектурно-планировочное управление столицы (Посохин-Пейсохин), выполняя социальный заказ по реконструкции города, планомерно ведёт работу по сносу старинной застройки и, в первую очередь, церквей. По Хрущёву, грядущий коммунизм возможен только в атеистической стране... Богоборчество – один из главных козырей в идеологической игре Хрущёва. Всем памятно его обращение к Гагарину: “Как, Юра, видел Бога на небесах?” На свой вопрос Никита сам же и ответил: “Бога нет! Без Бога – шире дорога!” В городах и сёлах под разными предлогами закрываются церкви, в которых чаще всего теперь открываются автотракторные мастерские, склады, магазины, клубы. То, что гибнут бесценные сокровища – фрески, иконы, книги, шитье, скульптура, наконец, колокола, – мало кого волнует. В Карелии один из районных уполномоченных Комитета по делам религий и вовсе отличился. Собрал из окрестных сел и деревень сотни икон и в назидание подрастающему поколению сжёг на школьном дворе. Отличившегося уполномоченного на зависть коллегам с повышением перевели на другую работу. О чудовищном вандализме никто из власть предержащих и не задумался. А ведь среди сожжённых икон наверняка были шедевры кисти безвестных русских гениев. Увы всем нам! Повсеместно парткомам была дана команда принимать самые решительные меры против тех сотрудников “государственного аппарата на местах, министерств и ведомств Москвы, кто даёт послабку в своих семьях, не противится религиозному дурману. Введена обязательная запись паспортных данных и места работы обоих родителей, желающих окрестить своего ребёнка. Священник обязан о совершенном таинстве крещения письменно оповещать местного уполномоченного Совета по делам религий, а тот, в свою очередь, сообщает об этом по месту работы родителей. Круг замкнулся... Впрочем, молодёжь на мякине не проведёшь. Как мне доподлинно известно, по отчётам библиотек, подведомственных Министерству культуры, количество затребованной в читальных залах церковной литературы (включая Евангелие, Жития святых и пр.) возросло в несколько раз...”

А 4 июня в “Комсомольской правде” появилась статья журналиста Василия Пескова “Отечество”:

“На столе у меня письмо. Пишет Ольга Юрьевна Д. из Рязани. “...Сын у меня не хуже других – начал работать, а сейчас и в школу вернулся в девятый класс... Написать я решила после вчерашнего разговора. Пришёл приятель Володи. Взялись чинить приёмник. Я прислушалась, о чём говорят, и вмешалась. “Родина, говорю, ребята, – это самое дорогое для человека”. А они засмеялись: “Родину, мама, сентиментальные люди придумали. Жить везде хорошо, где хорошо живётся. Везде солнце одинаково светит...”

Ночь не спала. Надо было объяснить ребятам что-то важное, но я не смогла и потому решила вам написать”.

Умное взволнованное письмо. У таких матерей дети, в конце концов, вырастают хорошими людьми. Но тревога у матери не напрасная. Что же такое Родина для человека?

Родина – это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и странство в одну шестую всей земной карты. Это самолёт в небе и птицы,



летающие на север над нашим домом. Родина — это растущие города и малые, в десять дворов, деревеньки. Это имена людей, названия рек и озёр, памятные даты истории и планы на завтрашний день. Это ты и я с нашим миром чувств, нашими радостями и заботами.

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И всё, что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни. Без корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни питают дерево, связывают его с землёй. Корни — это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это наша история. Это наши деды и пращурь. Это их дела, молчаливо живущие рядом с нами в степных каменных бабах, резных наличниках, в деревянных игрушках и диковинных храмах, в удивительных песнях и сказках. Это славные имена полководцев, поэтов и борцов за народное дело...

Полвека назад многие думали, что всё это лишнее. “Груз прошлого — вон с корабля!” В прошлом было действительно много такого, от чего в новом мире надо было избавиться. Но оказалось, не всё надо сбрасывать с корабля истории. В крутые годы войны мы призвали на помощь себе наше прошлое. “Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!” Нас вдохновляли эти великие имена! Прошлое стало оружием. Силу его никто не измерил. Но можно сказать, что была она не слабее знаменитых “катюш”...

Мне было двадцать лет, когда на первую получку я приехал из Воронежа поглядеть на Москву. И рано утром с поезда пошёл на Красную площадь. Я слушал, как бьют часы. Хотелось рукой потрогать кирпич в стене, потрогать камни, выстилавшие площадь. Было такое чувство, что я сделал что-то главное в жизни... Можно ли представить эту площадь без храма Василия Блаженного?

Скажу сейчас об удивительном факте. Я бы сам не поверил, если бы не услышал это от человека, всеми глубоко уважаемого. Вот что рассказал Пётр Дмитриевич Барановский, лучший реставратор памятников нашей старины: “Перед войной вызывают меня в одну высокую инстанцию. “Будем сносить собор, просторнее надо сделать Красную площадь. Вам поручаем сделать обмеры...” У меня тогда комок в горле застрял. Не мог говорить, не мог сразу поверить... В конце концов, чья-то не известная мне мудрость остановила непоравимое действие. Не сломали...”

Песков писал не только о памятниках — он обращался ко всей истории Отечества, её незаменимости в воспитании подрастающего поколения. И это обращение своей тональностью и смыслом было поистине в тогдашнем времени (неумолимо переламывающемся, но этого перелома большинство ещё не ощущало) неким серьёзным нарушением “революционных приличий”... Мгновенно последовал ответ: по рукам в неучтённом количестве экзemplаров пошло письмо “К вопросу о воспитании советского патриотизма” Ивана Михайловича Данишевского, адресованное “Комсомольской правде”.

Это была весьма примечательная личность. Родившийся в конце XIX века выходец из еврейской семьи, бывший эсер, ставший большевиком, заслуженный чекист, возглавлявший во время крымских расстрелов 1920 года (общее количество жертв приближалось к двадцати тысячам) “тройку” в Феодосии, сталинский зек, отбывший почти полтора десятка лет на Колыме, — он “накатал” вдохновенный текст, подобный “Не могу молчать!” У заслуженного во всех отношениях гражданина не выдержало ретивое: орган Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи выдвигает программу воспитания молодого поколения в “антиреволюционных” традициях... А тут ещё и вспомнилась частичная реабилитация отечественной истории при ненавистном Сталине... Ну, как можно было сдержаться и не заявить свой протест!

“Когда в связи с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз ждали выступления по поводу войны, чего ждал от него весь мир? Ждали, что звериному национализму немецко-фашистских разбойников будет противопоставлено развёрнутое знамя революционного пролетарского интернационализма... Но... произошло нечто иное. Имя Ленина было упомянуто мельком. Главное же — в нафталине истории России, по архиреакционному царскому историку Иловайскому... была извлечена плеяда “наших предков”, достаточно

респектабельных, чтобы быть противопоставленными “предкам” Гитлера... Одним таким выступлением, одним своим призывом “вдохновляться мужественным обликом” царских сатрапов перед всем миром было продемонстрировано стремление повернуть ход борьбы с классовых позиций на почву националистическую... Было бы неправильно утверждать, что знаменитый призыв “Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный облик наших великих предков – Александра Невского и т. п.” – вообще не сыграл никакой роли. Нет сомнения, что в нашей стране нашлись людские прослойки, для которых этот призыв звучал вдохновляюще. Но что это были за прослойки? У нас были и прослойки, искавшие вдохновения в годы войны в елейной проповеди в церквах. Нет сомнения, что и за рубежами нашей Родины внимательно прислушивались к такому манифесту страны, которой опасались как оплота, как глашатая совсем иных призывов, боевых, ещё не забытых со времён В. И. Ленина, со времён Великого Октября и гражданской войны. Многие за рубежом готовы были аплодировать такой смене призывов...”

С сожалением прерываю дословное цитирование этого замечательного документа, дальше идёт ещё много интересного – вплоть до почти забытых с начала 1930-х характеристик героев русской истории: “Суворов – крупный царский полководец-рабовладелец. Он прославился своим умением вести своих солдат-крепостных на смерть, на муки и лишения ради интересов своих угнетателей-рабовладельцев... по царскому приказу отдавал свой военный талант на кровавое усмирение восставшей Польши... Следует ли нам, строителям коммунизма, вдохновляться и вдохновлять других его “мужественным обликом”?.. А Кутузов был типичным генералом-крепостником... Для “народолюбца”-Кутузова вооружённый крестьянин-крепостной был опасен и страшен...” Упоминание Песковым о царяине на полу храма Василия Блаженного, “быть может, нанесённой посохом Ивана Грозного”, буквально вывело старого большевика из себя: “...Его нимало не волнуют и не интересуют не царяины царского посоха, а зарубки царских топоров, следы работы царских палачей на расположенном рядом месте массовых казней – “Лобном месте”...” (заслуженный чекист даже “Историю России в самом сжатом очерке” Покровского не удосужился как следует прочесть: Лобное место предназначалось для оглашения царских указов – смутьянов казнили на столь любимой нашими современными либералами Болотной площади). Выраженное Песковым сожаление о переименовании Охотного ряда в “проспект Маркса” ещё более повысило градус возбуждения ветерана: “Автор не может не знать, что Охотный ряд был логовом чёрной сотни, главной базой “Союза русского народа”, “Союза Михаила Архангела” и т. п. боевых отрядов верноподданных погромщиков. Само слово “охотнорядец” было синонимом тупого, заскоружлого мракобеса...”

А дальше – больше.

“Может быть, автор предложит восстановить старые “исконные” названия и других, обиженных революцией улиц в Москве, и в других городах, а заодно и названия самих городов, таких как Екатеринослав, Елисаветград, Александровск, Петроград...? Послушать Пескова – всё это надо реставрировать, “немудрый” декрет Ленина – отменить, всех, “по ошибке” революции снятых царей, князей и генералов – восстановить на пьедесталах! Так, что ли?... Церкви строились тогда не ради умиления будущих Песковых, а ради укрепления господства феодалов-крепостников, как оплоты мракобесия...”

И ведь как в воду глядел сей товарищ с богатой биографией! Не пройдёт и года, как на Ленинградском телевидении выйдет передача “Литературный вторник” с участием двух ровесников века Дмитрия Лихачёва и Олега Волкова (оба в своё время отбывали срок в Соловецком лагере особого назначения), языковедов Льва Успенского и Вячеслава Иванова, а также Владимира Солоухина и Владимира Бушина. Разговор состоялся настолько запоминющийся, что его содержание потом в течение многих лет пересказывалось стареющими очевидцами.

Вёл передачу китаист Борис Вахтин.

“**Вахтин:** Дорогие друзья! Сегодняшний наш “Литературный вторник” посвящён русскому языку, русской речи, русскому слову. Мы собрались здесь сегодня не случайно. Вы знаете, конечно, прекрасно, что несколько лет назад как бы внезапно, как бы неожиданно мы все обнаружили для себя заново

нашу Родину. Началось это, пожалуй, с интереса к иконам, с интереса к старине. Мы открыли для себя замечательную живопись, замечательную архитектуру, превосходные памятники слова. И вот на фоне этого большого интереса, а этот интерес, между прочим, сначала носил характер скорее не столько восхищения, сколько возмущения: действительно, в одном месте растащили на дрова церковь, в другом месте разобрали монастырь старинный на кирпичи, там сожгли иконы, там не сберегли рукописи... Скорее это носило характер возмущения такого... Так вот, на фоне этого интереса к нашей национальной культуре, вслед за ним, появилось особое чувство – много статей было напечатано на эту тему – такое стремление сберечь нашу природу, сберечь речь, сберечь леса, сберегать птиц, сберегать животных в наших лесах, помнить, что мы здесь хозяева, которые свою собственную землю должны беречь, иначе она разрушится, иначе она придёт в запустение...

Тысячи молодых людей, энтузиастов устремились в самые разные места... сплошь и рядом встречаешь где-нибудь в старинных русских городах молодых студентов, они не очень даже хорошо, может быть, знают старину, но тяга очень большая к этому. Между тем здесь не всё благополучно даже в этой области, в области сбережения национальной культуры. Я вспоминаю в Ярославле нынче осенью чудесную церковь Николаи Мокрого... На ней возвели леса, чтобы её реставрировать, а затем забросили эти леса. Леса стали своего рода памятником архитектуры, они так же разваливаются, как и церковь. Никто, значит, не бережёт, не следит за этим. Постепенно вот от такого интереса к материальной культуре мы переходим к тому, что, пожалуй, в культуре является важнейшим, то есть к языку, к речи нашей. А здесь тоже далеко не всё благополучно. Живая речь сейчас гораздо богаче, гораздо ярче, сложнее по составу, чем та речь, которая отражается в литературном произведении; литературная речь очень оторвалась от живой разговорной речи. Этот отрыв почти так же велик, как он был велик во времена Даля, создававшего свой "Словарь..." и очень сетовавшего на это положение...

**Лихачёв:** ...Мы не бережём язык в наименованиях. У нас очень много переименовывается. Причём я уже не говорю о том, что менять старые традиционные названия – это нехорошо, потому что мы как-то разрываем с традициями. Эти названия наших улиц, площадей, городов часто встречаются в литературных произведениях, и потом нужно гадать, о каком городе, о какой улице, о какой площади идёт речь в этом литературном произведении, искать, какой-то устраивать перевод в путеводителе. Но дело и в том, как мы переименовываем, просто иногда неграмотно, неудачно. Я бы хотел привести два примера. Так сказать, немножко забегая вперёд, но всё-таки сказать о том, что переименования, такие как Петергоф и Петродворец, – это переименования плохие с точки зрения русского языка, потому что как вы назовёте дворцы? Петродворецкие дворцы? Получается какая-то тавтология... У нас теперь Петрокрепость. Вместо Шлиссельбурга. А как вы назовёте жителей Петрокрепости – петрокрепостники?..

**Волков:** ...Достаточно сказать, что Ломоносов официально считался академиком десьянс академии, академия наук была десьянс. Ну вот, как раз, когда этому так свирепо насаждаемому офранцуживанию, онемечиванию, тому, что староверы называли обасурманиванием языка, противостояла народная традиция. Но одновременно было бы близоруко не вспомнить и значения, конечно, наряду с народным творчеством, нашей прочной христианской традиции, потому что одно то обстоятельство, что вот у нас богослужение велось на старославянском языке, понятном народу... Значит, как-то уху русского старые корни, старые славянские слова не оставались чуждыми, он был приобщён к ним, потому что слышал понятное. И вот это влияние церковной грамоты, оно сказывалось и на светских сочинениях очень поздно, даже, я думаю, можно в начале XIX века проследить. В замечательнейшем русском памятнике письменности... в "Житии протопопа Аввакума" особенно интересно прослеживаются блёстки народного языка, такие драгоценные камни прямо вправлены в прочную ткань прозы образованнейшего церковника XVII века. Я позволю себе прочесть несколько коротких строчек из "Аввакума" как раз потому, что вы знаете Аввакума. Ведь читали и перечитывали его Достоевский, и Тургенев, и Толстой, Лесков, знали его и всегда черпали в нём что-то. Так вот, он говорит о суетности человека, который не способен удовольствоваться тем, что у Христа того света наделано для человеков. И протопоп,

значит, пишет про нас, грешных, конечно: “Скачет, яко козёл; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съестъ хошет, яко змия; ржёт зря на чужую красоту, яко жребя; лукавует, яко бес; насыщался довольно; без правила спит; Бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не вем, камо отходит: или во свет ли, или во тьму — день судный, коегождо явит”... Так вот я и хочу сказать, что вот эта связь с церковно-славянским языком и народные традиции были теми столпами, которые помогали русскому языку отбиться, так сказать, от нежелательных влияний. А сейчас я считаю, что этих опор нет, не говоря о том, что мы начисто отрешены от церковно-славянского, но и от народных традиций. Вот фольклор, вряд ли он может считаться, что он на такой народной основе, потому что, скажем, песни Киреевский сейчас бы не пошёл собирать в деревню, а ему пришлось бы просто пойти в Союз писателей и спросить адреса штатных песенников, которым эти, понимаете ли, песни отсюда туда даются. Потом, ну, в каких-то медвежьих углах, может быть, сохранились, но радио и газеты всё это дают отсюда, от нас, из города, идут, так сказать, языковые навыки, словарь и всё туда... И мне кажется, что наша задача, писателей, это как раз... углубляться в классическое наследие, может быть, знакомиться со словарём агеографической литературы, то есть вот с житиями святых, летописями, и там черпать старые, ёмкие, хорошие слова, обороты и приучать наших редакторов, кстати, чтобы они не шарахались от таких слов...

**Вяч. Иванов:** ...Мы ещё многого не знаем и плохо знаем из того, что было в последующие годы, скажем, у Андрея Платонова, у Булгакова, в его прозе. У нас часть прозы 30-х и 40-х годов находится ещё в запасниках, как говорят в музеях, и постепенно только начинает это обнародоваться, и мы уже видим, как много было у Андрея Платонова такого. И наконец, мне хочется сказать о Солженицыне. Мне кажется, что это изумительное явление в нашей новой литературе замечательно и воскрешением, причём по-новому, вот этой сказовой традиции. У Солженицына и в “Матрёнинном дворе”, и в “Одном дне Ивана Денисовича” мы слышим этот живой голос современных людей и осмысление всего исторического опыта, просветлённое духовностью, свойственной русской литературе. Оно сказалось в самом словаре, в говоре, в построении фразы, в отсутствии этой скованности и стандартности. Вот таковы все большие русские писатели. Поэтому русская литература велика и тем, что она непрерывно связывает русскую речь, которая живёт в повседневном обиходе, и язык письменной русской литературы. Такова и русская поэзия. Мандельштам в своих статьях о поэзии писал, что все большие русские поэты способствовали обмирщвлению языка, язык становился всё ближе к обычной разговорной речи. И это действительно так. Так что я думаю, что одна из самых больших заслуг русской литературы перед Россией состоит в постоянном внимании к живому русскому слову...

**Бушин:** ...Обеднение нашего языка происходит и из-за того, что на протяжении вот уже многих десятилетий с большим рвением искореняются старинные, колоритные, поэтические названия городов и улиц. Делается это бесхозяйственно, безответственно, а главное, без всякой на то нужды. Мне довелось в конце октября прошлого года в “Литературной газете” опубликовать статью “Кому мешал Тёплый переулоч?”. Статья вызвала многочисленные и весьма заинтересованные отклики читателей. Я позволю себе выдержки из некоторых писем здесь процитировать. Товарищ Куприяновский из Ивановки пишет: “Чехарда с переименованиями — это не игра и не безвинное занятие. Нередко это проявление нигилизма и равнодушия к прошлому, к исторически сложившемуся укладу жизни. Это эгоистическое самоутверждение современников, которым нет дела ни до пращуров, ни до своих потомков”. Ленинградский инженер Добросердов пишет: “Родину, родную землю стремятся выбить у меня из-под ног необдуманно переименованиями. Задумываются ли люди, заменяющие устаревшие, по их мнению, названия новыми, о том, что наступит время, когда эти новые названия тоже станут старыми. И если следовать подобному правилу, они тоже будут переименованы. Что же после таких бесчисленных переименований останется исторического?” Профессор, доктор технических наук ленинградец Синевский пишет: “Только тем, что у мудрости есть пределы, а противоположность её безгранична, можно объяснить переименование таких городов, как Тверь, Вятка, Пермь, Нижний Новгород, Самара, — городов, стоявших у истоков русской истории”. Старый большевик Трофимов, тоже

ленинградец (здесь письма, я старался, чтобы ленинградцы были) пишет: “Это переименование городов напоминает их раздачу. Помните, в исторической песне “Ой, и делалось в орде...”: Сидит там царь, Озвяг Таврунович, // Царь дарил городами стольными // Василья – на Плесу, Гордея – в Вологде, Охромей – в Костроме”... Но и он, добавляет товарищ Трофимов, отдавая эти города на прокорм, не калечил их имён... Москвичка Морозова пишет: “Самару, Нижний Новгород, Тверь, Вятку, Сталинград мы должны иметь. В Москве должны быть площади Театральная, Кудринская, Калужская. Должны быть улицы Тверская, Поварская, Моховая, Остоженка, Пречистенка”.

**Ироническая реплика:** Это какие-то отсталые люди, старого закваса – или легкомысленные.

**Реплика:** Пенсионного возраста.

**Бушин:** Да, но вот передо мной ещё одно письмо. Его заключительные строки таковы: “Считаю, что прежнее название нашего города ничем не опорочено, а наоборот, вошло в историю как принадлежащее городу с большим революционным прошлым, мы, старые коммунисты-самарцы, выступаем за то, чтобы вернуть нашему городу его прежнее имя Самара”. И под этим письмом 33 подписи старых коммунистов, в основном это члены партии с 17-20-х годов, а есть даже среди них член партии 1904 года, и есть среди них член партии с 20-го года, Герой Советского Союза Конеv... С особым тщанием уничтожаются названия, имеющие, так сказать, религиозное происхождение. В Москве комиссию по переименованиям возглавляет секретарь исполкома Моссовета товарищ Пегов. Он печатно провозгласил намерения этой комиссии: истребить в Москве все улицы, напоминающие о церквях. Но если товарищ Пегов так боится всего лишь словесного напоминания о церквях, то ему, если он хочет быть последовательным, надо бы прежде завершить уничтожение в Москве самих церквей – Кремлёвских соборов, Василия Блаженного, Ново-Девичьего монастыря, Андроникова. Потом ему следовало бы добиться принятия закона об обязательной смене фамилий религиозного происхождения, ибо людей с такими фамилиями несравненно больше, чем улиц с аналогичными названиями. Один Олег Попов чего стоит. Его имя...

**Солоухин:** Вознесенский.

**Бушин:** Вот я и хочу сказать. Его имя на устах у миллионов, имя Олега Попова. Под действие этого закона попали бы, помимо Олега Попова, скажем, поэт Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и ваш ленинградский поэт Рождественский. Попал бы под действие этого закона и присутствующий здесь писатель Успенский, ибо фамилия Успенский – тоже религиозного происхождения. Только после принятия этого закона, и не раньше, есть смысл приняться за улицы и переулки. Только после этого...”

Потом на обсуждении этого события (телепередача шла в прямом эфире) в Комитете по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР было заявлено, что это была передача, “сомкнувшая фронт тех, которые ведут атаку на политику нашей партии по литературе и другим каналам”; что “в Ленинграде делалась попытка атаковать под видом защиты нашей старой культуры то, что утверждается”; что “любое иностранное агентство взяло бы эту передачу и пустило бы в эфир”; что “это реванш ленинградцев за всё!” (запомним эти слова! – **С. К.**), что “эта передача произвела впечатление хорошо организованной вылазки, потому что здесь была полная спайка... Здесь был организованный подбор и организованные единомышленники, которые отыгрались за всё, что они слышали о себе на конференциях. Ведь взгляды большинства выступавших известны давно. Если говорить с партийно-литературоведческих позиций, то это просто антипартийная передача...”; что “эта передача политическая, но она пропагандирует политику, противоположную нашей партии... Это диверсионная вылазка идеологических противников”, “идейная вылазка, направленная против самих основ нашей идейно-политической жизни”, “нанесено огромное оскорбление нашему народу”; что “это махровое славянопятство... Смысл сводился к тому, чтобы вспять отойти от всего, что завоевано”; что “это была шовинистическая передача, и в ней шовинистические, великодержавные мысли”; что Волков “перешёл границу”; что выступление Бушина было “политически вредное”, “хулиганское” и оно “не должно было появляться на экране Ленинградского телевидения”... Была также подготовлена Записка Отдела пропаганды и агитации

ЦК КПСС с соответствующим текстом: “Участники передачи (писатели Л. Успенский, О. Волков, В. Солоухин, литературоведы и искусствоведы Б. Вахтин, В. Иванов, Д. Лихачёв, Л. Емельянов) заняли в целом неправильную тенденциозную позицию”. Они “в развязном тоне потребовали вернуть прежние наименования городам Куйбышеву, Кирову, Калинин, Горькому, высмеивали такие общепринятые сокращения, как РСФСР, ВЦСПС... Выступая за чистоту русского языка, они приводили в качестве его эталона произведения Пастернака, Белого, Мандельштама, Хлебникова, Булгакова, Солженицына, цитировали протопопа Аввакума, но при этом совершенно не упоминались имена Чехова, Горького, Маяковского, Шолохова”. Под этой запиской стояла подпись заместителя заведующего этим отделом А. Н. Яковлева. Сия фамилия нам встретится ещё не один и не два раза.

Но вернёмся к письму Данишевского, с которым (едва ли зная о его существовании) выступили в унисон ответственные товарищи из Комитета телевидения и радиовещания... Ведь даже частичная, непоследовательная реставрация прошлого возбудила у заслуженного пенсионера приступы лютого гнева. Это битва за историю? Не обманывайте себя – это битва за современность. Зря, что ли, Данишевский вспомнил “прослойки, искавшие вдохновения... в церквях”? Ему послышался зов трубы “той далёкой гражданской”, вдохновлявший полвека с лишним тому назад отнюдь не только молодых “шестьдесятников”. Он ощутил себя то ли юным бойцом, рубящим “в капусту” ненавистную “контру”, то ли следователем ревтрибунала (жаль только, что эту роль приходится исполнять лишь на листе бумаги! Даром, что ещё недавно казалось: вот оно, наступили блаженные времена “ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИХ НОРМ”, когда за последние четыре хрущёвских года по религиозным мотивам были осуждены в уголовном порядке 1234 человека)... Но тем вдохновеннее талантливому журналисту и русскому патриоту “шьётся” политика:

“...Программа воспитания патриотизма, которую предлагает В. Песков, воспитания на умилении благолепием церквушек и малинового звона колоколов... – эта программа подходила бы для дореволюционного патриотизма господствующих классов или для “патриотических” вздохов современных вырождающихся из “перемещённых лиц” и “невозвращенцев”, из “власовцев”, которые именно о такой антисоветской, а не о нашей Советской Социалистической Родине (куда им дорога заказана) мечтают...”

Может возникнуть вполне закономерный вопрос: стоит ли уделять столько внимания посланию ничего не забывшего и ничему не научившегося революционного “мастодонта”, тем более, не “засвеченному” на страницах советской печати? Не будем торопиться. Очень многое из написанного Данишевским через некоторое время будет подхвачено и развито (правда, с гораздо меньшим эмоциональным градусом) вполне официозными советскими критиками и публицистами. А само послание ветерана в пространных извлечениях и подробном пересказе найдёт своё место “за бугром”, на страницах “Политического дневника” публициста и историка, диссидента “левого толка” Роя Медведева (по мнению публикатора, “многие положения Данишевского совершенно справедливы, он убедительно критикует ошибочность песковских позиций”) в 1972 году. О значении данной публикации именно в это время мы ещё поговорим.

... В 1964 году на встрече со студентами Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева Илья Глазунов предложил создать молодёжный клуб любителей истории и древнерусского искусства – идея была тут же поддержана Владимиром Десятниковым, Петром Барановским и Владимиром Солоухиным... “Факт сам по себе знаменательный, – записал в дневнике Десятников, – ибо основной состав участников вечера – это дети победивших в Великой Отечественной войне. В обществе всё более и более проклевываются неизбежные вопросы вызревающего национального самосознания: кто мы, какова наша история и каково наше предназначение в мире? “Без прошлого нет будущего” – такова была итоговая мысль закопёрщиков вечера...” Так возник знаменитый клуб “Родина”, и тем же летом Десятников, Барановский, архитектор и историк архитектуры М. Кудрявцев и архитектор-реставратор Л. Антропов выступили с предложением создать Общество охраны памятников истории и культуры.

А проект упомянутого выше письма “Берегите святыню нашу!” был подготовлен главным редактором “Молодой гвардии” Анатолием Никоновым, его

заместителем Валерием Ганичевым, членом редколлегии Сергеем Высоцким и Владимиром Десятниковым, после чего и был показан каждому из трёх убеждённых сединами классиков.

Как вспоминал годы спустя Валерий Ганичев: “Девяностолетний Конёнков был жизнерадостен, всё время вспоминал, что он из Смоленска, а они всегда первыми встречали врага... Обращение он подписал и со всем согласился. Корин был раздумчив, рассказал, как создавал образ Александра Невского, как Сталин называл Невского первым на параде 7 ноября 1941 года, и твёрдо сказал, что “образ великих предков” нас должен вдохновлять, а то нам то Розу Люксембург, то Клару Цеткин подсовывают. Размашисто и чётко подписал. Дольше всех сидел над письмом Леонид Максимович Леонов, подбирал, улучшал. Решительно вычеркнул обращение “Наша славная советская молодёжь”, ворчал: “Какая она славная, вот во время войны была славная, а сейчас пусть докажет”. Мы не возражали: пусть докажет... Поистине это была программа, воссоединяющая героическое прошлое и сегодняшнюю жизнь молодого поколения на фоне “молодёжной субкультуры”, утверждении о “коренном отличии молодого поколения от отцов” как якобы революционного постулата. На фоне революционаризма, развернувшейся культурной революции хунвейбинов мы соединяли руки поколений, говорили об общих духовных, исторических, культурных ценностях древней дореволюционной Руси и Советского Союза. Всё наше! А не как у псевдоисториков Покровского и Минца, втапывавших в грязь всю дореволюционную эпоху как недостойную. Конечно, это был исторический прорыв к обществу, ибо оно чутко откликнулось на обращение, распечатанное в сотнях, тысячах, письмо расклеивалось в библиотеках, клубах, перепечатывалось в книгах, местных газетах...”

И если сторонники хрущёвского “восстановления ленинских норм” воспринимали своё противостояние с новыми “черносотенцами” как продолжение гражданской войны, то поборники связи времён ощущали себя на войне Отечественной.

\* \* \*

В это же время Кожинов сдружился с молодыми немецкими аспирантами ИМЛИ – Эберхардом Дикманом, собиравшим материалы для кандидатской диссертации о Льве Николаевиче Толстом (дружба с этим немцем продлится до конца жизни Вадима Валериановича), и Эдвардом Ковальским... Дмитрий Урнов вспоминал, как он и Кожинов вместе с Эдвардом ехали в такси по Моховой, и Ковальский с диким немецким акцентом по складам прочёл название улицы на одном из домов:

– “Прос-пект Мар-кса”...

Кажется, даже приосанился – настолько приятно было ему встретить в столице СССР увековечение памяти его знаменитого соотечественника.

Но Кожинова словно взорвало.

– Вернём, всё вернём! – крикнул он прямо в лицо Ковальскому.

И в этом “всё вернём” звучала надежда на возвращение не только исторических названий.

“...Только по его рассказам, – вспоминал о Кожинове Дикман, – о прошедших бурных пятидесятых, о тех драматических событиях, среди которых можно вспомнить спасение храма Симеона Столпника (в начале Поварской) группой славянофилов, которых я застал на той же Поварской – в кулуарах ИМЛИ или ЦДЛ...”

Возможно, рассказ Кожинова был настолько живописен, что память Дикмана приписала спасение памятника Вадиму Валериановичу и его друзьям. Церковь Симеона Столпника обязана своим спасением архитектору-реставратору Леониду Ивановичу Антропову, другу и сподвижнику П. Д. Барановского. Как свидетельствует Владимир Десятников, “...последний раз служили в этой церкви, когда отпевали Ф. И. Шаляпина. Об этом мне рассказывала дочь великого артиста Ирина Фёдоровна, заказавшая здесь службу по отцу и тем навлёкшая немилость на весь причт. То, что этот памятник украшает ныне проспект, заслуга вовсе не главного архитектора Москвы и автора проспекта (имени Калинина. – С. К.) М. В. Посохина. Сохранил его для Москвы Л. И. Антропов. Когда мощный экскаватор прибыл, чтобы развалить

обезображенное перестройками древнее сооружение, то Леонид Иванович залез в ковш экскаватора и не дал работать до тех пор, пока П. Д. Барановский и Г. В. Алфёрова не принесли приказ из Министерства культуры СССР о постановке памятника на государственную охрану. . .”

“Эти ребята, — продолжает Дикман, — мои ровесники или чуть старше меня — сидели сейчас рядом, я их слушал в конференц-залах или на секторах: Пётр Васильевич Палиевский, Сергей Георгиевич Бочаров и другие. Ученики Н. К. Гудзия или помощники-сторонники М. Бахтина. . . Многие уже были семейными людьми и железно сидели за своими книгами, хотя бывало, что гитара и дружеские кружки брали верх, откуда и мои знакомства, и московские впечатления: поездки в Ясную Поляну, тютчевские места, Подмоскovie (с посещением дочери М. О. Меньшикова), Пришвинские нивы, старая Москва и любимое — тогда почти в развалинах — Крутицкое подворье. . .”

. . . Да многие (в том числе в моём поколении) воспринимали Кожинова как убеждённого домоседа. Как часто свойство человеческой личности имеет обыкновение распространяться на восприятие всей природы! Его энергия начинала бить ключом, когда речь заходила о спасении или возрождении какого-либо памятника, о помощи талантливому человеку в издании его труда, об известии, что где-то живёт яркая и интересная личность — и с ней необходимо свести знакомство! В 1960–1970-е он поистине не знал покоя, его идеал воплощался в деянии, на которое не жалелось сил.

Он сам вспоминал, как навещал с друзьями в это время не только дочь Михаила Осиповича Меньшикова, русского националиста и огненного публициста, расстрелянного на глазах у детей в 1918-м, и книги которого (с немалыми трудом доставаемые) читались, как свидетельство о наших временах: “Мы, русские, долго спали, убаюканные своим могуществом и славой, — но вот ударил один гром небесный за другим, и мы проснулись, и увидели себя в осаде — извне и изнутри. Мы видим многочисленные колонии евреев и других инородцев, постепенно захватывающих не только равноправие с нами, но и господство над нами, причём наградой за подчинение наше служит их презрение и злоба против всего русского. . . Мы не хотим чужого, но наша — Русская — земля должна быть нашей”. . . Кожинов вспоминал, как он с друзьями наносил визиты Анне Васильевне Тимирёвой — фактической жене Колчака в последние два года жизни адмирала, как слушал её рассказы о тюремно-лагерной эпопее (она пережила 6 “посадок”) и, конечно, повествование о главном человеке в её жизни. . .

Посетителем её дома и внимательным слушателем её рассказов был также Владимир Максимов, потом воспроизведший её речь в романах “Карантин” и “Заглянуть в бездну” в той тональности, в какой длился её реальный рассказ — и внимали ей, боясь пропустить хоть слово, и Кожинов со товарищи.

— Я увидела его, деточка, в тот год, когда мир рассыпался в прах и невзнузданные лошади метались по земле, как угорелые. Жизнь, словно линия змея, сбрасывала с себя одряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял, печальный и бледный, среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или ему помочь. Священные развалины дымились под ним, страна кабаков и пророков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов, и даль клубилась меж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после светопреставления, сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком Георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своём долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рождён для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственность за будущее опустошённой родины. . . Я знала, что не обманусь в нём, но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В содome всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе всё, чем щедро одарила его природа: тонкость и великодушие, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него вилось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть живую



жизнь, облечь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом, — но лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демогогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий, сидел он в затемнённом вагоне, невидяще глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забытьё любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоём... Гибли народы, источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы, вишнёвый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастием... Я не помню, я не хочу помнить, сколько это продолжалось, во мне тогда установилось время и отсчёт яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него... Я сдержала слово, я умерла вместе с ним в ту же минуту, как только иртышская вода сомкнулась над ним. Пятьдесят с лишним лет лагерей, тюрем и частной жизни я лишь влачила здесь своё брненное тело по воле Господа. Его предали подло и унижительно, предали за кучку золота, предали люди, которым он безоглядно доверился... Нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он отрекался от нашей любви, от наших клятв и обязательств — во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву ради её же блага. Но я не могла, не имела права принять от него подобного дара. Я пошла к ним сама. Я просила одного: смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслуживала этого, слишком большой для меня казалась им эта честь — таким недосыгаемо высококи они его видели. Говорят, он вёл себя до конца, как подобает мужчине и офицеру. Говорят, чекистов в нём покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство по отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва... Я знала, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роковую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня, для меня одной...

Как можно было не поверить — тогда — хоть одному её слову!.. До сих пор звучит у меня в ушах глуховатое ворчание Передреева: “Не думай ничего плохого о Колчаке. На его руках нет крови ни одного мирного жителя... Это была благороднейшая личность!” До сих пор в памяти исполнение Кожинным романса “Гори, гори, моя звезда...” с кратким предисловием — в память о ком это исполняется... Годы и годы понадобились Вадиму Валериановичу, чтобы увидеть адмирала в его подлинной реальности — далёкой как от советской историографической карикатуры, так и от сусального портрета Тимирёвой... А в то время он, как признавался позже сам, пришёл к отрицанию всего исторического пути России после 1917 года.

“Теперь я понимаю, — писал он десятилетия спустя, — что эта “стадия” отрицания была по-своему оправданной или даже необходимой. Ведь и сама Революция являлась, в сущности, отрицанием всей предшествующей истории России, кроме тех её событий и явлений, которые можно было истолковать как её, Революции, “подготовку” и предвестие...” Конечно, в этом признании “отрицания всего исторического пути” есть изрядная доля преувеличения. Никогда ни на йоту не повергалась в его сознании ценность Победы в Великой Отечественной войне. Более того, духовная брань, которую начали вести в 1960-е Кожин и его единомышленники, подразумевала воссоединение разорванной связи эпох. Конечно, в отрицании “всего исторического пути” громадную роль сыграли и беседы с Бахтиным, и открытия неизвестных или надолго забытых историков и писателей, сплошь и рядом трагически окончивших свою жизнь, и переосмысление многих хрестоматийных творений советской литературы... И, конечно, в этом процессе познания неизбежной была частичная идеализация тех или иных героев отечественной истории. Но избежать этого было в принципе невозможно.

И было ещё одно, что способствовало отторжению от многого в советском периоде: насильственное навязывание его ценностей, волей-неволей провоцирующее на вопрос о цене пережитого, о потерях — во многом невосполнимых — на этом пути.

Приближалось 50-летие Великой Октябрьской революции. К этой дате писались книги, ставились спектакли, снимались фильмы, готовились многочисленные собрания и конференции... И со всей неумолимостью вставал вопрос о совмещении праздника вселенского катаклизма, отменившего в своё время формы и суть всей предыдущей жизни (Кожинов не зря подчёркивал, что “революция отвергла не только *самосознание* России, но и то её *бытие*, которым и было порождено это самосознание”), с новой тенденцией восстановления исторической памяти. В сознании многих и многих – от членов правительства до рядовых граждан – эти понятия либо не совмещались вообще, либо совмещались частично, более на уровне общих слов...

А тенденция “восстановления ленинских норм” набирала ход. И одним из её проявлений стал выход в свет нового романа Юрия Трифонова “Отблеск костра”.

“На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опалает жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костёр, и каждый из нас бросает в него свой хворост... Мне было одиннадцать лет, когда ночью приехали люди в военном и на той же даче, где мы запускали змеев, арестовали отца и увезли. Мы с сестрой спали, отец не захотел будить нас. Так мы и не попрощались. Это было в ночь на 22 июня 1937 года. Прошло много лет, прежде чем я по-настоящему понял, кем был мой отец и что он делал во время революции, и прошло ещё много лет, прежде чем я смог сказать об этом вслух. Нет, я не имею в виду невинность отца, в которую верил всегда с мальчишеских лет. Я имею в виду работу отца для революции, его роль в создании Красной гвардии и Красной армии, в событиях гражданской войны... Отец стоял близко к огню. Он был одним из тех, кто раздувал пламя: неустанным работником, кочегаром революции, одним из истопников этой гигантской топки...”

Передреев менялся в лице, когда слышал что-либо доброе (не говоря уже о восторженном!) о подобных героях гражданской, павших двадцать лет спустя на “тихой гражданской” (которая тогда, правда, так не называлась): “Тякие сотнями за собой других уводили!”

Кожинов потом не раз вспоминал, в том числе в печати, какое впечатление на него произвели отдельные пассажи из этого романа. В частности, процитированные документы, составленные Валентином Трифоновым. Один – от 10 июня 1919 года: “Нужно твёрдо и определённо отказаться от политики репрессий по отношению к казакам вообще. Это не должно помешать, однако, строгому, беспощадному преследованию в судебном порядке всех контрреволюционеров” и второй, написанный год спустя: “Те станицы, хутора и населённые пункты, которые оказывают содействие или дают приют изменникам и предателям дела трудящихся, будут... беспощадно разоряться... до полного их уничтожения...” Понятно, что ни о каком “судебном порядке” речи уже не шло. Но самым интересным здесь был комментарий писателя, полностью оправдывавшего (даже, скорее, возвеличивавшего) деяния своего отца:

“Суровый документ, столь отличный от доклада... написанного год назад, говорит не о том, что изменилась точка зрения, а о том, что изменилось время. Поистине, те, кто теперь подняли оружие против Советской власти, были не заблуждающимися, а отъявленными врагами...”

Возникал вполне логичный вопрос: если в 1920 году Валентин Трифонов не останавливался перед уничтожением целых станиц и хуторов, то не наступило ли его почти через два десятка лет справедливое возмездие?

“Страна жила так, – вспоминал Кожинов, – как будто она в самом деле была “родом из Октября”, а её молодёжь – “дети XX съезда”. И это вело – и привело – к самому тяжкому итогу...” Другое дело, что формировалось целое направление в общественной жизни, представители которого слишком хорошо чувствовали, к чему это может привести, и всеми силами старались этого “итога” не допустить.

По существу, ко второй половине 1960-х оформились два направления, каждое из которых было представлено своей группой: группой *революционеров* и группой *реставраторов*.

Сам процесс “исторической реставрации” требовал особой ответственности (в отличие от любого “революционерства”). И сравнительно краткий период “отрицания” сменился другим, когда наш герой не только со всем жаром

души и научной добросовестностью погрузился в изучение века XIX-го, но и стал “более трезво и взвешенно судить об истории Революции”. И этот период пришёлся как раз на начало работы Кожина в восстановленном Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.

\* \* \*

Ещё за год до его официального учреждения в кельях бывшего Высокопетровского монастыря на Петровке, 28 (где располагался Литературный музей) собирались молодые историки и филологи, обсуждавшие проект будущего общества. Среди них был лишь один представитель старшего поколения – уже знакомый нам Олег Васильевич Волков, потомственный дворянин, многолетний сталинский зек, высокий красивый седобородый старик (таким я его помню уже в 1980-е, но, думаю, так же воспринимали его собеседники в 1960-х). И он тогда слегка охлаждал вдохновенный пыл собравшейся молодёжи вопросом, в котором сказывался горький исторический и личный опыт: “А не окажемся ли мы все, господа, на Соловках?”

Время, впрочем, было уже иное. И властно требовало иного отношения к отечественной истории.

“Важно знать, – говорил впоследствии Кожин, – как и почему удалось официально утвердить это общество. В 1965 году возникли конфликты на советско-китайской границе, и поначалу имели место отказы противостоять нарушителям: ведь они, мол, такие же коммунисты, как мы. В этих обстоятельствах Главное политическое управление Советской армии поддержало идею создания ВООПИК”.

С другой стороны, как уже упоминалось, активнейшие организационные и дипломатические усилия прилагали Илья Глазунов, Леонид Антропов, Пётр Барановский, Михаил Кудрявцев, Владимир Десятников.

Из дневника Владимира Десятникова:

“3 октября 1964 г. В “Литературной газете” опубликована статья Л. М. Леонова “Прошу слова”. Поводом послужил опубликованный проект новой русской орфографии. “Признаться, малость невдомёк: к чему она, уже не первая на памяти моего поколения, реформа правописания? – гневно и саркастически вопрошает Леонов. – ...Нельзя столь часто совершенствовать одно и то же вострым ножом по живому телу. Надо по-божески, братцы, дайте и передохнуть немножко... Жаль, что проект не сопровождён конкретными подписями авторов. Анонимность орфографической комиссии и некоторые несомненные шедевры её работы, вроде заец, мыш, ноч, дают мне основание предположить, что к обсуждению этого общенационального дела не был приглашён ни один литератор – поэт или прозаик, – имеющий по самому призванию... повседневное профессиональное соприкосновение с разными речевыми таинствами в русском языке, какими, к слову, изобилует богатейшая крестьянская речь... Это уже не первый заход по русскому правописанию... последний, или имеет в замысле ещё что-нибудь?.. Простите, бывают такие поводы, когда на площади в рельсу бьют”.

Видя, как у двух “нянек” – Министерства культуры СССР и Госстроя СССР – гибнет в небрежении наше национальное культурно-историческое наследие, я обратился к Е. А. Фурцевой и с письменным заявлением о назревшей необходимости перестройки органов охраны памятников и привлечении к этому широкой общественности путём создания Добровольного общества охраны памятников культуры. В моём заявлении нашли отражение все те мысли, которые П. Д. Барановский, М. П. Кудрявцев, Л. И. Антропов и я изложили во время недавнего нашего посещения Идеологического отдела ЦК по РСФСР. Как оказалось, Е. А. Фурцева была проинформирована о нашем визите в ЦК и приняла моё заявление с явным раздражением.

– Кто дал вам право без ведома министра и парткома обращаться в ЦК? Вы что, не знаете субординации? И потом, что это за Общество вы придумали?

– Во всех союзных республиках есть Общества охраны памятников национальной культуры, только в России нет.

– Ну, это не вашего ума дело.

– Я думаю, что это дело всех нас вместе взятых – русских людей.

Ничего не ответив, Фурцева резко повернулась на тонких каблучках-шпильках и направилась к выходу. Разговора явно не получилось, и теперь надо ждать оргвыводов.

28 июля 1965 г. Из всех общественных движений патриотического толка последних лет в России борьба за создание Общества охраны памятников получила наиболее яркую национальную окраску. Об этом свидетельствуют не сотни, а десятки тысяч выступлений на митингах, в печати, по радио и телевидению русских людей всех профессий и званий, включая самых именитых представителей науки. Среди них нет только членов Президиума ЦК КПСС и правительства. Для того чтобы предотвратить стихийное развитие общественного движения, чреватого “самыми непредсказуемыми последствиями”, правительство России, безусловно, с санкции ЦК, утвердило Оргкомитет по созданию Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры. В составе Оргкомитета – большинство тех, с кем я все эти годы сотрудничал на общественном поприще, начиная с маститых П. Д. Барановского, Л. М. Леонова и кончая одним из главных закоренелых этого святого дела Ильей Глазуновым. Чиновников, во главе с зампредсовмина России В. И. Кочемасовым, не заявивших о себе как о борцах за национальное возрождение, явное меньшинство в Оргкомитете, но вся власть в их руках. Они и будут вершить судьбу Общества”.

В это же время Десятников предпринимает усилия по изданию сборника “Памятники Отечества” (работает над ним в течение года), куда собирается включить статью Василия Пескова “Отечество”, статьи Дмитрия Лихачёва и Олега Волкова, а также только-только опубликованный в “Новом мире” рассказ Солженицына “Захар Калита” о смотрителе Куликова поля.

“9 марта 1966 г. Работа над сборником “Памятники Отечества” в издательстве “Просвещение” временно (?) приостановлена. Причём мне объявлен в Научно-методическом совете по охране памятников (НМС) строгий выговор. Подбор материалов для сборника признан тенденциозным, “не отвечающим насущным задачам использования культурно-исторического наследия в коммунистическом воспитании трудящихся”. Кроме всего прочего, мне поставлено в вину, что я привлекал авторов для сборника якобы от имени НМС. Если я не докажу, что это было вовсе не так, то договор со мной будет расторгнут. Д. С. Лихачёв, спасая сборник, в числе первых пришёл мне на выручку, прислав официальное заявление по этому поводу... Самое печальное в этой истории, что не только мне как составителю, но и всем участникам сборника приходится хитрить и изворачиваться, как будто мы вступили в коллективный сговор против Отечества. Нетрудно догадаться, что в связи с громким процессом над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем по всем издательствам разослано Директивное письмо о повышении политической бдительности, потому наш сборник и притормозили. За решётку бросили двух писателей-диссидентов, и это сразу стало известно всему миру. А сколько русских православных священников без суда и следствия законопатули по лагерям и тюрьмам, и при этом – полная тишина. Прав Илья Глазунов, называя именно священников, а не писателей героями нашего времени”...

... В год 50-летия Октября Кожинов публикует в “Комсомольской правде” статью “Между Бульварным и Садовым”. Он писал об уникальной части Москвы, что была “настоящим средоточием духовной жизни России” (Остоженка, Пречистенка, Поварская, Никитская, Спиридоньевка были исхожены им вдоль и поперёк – и старые имена этих улиц он назвал в газете), о неповторимости мира переулков, сосредоточенных вокруг Арбата.

“... После Кремля это, пожалуй, самый “важный” и дорогой для нас район Москвы. Это подлинная колыбель русской культуры. Нельзя думать о её уничтожении без боли и горечи. И необходимо понять, что немыслимо сохранить главную ценность этого архитектурного мира, оставляя лишь “отдельные особо выдающиеся памятники”. Сохранять надо именно ансамбли, а не отдельные сооружения, ибо нередко старый город полон очарования, хотя в нём всего несколько зданий, представляющих интерес с точки зрения архитектуры...”

Тогда же в “Дне поэзии” (составителем этого выпуска был Станислав Куняев) Кожинов ответил на анкету, посвящённую “гражданственности” в современной поэзии. Позже он озаглавил своё выступление “О ложной “гражданственности”, отнеся к таковой стихотворение весьма известного тогда стихотворца Юрия Панкратова, воспевавшего разрушение Собачьей площадки

ради возведения проспекта имени Калинина, тут же названного москвичами “вставной челюстью Москвы”.

Ради этой “челюсти” были снесены домики, где Пушкин впервые читал “Бориса Годунова”, где жил Алексей Степанович Хомяков и часто бывал Гоголь, где жил Сергей Тимофеевич Аксаков, где провёл свою юность Михаил Юрьевич Лермонтов (“дом, где он жил, чудом ещё стоит... у самой границы разрушений”, — напоминал Вадим Валерианович).

“Мир арбатских переулков, — писал он, — это то же самое, что Латинский квартал в Париже или Нерудова улочка в Праге, это колыбель великой национальной культуры, колыбель, которая не может не быть заповедной...” И сослался в конце на стихотворение, выразившее, по его словам, “подлинно гражданское понимание сути дела”, — на стихотворение Владимира Соколова “Новоарбатская баллада”, опубликованное в “Новом мире”, стихотворение, в котором ташкентское землетрясение 1966 года находит отзвук в рукотворном “землетрясении” на Арбате, в котором взрывы и сносы разных эпох словно отражались в зеркалах друг напротив друга, и в то же время вопреки всем сносам и разрушениям воплощалась та самая связь времён, о которой напряжённо думали и искали возможности для её реализации друзья из “поэтического кружка”.

*Гляжу всё чаще я  
Средь шума будничного  
На уходящее  
С чертами будущего...  
Ташкентской пылью  
Вполне реальной  
Арбат накрыло  
Мемориальный.  
Здесь жили-были,  
Вершили подвиги,  
Швырнули бомбу  
Царизму под ноги.  
Смыт перекрёсток  
С домами этими  
Взрывной волною  
Чрез полстолетия.  
Находят кольца.  
А было — здание.  
Твои оконца  
И опоздания.  
Но вот! У зданий  
Арбата нового,  
Вблизи блистаний  
Кольца Садового,  
Пройдя сквозь сырость  
Древесной оголи,  
Остановилась  
Карета Гоголя.  
Он спрыгнул, пряча  
Себя в крылатку,  
На ту — Собачью —  
Прошёл площадку.*

*Кто сел в карету?  
Кто автодверцей  
В минуту эту  
Ударил с сердцем?  
Кто, дав спасибо,  
А не мерси,  
Расстался с нею —  
Уже в такси!*

*Ведь вот, послушай,  
Какое дело:  
Волной воздушной  
И стих задело.  
Где зона слома  
И зона сноса,  
Застряло слово  
Полувопроса.  
Полумашина,  
Полукарета  
Умчала отзвук  
Полуответа...*

\* \* \*

К этому времени Соколов успел соединить свою жизнь и расстаться с Эльмирой Славогородской, которая пережила с поэтом очень нелёгкие годы своей жизни и которой он посвятил несколько поэтических шедевров — их с упоением читали друг другу его друзья.

*Нет сил никаких улыбаться,  
Как раньше с тобой говорить.  
На доброе слово сдаваться,  
Недоброе слово хулить.*

*Я всё тебе отдал. И тело,  
И душу — до крайнего дня...  
Послушай, куда же ты дела,  
Куда же ты дела меня?*

*На горькие листья рябины,  
Шурша, налетает закат...  
И тучи на нас, как руины  
Воздушного замка, летят.*

Их расставанию было посвящено и знаменитое стихотворение “Венок”:

*Вот мы с тобой и развенчаны.  
Время писать о любви.  
Русая девочка, женщина...  
Плакали те соловьи.*

*Пахнет водою на острове  
Возле одной из церквей.  
Там не признал этой росстани  
Юный один соловей.*

*Слышу, как в зарослях, в зарослях,  
Не забывив ничего,  
Как удивительно в паузах  
Воздух поёт за него.*

*Как он ликует божественно  
Там, где у розовых верб  
Тень твоя, милая женщина,  
Нежно идёт на ущерб.*

В это же время Владимир Соколов и Анатолий Передреев обменялись стихотворными посланиями, устраивая своеобразную переключку с поэтами

пушкинской пляяды. Впрочем, первое стихотворение Соколов посвятил другу ещё в 1963 году.

*Попросил я у Господа Бога,  
У созданыя, которого нет,  
Чтобы стал я ни мало ни много,  
А мальчишкой семнадцати лет.*

*Так и вышло. Под сенью небесной,  
Лёгкий шарф отмахнув на плечо,  
Я иду, молодой и безвестный,  
Мне и холодно, и горячо.*

*Ещё в жизни неясен мой выдел.  
Всё дождями лучей залито.  
Ещё я никого не обидел,  
И меня не обидел никто.*

*Но ликуют вчерашние травы,  
Но гремит позапрошлый громок...  
Мне пришкольной не надобно славы,  
Я и с этой не столь одинок.*

*Оттого-то, как мальчик, без спроса  
Я метнулся в мой нынешний мир,  
Где пирует пора сенокоса  
При избытке ромашек и вил.*

*Жить бы мне, на ромашках гадая,  
Зная дело, сжимая перо,  
До свободной минуты, когда я  
В землю тоже войду, как в метро.*

А через два года он посвятит Передрееву “Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи // О твоём возвращенье в родительский дом...”, и здесь же пообещает выпить “свой ковш до конца... за твою, соловей, сумасшедшую жизнь”... Жизнь “соловья” действительно, была “сумасшедшая” – на перекладных между Чечнёй и Россией, между Грозным и Москвой – и даже, когда поэт застывал на одном месте на какое-то (непродолжительное) время, было ощущение постоянного срыва, полёта в следующее мгновение, не говоря уже об отсутствии какого-либо покоя внутри... Возможно, этот покой наступал во время поэтической работы, при которой никаких свидетелей, естественно, не было...

Передреев ответил стихотворением, где слышалась очевидная отсылка к соколовским строчкам первого посвящения:

*В атмосфере знакомого круга,  
Где шумят об успехе своём,  
Мы случайно заметим друг друга,  
Не случайно сойдёмся вдвоём.*

*В суматохе имён и фамилий  
Мы посмотрим друг другу в глаза...  
Хорошо,  
что в сегодняшнем мире  
Среднерусская есть полоса.*

*Хорошо,  
удивительно,  
славно,*

*Что тебе вспоминается тут,  
Как цветут лопухи в Лихославле,  
Как деревья спокойно растут.*

*Не напрасно мы ищем союза,  
Не напрасно проходят года...  
Пусть же  
девочка русая –  
муза  
Не изменит  
тебе  
никогда.*

*Да шумят тебе листья и травы,  
Да хранят тебя  
Пушкин  
и Блок,  
И не надо другой тебе славы,  
Ты и с этой не столь одиноч.*

И не сможет смутить здесь кажущаяся лишней поверхностному взгляду “лесенка” (тут же вспоминается обращение к Передрееву Асеева: “Толя, перебейте ноги ритму!”): плавный набранный ритм в стихотворении перебивается на вдохе-выдохе, когда каждое выделенное слово произносится с особенным нажимом, обращая внимание на смысловую глубину произносимого в это мгновение.

*Да хранят тебя  
Пушкин  
и Блок...*

Любимые на всю жизнь поэты Соколова, по которым он настраивал свою лиру.

Пушкин и для Передреева Пушкин. “Пушкину следует ходить на поклонение, словно в Мекку”, – запомнила его слова заведовавшая в те годы редакцией журнала “Знамя” Софья Гладышева... На экзаменах в Литературном институте Передреева взорвал вопрос экзаменатора: “Что хотел сказать Пушкин в стихотворении “Пророк”?” Экзамен вылился в ожесточённую полемику поэта с преподавателем, в результате чего Анатолий покинул Литинститут без диплома. По горячим следам он начал тогда же писать статью “Читая русских поэтов”, ставшую причиной нешуточного скандала в литературном сообществе. “Знаете ли вы, что хотел сказать Пушкин в стихотворении “Пророк”?..

Я вовсе не призываю застыть в священном изумлении перед “Пророком” Пушкина. Я только против такого “хозяйственного” отношения к стихам. Против школярского подхода к овладению великим поэтическим наследством, когда даже в сугубо литературном институте вместо того, чтобы приобщить поколение молодёжи к прекрасному, твердят: “В этом стихотворении Пушкин утверждает...”, “Лермонтов в этом стихотворении выразил...”, “Некрасов изобразил...”

... Прошло почти полтора века с тех пор, как Пушкин спросил:

*...Сколько их? Куда их гонят?  
Что так жалобно поют?..*

И до сих пор мы можем только повторять это вслед за ним с той или иной степенью проникновенности в его смятенность и глубину...”

Дмитрий Урнов запомнил и описал выразительную сцену его встречи с Передреевым в ЦДЛ в то время, когда Анатолий стал засиживаться там допоздна за горячительными напитками – лишь бы оттянуть срок возвращения домой: “Не помню, в связи с чем, по ходу нашей с ним задушевной беседы в Доме литераторов я протараторил: “Мчатся-тучи-вьются-тучи”, – так мы чиркали ещё в школе. Толя вдруг озверел: “Ты что?! Не понимаешь, что это



значит?” — и с есенинской яростью стал произносить: “Ммммча-а-т-ся ту-у-учи... Вью-ются ту-чи...” Стыдно мне стало...”

А в XX веке не было для него выше и любимее Есенина. Софья Гладышева вспоминала его слова:

— После Есенина у нас не было настоящих поэтов. Немного к нему приближается лишь Соколов.

У Анатолия была уже, по сути, написана новая книга стихов, которую он жадно “проверял” на своих друзьях. Это было, поистине, “золотое” время его поэтической работы. Писалось не очень много, но каждое стихотворение было, что называется, на вес золота. “Окраина” (потом вознесённая Кожин-вым), “Любовь на окраине”, “Когда с плотины падает река...”, “Бегут над полем чистым облака...”, “Московские строфы”, “Разбуди эту землю, весна...”, “Наедине с печальной елью...”, “Равнина”, горчайшее и одновременно исполненное неколебимой надежды “Воспоминание о селе”.

Изменилась и его личная жизнь. Он нашёл себе спутницу — чеченку Шему Альтемирову, дочь грозненского прокурора, работавшую официанткой в поезде “Москва-Грозный”, где он с ней и познакомился.

*Среди всех в чём-нибудь виноватых  
Ты всегда откровенней других...  
Но зрачки твоих глаз диких  
Для меня непонятней чужих.*

*По каким они светят законам,  
То слезами, то счастьем блестя?  
Почему в окруженьи знакомом  
Ты одна среди всех, как дитя?*

*И зачем я сегодня всё время,  
Окружённый знакомой толпой,  
Объяснялся словами со всеми,  
А молчанием — только с тобой?..*

*Но когда я тебя обнимаю,  
Как тебя лишь умею обнять,  
В этой жизни я всё понимаю,  
Всё, чего невозможно понять!*

Сведшая знакомство с Передреевым в редакции, Гладышева однажды к своему удивлению услышала от него:

— Соня! Почему никогда не пригласишь к себе домой в гости? Не познакомишь с родными, друзьями?

Это было неожиданно для Софьи Александровны — у неё был свой круг друзей и знакомых... Тем не менее, она приветливо ответила:

— Да, пожалуйста, Толя, приходи хоть сегодня. Просто не думаю, что тебе это интересно.

Передреев пришёл не один.

“Прошло всего несколько дней, и в мою небольшую узкую, но с высоким потолком комнату, также называемую сурдокамерой (Передреев потом смеялся: “Хорошо бы повернуть её на девяносто градусов”), входят он с широко улыбающейся Шемой и незнакомый (подумалось: наверное, тоже поэт) худощавый, выше среднего роста, скромно одетый молодой человек в очках, придававших ему весьма серьёзный вид.

— Вадим Кожин, — коротко представил его Передреев, полагая, что это имя не нуждается в каких-либо пояснениях.

Гость держался очень скромно, просто. В разговоре с Передреевым, — а они, пока женщины занимались хозяйством, обсуждали фетовскую строку “тебя любить, обнять и плакать над тобой”, — Кожин был немногословен, сдержан.

Когда сели за стол и наполнили рюмки, Передреев деликатно предложил тост за хозяйку дома (чего он никогда не забывал сделать и при последующих посещениях), сказал что-то одобрительное об убранстве стола. У меня, обычно

не находчивой, неожиданно вырвалось (подействовала, наверное, поэтическая аура гостей):

*Тьфу, прозаические бредни,  
Фламандской школы пёстрый сор!*

И тут же в глазах Толиного спутника вспыхнул огонёк, его лицо осветилось особенной, широкой и открытой, сугубо кожиновской улыбкой. Он мгновенно поставил на стол уже поднятую было рюмку, стремительно вскочил со стула, устремился ко мне и дружески обнял. При этом он не произнёс ни слова, очевидно, полагая: пушкинские строки, словно пароль к сердцу, сами по себе открывают путь к дружескому расположению...

С тех пор Передреев вместе с Кожинным, а иногда с целой ватагой своих знакомых — тут уж инициатором был Кожин — нет-нет да и наведывались ко мне. Засиживались порою за полночь, читали стихи, обсуждали их, горячо спорили. Вино пили редко, чаще довольствовались чаем...

И далее Гладышева вспоминает, как оба друга (это было именно в 1967-м!) явились к ней в редакцию, спросили, не может ли она отпроситься с работы... Софья Александровна отпросилась, и они отправились к ней домой на пойманном Кожинным «газике». А по приезде Передреев заявил:

— Свои новые стихи я посвятил Вадиму и хотел бы сейчас прочитать их вам.

Тут даже Кожин вздрогнул от неожиданности.

Передреев начал читать... “Он читал... негромко, с расстановкой произнося каждое слово, словно подчёркивая его особое звучание”:

*Как эта ночь пуста, куда ни денешься,  
Как город этот ночью пуст и глух...  
Нам остаётся, друг мой, только песня —  
Ещё не всё потеряно, мой друг!*

*Настрой же струны на своей гитаре,  
Настрой же струны на старинный лад,  
В котором всё в цветенье и в разгаре:  
“Сияла ночь, луной был полон сад”.*

*И не смотри, что я не подпеваю,  
Что я лицо ладонями закрыл,  
Я ничего, мой друг, не забываю,  
Я помню всё, что ты не позабыл.*

*Всё, что такой отмечено судьбою  
И так звучит — на сердце и на слух, —  
Что нам всего не перепеть с тобою,  
Ещё не всё потеряно, мой друг!*

*Ещё струна натянута до боли,  
Ещё душе так непомерно жаль  
Той красоты, рождённой в чистом поле,  
Печали той, которой дышит даль...*

*И дорогая русская дорога  
Ещё слышна — не надо даже слов,  
Чтоб разобрать издалека-далёка  
Знакомый звон забытых бубенцов.*

У Кожинна выступили слёзы на глазах.

— Я не стою таких замечательных стихов, — произнёс он и обнял Анастасию. Передреев тут же обратился к Гладышевой: “Соня! Скажи честно, тебе понравились стихи?” Софья Александровна что-то пролепетала поначалу, но потом всё же произнесла: “Это, по-моему, одно из лучших твоих стихотворений”. Реакция Передреева показалась бы неожиданной для людей,

поверхностно с ним знакомых. С повлажневшими глазами, он почти прошептал с какой-то затаённой горечью:

— Ну, спасибо... Спасибо... Значит, я не зря занимаюсь этим делом!

Вадим Валерианович тут же, настроив свою любимую семиструнку, стал подбирать мелодию... И романс “Как эта ночь пуста...” вошёл в его постоянный репертуар наравне с романсами на слова Дельвига, Тютчева, Фета... Вошёл, правда, с небольшой поправкой самого Кожинова. Заключительную строку третьей строфы он пел в иной редакции: “Спасибо, друг, что ты не позабыл...”

...Когда Передреев будет готовить свою книгу избранных стихотворений (она, увы, окажется последней в его жизни) и станет датировать стихи, он, очевидно, по ошибке памяти пометит стихотворение “Как эта ночь пуста...” 1965 годом. Софья Гладышева убедительно объяснила, что написано оно было полутора годами позже.

И ещё одно краткое замечание: молодой поэт, только-только вошедший в “кожиновский круг” Эдуард Балашов, ухаживавший тогда за дочерью Софьи Александровны, прослушав это стихотворение, посоветовал автору заменить одну строку. Это благодаря Балашову в нём появилось фетовское “Сияла ночь, луной был полон сад...” — и легло абсолютно органично. Балашов острым чутьём почуял родство прочитанного с поэзией Фета.

\* \* \*

В течение многих лет 10 февраля друзья отмечали день памяти Пушкина, начиная вечер с прослушивания на проигрывателе пластинки с исполнением Фёдором Шаляпиным “Пророка”.

— Три гения: Пушкин, Римский-Корсаков, Шаляпин! Не могу простить только одного: как можно петь “горный” вместо “горний ангелов полёт”, — произносил, немного отойдя от полного растворения в музыке, Кожинов.

Передреев просил его прочесть “моё любимое стихотворение” — и Кожинов читал “Подруга дней моих суровых...”, а Анатолий повторял за ним последние строки:

*Госка, предчувствия, заботы  
Теснят твою всечасно грудь.  
То чудится тебе...*

— Представляешь? Так виделась Пушкину его няня, старая крепостная женщина...

Прочтя передреевское “любимое”, Кожинов читал своё — из “Графа Нулина”:

*Кто долго жил в глуши печальной,  
Друзья, тот верно знает сам,  
Как сильно колокольчик дальний  
Порой волнует сердце нам.  
Не друг ли едет запоздалый,  
Товарищ юности удалой?  
Уж не она ли?..*

— пауза и выдох горечи от несбыточности ожидания,

*— Боже мой!  
Но мимо, мимо звук несётся,  
Слабей, и смолкнул за горой.*

“На этих же вечерах, — послушаем снова Софью Александровну, — обсуждались и работы о Пушкине, в частности, труд академика М. П. Алексеева “Пушкин и наука его времени”, который, исследуя творчество поэта, в мельчайших деталях, вплоть до описания комнаты графини из “Пиковой дамы”, доказал знание поэтом важнейших достижений науки того времени. При этом

Кожинов то и дело с восхищением восклицал: “Гений! Одним словом, паразитальный гений!!!” И казалось, уже не хватало слов восторга при разговоре о работе С. М. Громбаха, продолжившего исследования М. П. Алексеева, но уже в области медицины. Тут Кожинов, часто читавший стихи “Не дай мне Бог сойти с ума”, особенно воспринял слова о точном, с медицинской точки зрения, изображении Пушкиным различных случаев потери рассудка: Германом, Марией Кочубей, Мельником, старым Дубровским. А сколько пылких слов было высказано при сравнении Пушкина и Лермонтова! Стихи, посвящённые женщинам: “Я Вас любил, любовью ещё, быть может...” и “Я не унижусь пред тобою...”, “Бородино”, где бой изображён в прошедшем времени, как воспоминания очевидца, и “Полтава”, где поэт развёртывает сражение на наших глазах, вовлекая в эту битву и нас. И многие другие стихи “подверглись их суду” неизменно в пользу Пушкина...

В этих беседах и начала складываться у Кожинова книга “Как пишут стихи”, написанная примерно за год. Передреев рассказывает ему, как он читал Евтушенко стихотворение Фета “Чудная картина, // Как ты мне родна!...” — и услышал в ответ: “Удивительно плохие стихи!”... Начинается жаркое обсуждение Фета, читаются одно его стихотворение за другим... И Передреев, и Кожинов — каждый по-своему — пишут о фетовском поэтическом жесте, его интонации... Анатолий Константинович рассказывает Вадиму Валериановичу о своём “бодании” на пушкинском поле с преподавателем Литинститута, — и Кожинов, подхватив мысль Передреева, по-своему насыщает и “аранжирует” её: “И вот, читая гениальные строфы о Петербурге во вступлении к пушкинскому “Медному всаднику”, мы уже, несколько скучая, думаем о том, что здесь, мол, “создана яркая картина великого города”, а с другой стороны, поэт использует “приёмы звукописи” (например, “шипенье пенистых бокалов”). И уже нелегко отрешиться от этих вялых соображений и просто услышать в собственном взволнованном голосе потрясающую мощь, красоту и радость, услышать, как словно целый оркестр звучит в твоей груди:

*...В их стройно зыблемом строю,  
Лоскутья сих знамён победных,  
Сиянье шапок этих медных,  
Насквозь простреленных в бою! —*

и уже нет никакой “картины Петербурга” и “звукописи”, а в самом тебе, в твоём собственном творческом воображении созидается, живёт, влюбляет в себя неповторимый пушкинский Петербург, прекраснее которого нет ничего на свете...

...Пройдёт ещё несколько лет, и Кожинов напишет в одной из своих многострадальных книг: “...Многолетний опыт общения с людьми, пишущими стихи, безусловно, убедил меня, что любой созревший и несущий на себе печать подлинности поэт, в какой бы манере он ни творил, превосходно знает классическую поэзию и изо дня в день так или иначе обращается к ней. И наоборот, люди, даже очень одарённые, но пока (или вообще) не нашедшие себя в поэзии, как правило, ещё не вжились в классику...”

Этот, 1967-й год принёс друзьям ещё один бесценный подарок. В издательстве “Советский писатель” вышла первая московская книга стихов Николая Рубцова “Звезда полей”, ставшая настоящей радостью для многих и многих ценителей подлинной поэзии. На неё тут же откликнулись в печати Станислав Куняев (“Словами простыми и точными”) и Анатолий Передреев (“Мир, отражённый в душе”). Передреев, в частности, писал:

“В книге, если только она производное души поэта, а не просто сгустки слуховой и зрительной информации, должна стоять тишина, подобная тишине глубокой чистой реки, в которой отражается окрестный мир. Вот этой, если можно так сказать, “поэтической тишиной” выгодно отличается от многих сегодняшних сборников книжка Николая Рубцова...”

Из “поэтических предков” Рубцова я называл Тютчева и Есенина. Среди современников он, безусловно, опирается на опыт Александра Яшина с его глубиной, серьёзностью творчества, основанного на коренном языке...

Высокая и светлая звезда освещает большинство стихотворений этой книги, оправдывая превосходное, на мой взгляд, название её”.

Кожин постоянно упоминал имя Рубцова в устных и печатных разговорах о современной поэзии как пример подлинного творчества, что в родстве с русской классикой. . . Потом, правда, многие недоумевали, а то и злорадствовали: как же так, при жизни поэта не написать о нём специальной статьи! А он как будто чувствовал, что сиюминутный его отклик не даст читателю необходимых средств проникновения в глубину этого удивительного поэтического мира. . . Он как бы взял паузу в разговоре о современной поэзии.

4 декабря 1967 года он писал очередное письмо супругам Бахтиным: "Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Давно не писал вам – какой-то у меня "кризис", очень трудно братья за перо. . . Но вот всё же решаюсь написать.

Надеюсь, что сейчас у вас всё более или менее в порядке. Очень хотелось бы побывать у вас, но не знаю, насколько вы сейчас способны лицезреть столь резвого гостя. . .

"Общекультурная" обстановка в Москве крайне, небывало смутная, ничего не разберёшь, какие-то странные копошения многочисленных стремлений и идеи. Такого ещё при мне не было. Даже пожилые люди сбиты с толку, теряют прежние свои позиции. Ну, может быть, что-то и выкристаллизуется из этого мутного раствора. . .

У меня самого всё тоже как-то смутно. Давно хочу выйти за пределы своих "национальных" идеалов, но ещё не знаю, куда. . .

Сильно переделал свою статью о Пушкинской эпохе, которую вы читали; даже сделал из неё **две!** Одна из них – о Гоголе и Чаадаеве, где, в частности, выясняется, в связи с вашими идеями, амбивалентность понятий "**Мёртвые души**" и "**Некрополис**" (город, из которого пишет письма Чаадаев). Что вы об этом думаете? Об этих смертях, чреватых рождением?

В последнее время очень увлекаюсь Н. Ф. Фёдоровым.

Палиевский подружился с внуком П. А. Флоренского и узнал массу исключительно интересного. Мы вводим его работы (в т. ч. неопубликованные) в нашу "Эстетику славянофилов".

Впрочем, я даже не знаю, как вы относитесь к Флоренскому.

Собираемся устроить курс лекций (в Политехнич. музее) "Русские мыслители" – от Илариона до того же Флоренского. Сейчас пишу для Литэнциклопедии статью "В. В. Розанов". Постараюсь "пробить" нечто "объективное". И обязательно с портретом!

Видите, как расхвастался. Пора остановиться. . .

Примите от нас самые горячие пожелания здоровья и бодрости.

Ваш Вадим".

Письмо насыщенное, с обилием информации, многие положения которого нуждаются в объяснении и комментариях. Но об этом – в следующий раз.

*(Продолжение следует)*

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## ЭХО ТРАГЕДИИ 1971 ГОДА

*И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет.*

А. Пушкин

Двадцать восьмого мая 2019 года я получил от моего давнего друга и постоянного автора “Нашего современника” Виктора Лихоносова большой конверт, вскрыв который прочитал нечто, до глубины души удивившее меня.

“Станислав Юрьевич! Отдаю навечно письмо злополучной Дербиной (Грановской), – может, пригодится. Попытался ксерокопировать – не получилось! Вместо текста – чёрная страница! Из ноутбука папка с набором текста не удаляется! Ещё одну копию напечатать нельзя! Вот такая чертовщина! Я ей в 71-м году не ответил, во всяком случае, так мне помнится.

Спасибо за периодическую присылку журналов. Жду появления твоей (обещанной) статьи о современниках. Живу домоседом. Супруга больна. Я ещё бегаю, но утренние мысли прощальные. Уже впереди не будет 20-ти, 30-ти, 40-ка лет просыпаний и...

Обнимаю.

P. S.: 28 августа. Вполне возможно, где-то лежат мои письма образца 60-х годов прошлого века. Такой я несобранный. Но не гений, нет.

Обнимаю. Твой В. Лихоносов”.

В большой конверт была вложена ксерокопия обычного советского почтового конверта с маркой за четыре копейки, на которой были изображены герб Советского Союза, а рядом с ним – серп и молот. И чуть ниже хорошим крупным женским почерком было выведено: “г. Краснодар. Отделение Союза писателей. Лихоносову Виктору Ивановичу”. Под этими словами, где должны были находиться “индекс и адрес отправителя”, стояло чёрное пятно, которое так обескуражило Лихоносова и под которым можно было прочитать лишь одно слово: “Грановская Л. А.”... Обратный адрес колонии для заключённых был замазан чёрной краской. И в этот стандартный советский конвертик было втиснуто написанное женским убористым почерком на четырёх страницах плотной зелёной бумаги письмо из трудовой исправительной колонии, подписанное “Людмила Дербина (Грановская) 11/VII-1971 г. Вологда”, – письмо, на которое Лихоносов “ей” в 1971 году, как он сам пишет, “не ответил”. Как ей не ответили тогда многие друзья Рубцова, которым она посылала, видимо, подобные же письма с какой-то надеждой, что её если и не простят, то поймут. Она писала Вадиму Кожинову, Анатолию Передрееву, Анатолию Жигунину, Станиславу Куняеву, а как выяснилось теперь, и Виктору Лихоносову.

Последний, надо отдать ему должное, каким-то чудом сохранил её письмо в своём архиве. Вот он текст этой горестной исповеди, трагическая попытка то ли снискать сочувствие, то ли понимание, то ли оправдание. В любом случае — это незаурядный документ нашей литературной жизни, а эхо этого послания услышалось мною и в письме Виктора Лихоносова ко мне...

“Добрый день, Виктор Иванович!

Не могу не написать Вам.

Жизнь так коротка и так внезапно она может оборваться, что нет сил не отозваться на то прекрасное, что исходит из души Вашей.

Спасибо Вам, спасибо за то, что смотрите Вы за пределы этой жизни, за то, что носите в себе это редкое обострённое чувство жизни и смерти, за то, что отозвались в Вашем сердце слова древнего мудреца: “Посмотри, брат, на отцов наших: много ли взяли с собою.....”

Спасибо Вам за тоску по уходящей Руси, по последнему её скомороху, за память про “сумеречную быль” Родины.

Вы человек, у которого есть второе зрение, грустное зрение души. Это очень редкое свойство. Вы и родились с этим вторым зрением, с этой тоской души и чувством обречённости всего живого.

О буйство жизни! Всё ж над ним всегда мелькает смерти грозная зарница. Но ведь от этого чувства пронзительней ощущаешь почти физическую боль в сердце от безвозвратно уходящего времени, от его необратимости.

Вот, кажется, только что было у человека детство, как золотой сон, была юность, оставившая свой неповторимый отсвет... в будущие года, а когда перевалил человеку за тридцать, он вдруг задаёт себе вопрос: в чём же всё-таки смысл жизни? кто я? что я? А может, жизнь бессмысленна?

Может быть, есть только первородный грех Адама и Евы, за который из века в век муками, слезами, кровью расплачивается род человеческий, и только краткие зарницы счастья иногда озаряют жизнь человека, ради которых и стоит жить?

Счастье, по-моему, это и есть “причащение к звёздам и травам”, момент, когда ощущаешь себя живой частицей в этом нескончаемом потоке вечной жизни, когда познаёшь в себе какую-то божественную суть.

Вот у Бунина в “Жизни Арсеньева” запомнилась мне и неожиданно поразила меня одна такая строчка: “Я ложился в траву и смотрел в небо, как в родные глаза, как в отчее лоно своё”.

Нет, конечно, всё это не зря! И небо, и трава, и краски, в которые окрашен мир, и звёзды над нашей головой.

Они могут рассказать нам тайну нашего короткого мига на земле. А вот как у Канта: “Есть две вещи, которые занимают меня. Это звёздное небо над моей головой и нравственный закон во мне”.

Действительно, смотришь на звёзды, и глуще чувство беспредельности бытия пронизывает тебя и в то же время грусть и сиротство от краткости собственной жизни. И потому хочется наполнить свою жизнь каким-то главным смыслом и служить ему, и уже никогда не изменять ему, и верить, что звёзды тоже не безучастны к нашей судьбе.

Я не помню точно слова мудрого Соломона, но это он говорит, что познать самого себя — это не значит познать какие-то свои биологические особенности, но познать в себе то божественное, что составляет истинную суть человека.

Не это ли стремление познать в себе божественное и гонит нас в бывшие обители наших родных мудрецов, где мы с тоской и безнадёжной надеждой ищем их следы, стремимся представить их голос, походку.

Не это ли гонит нас в Кизи и на Соловки, в Феропонтово, к светлому храму Покрова на Нерли, где мы стараемся уловить русский дух, идущий к нам из глубины веков, представить молебны и молящихся, их смирение и благоговение пред высшей силой и их лучезарную радость, очищение после молитвы?

Разве пусты сейчас эти храмы, разве они просто красивы своими архитектурными формами, разве не слышим в них и “незримых певчих пеньё хоровое”?

Нет и нет!

Но и всё же как грустно! “Что-то нами навеки утрачено!”

Сломаны русские вековые традиции, и что же? Как фальшивы и не натуральны судорожные попытки восстановить их, склеить разбитое! Молчу. Вы всё понимаете лучше меня. Я просто плачу. Ведь я давно знала, что жизнь сама по себе трагична уже тем, что редко встретишь на свете родную душу. Но я не могла представить всей бездны горя и безысходности, когда находишь эту родную душу, а потом теряешь её по собственной вине. Чудовищный рок столкнул меня с Николаем Рубцовым. Это я, та самая женщина. Но меня тоже уже нет. Я только ещё дышу, а на месте сердца у меня чёрная выболевшая дыра. Как быть? Что делать дальше?

И как я ненавижу тех “правильных в своей сытости”, которые насмешничали над ним, алкоголиком, при его жизни, завидовали ему как поэту, вставляли палки в колёса, ничего решительно не сделали, чтобы спасти его, а когда случилась трагедия, спрятались в кусты и заплакали оттуда бабьими голосами.

Не верьте ничьим сплетням, прошу Вас. Скажем только: о Господи, страшен Ты в делах твоих! Но почему же такое невероятное надругательство судьбы? Я хотела спасти его, а получилось наоборот.

И каким безвозвратным счастьем представляются сейчас те минуты, которые я провела рядом с ним!

И хочется выть и кататься по земле от непоправимости случившегося.

Зачем я пишу всё это Вам?

Не знаю, не знаю.

Мне хочется сказать Вам, что он Вас любил. И простите меня, если сможете. Я страдаю.

Ещё мне хочется сказать Вам Вашими же словами: пусть благословит время на мудрость и пусть поищут новые годы Вам счастья.

Спасибо Вам, Виктор Иванович, за высокое звучание души Вашей. С поклонением Вам

Людмила Дербина (Грановская).  
Вологда 11.7.1971”.

Нет, не зря несчастная преступница, обращаясь к замечательному русскому писателю, вспоминает Адама и Еву, царя Соломона и Ивана Бунина, и даже Эммануила Канта. Ей, как одиссеевской сирене, нужно очаровать Виктора Лихоносова, чтобы он преисполнился восхищением и жалостью к великой грешнице.

Пятьдесят лет прошло с той поры, как было выплакано это горестное признание в убийстве любимого человека, но читаешь его и чувствуешь, что чуть ли не каждое слово письма обжигает наши мятущиеся души.



СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## ПИЛИГРИМЫ

*(К 85-летию со дня рождения Н. М. Рубцова  
и к 80-летию со дня рождения И. А. Бродского)*

### I

На рубеже 50–60-х годов прошлого века в Ленинграде встретились два молодых поэта, известные всего лишь узкому кругу своих друзей и поклонников. Оба они с разницей в несколько лет написали по стихотворению, каждое из которых постепенно становилось знаменитым и делало “широко известными в узких кругах” своих создателей.

Оба стихотворения быстро обрели в читательском мире самостоятельную жизнь, а за полвека стали символами двух глубоких мировоззрений и очертили два пути, по которым до сих пор шествуют и человеческие толпы, и люди-одиночки.

Имена этих поэтов-провидцев сейчас известны всем – это Иосиф Бродский и Николай Рубцов, сочинившие стихи о пилигримах, бредущих по земным дорогам.

Впрочем, сам образ дороги традиционен для русской поэзии, если вспомнить о том, что “не одна во поле дороженька пролегала”, или пушкинские “Дорожные жалобы”, или “Выхожу один я на дорогу”... Да и вся русская поэзия пронизана некрасовскими, тютчевскими, блоковскими, есенинскими дорогами... И вообще в русском сознании слово “дорога” означает слово “судьба”. И в стихотворениях Бродского и Рубцова присутствует редкое слово “пилигрим”. Я уверен, что, живя в одни и те же годы в Ленинграде, они встречались в узкой ленинградской богеме, где рядом с ними были Евгений Рейн и Глеб Горбовский, Виктор Соснора и Борис Тайгин, Константин Кузьминский и Леонид Агеев, Нина Королева и Анатолий Найман, Лидия Gladкая и Эдуард Шнейдерман.

Все они дышали одним воздухом, но Рубцов и Бродский дышали им глубже других. И по мнению Евгения Рейна, опубликовавшего в “Литгазете” (№ 20, 2010) к 70-летию Бродского одну из самых точных и честных статей о его судьбе, настоящая слава к поэту пришла сразу после “Пилигримов”.

Я помню, как однажды в 1960 году меня навестили муж и жена, составители книги словацкого поэта Ладо Новомесского, принесли подстрочники для перевода, мы засиделись, выпили по рюмке, и слависты под гитару с яростным

вдохновением исполняли “Пилигримов” Бродского. Я был поражён мрачной энергией и музыки, и самого стихотворения, которое, как мне показалось, тогда уже стало чуть ли не гимном для небольшой, но пассионарной части “оттепельной” интеллигенции, восхищённой судьбой героев стихотворения.

Впоследствии я понял, что гимна из этого стихотворения не получилось, в основу гимна легло более понятное для либеральных масс рифмованное сочинение Булата Окуджавы “Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по-одиночке”.

### Пилигримы

*Мои мечты и чувства в сотый раз  
Идут к тебе дорогой пилигримов.*

В. Шекспир

*Мимо ристалищ, капищ,  
мимо храмов и баров,  
мимо шикарных кладбищ,  
мимо больших базаров,  
мира и горя мимо,  
мимо Мекки и Рима,  
синим солнцем палимы,  
идут по земле пилигримы.  
Увечны они, горбаты,  
голодны, полуодеты,  
глаза их полны заката,  
сердца их полны рассвета.  
За ними поют пустыни,  
вспыхивают зарницы,  
звезды встают над ними  
и хрипло кричат им птицы,  
что мир останется прежним,  
да, останется прежним,  
ослепительно снежным  
и сомнительно нежным,  
мир останется лживым,  
мир останется вечным,  
может быть, постижимым,  
но всё-таки бесконечным.  
И значит, не будет толка  
от веры в себя да в Бога.  
...И значит, остались только  
иллюзия и дорога.  
И быть над землёй закатам,  
и быть над землёй рассветам.  
Удобрить её солдатам,  
одобрить её поэтам.*

Поистине в большом познании много скорби. И если вспомнить, что стихотворение написано восемнадцатилетним человеком, то неизбежно придёшь к выводу, что Иосиф Бродский никогда и не был молодым поэтом, он как будто бы и родился или стариком, или вообще существом без возраста.

Пилигримы Бродского из последних сил бредут в неведомую даль, как дети несовершенной и враждебной им цивилизации, созданной их же руками, как вереница искалеченных и обездоленных её детей, вернее, изгоев человеческого гетто. “Увечные”, “горбатые”, “полуодетые”, “голодные”, “палимые синим солнцем”. Так и хочется спросить: “Сколько их? Куда их гонит?”.

Их дорога в “никуда” или неизвестно куда оглашается хриплыми криками то ли древнерусских ворон, то ли древнегреческих гарпий, внушающими странникам, что мир жесток и “лжив”, что он “останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным”, то есть не-

справедливым и немилосердным, что он не изменяется так, как им этого бы хотелось. А от сознания этой несправедливости лишь один шаг к отрицанию Бога и человека, как его подобия.

“И значит, не будет толка от веры в себя и в Бога”...

А что же остаётся? Брести подобно зомбированному неведомой волей стаду к неведомой цели, подчиняясь фатуму, слепому инстинкту, подобному тому, который гонит рыбы стада на смертельный и неизбежный нерест и полчища крыс, повинующихся дудочке могущественного и лукавого крысолова.

В какое время и по какой земле движутся пилигримы, словно колонна военнопленных, без охраны, сдавшихся врагу добровольно – это не имеет значения. Словно послушные овцы, бредут они по организованным и расчерченным дорогам цивилизационного, рукотворного ада, созданного, видимо, их же руками. Разве что одна конкретно-историческая примета есть в стихотворении: они бредут “мимо Мекки и Рима”, то есть две самых великих мировых религии чужды этим избранным толпам.

Вечные протестанты, потомки Агасфера, закосневшие в своей отверженности и своей гордыне... И Бог их не слышит, и солнце их жжёт, и птицы над их шествием “хрипло кричат” что-то погребальное, и с каждым шагом остаётся всё меньше и меньше от великой иллюзии, которая дала пилигримам толчок много веков тому назад – для начала этого рокового, но безблагодатного шествия.

Вот каким апокалиптическим откровением – апофеозом похода пилигримов была поражена душа молодого Бродского, и этот ожог души остался у него на всю жизнь.

Иллюзия цели. Иллюзия жизни. Иллюзия спасения. Но утрата иллюзий не проходит бесследно. Лучше и точнее всех угадал драму Бродского один из самых близких его друзей Евгений Рейн, пронзительно заметив, что “пилигримы” были важнейшей точкой в мировоззренческом становлении Бродского. Рейн нащупал все дальнейшие нити, протянувшиеся от этого старта: “Описываемый им мир – это мир сумеречный, пессимистический, не оставляющий никакой надежды”; “Бродский становится мизантропическим и как бы одноцветным поэтом, каким мы его знаем”; “Шутки довольно саркастичны и злы, и никакого просвета в этих стихах нет”; “Негативный философский взгляд, сопряжённый гениально отточенной метафорикой”; “Видимо, в нем был и момент моральной опустошённости”; “Именно это нагромождение изысканных темнот...”. И это при всей любви к своему младшему собрату и ученику... Ну как тут не вспомнить мысль нелюбимого зрелым Бродским Александра Блока: “Оптимизм, как и пессимизм – признак плоского и пошлого мировоззрения. Только понимание жизни как трагедии даёт цельную картину мира”.

Самые сильные из “пилигримов” неизбежно скатываются к богоборчеству. И не случайно я вспомнил, что у меня на полках где-то стоит книга Хаима Нахмана Бялика, которого отцы-основатели сионизма считали великим поэтом. Книга эта издана в 1914 году в переводах и предисловии Зеева Жаботинского.

В ней всё как по заказу – и предисловие, и стихи, и поэмы – о “пилигримах”. “Всё, что есть роскошь жизни, было изгнано из национального обихода: изгнана любовь, изгнана радость, изгнано творчество, изгнано всё то красивое, сверкающее, полнокровное, что Бялик объединяет в символе женщины, женского начала. Жизнь стала подобна пустынному каменистому острову. Только этой ценой мог безземельный бродяга сохранить остаток того, что есть выше соковице каждого племени – остаток своей самобытной личности, последнюю прядь от догоревшей “гривы Огненного Льва”. За стенами гетто, у чужих людей, искрилась и переливалась всеми красками Божией палитры свободная полнота жизни, – для узников пустынного острова порыв навстречу этой жизни означал бы исчезновение вечного народа “в волнах реки Аввадон, чьё имя – Гибель”. И вот на почве этой двадцативековой борьбы между радостью бытия и суровой миссией самосохранения, между Аввадоном и Небом, развивается у Бялика великая трагедия современного еврейства – нецельность, двойственность, сумеречная шаткость и зыбкость еврейской души” (Жаботинский).

Хаим Нахман Бялик, выходец из местечковой России, в начале XX века уехал в Палестину, в 30-е годы он восторгался расовой теорией Гитлера и Розенберга и сочинял стихи и поэмы, ставшие классикой еврейской поэзии.

Одна из сцен поэмы Бялика “Мертвецы пустыни” рассказывает о том, как проводник-араб путешествует с героем поэмы по Синайской пустыне и

приводит его в места древнего захоронения, где, полузасыпанные песками Синая, лежат громадные остовы падших ангелов-пилигримов, которые, согласно “Книге Бытия”, в доисторические времена “входили к жёнам человеческим”. Так Хаим Нахман Бялик, тоже путешествовавший “мимо роскошных кладбищ”, нашёл самое древнее из них.

*То не косматые львы собралися на вече пустыни,  
То не останки дубов, погибших в расцвете гордыни, —  
В зное, что солнце струит на простор золотисто-песчаный,  
В гордом покое, давно, спят у тёмных шатров великаны.*

.....  
*Стёр ураган их шаги, потрясавшие землю когда-то,  
Степь затаила дыханье, и скрыла, и нет им возврата.  
Может быть, некогда в прах иссушат их ветры востока,  
С запада буря придёт, и умчит его пылью далеко,  
До городов, до людей донесёт и постелет, развеяв, —  
Там первозданную силу растопчут подошвы пигмеев,  
Вылизжет прах бездыханного льва живая собака,  
И от угасших гигантов не станет ни звука, ни знака...*

Да и сам Иосиф Бродский упокоился тоже как знатный пилигрим нового времени на одном из самых “шикарных кладбищ” мира – в Венеции, в сказочном городе, где жил еврейский ростовщик Шейлок и где родились в средневековой Европе “ристалища”, “капища”, и “бары”, и “банки”, и “большие базары”. Мимо которых несколько веков спустя, как вечные тени легендарного Агасфера, проходили пилигримы Иосифа Бродского...

Но пилигримы Бродского могут иметь не только метафизическую сущность, как некое агасферово братство, но и вполне реальные исторические очертания. Их можно себе представить, как ополчение, бредущее под руководством монашеско-рыцарских орденов – тамплиерского, францисканского, бенедиктинского – на заре раннего средневековья для “освобождения гроба Господня от неверных”, а заодно и для завоевания земель и богатств Ближнего Востока... Первые крестовые походы, первая попытка фанатичной европейской черни покорить племена и народы Третьего мира.

Озлобленные на судьбу “протестанты” всех времён и народов, они могут принимать обличье европейского пуританского спецназа, предавшего огню и мечу цветущий животный, растительный и людской мир Северной Америки; они могут воплощаться в испанских конквистадоров, разрушивших до основания несколько естественных в своём величии земных цивилизаций; они похожи на солдат чёрного интернационала иностранных легионов, державших в рабстве тех африканцев, которым удалось спастись в своих джунглях от североамериканских работников.

Помните гимн этих пилигримов: “День-ночь, день-ночь, мы идём по Африке, день-ночь, день-ночь, всё по той же Африке, и только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату”... Но это не просто солдаты. Это хорошо обученные наёмники.

Пилигримы Бродского не имеют отечества; они не знают, что такое вечность потому, что находятся в плену у времени; они, пожиратели пространства, всё время в походе, а это значит, что явления и картины жизни, сквозь которую они проходят – остаются для них чужими и непознанными. У них нет ничего кровного, родного. Это механические супермены цивилизации. Они не молят Бога о милости, но требуют поддержки от него, торгуются с ним (“а значит, не будет толку от веры в себя и в Бога”), не понимая того, что, как сказал один мудрец, “с Богом в карты не играют”.

Где только не бывал за свою короткую жизнь пилигрим Иосиф Бродский: в Англии, в Мексике, в Скандинавии, в Испании, в Голландии, в Кападокии, в Ирландии, в Прибалтике, в Италии, в Америке... И, конечно же, в Венеции. И везде отмечился громадными полотнами однообразных, но блистательно зарифмованных скептических впечатлений!

## II

### Старая дорога

*Всё облака над ней,*

*Всё облака...*

*В тени веков мгновенны и незримы,  
Идут по ней, как прежде, пилигримы,  
И машет им прощальная рука.  
Навстречу им июньские деньки  
Идут в нетленной синенькой рубашке,  
По сторонам — качаются ромашки,  
И зной звенит во все свои звонки,  
И в тень зовут росистые леса...  
Как царь любил богатые чертоги,  
Так полюбил я древние дороги  
И голубые вечности глаза!*

*То полусгнивший встретится овин,  
То хуторок с позеленевшей крышей,  
Где дремлет пыль и обитают мыши  
Да нелюбимый филин-властелин.  
То по холмам, как три богатыря,  
Ещё порой проскачут верховые,  
И снова — глушь, забывчивость, заря.  
Всё пыль, да пыль, да знаки верстовые...*

*Здесь каждый славен —  
Мёртвый и живой!  
И оттого, в любви своей не каясь,  
Душа, как лист, звенит, перекликаясь  
Со всей звенящей солнечной листвой.  
Перекликаясь с теми, кто прошёл,  
Перекликаясь с теми, кто проходит...  
Здесь русский дух в веках произошёл,  
И больше ничего не происходит.  
Но этот дух пройдёт через века!  
И пусть травой покроется дорога,  
И пусть над ней, печальные немного,  
Плывут, плывут, как мысли, облака...*

Где и когда написал Николай Рубцов это стихотворение? Попытаюсь представить...

Юный нестеровский отрок вышел с берега Сухоны на старую дорогу через Усть-Толшму до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками, по влажным, наполненным тёмной водой глубоким колеям от когда-то буксовавших здесь телег и машин. Мимо заброшенных починков, почерневших прошлогодних зародов, серебристых от старости столбов телеграфных. Сколько раз, пока дойдёшь до Николы, присядешь то у заброшенного овина, то на лесной земляничной опушке, то возле древнего погоста, то у кустов дикой малины. Я представляю его себе усталого, в промокшей обуви, с фибровым чемоданчиком, где немудреное бельишко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он бредёт, покачиваясь от усталости, а вокруг “зной звенит во все свои звонки”, но зато вглубь зовут “росистые леса”, качаются белые ромашки, и, куда ни глянь, всё трогает и волнует душу — и “филин-властелин”, и верховые, “как три богатыря”, проскакавшие куда-то к дальней кромке горизонта, и тишина.

*Здесь каждый славен — мёртвый и живой!..*

Редко-редко бывает, если какой-то грузовик догонит студента-пилигрима, шофер высунется из кабины и спросит: “Далеко ли идёшь?”

*Я шёл, свои ноги калеча,  
Глаза свои мучая тьмой...  
— Куда ты? — В деревню Предтеча.  
— Откуда? — из Тотьмы самой.*

Он садится в кабину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая взглянуться в небо, надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зелёному простору.

А потому, не доезжая несколько вёрст до родного села, просит шофёра притормозить и выходит из кабины.

*И где-то в зверином поле  
Сошёл и пошёл пешком.*

В отличие от пилигримов Бродского, идущих сквозь безымянные, безвременные и безнациональные пространства, пилигримы Рубцова бредут по русскому, российскому, хотя и запущенному саду с радостной душой, сквозь лесные и травяные райские кущи, в которых нет ни “баров”, ни “больших базаров”, разве что мелькнут руины архаического быта — “полусгнивший овин” да “хуторок с позеленевшей крышей”, да — “знаки верстовые” попадаются одне, поставленные, может быть, во времена Разина и Пугачёва. Пилигримы Бродского проходят мимо “роскошных” ухоженных и архитектурно выстроенных мемориалов Западного мира, пилигримы Рубцова — мимо безымянных, уходящих в землю могил (“каждому памятник — крест”), о которых со смирением можно сказать лишь одно: “Здесь каждый славен — мёртвый и живой”, то есть повторить другими словами извечную истину: “для Бога мёртвых нет”.

Да и сам пилигрим Николай Рубцов, всю жизнь бродивший по русскому православному белому свету, вернулся на своё вологодское кладбище, отнюдь не “шикарное”, что явствует из стихотворения Анатолия Передреева, посетившего в 70-х годах могилу своего друга:

*Лишь здесь порой,  
Как на последней тризне,  
По стопке выльют... Выльют по другой...  
Быть может, потому,  
Что он при жизни  
О мёртвых помнил, как никто другой!*

*И разойдутся тихо,  
Сожалея,  
Что не пожать уже его руки...  
И загремят им вслед своим железом,  
Зашевелятся  
Мёртвые венки...*

*Какая-то цистерна или бочка  
Ржавеет здесь, забвению сродни...  
Осенний ветер...  
Опадает строчка:  
— Россия, Русь, храни себя, храни...*

...А ведь некогда обе эти дороги вышли из одной точки Бытия, но, потянувшись по историческому пространству к горизонту, с каждым витком всё круче и круче расходились друг от друга...

Народы, как сказал один православный мудрец, “суть мысли Божии”. Две дороги, избранные двумя великими народами, воплотились в две Божьи мысли, тайну которых можно будет разгадать лишь в последние времена.

Пилигримы Николая Рубцова — это калики перехожие, облик которых запечатлён в русских былинах и народных песнях... Это люди святой Руси, персонажи не от мира сего, бредущие отмаливать грехи и свои и своего народа в Киевскую Софию, в Оптину пустынь, в Дивеево к Серафиму Саровскому, а кто и на Святую Землю.

Это некрасовский Кудеяр, ставший молитвенником и строителем Божьих храмов, это очарованный странник Лескова, это князь Мышкин Достоевского и Касьян из Красивой Мечи Тургенева, это босяки Горького и чеховские герои из повести “Степь”, и богомольцы из стихов и поэм Сергея Есенина, это семейство Аввакума, бредущего в ссылку.

Это люди не времени, а вечности, о которых с такой проникновенной силой написал Алексей Константинович Толстой в одном из лучших своих творений:

*Благословляю вас, леса,  
долины, реки, горы, воды,  
благословляю я свободу  
и голубые небеса,  
и посох свой благословляю,  
и эту нищую суму,  
и степь от края и до края,  
и солнца свет, и ночи тьму.  
.....  
и в поле каждую былинку,  
и в небе каждую звезду...*

Такая вселенская широта души непонятна и не нужна пилигримам Бродского.

### III

С будущим нобелевским лауреатом я познакомился через несколько лет после знакомства с Рубцовым в середине 60-х годов прошлого века, когда в редакцию журнала “Знамя” зашёл рыжеволосый молодой человек, отрекомендовался и пожаловался на гонения, которым он подвергается в родном городе, и попросил меня прочитать его стихи.

Собственно, это были не стихи, а длинная поэма... Я прочитал её при авторе, поскольку он торопился с отъездом, и сказал ему, что как версификатор он весьма поднаторел в сочинении стихов, но поэма явно несамостоятельна, поскольку написана под сильным влиянием Пастернака и Цветаевой, и посоветовал ему никогда не публиковать её.

Но одновременно мне стало жалко его, почти юношу, за все наветы, вылитые на него ленинградской прессой. А обвинения в “тунеядстве” вообще возмутили меня, поскольку я незадолго до того получил письмо из деревни Никола Вологодской области, где Коля Рубцов тоже жаловался на своих деревенских земляков:

“Я проклинаю этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить”.

Чтобы хоть как-то утешить нервного рыжеволосого юношу, я подарил ему свою книжку “Метель заходит в город” с какой-то душевной надписью, которую забыл (как забыл и сам факт дарения книги), о чём при случайных обстоятельствах вспомнил лет через сорок после этой встречи и лет через десять после его смерти.

Первоначально я хотел назвать эту книгу “Очарованный странник” и открыть её следующим стихотворением.

#### **Дальний Восток**

*Самолёт пожирает пространство...  
Час. Другой. Не видать ни зги,  
ни деревни, ни государства,  
ни огня — бесконечное царство  
бездорожья, тайги и пурги.*

*Вы, романтики и мореманы,  
алкоголики в якорях,  
добровольцы и графоманы,  
комсомольцы и капитаны,  
вам просторно в этих краях.*

*Места хватит — а это значит,  
можно шастать туда-сюда,  
кочевать, корчевать, рыбачить  
и судьбу свою переиначить,  
если есть такая нужда.*

*Не хватает нам постоянства,  
потому что вёрсты летят,  
непрожёванные пространства,  
самоедство и святотатство  
у России в горле сидят.*

*А когда эта жажда охватит —  
до свиданья, родной порог!  
Мне хватило, и сыну хватит,  
и его когда-то окатит  
околесица русских дорог.*

Но сей замысел по разным причинам не осуществился.

А в начале 90-х годов прошлого века у меня случилась короткая переписка с Бродским, тогда уже жившим в Америке. Дело в том, что в 60-е годы в Москве жил незаурядный юноша по имени Сергей Чудаков. Сын крупного энкавэдэшного начальника, родившийся и выросший чуть ли не в Магадане, он сразу же при первом знакомстве заинтересовал нас (меня, Передреева, Кожина) многими своими свойствами: несомненной талантливостью, литературным вкусом, знанием русской поэзии, плебейским эстетством, порочным обаянием и даже некоей артистической растленностью. Словом, он был своеобразной русской ипостасью то ли Дориана Грея, то ли одного из братьев Карамазовых.

Кроме Иосифа Бродского с ним были в близких отношениях два Олега — Олег Осетинский и Олег Михайлов, которые считали Чудакова одним из талантливейших поэтов своего поколения.

Этот русский вундеркинд и у меня также вызывал острое любопытство, хотя стихи, которыми он баловался, иногда удивляли свободой, высокомерием и восхитительным цинизмом.

*Ипполит, в твоём имени камень и конь.  
Ты возжёт в чреве Феды, как жжёнку, огонь.  
И погиб, словно пьяный, свалившийся в лифт,  
Персонаж неолита, жокей Ипполит.*

*Колесницы пошли на последний заезд.  
Зевс не выдаст, товарищ Буденный не съест.  
Только женщина сжала программку в руке,  
Чуть качнула ногою в прозрачном чулке.*

*Ипполит, мы идём на смертельный виток!  
Лязг тюремных дверей и сверканье винтовок.  
Автогонщик взрывается: кончен вираж.  
Всё дальнейшее — недостоверность. Мираж.*

*“Я люблю тебя, мальчик, — сказала она,  
Вожделением к мёртвому вся сожжена, —  
Мне осталось напиток в ресторане “Бега”,  
Мне осталась Россия, печаль и снега”.*



В 60-е годы мы встречались часто, но потом мой интерес к нему пропал, и мы могли не встречаться годами. Однако я почему-то до конца не выпускал из памяти его джеклондоновское лицо, скуластое, белозубое, большеглазое, обрамлённое крупными кольцами каштановых волос, и жалел о его не осуществившейся литературной судьбе.

Иногда до меня доходили слухи, что его то ли судили, то ли собираются судить за тунеядство, или за порнографические фильмы, или даже за сутенёрство. Но мне уже было не до Чудакова. Времена на дворе наступили грозные.

Однако вдруг в конце 1992 года в разгар государственной, бытовой и духовной разрухи я получил от него отчаянное письмо из Чеховского района Московской области, из селения Троицкое-Антропово, из психбольницы № 5, в котором он просил меня либо вызволить его из дурдома (куда он попал как душевнобольной, вместо того чтобы загреметь в лагерь), либо прислать ему немного денег на продукты, потому что кормят в психушке впроголодь.

А ещё в конверте лежало письмо для Бродского с просьбой узнать американский адрес последнего и отослать письмо в Америку. У Бродского Чудаков также просил денежного вспомоществования.

Я выполнил все его просьбы, послал ему денег, свежие журналы и свою новую книжку “Высшая воля” – стихи о смутном времени. В ответ весной 1993 года, когда начиналось роковое противостояние ельцинского окружения с российским парламентом, я получил от Чудакова очередное послание, которое, в отличие от других, случайно сохранилось в моём архиве.

*“Дорогой Стасик!*

*Восхищён книгой. Подробности в личном разговоре. Тираж в 5 тысяч оскорбительно мал. Я же писал тебе, что продаю квартиру за 40 тысяч долларов, это будет в апреле, я выписан, дело утверждается в суде. На Пасху мы похристосуемся. Так вот тебе пасхальный подарок: я выпущу книгу вторым изданием (надеюсь с дополнением) тиражом тысяч в 30 и обязуюсь всё распространить. Надеюсь ещё и прибыль получить. Пары тысяч долларов на это хватит. Но важно не это. Важно выиграть выборы. Я надеюсь быть одним из анонимных, но деятельных членов твоей избирательной команды. Когда бы ни состоялось голосование – осенью или зимой – победа русского крыла неизбежна. Я надеюсь, ты возьмёшь на себя ответственность быть членом учредительного собрания, сделать это надо в том же округе, что и в прошлый раз. Время только отметит (или высветит) твою правоту. Я беру на себя всё, что связано с TV (уже продумал, как это сделать в коротких роликах). Ну же! лаю тебе новых стихов. Прошу сообщить мне адреса, по которым ты отправил мои письма в Нью-Йорк Бродскому и в “Русскую мысль”. Олегу (Михайлову. – Ст. К.) привет. Я готов придти ему на помощь – дать новые темы, женить в третий раз, благословить на рождение наследника (мальчика). В заключение прошу прислать твой журнал № 1–3 за 93 г. и, если можно, любые свежие номера “Литературного обозрения”, “Лит. учёбы” и “Вопросов литературы”. Я занят только немецким, читать нечего, кроме Евангелия.*

*Поклон. Сергей Чудаков”.*

Наш инфант террибль завёл речь о выборах в Российский парламент, поскольку вспомнил, что в 1990 году я баллотировался в Верховный Совет РСФСР по Дзержинскому округу Москвы и занял второе место из 15, даже опередив таких известных людей, как генеральный прокурор России Трубин или всемирно знаменитый художник Илья Глазунов. На следующий тур голосования нас осталось двое – я и известный демократ, ученик и поклонник Сахарова Михаил Астафьев, который, конечно же, победил меня в либерально-демократической Москве... С той поры я оставил всякую мысль заниматься прямой политической деятельностью и печально улыбнулся, прочитав послание Чудакова... Особенно то место, где он писал, что “победа русского крыла неизбежна”. Письмо Чудакова, написанное Бродскому, я, конечно же, отослал и вскоре получил от Иосифа ответ, в котором он сообщил мне, что послал денюжат Серёже Чудакову, а заодно вежливо отказался от моего предложения напечататься в журнале “Наш современник”, наверное потому, что смешно и не умно было космополиту Иосифу сотрудничать с русским националистическим журналом. Хотя его стихи, “наиболее русские”, написанные в архангельской ссылке, я готов был напечатать безо всяких сомнений.



никакого памятника в Питере нет... Впрочем, он ему и не нужен. С него хватит памятника в Тотьме на берегу Сухоны, памятника в Вологде на набережном бульваре, надгробия на вологодском кладбище с барельефом, на котором выложены знаменитые, ставшие чуть ли не поговоркой, слова “Россия, Русь! Храни себя, храни!”

А здесь в каменном каре Двенадцати петровских коллегий собралась другая компания скульптур, в которой ему не было бы места.

Монумент Андрею Сахарову со связанными за спиной руками, сваренный из металлических полос и прутьев, не памятник, а скелет из ржавой арматуры, как будто трижды Герой Социалистического Труда прошёл через Освенцим. Слава Богу, что Елена Боннер не видела этот ржавый скелет своего знаменитого супруга... Памятник поручику Кижэ – железная связка всяческих ржавых обрезков; памятник молодой ведьме, летящей то ли на бревне, то ли на помеле, с сигаретой в руке, с задницей, блестящей от прикосновения студенческих рук.

Ещё несколько уродцев, облик которых я не захотел рассматривать, а имена их разгадывать... Одно слово – пилигримы из стихотворения Бродского. И наконец мои спутники подвели меня к какой-то нескладной конструкции: “А вот это, Станислав Юрьевич, Ваш знакомый, великий поэт!”

... На уровне моего пояса на асфальте на попа стоял небольшой чемоданчик, грубо сваренный из толстых листов ржавого железа. На торце чемоданчика лежал каким-то образом прикрепленный к нему плоский необработанный камень, а к камню была прикреплена голова то ли из чёрного кокса, то ли из какого-то металла, вся в рывтинах, в оспинах, в коросте; лицо этой головы было запрокинуто к небу, и его украшала счастливая и, несомненно, дебильная улыбка. Глаза на лице были полузакрыты. А сама голова стояла на камне, словно отрубленная... Словом – карикатура. Отвратительнее этого памятника (если суммировать впечатление от него) я видел только две скульптуры: бюст Осипу Манделштаму в Москве и памятник Чехову в Томске...

Я по-гамлетовски погладил ладонью скульптуру по шершавой, чуть ли не золотушной голове. “Бедный Иосик... что они с тобой сделали! Похоронили тебя на шикарном кладбище, на которое ты, будучи в сословии честных пилигримов, глядел с угрюмой неприязнью... Но этого мало. Вместо того чтобы изваять тебя в человеческом образе, как изваяли Николая Рубцова на его родине, тебе поставили не памятник, а какую-то бесчеловечную карикатуру. Если вспомнить твои строчки: “На Васильевский остров я приду умирать” – ты был достоин лучшего изваяния...”

... Когда я уезжал в Москву, то Володя Бондаренко сказал мне: “Ты зайди на Фонтанку в музей Ахматовой, в нём есть экспозиция “Американского кабинета Иосифа Бродского”. На выставке лежит твоя книжечка “Метель заходит в город” с твоим автографом”. “Ты прочитал его? – спросил я Володю. – Интересно, что я написал Иосифу почти полвека тому назад!” – “Нет, не прочитал, книжка была под стеклом в стеллаже, запертом на замок...”

... Мы вскочили в машину и помчались на Фонтанку. Но опоздали. Музей уже был закрыт, и охрана, конечно, не пустила нас в залы, а вечером уезжал.

Однако я взял у охранника телефон музейной сотрудницы Нины Ивановны Поповой и, возвратившись в Москву, позвонил ей:

– Нина Ивановна! Прошу Вас, возьмите из экспозиции книжечек, которые у Бродского были в Америке, мою книжечку “Метель заходит в город” и прочитайте, пожалуйста, какие слова я написал ему на память почти полвека тому назад...

Через минуту приятный женский голос ответил мне:

– Слушаете? Я читаю Вам Вашу дарственную надпись Иосифу Александровичу:

“Иосифу Бродскому с нежностью и отчаяньем, что эта книга будет совершенно чужда ему”.

Я уже тогда понимал, что моя книжечка о России (странно, что он сохранил её для себя) будет чуждой ему так же, как мне со временем стали совершенно чужды его знаменитые “Пилигримы”. Странно лишь то, что я до сих пор помню их.

СЕРГЕЙ ЛАГЕРЕВ

## “ИМЕНЕМ РУБЦОВА МЫ БУДЕМ УЗНАВАТЬ ДРУГ ДРУГА”

*К 85-летию со дня рождения Николая Рубцова*

В нашей семье всегда любили читать, даже в те непростые послевоенные годы в доме была своя небольшая библиотека. И моё последующее многолетнее увлечение русской литературой, собирательство книг, автографов было продолжением той детской любви к книге. С 1986 года я стал конкретно заниматься изучением жизни и творчества замечательного русского поэта Николая Рубцова. И подтолкнул меня к этому мой двоюродный брат из Ленинграда Анатолий Пантелеев, который в то время готовил в университете конференцию, посвящённую пятидесятилетию поэта. Стихи Рубцова меня поразили, легли на душу. Поразила его жизнь и страшная гибель. Писатель из Санкт-Петербурга Николай Коняев, издавший несколько книг о Николае Рубцове, говорил: *“Именем Рубцова мы будем узнавать друг друга”*. И это было правдой. Где бы я ни бывал в будущем: в Вологде, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, — имя поэта Николая Рубцова часто становилось каким-то литературным пропускным паролем при встречах с самыми разными людьми — поэтами, писателями, литературными критиками и просто любителями поэзии.

Давно хотел рассказать о своих многочисленных литературных встречах, так или иначе связанных с именем поэта, и решил начать с уникального человека, поэта, государственного и политического деятеля, патриота России, настоящего, не ряженого, каких хватало и хватает сейчас, последнего Председателя Верховного Совета СССР Анатолия Ивановича Лукьянова. Преданный Ельциным и Горбачёвым, он был арестован и полтора года провёл в следственном изоляторе “Матросской тишины”, хотя с ГКЧП связан не был. Сам Анатолий Иванович писал об этой странице жизни так: *“Горбачёв и Ельцин боялись, что, если проведу я, то депутаты могут свести на нет все результаты августовской победы демократии и сохранят СССР”*.

Увлёкшись судьбой и творчеством Рубцова, я всегда отслеживал в СМИ различные статьи о нём. И вот в марте 2002 года прочитал в газете “Правда” статью В. Кожемяко *“Поэтическая любовь Анатолия Лукьянова”*. В ней Анатолий Иванович рассказывал о своей жизни, о литературных пристрастиях, о коллекционировании книг и аудиозаписей. И о том, что готовит к выпуску антологию *“Сто поэтов XX века”*, в которой на десяти дисках будут звучать “живые” голоса русских поэтов. Ещё он очень хорошо отзывался о поэзии Николая Рубцова. Меня это заинтересовало, и я написал в газету письмо, рассказал о своём увлечении, не надеясь, что о нём узнает человек такого высокого ранга. Просто написал, как “на деревню дедушке”. Но через какое-то

время мне вдруг прямо на квартиру принесли письмо со знаком Государственной Думы и надписью “Правительственное”. Вот оно:

“Уважаемый Сергей Алексеевич!

Мне передали из редакции “Правды” Ваше письмо – отклик на опубликованное в этой газете моё интервью о коллекции голосов поэтов, которую я собираю почти 50 лет. В этом месяце Антология “Сто поэтов XX века” выпущена издательством ИТРК. В ней на десяти дисках голоса ста поэтов, большинства из которых уже нет в живых, начиная с Бунина, Брюсова, Блока, Гумилёва, Волошина, Ахматовой и др. Есть в этой Антологии и шесть стихотворений Николая Михайловича Рубцова. Я выбрал их из 16 стихотворений, записи которых у меня имеются. Это стихи, которые были написаны поэтом с 1960 по 1971 год. Список я прилагаю. Кроме того, у меня есть воспоминания о Рубцове – записи голосов В. И. Белова, С. Ю. Куняева и других знавших его людей. Собираетелй книг и записей голоса Рубцова, насколько я знаю, в России много (Москва, Ленинград, Архангельск, Вологда и др.). Создаётся своеобразное братство вокруг творчества замечательного, подлинно русского поэта. Рад, что Вы принадлежите к этому братству.

А. Лукьянов”.

Ответное письмо я направил прямо на адрес Государственной Думы. Рассказал о себе, о наших литературных делах в городе, послал книгу посвященный “Венок Рубцову”, которую в 2001 году мы издали в Сургуте. Кстати, первую такую книжку в России. Также послал записи авторского чтения стихов Николаем Рубцовым, которых не было в архиве у А. И. Лукьянова. Письмо и бандероль дошли до адресата, и вскоре я получил ответное письмо:

“Уважаемый Сергей Алексеевич!

От всего сердца благодарен за присланную Вами книгу “Венок Рубцову”. Книга великолепная, прекрасно оформленная. В ней, на мой взгляд, – самое ценное о Николае Михайловиче. В этом ряду и Ваше прочувственное стихотворение. Сделано оно добротнo и профессионально. Николай Рубцов, несомненно, – одна из самых ярких звёзд русской национальной поэзии второй половины XX века. У него было (да и сейчас есть) немало русскоязычных недругов. Но ведь стихи – это не только форма и рифма. Это ещё огромная, любящая Россию душа. Этой души не было и нет у капитализаторов России. Да и откуда она у них возьмётся, если эта публика принимает русского человека за “быдло”, “лодыря” и “раба”. Поэтому я полностью согласен с Вами в оценке нынешних разрушителей нашей страны, её экономики и культуры. Где-где, а уж в энергетике это проявляется особенно остро. Наглость “новых хозяев” перехлёстывает здесь все мыслимые пределы. Мне радостно, что у нас с Вами сходная судьба. Я тоже начинал токарем на военном заводе в 1943 году и к стихам пришёл как-то незаметно. Профессиональным литератором себя не считаю, хотя и вышли 14 моих поэтических книжек. Что касается коллекции голосов поэтов, которую я собираю более 50 лет, то подготовленная на её основе антология появится на прилавках, видимо, где-то в сентябре. Это десять компакт-дисков с приложением текстов стихов (около 400 произведений ста поэтов прошлого века). У Рубцова там шесть стихотворений. Вот и возникла у меня мысль. Если бы Вы прислали свои записи (включая голоса В. В. Кожина и других современников), а я добавил к ним свои материалы, то можно было бы выпустить два вечных лазерных диска, содержащих максимальное число стихотворений, читаемых самим Рубцовым, а также воспоминания, песни и стихи о нём тех, кто его знал и любит. Мы могли бы выступить составителями, а издателя и спонсора, думаю, удалось бы найти. Тираж будет зависеть от спроса, но, уверен, этот спрос в России немалый.

Может быть, из Сургута будет какая-нибудь оказия. Тогда я переслал бы вам две своих последних книги.

Ещё раз спасибо за книгу и тёплое письмо. Желаю вам всего доброго. Со мною можно связаться по телефонам: рабочий (хххххх), домашний (ххххххх)

А. Лукьянов”.

В феврале 2003 года в московском Центральном доме литераторов прошла презентация уникального проекта “100 поэтов XX века”, в основу которого легла фоноколлекция, собранная А. И. Лукьяновым. Такая антология была

издана впервые. Вскоре, будучи в Москве, преподаватель сургутского пединверситета Н. А. Дворяшина встретила с Анатолием Ивановичем и приобрела два экземпляра антологии: себе и мне. Так эта уникальная вещь, красиво оформленная, состоящая из десяти дисков с голосами поэтов и книги, в которой стихи, читаемые авторами, были продублированы в печатном виде, появилась в Сургуте, а вскоре и в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Как раз в то время Сургутский музыкально-драматический театр готовил спектакль о поэзии XX века “Среди миров, в мерцании светил...”. Узнав о приобретённой мной антологии, у меня в гостях побывали актёры театра для того, чтобы послушать, как выдающиеся русские поэты читают свои стихи. Звучали голоса И. Бунина, С. Есенина, А. Ахматовой, Н. Гумилёва, А. Блока и других. Думаю, что это помогло актёрам в их работе. А моё общение с А. И. Лукьяновым продолжалось... Я иногда звонил ему на домашний телефон, он так меня просил, так как на работе не было времени разговаривать. Говорили о разном, делились литературными новостями. Его помощник по Госдуме присылал мне сборники стихов Анатолия Ивановича. В июне 2003 года я поехал в Вологду через Москву, и там, прямо в Госдуме, мы встретились лично. Около двух часов такой занятой человек посвятил нашему разговору. Я сначала как-то робел, но А. И. Лукьянов был очень доброжелателен, позволил своему помощнику сфотографировать нас. Интересно рассказывал о себе, о литературной жизни столицы, о своих впечатлениях и опасениях. Говорил о трагических событиях 1991 года, подарил книгу “Переворот мнимый и настоящий”, написанную им в “Матросской тишине”. Его арестовали только из-за того, что предавшие его Горбачёв и Ельцин боялись, что, будучи на свободе, Лукьянов мог препятствовать им в разрушении Советского Союза. Я попросил его ещё раз рассказать о том, как он помог Николаю Рубцову в трудный период его жизни, и Анатолий Иванович вновь поведал мне эту историю. Привожу слова из своей блокнотной записи, сделанной с разрешения Анатолия Ивановича в период разговора и потом одобренной им: “Где-то в конце 1964 года (в то время я был заместителем заведующего отделом Президиума Верховного Совета СССР) мне позвонили поэты Александр Яшин, Станислав Куняев и Вероника Тушнова и попросили помочь поэту Николаю Рубцову. В назначенное время Яшин пришёл не один, а с поэтессой Вероникой Тушновой. Суть их просьбы была такова: вологодского поэта Николая Рубцова исключили из Литературного института, и Яшин с Тушновой просили меня посодействовать его восстановлению. К этому времени я уже знал имя поэта, читал подборки его стихов в журнале “Октябрь” и понимал, что Николай Рубцов — это настоящее явление в русской поэзии. Я позвонил в институт, представился и поговорил с ректором или его заместителем (сейчас точно не помню фамилию). Сказал следующее: “Как же вы не понимаете? Вы отчисляете из института, может, второго Есенина!” (Кстати, почти так же говорил В. Кожинов своему отцу, когда тот не пригласил Рубцова в свой дом в новогоднюю ночь 1965 года. — С. Л.) Меня выслушали и пообещали дело это уладить. Помню, что даже зачитали его строчки из заявления, чтобы, я так понимаю, показать мне, на какие уступки они идут. Эти слова сейчас знают все любители творчества Николая Рубцова:

*Возможно, я для вас в гробу мерцаю,  
Но заявляю вам в конце концов:  
Я, Николай Михайлович Рубцов,  
Возможность трезвой жизни отрицаю.*

*Николай Рубцов был восстановлен в Литинституте, но только на заочное отделение, а потом и успешно закончил его”.*

Больше с Лукьяновым мы, к сожалению, не встречались. Я изредка звонил Анатолию Ивановичу. К 2006 году к юбилею Николая Рубцова я готовил новую книгу воспоминаний “Поэту посвящается” и попросил Лукьянова прислать мне для этого сборника своё стихотворение о Рубцове. Он мне прислал два. Одно я поставил в книгу, сразу после выхода сборника из печати отослал её Анатолию Ивановичу. В телефонном разговоре он благодарил меня, говорил добрые слова о книге, о нашем городе. Проект, о котором мне писал Лукьянов, о подготовке трёх лазерных дисков, посвящённых Николаю Рубцову, у нас как-то не случился, хотя нового материала было собрано много.

В 2004 году Анатолий Иванович сложил свои обязанности депутата Государственной Думы и работал профессором кафедры конституционного и муниципального права в МГУ имени М. В. Ломоносова, консультировал ЦК компартии России. В последние годы Анатолий Иванович часто болел. Когда я изредка звонил, то трубку брала Людмила Дмитриевна, его жена, спрашивала, кто звонит, и сообщала супругу, только тогда он брал трубку телефона. В январе 2019 года Анатолий Иванович Лукьянов скончался. Светлая память очень хорошему человеку! Слова писателя Николая Коняева: “Именем Рубцова мы будем узнавать друг друга!” — до сих пор объединяют нас. Именно поэзия Рубцова подарила мне знакомство с таким талантливым, неординарным, большим Человеком. Если бы у нас во власти были вот такие же, как он, патриоты, не представляющие своей жизни без России, люди честные и творческие, любящие и понимающие русскую культуру, то и страна, думаю, жила бы по-другому. Хочу завершить свои воспоминания стихотворением Анатолия Лукьянова “Первый снег в Вологде”:

*Осени холодное дыханье.  
Первый снег нагрел и затих.  
Мчатся облака-воспоминанья,  
Не могу избавиться от них.  
С ними звуки музыки печальной,  
Образы поэтов и певцов,  
С ними голос твой исповедальный,  
Свет и боль российская — Рубцов.  
С ними сердца нашего примета —  
Песни петь от первого лица.  
Нет без боли русского поэта,  
Нет без страсти кисти и резца.  
Свет их через тернии и грозы,  
Как звезда над ширью полевой,  
Где шумят озябшие берёзы  
Над моей усталой головой.*

БОРИС КУРКИН

## ПОДАВЛЯЮЩЕЕ МЕНЬШИНСТВО, ИЛИ РАЗГОН

*Напрасно в годы хаоса  
Искать конца благого...*

(Б. Пастернак. Лейтенант Шмидт)

*Рассказ очевидца при выборах в Учредительное собрание.  
Старушка говорила:*

*— Я за Церковь и за Бога, а то умрёшь, и, как собаку, за-  
капают на Марсовом поле.*

(Пришвин М. М. Дневник 1918-1919)

*Историческая фраза: “Караул устал!” — как осуждение  
говорящей интеллигенции.*

(Пришвин М. М. Дневник 1918-1919)

*Россия — особый мир. Мир великий и самобытный, от-  
личный от европейского по земле, по крови, по вере, по по-  
литическому строю — по всему ходу истории. <...> Исто-  
рией всякого народа руководит Провидение, но русской ис-  
торией в особенности. Ни одна история не заключает  
в себе столько чудесного и сверхъестественного. Собра-  
жая события, её составляющие, невольно думаешь, что  
перст Божий ведёт Русский народ, как будто древле иуде-  
ев, к какой-то высокой цели.*

(Фундаминский-Бунаков И. И.

Член Учредительного собрания, правый эсер.  
“Пути России”).

### Прелюдия

Этого эпохального события “передовая общественность России” ждала, по её словам, “дольше века”. И вот, наконец, дождалась: 5 января 1918 года открывалось Учредительное собрание. Оно пришлось на канун Богоявления, или Крещения — на Крещенский сочельник. Однако в тот день свидетелей и участников события — красных социалистов — крещали не святой водой, а свинцом и порохом.

На то, что дело закончится пролитием крови, прозрачно намекнул живший не по лжи Ильич в своей статье “Плеханов о терроре”, вышедшей в № 221 газеты “Правда” 22 декабря 1917 года (по ст. ст.). Для пущей значимости её продублировали на следующий день в “Известиях ЦИК”. В ней предсовнаркома



припомнил “отцу отечественного марксизма” слова, сказанные тем на Втором съезде РСДРП в 1903 году<sup>1</sup>. В частности, эти: “Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлечённости, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, что *salus populi suprema lex* (благо народа — высший закон. — **Б. К.**). В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться”<sup>2</sup>.

Действительно, чего не сотворишь во благо революции! Не исключено, однако, что по прошествии полутора десятков лет Плеханов горько пожалел о сказанных им некогда словах. На то обстоятельство, что решение о разгоне Учредительного собрания было для Ленина непростым, а ссылки на Плеханова были чем-то вроде “оговорочки по Фрейду”, глухо намекает в своих воспоминаниях мадам Ульянова-Крупская<sup>3</sup>.

Для того чтобы понять смысл происшедших событий, следует начать с их предыстории. Февральский государственный переворот состоял фактически из двух частей:

1) заговора генералов и руководства Госдумы непосредственно против Государя;

2) организации беспорядков в Петрограде и создания Временного комитета Государственной Думы (ВКГД).

Эти линии, конечно же, пересекались (например, в лице председателя Госдумы Родзянки). У деятелей первой линии был достаточно чёткий план легитимизации власти после отречения Государя (именно он и изложен в тексте отречения, притом для понимания сего плана подлинность отречения не принципиальна), но “что-то пошло не так”: Великий князь Михаил Александрович, в пользу которого было сделано пресловутое отречение, обнародовал акт о намерении принять верховную власть лишь после того, как на Учредительном собрании выразится народная воля относительно окончательной формы правления. Это означало полный провал плана генералов и руководства Госдумы, а перед получившими всю полноту власти Временным правительством и Советами во весь рост встала проблема её узаконения.

Теперь вопрос заключался в том, каков будет государственный строй России и кто будет определять его физиономию. Таковым (из соображений общественной безопасности и государственной стабильности) могло стать лишь пресловутое “Учредительное собрание” (УС) — безбожная и злая пародия на Земский Собор трёхвековой давности. Под возможные “концепты” УС лихорадочно готовились конституционные проекты.

И вот о созыве УС, дожидаться которого “освободительное движение” уж и не чаяло, было объявлено. Вопрос был решён в принципе. Оставались “мелочи” технического порядка, важнейшими из которых были “когда” и “каким образом УС формировать”. Второй был решён радикально, да так, что Россия оказалась самой демократической страной в мире: к выборам решено было допустить женщин, военнослужащих и сделать выборы всеобщими, разумеется, при тайном голосовании. Это был прорыв в мировом конституционализме. Радости, однако, он не принесёт в России никому. Оставался вопрос “когда созывать УС?”

Временное правительство действовало по ситуации, а ситуация менялась с каждым часом. И каждый час приближал катастрофу. Это не столько понимали, сколько чувствовали многие. С каждым днём таковых становилось всё больше. В конце концов, загнанное в угол непредвиденными обстоятельствами правительство назначило выборы на 12 ноября 1917 года.

Что до большевиков, то с конца лета 17-го они постоянно обвиняли правительство в сознательном оттягивании выборов, утверждая, что “буржуазная” власть боится революционных настроений народных масс. Выбросив лозунг “Вся власть Советам!”, они оправдывали его тем, что Временное правительство никогда не исполнит своих обещаний, и только Советы могут гарантировать созыв УС. Для этого якобы октябрьский переворот и совершался.

“Восстание народных масс не нуждается в оправдании, — заявил после октябрьского переворота, названного впоследствии “Великой Октябрьской социалистической революцией”, Троцкий. — То, что произошло, это не заговор,

а восстание”<sup>4</sup>. Слушая его, можно было подумать, что планы “восстания” за годя обсуждались в газетах, на митингах и в кабаках. И притом безо всяких заговоров. А потом оно вспыхнуло само собою. И победило.

Правду сказать, не всё так просто было на том историческом II съезде Советов. В классическом произведении марксистско-ленинской мифологии – фильме 1937 года “Ленин в Октябре” – зал съезда рукоплещет вошедшему Ленину, а его фразу о свершившейся революции встречает овациями. Однако ещё в 1925 году – на XIV съезде, правда, не Советов, а ВКП(б) – Ихил-Михл Залманович Лурье, более известный под кличкой “Ю. Ларин”, заявил: “Я кончаю своё слово воспоминанием о том, что было и чему я был свидетелем на II Съезде Советов 25 октября 1917 года, где я был членом бюро большевистской фракции и потому внимательно наблюдал и видел, как выходили на трибуну законно избранные делегации армейских комитетов с разных фронтов и говорили: “В силу законных полномочий, которые мы имеем, мы протестуем против этого переворота”. Говорила одна делегация за другой, другая за третьей. Тогда вышел на трибуну тов. Троцкий и ответил: “Да, вы законно избраны, но ваши избиратели не обсуждали вопроса: признают ли они этот переворот? А вот мы к ним пойдём и обсудим вопрос: признают ли они Октябрьский переворот?”<sup>5</sup>

Оказывается, солдатские представители активно протестовали против переворота!

Суть же сказанного Троцким сводилась к следующему: “Да, вы законные представители избирателей, но вправе ли вы решать за ваших избирателей?”

Таким манером Троцкий “срезал” под корень оппонентов, в очередной раз проявляя неподражаемое остроумие, за которое он расплатится впоследствии проломленной черепной коробкой. Под конец заседания большевики остались в своём тесном кругу – все прочие покинули зал.

Во время заседания съезда, как вспоминал активный участник политических событий 1917 года, делегат I и II съездов Советов и член Комуча<sup>6</sup> эсер В. М. Зензинов, “пришла страшная весть о том, что большевики начали бомбардировку Зимнего дворца, в котором происходило очередное заседание Временного правительства. Это известие взволновало всех присутствовавших. Большевики официально это известие тут же опровергли. Но пришли новые вести, подтвердившие эту новость, получены были новые трагические подробности этой бомбардировки. Одна революционная партия за другой заявили на съезде резкий протест против действий большевиков, против их двуличной тактики.

Это было не только протестом против большевиков, это был протест против большевистского переворота вообще. Представители революционных и социалистических партий одни за другими поднимались на кафедру, заявляли в резких выражениях свой протест и уходили со съезда, не желая иметь ничего общего с большевиками. Большевики остались одни, и с этого момента они начали опираться только на грубую физическую силу”<sup>7</sup>.

Ощущение свершившегося выразит З. Гиппиус в своём известном стихотворении “Сейчас”:

*Как скользки улицы отвратные,  
Какая стыдь!  
Как в эти дни невероятные  
Позорно жить!  
Лежим, заплёваны и связаны,  
По всем углам.  
Плевки матросские размазаны  
У нас по лбам.*

Итак, вся “законность” захвата власти, случившегося 25 октября, основывалась на решении Второго съезда Советов, поставившего новых переворотчиков в зависимость от одобрения (или неодобрения) их власти Учредительным собранием. И было совершенно очевидно, что такого одобрения они не получают. К тому же все революционные постановления, принятые Вторым съездом, носили условный характер.

Все декреты Второго съезда Советов объявлены съездом действующими “впредь до созыва Учредительного собрания”.

Вопрос о земле должен был быть решён Учредительным собранием (Декрет о земле был, в сущности, “декларацией о намерениях”), формирование правительства — Учредительным собранием. Вынести на обсуждение Учредительного собрания мирные условия (“что можно, а чего нельзя уступить”) предложит в своём докладе о мире Ленин.

После разгона УС большевистские “историки”, вернее, агитаторы и пропагандисты от истории, объяснят читающей их публике, отчего Ильич был сначала за “учредилку”, а потом разогнал её. Слово большевистскому пропагандисту от истории Я. А. Эпштейну (“Яковлеву”): “Схоластики могли бы за это обвинить Ленина и большевистскую партию в оппортунизме и уступчивости буржуазии, по меньшей мере, в уступчивости мелкобуржуазным предрассудкам. Но именно схоластики и только схоластики. <...> Ленин считался с тем, что выступление большевиков против Учредительного собрания непосредственно перед съездом и во время съезда Советов вызвало бы колебание значительных слоёв мелкой буржуазии, крестьянства и части рабочих, не изживших ещё до конца иллюзий доверия к Учредилке. <...> И тогда уже, после 2-3 месяцев опыта пролетарской власти, после того, как земля будет взята крестьянами во исполнение декрета съезда Советов, после того, как мир и, по меньшей мере, перемирие из области предположений перейдут в область действительности, любой отсталый рабочий, огромное большинство колеблющихся крестьян скажут: к чёрту Учредительное собрание, пусть живёт советская власть!”<sup>8</sup> (И надо же будет такому случиться, что ровно десять лет спустя чекисты вырвут сему комментатору его “празднословный и лукавый” язык и одарят в утешение девятью наркомовскими граммами).

О том, что после октября 1917 года Учредительное собрание “уже не могло считаться выражением воли народа”, будет талдычить, выполняя партийные директивы, официальный историк от большевизма М. Н. Покровский<sup>9</sup>. Ему повезёт больше: его и его “школу” посмертно разоблачат, и его ученики станут наперегонки отречься от своего научного руководителя и плевать на его могилу.

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов поручает Советам на местах принять немедленно самые энергичные меры к недопущению контрреволюционных выступлений, антиеврейских и каких бы то ни было погромов. “Честь рабочей, крестьянской и солдатской революции требует, чтобы никакие погромы не были допущены”<sup>10</sup>. А в обращении к казакам звучал пламенный призыв: “Покажите чёрной сотне, что вы не станете изменниками народа, что вы не пожелаете накликать на себя проклятие всей революционной России”<sup>11</sup>.

Депутаты, как видим, всерьёз опасались, что сразу после того, как в России узнают о насильственной смене власти, по ней прокатятся антиеврейские погромы. С чего бы, право, такие опасения?

Любопытный факт, поведанный читателям левым эсером С. Мстиславским (настоящая фамилия Масловский. — **Б. К.**): “Лидеры эсэров, — писал он, — партии, без колебаний посылавшей в подпольном прошлом своём на эшафот и в каторгу евреев-террористов, на крови и на мысли их без колебаний утверждавшей партийные знамёна, — считали ныне, став у кормила власти — “вверху горы”, — неудобным выдвигать на ответственные посты своих “нерусских” сочленов. Не случайно даже под заголовком центрального органа партии “Дело Народа” партийные лидеры заставили нас, тогдашних редакторов его, выписать старательно рядом с литературными псевдонимами и подлинными именами, чтобы ведомо было *urbī et orbī*, что среди нас евреев нет”<sup>12</sup>.

Но вернёмся “к нашим баранам”. Итак, съезд разрешил Ленину создать Совнарком лишь при условии, что правительство объявляется “временным”, а после созыва Учредительного собрания оно может остаться у власти лишь при согласии Всероссийского парламента. Точно так же декреты о земле и мире получали окончательный характер лишь после их утверждения новым верховным органом страны. Ситуация усугублялась тем, что сами же большевики буквально вчера добивались скорейшего созыва Учредительного собрания.

Уже в эмиграции — с безопасного расстояния — А. И. Куприн скажет то, о чём упорно молчали поколения советских историков: “Маленькая кучка,

человек в триста, никем не уполномоченных людей. <...> Петроградский Совет солдатских и рабочих депутатов, никем не уполномоченный выражать волю всей великой России. Кто избрал его? Никто”<sup>13</sup>.

Посмотрим список делегатов сего съезда. “Ба! Знакомые все лица!” Ленин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев, Сталин, Дзержинский, Дыбенко, Крыленко, Коллонтай, Рыков, Луначарский и, наконец, “примкнувший к ним” Керенский! А за ними – деятели пожиже: Шляпников, Иоффе, Урицкий, Склянский, Петерс, Подвойский, Бубнов. И близкая к слабоумию “бабушка русской революции” Брешко-Брешковская тут как тут!

Ленин и его партия были обречены на проведение выборов и созыв Учредительного собрания, которое одно и могло подтвердить законность их власти. В начале декабря 1917 года он ещё пишет: “Если брать Учредительное собрание вне обстановки классовой борьбы, дошедшей до гражданской войны, то мы не знаем пока учреждения более совершенного для выявления воли народа. Но нельзя витать в области фантазий. Учредительному собранию придётся действовать в обстановке гражданской войны. Начали гражданскую войну буржуазно-калединские элементы”<sup>14</sup>.

Октябрьские переворотчики и хотели избавиться от “учредилки”, и боялись разогнать её. В конце концов, решено пойти на разгон УС.

Тут же возник ряд технических вопросов, в частности, такой: разгонять ли всё и всех сразу или же разогнать большинство, а себя – меньшинство – объявить “революционным конвентом”? Идея “конвента” воспротивился Ильич, не без диалектики убеждавший своих сообщников в том, что создание “конвента” будет означать признание верховенства Учредительного собрания над властью “народных” комиссаров, а посему выйдет “ни то ни сё”. “Учредилку”, по Ленину, следовало разогнать как “контрреволюционный орган” и придушить этого уродца, появившегося на свет слишком поздно – в то время, когда революция далеко ушла вперёд. Это было проявление великолепного презрения – даже не к эфемерной после свержения Царя законности, но к элементарным правилам приличия. Испытанным же средством в этом деле стала отчаянная, запредельная демагогия.

Но гораздо более очевидным стал выбор силовых методов и просто безграничного террора против любых, независимо от классовой принадлежности, оппонентов ради удержания захваченной власти.

... Обе столицы проголосовали за большевиков и за кадетов. Вся остальная Россия – за эсеров. “Пролетарским массам” были близки лозунги “диктатуры пролетариата”, “солдатским”, а также “солдаткам” – демобилизации, крестьянству – лозунг “Земля и воля”. Как вспоминал писатель И. Ф. Наживин, “бабёнки дружно тащили номер шесть (большевики. – **Б. К.**): Ваньку обещали вернуть с фронта в три дня.

– Да вы сбесились, тётки?.. А за Ванькой-то кто сюда придёт?

– А кто?

– Вильгельм.

– Так что? И больно тоже, что придёт... Вильгельм-ат он строгай, он ла-ла-то разводит языком не очень даст, он враз тебе порядок во какой наведёт!.. А то ишь, черти, волю взяли!..”<sup>15</sup>

К слову сказать, из всех социалистических партий большевики были единственной, не выставившей во время предвыборной кампании никакой чёткой программы. Они явно рассчитывали привлечь голоса избирателей общими и туманно сформулированными призывами к рабочим, солдатам и крестьянам, используя лозунг “Вся власть Советам”, обещание немедленного мира и конфискации помещичьей собственности.

Мотивация и ожидания “электората”, описанные Наживиним, лишний раз демонстрировали всю пагубу для России “парламентского кабака”.

Но не лучше была и “диктатура пролетариата”. Свергнув Царя, Россия попадала в жёсткий коридор неминуемой катастрофы. И большевики, и эсеры кормили народ сладкими обещаниями и уверенно толкали страну в пропасть.

Как бы то ни было, но в итоге эсеры победили с разгромным счётом – 715:175. Ленин справедливо счёл итоги выборов сокрушительным поражением.

Партия народной свободы (“кадеты”) добилась громадного успеха в крупных городах, то есть именно там, где социал-демократы особенно нуждались в твёрдой победе. Именно городские центры должны были компенсировать их

слабость в деревне и стать опорными пунктами в приближающейся гражданской войне. В обеих столицах кадеты прочно занимали следующее за большевиками место, собрав в Петрограде 26% голосов, а в Москве — 34%. А если отнять от результата большевиков в Москве голоса солдатской массы, которая начинала всё больше разлагаться, то на коммунистов приходилось 45%, в то время как на кадетов — 36%. Более того, партия народной свободы обогнала большевиков в 11 из 38 губернских городов, а во множестве других прочно занимала второе место, наступая коммунистам на пятки. Таким образом, кадеты представляли собою гораздо более серьёзную политическую силу, чем это следовало из сводных цифр результатов голосования.

Большевистские вожди оказались не на шутку перепуганы. “Мы определённо должны добить кадетов, или они добьют нас”, — скажет в усы “чудесный грузин” Коба. Он не был паникёром, его никогда не подводил звериный нюх, жизнь учила быть предельно осторожным в неясной ситуации, а после принятия решения — идти до конца и быть беспощадным.

Закрытие большевиками нескольких десятков газет и арест ряда членов УС действия своего не возымели. А может, и возымели. Но обратное.

Так, члены ЦК кадетов отговаривали приехавшего из Воронежа в Москву А. И. Шингарёва ехать в Петроград, на что он отвечал: “Я должен ехать. Бывают моменты, когда личная безопасность политического деятеля должна отступить перед его общественным долгом. На 28-е назначено открытие Учредительного собрания. Я и другие избранные в члены собрания должны быть в назначенное время на месте”. Поехал и “хотя приходится писать теперь сидя в каземате неизвестно за что, всё же не раскаиваюсь. Пусть население знает, кто срывает Учредительное собрание, кто насилует свободу народа. Из нашего задержания должна получиться польза. Когда-нибудь да прояснится народное сознание”<sup>16</sup>.

Арестовали Шингарёва просто. Без затей. И даже без предъявления обвинений.

Попутно допрашивавший задержанных заявил, что “иммунитет членов Учредительного собрания — вопрос спорный”<sup>17</sup>. В итоге А. И. Шингарёв и Ф. Ф. Кокоскин оказались в крепости.

Троцкисты-ленинцы прекрасно понимали, что дурман пустословия, в конце концов, рассеивается, и приходят похмелье и отрезвление.

И процесс уже пошёл: призрак коммунизма, который родитель его Ленин (и не он один, а ещё Троцкий и левые экономисты) лукаво назовёт спустя три года “военным” и “вынужденным”, обретал плоть.

Товарищи и впрямь принялись строить коммунизм, введения которого требовала очередная программа РКП(б) 1919 года. В области распределения задача Советской власти в соответствии с принятой программой состояла в том, чтобы “неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов”. Целью же в связи с этим объявлялось “с наименьшей затратой труда распределять все необходимые продукты, строго централизуя весь распределительный аппарат”<sup>18</sup>.

Относительно будущего банковской сферы в программе РКП(б) говорилось: “Опираясь на национализацию банков, РКП стремится к проведению ряда мер, расширяющих область безденежного расчёта и подготовляющих уничтожение денег: обязательное держание денег в народном банке; введение бюджетных книжек, замена денег чеками, краткосрочными билетами на право получения продуктов и т. п.”<sup>19</sup>. Соответственно, “покрытие государственных расходов должно покоиться на непосредственном обращении части доходов от различных государственных монополий в доход государства”<sup>20</sup>. Как они собирались это делать, упразднив деньги, не уточнялось.

О “радостном” явлении “натурализации быта” уже вовсю писали, захлёбываясь от восторга, советские газеты. Троцкий же, в свою очередь, выдвинул идею создания трудовых армий, работающих исключительно за паёк под надзором командиров, а живущих по уставу. О “натуральном”, распределительном коммунизме как изначальном сознательном выборе советской власти писали левые большевики-экономисты Л. Н. Крицман и Д. Н. Юровский<sup>21</sup>. И нельзя сказать, чтобы эта идея не отзывалась в большевистских сердцах.

В. Г. Короленко не раз фиксировал в своём дневнике положительный отклик об этом “проекте” в своих беседах с большевистскими начальниками, в том числе и начальниками ЧК. Более того, они находили его естественным и самоочевидным. Действительно: работает человек, а потом приходит и всё нужное получает по талонам. И никакой эксплуатации человека человеком! Сам же писатель оценивал большевистские экономические идеи в качестве “безумных”<sup>22</sup>.

*...Мы стали псами подзаборными,  
Не уползти!  
Уж разобрал руками чёрными  
Викжель — пути... —*

скажет прозревшая либералка З. Гиппиус.

Ленинский коммунизм будет означать на практике яростную борьбу с собственностью как условием относительной независимости человека от “пролетарской диктатуры” и средством его выживания даже в условиях немилости к нему властей. Отъём у людей средств к независимому существованию начнётся тотчас же и с недвижимости. Так называемый Декрет о земле, принятый 26 октября 1917 года, лишил собственности на землю всех, кроме крестьян. За ним последуют декреты, касающиеся недвижимого имущества в городах (их изымут из торгового обращения и передадут в собственность государства 14 декабря 1917 года). А в январе 1918 года были аннулированы все государственные долги, и люди лишились своих накоплений. Дойдёт до того, что диктатура присвоит себе исключительное право размещать в газетах частные объявления<sup>23</sup>. Далее — везде. . .

12 августа 1917 года Временное правительство назначило открытие Учредительного собрания на 28 ноября. 17 ноября в газетах было опубликовано воззвание подпольного Совета министров с подтверждением этой даты.

Кворум для открытия УС установлен не был. Его установили большевики. 26 ноября СНК принял декрет, гласящий, что Учредительное собрание должно быть открыто представителем СНК и при условии наличия не менее 400 членов.

Именно для открытия, а не для дальнейшей работы с последующим голосованием. Сегодня иные специалисты по всем вопросам будут говорить на разного рода “ток-шоу”, что после того как большевики и левые эсеры покинули зал заседаний, УС стало неправомочно принимать решения. Если уж переводить дело в чисто юридическую плоскость, то тут же возникает вопрос: “А в каком документе зафиксировано требуемое количество присутствующих и участвующих в голосовании?” Такого документа не было. Стало быть, сколько осталось, столько и осталось. Уходить никто не неволил. А посему возникает вопрос: “С кем вы, мастера политэстрады — любители оправдывать задним числом беззаконие?”

Образовавшийся около этого времени Союз защиты Учредительного собрания организовал 28-го демонстрацию у Таврического дворца в Петрограде (где должно было состояться открытие) под лозунгом “Вся власть Учредительному собранию”.

Член УС П. Сорокин — в скором будущем светило мировой науки — в своих воспоминаниях будет живописать сей день в красках. “Большевики потерпели явное поражение, но наша ситуация осложняется, ответственность несоизмеримо возрастает. Если бы большевики получили большинство голосов, мы вынуждены были бы подчиниться, но **народное голосование провозгласило их правительство незаконным**. Мы, конечно, понимаем, что они не собираются мириться с этим приговором. Пока они надеялись на благоприятный для них исход выборов, они не возражали против созыва Учредительного собрания. Теперь они попытаются воспрепятствовать этому. На силу мы должны ответить силой. Другого пути у нас нет.

Создан Комитет защиты Учредительного собрания. Он хорошо действует в сфере пропаганды, но не так успешно — в деле формирования вооружённых сил. У нас есть какое-то количество войск, но явно меньше, чем у большевиков.

Я выступаю каждый день, посещаю заседания, на которых разрабатываются законы, декреты и политика Учредительного собрания. Тем временем я по-прежнему играю роль мышки, убегающей от кошки. По закону все депутаты пользуются правом неприкосновенности, но закон — это одно, а действия

большевиков – совершенно другое. Все дороги теперь ведут в тюрьму. Я устал, я измотан отчасти работой и нервотрёпкой, отчасти – голодом. Но я повторяю слова поэта:

“Подожди немного, отдохнешь и ты”. В тюрьме или в могиле.

Атака на Учредительное собрание началась с того, что большевики приказали всем депутатам отправиться к Урицкому, специально назначенному комиссаром, для регистрации наших имён и адресов и предъявления документов, подтверждающих факт выбора в Учредительное собрание, открытие которого перенесено с 27 ноября на 5 января 1918 года.

Мы объявили этот приказ незаконным. Народные депутаты не могут уклониться от явки к Урицкому, поскольку проверка их полномочий является задачей специальной комиссии депутатов, большинство которых составляют большевики.

Кроме того, мы заявили протест по поводу произвольного переноса неформального созыва депутатов, назначенного на 27 ноября.

27 ноября. Этот день, который по закону должен был стать днём открытия Учредительного собрания, начался изумительным рассветом. Голубое небо, ослепительно белый снег – всё это стало прекрасным фоном для видневшихся повсюду плакатов: “Да здравствует Учредительное собрание – хозяин земли Русской!” Толпы людей с этими плакатами приветствовали высшее руководство страны, истинный голос русского народа. Когда депутаты дошли до площади Таврического дворца, тысячи людей приветствовали их оглушительными криками.

Но подойдя к дворцовым воротам, депутаты обнаружили, что они закрыты и охраняются вооружёнными до зубов латышскими стрелками.

Нужно было что-то делать, причём безотлагательно. Взобравшись на железную ограду дворца, я обратился к народу, а тем временем другие депутаты, следуя моему примеру, перелезали через решётку ограды. Им удалось отпереть ворота, и толпа, ворвавшись во двор, заполонила его. Ошеломлённые смелостью этого прорыва, латышские стрелки пребывали в нерешительности. Мы направили на двери дворца, также охраняемые латышскими стрелками, позади которых находились Урицкий и другие большевики. Переговорив ещё раз с людьми, я решил обратиться к латышским стрелкам с благодарностью за гостеприимство по отношению к высшей власти России и их явную готовность защищать свободу.

В заключение своей речи я обнял командующего ими офицера. Вокруг царила полная неразбериха, в результате чего дверь была открыта, и мы вошли внутрь.

За нами вошли и многие простые граждане. На пути встал Урицкий, еврей с чрезвычайно отталкивающей внешностью, потребовавший от нас пройти в его кабинет для того, чтобы зарегистрироваться, но мы презрительно оттолкнули его, заявив, что Учредительное собрание не нуждается в его услугах. Была принята резолюция, что, несмотря ни на какие препятствия, Учредительное собрание откроется 5 января<sup>24</sup>.

Через два дня – 30 ноября 1917 года – историк Ю. В. Готьё – в будущем академик – записывает: “Декрет об аресте вождей к.-д., поход на них и проскрипция русских жирондистов <...> События идут бешеным ходом. Вчера частного совещания в Учредительном собрании даже не допустили; срыв всенародного кабака неизбежен; жалеть, впрочем, о нём едва ли приходится: составленное из погромщиков, сентиментальных и реалистичных, оно всё равно было бы недееспособным”<sup>25</sup>.

Занятие историей сделало Ю. В. Готьё здоровым скептиком, не склонным ни к романтике, ни, тем более, к экзальтации.

За две недели до событий – 21 декабря 1917 года – правозсеровская газета “Воля народа” предсказала их сценарий: “5-го они откроют и 5-го же закроют Учредительное собрание. Но сделают это не от своего имени, а от имени сфальсифицированного съезда Советов”.

Так оно и вышло.

О том же писала накануне открытия Учредительного собрания и кадетская газета “Наш век” (б. “Речь”) № 22 от 24 декабря (6 января) 1917 года (приводим статью полностью): “Планы Смольного относительно Учредительного собрания теперь окончательно выяснились. Если регистратура г. Урицкого даст необходимый кворум, то, по-видимому, на 5 января Смольный готов

“допустить” открытие всенародного представительства, обставив его всеми необходимыми для себя гарантиями. Кроме декрета об отзыве неугодных депутатов, кроме предъявления ультиматума о том, чтобы Учредительное собрание, оставив всякое попечение об организации власти, занялось деловой работой; кроме провозглашения принципа, что Учредительное собрание-де подчиняется советской власти, теперь решено подвести солидный фундамент под эти мероприятия.

К открытию Учредительного собрания Смольный решил приурочить созыв съездов всероссийских Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Эти съезды, в составлении которых большевики проявляют такую умелость, призваны воплотить ту верховную власть, которою, по образному выражению официозов, должно быть Учредительное собрание. Когда “подвластное” Учредительное собрание в Таврическом дворце соберётся, чтобы спасти Россию, одновременно в Смольном будет заседать “хозяин” Учредительного собрания, который и будет хозяйничать в интересах советской власти.

Мы видали уже этого “хозяина” в последние дни октября, когда большевистские диктаторы созвали “свой” съезд, чтобы санкционировать переворот, разгон Совета Республики и захват власти. Съезд тогда уже превосходно выполнил свою задачу и с быстротой и послушанием, которые бы сделали честь самым преданным служилым людям, поставил печать одобрения на всём, что осуществили самодержцы Смольного.

Теперь для борьбы с “контрреволюционными” элементами Учредительного собрания (т. е. с.-рами и др.) Смольный повторяет тот же приём. Он уже заранее изготовил нужные приказы, которые хозяин подпишет, и этим приказам должно беспрекословно подчиниться Учредительное собрание.

Если всенародное представительство покорно выполнит все мероприятия Смольного, очистится от скверны и будет работать по указке советской власти в пределах, ему отведённых, то хозяин, вероятно, потерпит присутствие своего приказчика. Если же нет, то хозяин, конечно, поступит так, как поступают с непокорным слугой.

Вот перспективы, которые уже открылись. Вот судьба, приготовленная тому учреждению, с которым связывалось столько ожиданий, столько надежд”<sup>26</sup>.

Ленин намеревался править Россией всерьёз и надолго, в идеале – всегда, а потому предлагал жесточайшим образом защищать власть. О том, как удержать её после захвата, он говорил ещё до переворота. Смысл сказанного был прост: отнять у людей всё и распределять по своему усмотрению. Это в миллионы раз действеннее гильотины. Душить народ хлебной монополией и карточками, “костлявой рукой голода” под надзором суровых стражников. И от этой месопотамской пытки народ спасала лишь продажность стражников.

Когда член УС П. А. Сорокин будет читать лекции студентам Петроградского университета о социальном устройстве Древнего Египта при Птолемеях, Древнего Перу и Спарты, Римской империи в III-IV вв. н. э., аудитория будет раздражаться смехом и возгласами: “Это же в точности, как наш коммунистический режим”.

А. И. Куприн, получивший благодаря Горькому аудиенцию у Ленина, вспоминал: “В сущности, – подумал я, – этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всём своём душевном уродстве, были всё-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же – нечто вроде камня, вроде утёса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая всё на своём пути. И при том – подумайте! – камень, в силу какого-то волшебства – мыслящий! Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая – уничтожаю”<sup>27</sup>.

Разгон УС был предreshён изначально. Большевики были не из тех, кто захватывает власть, а потом отдаёт её дяде, чтобы исчезнуть, если в ящиках окажутся фантики не того цвета.

Это был день сшибки безбожной демократии с безбожной диктатурой, бой вождей – любителей индивидуального террора с вождями террора массового.

Утро началось с расстрела большевиками мирных демонстраций в Питере и Москве.

Расстрел произошёл на углу Невского и Литейного проспектов и в районе Кирочной улицы. Была рассеяна главная колонна численностью до 60 тысяч



человек, однако другие колонны демонстрантов достигли Таврического дворца и были рассеяны только после подхода дополнительных войск. Разгоном демонстрации руководил специальный штаб во главе с Лениным, Свердловым, Подвойским, Урицким, Бонч-Бруевичем.

Убитых никто толком не считал, хотя отрывочные сведения на сей счёт сохранились. Враньём и цинизмом отметились на сей счёт два большевистских субъекта — Ф. Ф. Раскольников и В. Д. Бонч-Бруевич. Первый сказал, что «демонстрация была рассеяна красными войсками, стрелявшими в воздух»<sup>28</sup>. Второй — что жертв было немного и рабочих среди них не было, точно люди иных сословий и званий были существами второго или даже третьего сорта — недочеловеками, а то и вовсе тараканами, которых, в общем-то, и не жалко.

«Пришло несколько известий о вооружённых столкновениях на Невском и Литейном, — утверждал Бонч, — где наши войска ответили огнём на выстрелы из толпы, сразившие несколько человек. Пострадавших с той и другой стороны доставили в городскую больницу на Литейном проспекте. Владимир Ильич распорядился немедленно назначить следствие об этих столкновениях»<sup>29</sup>.

Оказывается, по войскам стреляли из толпы. В принципе такое не исключено. Могла быть и провокация. Беда только в том, что сей факт нигде и никем больше не отмечается, а он был бы для большевиков неубойным аргументом в оправдание расстрела демонстрантов.

В 1928 году большевичка-пропагандистка Н. Шавеко в своей книжке-агитке, добрую половину объёма которой составляют цитаты из Маркса и Энгельса, писала: «Жертв было немного: самая большая цифра, указанная в № 4 «Известий Союза защиты», — 20 человек убитых и около 100 раненых. Мифическая народная стихия, к которой взывали эсеры, не вышла из берегов ради сомнительных учредилевских благ, и учредилевская авантюра потерпела полное поражение»<sup>30</sup>.

Историк Н. Рубинштейн в своей статье, опубликованной в том же году, говорит о «нескольких демонстрантах», убитых в Питере, и «9 убитых и 30 раненых» в Москве<sup>31</sup>. Эти же цифры он повторит и в своей книге 1931 года<sup>32</sup>.

О событиях 5 января 1918 года в Петрограде остались свидетельские показания, выплывшие на свет Божий в результате известного процесса над эсерами 1922 года. Обвиняемый Е. С. Берг, защищаясь, наступал: «Я — рабочий. И во время демонстрации в защиту Учр<едительного> собр<ания> я принимал в ней участие. Петроград<ским> Комитетом была объявлена мирная демонстрация, и сам Комитет, и я в том числе, без оружия шёл во главе процессии с Петроградской Стороны.

По пути, на углу Литейного и Фурштатской<, > дорогу нам преградила вооружённая цепь. Мы вошли в переговоры с солдатами, чтобы добиться пропуска к Таврическому дворцу. Нам ответили пулями.

Здесь был убит Логинов — крестьянин, член Исполкома Сов<ета> крест<ьянских> деп<утатов>, — который шёл со знаменем. Он был убит разрывной пулей, которой ему снесли полчерепа. И убит он был в то время, когда после первых выстрелов он лёг на землю. Там же была убита Горбачевская, старая партийная работница.

Другие процессии были расстреляны в других местах. Было убито 6 чел<овек> рабочих завода <...>, были убиты рабочие Обуховского завода. 9 января я принимал участие в похоронах убитых; там было 8 гробов, ибо остальных убитых власти нам не выдали, и в их числе было 3 с.-р., 2 с<оциал>-д<емократа> и 3 беспартийных, и почти все они были рабочие.

Вот правда об этой демонстрации. Здесь говорили, что это была демонстрация чиновников, студентов, буржуазии и в ней не было рабочих. Так почему же среди убитых нет ни одного чиновника, ни одного буржуя, а все они рабочие и социалисты?

Демонстрация была мирной — таково было постановление Петроградского Комитета, исполнявшего директивы Центр<ального> К<омите>та и передавшего их в районы...

Подойдя к Таврическому дворцу, чтобы по поручению рабочих некоторых фабрик и заводов приветствовать Учр<едительное> собр<ание>, я и три товарища рабочих пройти туда не могли, потому что кругом шла стрельба.

Демонстрация не разошлась — она была расстреляна.

И это вы расстреляли мирную рабочую демонстрацию в защиту Учр<едительного> собрания!»<sup>33</sup>.

Далее Берг заявил: “Я рабочий, я считаю себя виновным перед рабочими России в том, что я не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче-крестьянской властью, которая расплыла и загубила всех рабочих России (*шум в зале*)... Я ещё раз заявляю, что я рабочий, член партии эсеров”<sup>34</sup>. На этом процессе в вину эсерам будут вменять и организацию мирных демонстраций в поддержку УС.

Вообще-то расстрелы мирных демонстраций в поддержку УС начались ещё до 5 января. По сообщению газеты “Дело Народа”, 10 декабря 1917 года в Калуге большевиками была расстреляна из пулемётов демонстрация в поддержку УС. 40 человек было убито и ранено<sup>35</sup>.

Говорить, что погибших было мало, могли лишь законченные циники. Но, как говорил И. А. Бунин по поводу тех же самых большевиков, “в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущённый крик наивным, дурацким”<sup>36</sup>.

Горький, в котором – о чудо! – проснулась совесть, сравнил 5 января 1918 года с 9 января 1905-го. Он и сам был в тот день легко ранен. Сегодня нам даже трудно представить, каково было значение сказанного, ибо “Кровавое воскресенье” было символом тягчайшего, можно сказать – “библейского”, преступления, смертного и неотмолимого греха. И теперь в таковом обвинялся не тысячекратно клеймённый проклятьем царизм, а режим “пролетарской” диктатуры.

“Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами. С Лениным и Троцким”, – скажет Горький ещё в ноябре 17-го Зинаиде Гиппиус<sup>37</sup>.

Пойти Ленину на такой шаг было нелегко – пугала неизвестность. Неизвестность была двоякого рода: хватит ли штыков, чтобы удержать ситуацию под контролем, и надёжны ли имеющиеся под рукой штыки.

Как вспоминал эсер Б. Соколов, “качество и количество вооружённой массы, стоявшей на их <большевиков> стороне, было лишь достаточным, чтобы сдержать и разогнать мирную демонстрацию. Но не более. Таково было и мнение большевика Пятакова, стоявшего довольно близко к Смольному. Таково было впечатление и некоторых моих коллег по фракции”<sup>38</sup>.

Троцкий в своих воспоминаниях свидетельствует о том, что Ленин настаивал на вызове в Петроград ко дню открытия УС латышских стрелков, ибо русский “мужик может колебнуться в случае чего, – говорил он, – тут нужна пролетарская решимость”, после чего распорядился “о доставке в Петроград одного из латышских полков, наиболее рабочего по составу”<sup>39</sup>.

Да, русскому мужику доверия у Ильича не было. Латыши же чётко осознали, кому и чем обязаны. Как вспоминает Г. Соломон (Исецкий), находившийся в момент покушения на Ленина в советском посольстве в Берлине, один из охранявших его латышских стрелков, получивший преждевременное известие о гибели вождя, горевал: “Ну, уж теперь нам, латышам, несдобровать. За нас за первых примутся”<sup>40</sup>.

Сам Ленин шёл по списку Балтийского флота за номером вторым. Номером первым шёл... П. Е. Дыбенко. Иным округам довериться Ильич не рискнул. И правильно сделал. Чтобы упрочить свою власть, большевикам требовалось разогнать УС. Но делать это нужно было ювелирно. Не получилось. Дело испортил Дыбенко со своей братвой, почувствовавший себя (и не без оснований!) хозяином положения – эдаким начальником “преторианской гвардии” – “братишек”, головорезов в тельняшках, дорвавшихся до дармового спирта и кокаина.

Совнарком обязал комиссара по морским делам П. Е. Дыбенко сосредоточить в Петрограде к 27 ноября до 10–12 тысяч матросов. Последняя цифра говорит сама за себя. Для разгона самого УС такого количества матросов не требовалось. Но они могли бы стать незаменимыми при усмирении столицы.

Зная, с кем приходится иметь дело, правые эсеры попытались заручиться поддержкой верных им частей. Потом их обвинят в попытках выступить с оружием в руках против власти “рабочих и крестьян”. Скажем сразу: военный переворот правым эсерам был совсем не нужен – за ними была громкая и безоговорочная политическая и правовая победа, а устраивать переворот значило, имея на руках мандат от всей России, уничтожить её собственными руками. Следственно, дело заключалось в самообороне, дабы большевики не смогли навязать силовой метод “окончательного решения вопроса” – разгона УС.

Поэтому эсеровское руководство избрало тактику “военной демонстрации”, где войскам, а точнее, двум полкам – Семёновскому и Преображенскому, – лояльным эсерам, отводилась роль мирных демонстрантов: “Мы мирные люди, но наш бронепоезд // стоит на запасном пути...” Впрочем, это не совсем верно. Использовать “бронепоезд” по его прямому назначению никто не собирался. И большевики это знали! Формулой ситуации была та, что описывалась в английской военно-морской литературе – “Fleet in being” – “флот как фактор присутствия”, уже одним своим существованием создающий соответствующую политическую ситуацию. При этом – крайне важно! – участие семёновцев и преображенцев в качестве демонстрантов, поддерживающих УС, планировалось в качестве “мирного и без оружия” шествия!

Два безоружных полка против вооружённого до зубов войска большевиков выглядели не очень убедительно. Правда, в качестве “бронепоезда” планировалось использовать верный эсерам бронедивизион, но буквально накануне технику вывели из строя большевики.

Слово руководителю военной секции правых эсеров Б. Соколову: “Итак, мы стояли перед запрещением вооружённого выступления. Это запрещение застало нас врасплох. Сообщённое же в Пленуме Военной Комиссии, оно породило немало недоразумений и недовольства. Кажется, удалось в самую последнюю минуту предупредить о нашем перерешении Комитет Защиты. Им, в свою очередь, были приняты спешные шаги и изменены сборные пункты. Больше всего волнения пришлось испытать семёновцам.

Борис Петров и я посетили полк, чтобы доложить его руководителям о том, что вооружённая демонстрация отменяется и что их просят “прийти на манифестацию безоружными, дабы не пролилась кровь”.

Вторая половина предложения вызвала у них бурю негодования.

“Что вы, смеётесь, что ли, над нами, товарищи? Вы приглашаете нас на демонстрацию, но велите не брать с собой оружия. А большевики? Разве они малые дети? Ведь будут, небось, непременно стрелять в безоружных людей. Что же мы, разинув рты, должны будем им подставлять наши головы или же прикажете нам улепётывать тогда, как зайцам?”

Мы их успокаивали.

“Товарищи... Боязнь пролить народную кровь... Мы не имеем права вас втягивать в гражданскую войну... Наши вожди говорят...”

Но их было нелегко успокоить.

“Да что вы, товарищи, в самом деле, смеётесь, что ли, над нами? Или шутки шутите?... Мы не малые дети и, если бы пошли сражаться с большевиками, то делали бы это вполне сознательно... А кровь... Крови, может быть, и не пролилось бы, если бы мы вышли целым полком вооружённые”.

Долго мы говорили с семёновцами и чем больше говорили, тем становилось яснее, что отказ наш от вооружённого выступления воздвиг между ними и нами глухую стену взаимного непонимания.

“Интеллигенты... Мудрят, сами не зная, что. Сейчас видно, что между ними нет людей военных”.

И несмотря на продолжительные увещания, в этот вечер семёновцы отказались отстаивать издававшуюся нами газету “Серая шинель”.

“Не к чему. Все равно её прикроют. Одна только канитель”<sup>41</sup>.

Можно, конечно, спросить, отчего эсерам не удалось склонить на свою сторону, как минимум, значительную часть петроградского гарнизона. И тому можно приискать достаточно простое объяснение. Большевики уже вели переговоры в Брест-Литовске по поводу заключения мира, который сам же его инициатор назовёт впоследствии “похабным”. Но тогда никакая “похабщина” не была аргументом против большевиков. Напротив, реальные мирные переговоры означали скорое заключение мира и, как следствие, демобилизацию. Эсеры же говорили о справедливом демократическом мире с учётом мнения союзников. Одним словом, и большевики, и эсеры предлагали вооружённому “электорату” двух журавлей в небе. Однако большевистский “журавль” казался “синицей в руках”.

По этому поводу Ю. В. Готье запишет в своём дневнике: “Большевики везде взяли верх, опираясь на невежественных и развращённых солдат; трогательный союз пугачёвщины с самыми передовыми идеями; союз этот не может дать благих результатов; но сколько ужасов, страданий и опустошений

нужно, чтобы несчастный русский народ перестал убивать себя систематическими преступлениями и нелепостями?”<sup>42</sup>.

А вот ещё: “Тов. Крыленко, верховный главнокомандующий большевиками, завязал переговоры с немцами; пошли парламентарями трое — едва ли не все евреи. Россию предают и продают, а русский народ громит, бесчинствует и буйствует, и абсолютно равнодушен к своей международной судьбе. Небывалый в мировой истории случай, когда большой по числу народ, считавшийся народом великим, мировым, несмотря на все возможные оговорки, — своими руками вырыл себе могилу в восемь месяцев. Выходит, что самое понятие о русской державе, о русском народе было маревом, блефом, что всё это только казалось и никогда не было реальностью. Это так, но всё-таки как это глубоко обидно и скорбно”<sup>43</sup>.

И ещё “...с захватом власти шайкой людей можно было бы бороться, но что делать с народом, который отдал им свои голоса в таком количестве?”<sup>44</sup>.

Не станем обвинять автора этих строк в нардофобии. В разные моменты времени народ предстаёт в разном качестве. Это обстоятельство ярко отобразил в своём “Борисе Годунове” Пушкин.

И тем не менее, большевики вибрировали: шутка ли? Россия ждёт Учредительного собрания, как манны небесной, а они хотят его разогнать поганой метлой. И уж кому-кому как не большевикам было на практике узнать, что Россия реагирует на эпохальные события и “вызовы времени” “нелинейно”.

Не давало никаких гарантий и введение в город верных по видимости частей — балтийских матросов, от куража которых у Бонча вставали дыбом волосы, и безмолвных, угрюмых латышских стрелков. “Когда мы, несколько человек вокруг молодого Железнякова, пытались теоретизировать, — писал Бонч, — тут же сидел полупьяный старший брат Железнякова, гражданский матрос Волжского пароходства, самовольно заделавшийся в матросы корабля “Республика”, — сидел и чертил в воздухе пальцем большие кресты, повторяя одно слово: “Сме-е-е-рть!” — и опять крест в воздухе: “Сме-е-е-рть!” — и опять крест в воздухе: “Сме-е-е-рть!” — и так без конца. <...> Вдруг в комнату полувбежал коренастый, приземистый матрос в круглой матросской шапке с лентами, с широко открытой грудью. <...> Он то и дело хватался за револьвер и словно искал глазами, в кого бы разрядить его.

И вдруг остановился посреди комнаты, изогнулся, сразу выпрямился и заплясал матросский танец, широко размахивая ногами, отчего его широкие матросские штаны колебались в такт, как занавески. Другие матросы повскакали с мест и присоединились к нему, выделяя этот вольный танец, сатанинский танец смерти, и когда они, распалённые, вертелись в вихре забвения, вдруг остановились, и он, этот коренастый, а за ним и все другие, запевали песню смерти — смерти Равашоля (написанную в честь казнённого французского анархиста-террориста. — **Б. К.**):

*“Задужи своего хозяина,  
А потом иди на виселицу”, —  
Так сказал Равашоль!*

И каждый из них, а коренастый больше всех и лучше всех, в такт плясу, с чувством злобы и свирепой отчаянности, при слове “Равашоль” делали быстрое движение правой рукой, как будто бы кого-то хватая за глотку и душа, и давя, шевелили огромными пальцами сильных рук, душа изо всех сил, с наслаждением, садизмом и издевательством. <...>

И опять песня смерти, и опять скользкие, за горло хватающие, извивающиеся пальцы, пальцы, душащие живых людей. <...> Рабочие комиссары негодовали и говорили, что это одно из самых опасных гнёзд, там затевались грабежи, открыто говорилось о насилиях над женщинами, о желании обысков, суда и расправы самочинных. Новое правительство они отрицали, как и всякое другое правительство. <...> Я решил ранним утром сейчас же обо всём виденном рассказать Владимиру Ильичу, так как ясно осознал всю ту опасность, которая таилась здесь же, возле нас, под прикрытием наших рядов”<sup>45</sup>.

Но Бонч не был бы верным ленинцем, если бы не приискал всему тому марксистское объяснение: “В сущности, анархизма у них никакого не было, а было стихийное бунтарство, ухарство, озорство и, как реакция на военноморскую муштру, — неумное отрицание всякого порядка, всякой дисциплины”<sup>46</sup>.

7 января именно братва старшего Железняк ворвётся в Мариинскую больницу, где лежали видные кадеты – бывший министр А. И. Шингарёв и член УС Ф. Ф. Кокоскин, – зверски убьёт их, а потом будет долго глумиться над трупами. Всех виновных нехотя выявят, но никакого наказания они не понесут. “Шингарёв был убит не наповал, два часа ещё мучился, изуродованный. Кокоскину стреляли прямо в рот, у него выбиты зубы. Обоих застигли сидящими в постелях. Электричество в ту ночь в больнице не горело. Всё произошло при ручной лампочке”, – записывает в своём дневнике З. Гиппиус, получавшая из Мариинской больницы прямую информацию от своего друга – лечащего врача клиники доктора И. И. Манухина<sup>47</sup>.

9 января “Известия” опубликуют “Объявление по флоту”, подписанное наркомом Дыбенко: “7-го января 1918 года. В ночь с 6-го на 7-е января в Мариинской больнице города Петрограда были убиты Шингарёв и Кокоскин. По показаниям служащих больницы, убийство совершено несколькими лицами в матросской форме. Это дело должно быть расследовано самым строгим образом. На чести революционного флота не может остаться обвинение в том, что революционные матросы способны убивать беззащитных врагов, обезвреженных тюремным заключением. **Я призываю всех, кто участвовал в убийстве, – если это заблуждавшиеся люди, а не насильники контрреволюции** – добровольно предстать перед революционным трибуналом.

Вместе с тем я призываю встать товарищей, у которых имеются сведения об этом деле, немедленно сообщить эти сведения Верховной Морской следственной Комиссии”<sup>48</sup>.

По Дыбенко выходило, что убийцами могли быть не обязательно насильники контрреволюции, а просто “заблуждающиеся люди”.

Поиск сих “заблудших овец революции” будет тянуться долго и вяло. В конце концов, их всех съедут, но наказания из них не понесёт никто. Как и следовало, впрочем, ожидать. Ведь контрреволюционеры – даже больные и беспомощные, – с большевистской точки зрения – не люди, не правда ли?

Как говорил герой А. Платонова, “это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента”.

Вскоре умрёт и Плеханов. Узнав о его смерти, З. Гиппиус запишет в своём дневнике: “Умер Плеханов. Его съела родина. Глядя на его судьбу – хочется повторить соблазнительные слова Пушкина:

*Нет правды на земле...  
Но нет её и — выше!*

Он умирал в Финляндии, куда к нему не пустили даже близких друзей, – он просил их приехать, чтобы проститься. После октября, когда “революционные” банды вломались к нему в Царском, стаскивали его с постели, 15 раз подряд, разные, его обыскивали /буквально/, издевались и ругались над ним с последней грубостью, после всего этого внешнего и внутреннего ужаса – он уже не подымал головы с подушки. У него тогда же пошла кровь горлом, из Царского его увезли в больницу, потом в Финляндию.

Его убила Россия, его убили те, кому он, по мере всего разумения, служил сорок лет. Нельзя русскому революционеру быть: 1/ честным 2/ культурным 3/ держаться науки и любить её. Нельзя ему быть – европейцем. Задушат. При царе ещё туда-сюда, но теперь, при Ленине, – конец”<sup>49</sup>.

Нет, убила Плеханова не Россия, а революция, которой он служил верой и правдой. Перефразируя Блока, революция съела его, как “глупая чушка своего поросёнка”. И не подавилась.

### Crescendo

В общем, действовать предстояло в условиях полной неопределённости, а жизнь, как известно, коварна и непредсказуема. Тут или пан, или пропал. Но и отступать было некуда. “Нужно – значит возможно!” – так говорил вождь переворота Троцкий. Но “возможно” – не гарантия успеха. Делать было нечего, а действовать следовало нагло и беспощадно.

Большевики готовились к разгону всерьёз. Как вспоминал Троцкий, “большевистские депутаты Учредительного собрания, съехавшиеся со всех

концов России, были, под нажимом Ленина и руководством Свердлова, распределены по фабрикам, заводам и воинским частям. Они составляли важный элемент в организационном аппарате “дополнительной революции” 5 января. Что касается эсеровских депутатов, то те считали несовместимым с высоким званием народного избранника участие в борьбе: “Народ нас избрал, пусть он нас и защищает”. По существу дела, эти провинциальные мещане совершенно не знали, что с собой делать, а большинство и просто трусило”<sup>50</sup>.

... Командовал парадом в тот день Дыбенко. Он был царём и богом в Питере. А то и во всей России. За ним стояла реальная военная сила. И “народные комиссары”, не говоря уже о членах УС, — все были в его руках. Ещё живые. Тёпленькие.

В качестве средства психологического давления на большинство с целью провокации его на необдуманные и роковые шаги была использована галёрка — “вольные зрители”. Отбором кандидатов и выдачей им пропусков ведал М. Урицкий (в день открытия УС уличные грабители сняли с него шубу).

А что же победившее большинство, точнее, его эсеровская верхушка? На что рассчитывало оно, прекрасно зная, с кем имеет дело? “Знало ли что? Или в фатум ты верило?” — можно сказать, перефразируя слова поэта.

Позже, особого желания брать на себя бремя ответственности в условиях разверзавшейся по чужой милости катастрофы у эсеров не было. А что было? А была “установка” положиться на судьбу: что будет, то и будет. Авось народ поддержит, а то и взбунтуется, и власть падёт в руки сама. Бросать бомбы — это одно, агитировать мужика — другое, но брать власть — это совершенно иное третье. Главное — не усердствовать. Но с таким настроением не побеждают, а гибнут.

Пойти до конца — своего и чужого — мог лишь наделённый не считающей-ся ни с чем сатанинской волей к власти.

Живший в народе и среди народа писатель И. Ф. Наживин — добрый знакомец графа Л. Толстого и “контрреволюционер”, на глазах которого проходил избирательный марафон, — называл эсеровских вождей “политическими импотентами”. И куда девался их прежний кураж с бомбометанием?

А что говорили о себе и своей партии сами эсеры? “Лучшие, самые лучшие, из честных честные”, — по словам З. Гиппиус. А вот что: “Чернов — негодяй, которому мы за границей и руки не подавали, но... мы сидим с ним рядом в Центр<альном> Комит<ете> партии, и партия ультимативно отстаивает его в Правительстве (писано летом 1917 года. — **Б. К.**). Громадное большинство в Цент<ральном> Ком<итете> партии с.-р. — или дрянь, или ничтожество. Всё у нас построено на обмане. <...> Да, у нас многие — просто германские агенты, получающие большие деньги... Но мы молчим. Многих из нас тянет уехать куда-нибудь... Но мы не можем и не хотим уйти из партии. Чистка её невозможна. Кто будет чистить?”<sup>51</sup>.

... Заседание открылось, вопреки всем обыкновениям, не утром, а в 16.00, когда большевикам стало окончательно ясно, что мирные протесты сторонников УС подавлены. И всё же дело нельзя было считать окончательно выигранным. Оно осложнялось тем, что простой разгон с последующим расстрелом квалифицированного эсеровского большинства был абсолютно неприемлем. “Учредилку” требовалось прикрыть без стрельбы и расправ на месте. Забегая вперёд, скажем, что “смотрящим” приходилось сдерживать особо ретивых охранников, более похожих на тюремных надзирателей, то и дело порывавшихся пальнуть пулей в ненавистных им депутатов-эсеров. Требовалась просто — без шума и пыли — прикрыть парламентскую говорильню, продемонстрировав городу и миру её полную никчёмность и контрреволюционность.

Таврический дворец напоминал в тот день осаждённую крепость: всюду солдаты и матросы, винтовки, пулемёты, гранаты и т. д. Это не они, “человеки с ружьями” находились среди “учредителей”, а “учредители” среди них, взятые в плотное кольцо.

Весь Петроград представлял из себя в этот день вооружённый лагерь — большевистские войска окружали сплошной стеной здание Таврического дворца, которое было подготовлено для заседаний Учредительного собрания<sup>52</sup>.

А это воспоминания Н. Огановского: “Вглядываюсь в лица караульных: это “отборная” гвардия Смольного — все молодёжь — двадцатилетние юнцы,

с причёсками а la sarouïe или с взбитыми “чёлками” кудерьками на лбу. Говорят, что в парикмахерских они, не стесняясь, платят по пятёрке за пахучие помады, которыми превращают в модные причёски торчащие белобрысые вихры бывших сапожных подмастерий и лавочных мальчишек — “попихачей”. Эти “отборные” — несомненно, деклассированные отбросы рабочих кварталов, которые имеют вид альфонсов или лакеев в подозрительных притонах, дали все подписку в беспрекословном подчинении совету комиссаров, так же, как прежде жандармы давали такую же подписку, в которой отрекались и от отца, и от матери, и от родины. И так же, как эти последние, они готовы посадить на штык всякого, на кого их науськают за жирную еду, за 10 кусков сахара в день, за 25 рублей подённой платы.

Глядят и они на нас с нахальной усмешкой, папироской в углу рта, небрежно поигрывая винтовками. У иных за поясом, а у других за голенищами сапог торчат ручные гранаты. Говорят (я сам не видал), в разных залах и комнатах имеется наготове “чёртова шарманка” современной войны — новенькие пулемёты, полученные от союзников, так и не отправленные на фронт.

Среди “публики”, толпящейся в зале, преобладают солдатские шинели; те же ухарские сдвинутые набекрень фуражки и искусно подвитые чёлки. Наоборот у девиц — растрёпанные причёски и наружность истеричек. Начинаешь сообщать, что и публика, допущенная большевиками, тоже “отборная”...<sup>53</sup>.

“Мы, депутаты, были окружены разъярённой толпой, готовой каждую минуту броситься на нас и нас растерзать”, — вспоминал правый эсер Зензинов<sup>54</sup>.

О характере этого наберёванного и отобранного спецконтингента остались красочные воспоминания. Вот одно из них (принадлежит Огановскому): “Всё большевистское дно здесь налицо. Рабочие, вооружённые кронштадтцы, вооружённые солдаты различных полков с красными звёздами и также вооружённые красногвардейцы. Вся эта пёстрая толпа шумит, грохочет, слоняясь из буфета в буфет.

Им нет дела ни до Учредительного собрания, ни до высшей политики, ни до борьбы партий. Они сюда пришли, ибо их обещали напоить, накормить, наградить щедрой рукой. И они, зевая и скучая, ждут обещанного развлечения, когда им позволено будет “разыграть” буржуазных предателей, народных избранников.

Я брожу среди них. Незаметный, законспирированный своей солдатской шинелью.

Прислушиваюсь к их разговору и положительно теряюсь. Не понимаю, где я нахожусь. В Таврическом ли дворце, на открытии Всероссийского Учредительного собрания, среди революционного народа, пришедшего послушать своих избранников, или же в уголовной тюрьме. Отборнейшая ругань, площадная и совершенно нецензурная, висит в воздухе. Добрая половина из гостей совершенно пьяна. Некоторых из них рвёт тут же в буфете. Растянувшись на мягких диванах, спят два матроса”.

Для еврея Н. П. Пумпянского это были “хулиганы из чайной Союза русского народа”, для русских Б. Ф. Соколова и Н. П. Огановского — “банда пьяных матросов” и “становище хамоидолов”.

“Хамоидолы” чётко управляемы и действуют по команде. Руководят этим тт. Драбкин (“Гусев”) и Урицкий.

Двери зала заседания по-прежнему закрыты. При них — вооружённые матросы.

Вспоминает Б. Ф. Соколов: “Мы, которые составляем большинство народных избранников и которые не имеем даже достаточно силы, чтобы проникнуть в большой зал заседаний без разрешения большевиков, ведь у дверей белого зала стоят вооружённые матросы.

Мы обсуждаем положение.

“Мы должны открыть заседание без большевистской фракции... Но больше ждать невозможно. Мы их должны предупредить”.

“Бесполезные попытки. Не слушаются, смеются. — Начнём заседание тогда, — говорят, — когда Ленин прикажет. Пока сидите смирно”.

“Безобразия. Позор. Надо предпринять решительные меры”.

Но что мы можем сделать?

Вся галерея полна “приглашённых”. Гости это особенные, пришедшие по пригласительным билетам большевистского коменданта”<sup>55</sup>.

И вот час пробил: члены УС входят в отворённый зал. Вновь слово эсеру Б. Соколову: “Товарищи, – говорят наши старосты, – только держитесь вместе. Будут избивать-убивать, всё же будет легче”. И мы с чувством обречённых, мы – народные избранники, идеализировавшие ЕГО, входим в зал.

Нас встречает хохотом, диким свистом и руганью полупьяная галёрка”<sup>56</sup>.

Так открывается Всероссийское Учредительное собрание.

“Многие из нас, – вспоминал Зензинов, – были уверены, что не вернутся живыми домой”<sup>57</sup>.

Заседание открывается со взывания к заклеймённому проклятьем – пения “Интернационала”. Отклонить первое же и вполне “невинное” предложение большевиков – значит дать им повод для скандала. Эсерам скандал не нужен. Не зная слов, они подтягивают, повторяя слова за “профессионалами” хорошего пения. Это о них, “любителях хорошего пения”, об их гимне и об их регенте – “Швондере” – напишет позже М. А. Булгаков.

“Дубинушку” надо было!” – говорит мужичий делегат-эсер. “Дубинушка”, кстати, считалась в начале века “революционной песней” – ею начинались либеральные политические банкеты, бывшие формой политических митингов, совещаний и “круглых столов”.

“О России-то и забыли!” – посетует другой, оставшийся неизвестным эсеровский депутат-крестьянин. Какая ещё “Россия”, мил-человек! Тут диктатура рабочих и крестьян, а “Россия” – слово контрреволюционное!

Первые же реплики представителей эсеровского большинства раздаются под хохот, разбойничий свист и ругань полупьяной галёрки.

Председатель УС В. Чернов описывал вскоре ситуацию в зале так: “Нестройные выкрики, пронзительный свист каких-то специалистов этого дела, вкладывавших в рот два пальца и наполнявших зал оглушительным посвистом, способным заполнить былинный посвист Соловья-Разбойника; стража, наряженная якобы для соблюдения порядка и напрягающая все силы для произведения наибольшего беспорядка; винтовки и револьверы, направляемые время от времени с хор и из проходов по направлению к неугодным ораторам; хулиганские выходки людей, набранных в Таврический дворец, чтобы инсценировать “народное сочувствие” большевикам, и потому чувствующих себя вправу “располагаться, как дома” и класть ноги на стол”<sup>58</sup>.

И галёрка, и народные комиссары вели себя, по словам Чернова, “словно толпа буйных умалишённых”<sup>59</sup>. По традиции, заседание открывает старейший по возрасту депутат. Им оказывается бывший “ходок в народ” С. П. Швецов. Слышны крики: “Самозванец!” Будто не все собравшиеся в Таврическом самозванцы. К нему подскакивает, словно выпрыгнувший из табакерки, Свердлов и пытается согнать старика с трибуны. Возникает лёгкая потасовка. Швецов едва успевает произнести: “Объявляю заседание Учредительного собрания открытым!” – и сходит с трибуны. Лужёная глотка Свердлова исторгает “Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа”.

Дебют разыгран. Правда, играют сегодня отнюдь не в шахматы.

В одной из лож сидит Ленин. В Таврическом он не в качестве члена УС (это было бы унижением власти!), а в качестве председателя правительства, официально считающегося временным, хотя и народным. Он мертвенно бледен, как отмечал следовавший за ним тенью Бонч-Бруевич. Нервы у Ленина на пределе. В этот день у него украдут из кармана пальто браунинг. Зачем он брал с собой на заседание оружие? В кого собирался стрелять? Вора найдут – им окажется охранник – и тут же расстреляют в Таврическом саду, дабы не ходить далеко.

А куда сидящего в ложе и блестящего лысой головой правителя России изучает молодой эсер Б. Збарский. Через шесть лет он станет потрошить труп Ильича и готовить его к длительному (в идеале – вечному) хранению.

Долго и нудно выбирают (“баллотируют”) председателя. Галёрка устремляется в буфет. Истерики на время прекращаются.

Кандидат от большевиков и левых эсеров – “икона ревстия”, психически не здоровая Маруся Спиридонова – сходит с дистанции. Председателем, как и ожидалось, избирается В. М. Чернов. Он едва не стал премьером Временного правительства – власть естественным образом плыла к нему в руки. Но три месяца назад его карьеру испортили большевики.



## Allegro

Игра переходит в миттельшпиль. И вновь свист, улюлюканье, гвалт, выкрики. Не хватает лишь стрельбы.

На трибуну забирается большевик И. И. Скворцов-Степанов. А мы представим слово Раскольникову: “Иван Иванович (Скворцов-Степанов. — Б. К.) как теоретик даёт урок политграмоты нашим врагам.

— Как это можно, — недоумевает он, — апеллировать к такому понятию, как общенародная воля... Народ не действует в целом. Народ в целом — фикция, и эта фикция нужна господствующим классам. Между нами всё кончено. Вы — в одном мире, с кадетами и буржуазией, мы — в другом мире, с крестьянами и рабочими. — Впоследствии Скворцов-Степанов с гордостью рассказывал мне, что его речь была одобрена Лениным. <...> Наши на каждом шагу перебивают оратора презрительными насмешками, иронией, издевательством”<sup>60</sup>.

Машинистка из бюро Урицкого Е. П. Селюгина вспоминала в 1956 году: “Пока говорят наши, большевики, мы сидим тихо, а когда другие, мы по сигналу Гусева свистим, трещим и кричим, что он нам подскажет: “Сколько тебе Антанта заплатила?” — или: “Долой войну!” — или ещё что. А то просто свистим и трещим. На следующий день в газетах друг другу показываем. Председатель: “Граждане в дипломатической ложе! (А это — мы!) Если вы не прекратите шуметь, я прикажу вас вывести из зала!” — А кому он прикажет? Матросам? Толе Железнякову? В перерывах нам Гусев давал каждому особое задание — нужно было помешать делегатам собраться на фракционные собрания. И вот я со своим бантиком на голове выплываю перед каким-то высоким грузином и пристаю: “Что вы думаете о мире без аннексий и контрибуций?”, “А вы не против восьмичасового рабочего дня?” А он отводит меня рукой в сторону и повторяет: “Девочка, тебе пора спать, иди домой”. А я опять прыгаю перед ним. Я уж потом подумала, может, он не на фракционное собрание хотел, а просто в уборную, а тут я со своим бантиком и вопросами. И так мы на всех заседаниях...”

Эсеры сидят, как изваяния, демонстрируя феноменальную выдержку и дисциплину. Они готовы ко всему. Даже к расстрелу. А тем временем большевики... Вновь слово очевидцу и участнику событий — на сей раз секретарю УС М. Вишняку: “Это была бесновавшаяся, потерявшая человеческий облик и разум толпа. Особо выделялись своим неистовством Крыленко, Луначарский, Степанов-Скворцов, Спиридонова, Камков. Видны открытые пасти, сжатые и потрясаемые кулаки, заложенные в рот для свиста пальцы. С хор усердно аккомпанируют. Весь левый сектор являл собою зрелище бесноватых, сорвавшихся с цепи”.

Воспоминания похожи одно на другое. Самое главное, что то же самое рассказывают и большевики: всё те же Бонч и Раскольников.

Большевистское меньшинство делает следующий ход: оно покидает собрание после заявления, зачитанного Ф. Ф. Раскольниковым, — незадавшимся дипломатом, а в скором времени большевистским литератором и чиновником от литературной цензуры. Вслед за ними поспешат ретироваться и левые эсеры. Эсеровское большинство остаётся. Теперь оно предоставлено самому себе.

Игра переходит в эндшпиль. Но караул уже устал. Ленин приказывает подождать, когда “учредители” выдохнутся, закончат работу и разойдутся. На завтра никто их в Таврический не пустит. Но “диктатор” Дыбенко решает продемонстрировать, кто в доме главный, и дерзит Ильичу: “Где гарантия, что завтра не полетят матросские головы?” Затем отдаёт приказ матросу Железнякову разогнать собравшихся. Готовый, по его собственным словам, расстрелять хоть миллион двуногих, тот понимает, что за игнорирование приказа главы правительства его самого могут прислонить к шершавой стенке. А это уже совсем иной сюжет! Но есть и непосредственное начальство, приказ которого “закон для подчинённых”. Железняков просит Ленина отдать письменный приказ тов. Дыбенко. Ленин шутя отмахнётся. Он не захочет оставлять следов и переть на рожон. И будет таков — перечить Дыбенко нынче не след.

Дыбенко же приказывает: “Исполняй!” Теперь “ежели что”, шлёпнут его, Толю Железнякова. Но делать нечего. Железняков подходит к Чернову, кладёт ему руку на плечо и что-то говорит. Что именно — не слышно. Но явно какую-то историческую фразу.

Чернов закрывает заседание и просит собравшихся явиться назавтра в 17.00 для продолжения работы Учредительного собрания. “Учредители” покидают зал. Двери за ними запираются.

Навсегда.

Через пару дней в Москве на Красной площади у Никольских ворот был отслужен молебен в знак протеста против разгона Учредительного собрания.

Не поздновато ли мы тогда спохватились?

И кто же праздновал свержение православного царя?

Пушкин?

Теперь с Россией можно было делать всё, что угодно.

Спустя сутки Ленин по привычке напишет: “Я потерял понапрасну день, мои друзья”. Так гласит одно старое латинское изречение. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о потере дня 5 января. <...> Это ужасно! – Из среды живых людей попасть в общество трупов, дышать трупным запахом, слушать тех же самых мумий “социального”, лублановского фразёрства, Чернова и Церетели, это нечто нестерпимое”.

Как в воду глядел!

Статью свою он не закончит. Напечатана же она будет в “Правде” за 21 января 1926 года – во вторую годовщину со дня смерти автора.

Да, трупная тематика была сквозной темой и навязчивой идеей Ильича. Он и “всякого боженьку” называл “труположством”<sup>61</sup>. А на вопрос, заданный ему однажды “всесоюзным старостой” Калинин, чем заменить религию (“духовную сивуху”<sup>62</sup>), задумался и ответил: “Театром”<sup>63</sup>.

Как вспоминал в 1924 году Троцкий, Ленин говорил ему по поводу разгона Учредительного собрания: “Конечно, было очень рискованно с нашей стороны, что мы не отложили созыва, – очень, очень неосторожно. Но, в конце концов, вышло лучше. Разгон Учредительного собрания советской властью есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Теперь урок будет твёрдый”. Так теоретическое обобщение шло рука об руку с применением латышского стрелкового полка. Несомненно, что в то время должны были окончательно сложиться в сознании Ленина те идеи, которые он позже, во время первого Конгресса Коминтерна формулировал в своих замечательных тезисах о демократии”<sup>64</sup>.

Сам Троцкий выскажется по сему поводу в своей броской манере: “В лице эсеровской учредилки февральская республика получила оказию умереть вторично”<sup>65</sup>.

И чуть ниже: “Была маленькая и жалконькая арьергардная демонстрация сходящей со сцены “демократии” <...> Раздутые фикции лопнули, дешёвые декорации обвалились, напыщенная моральная сила обнаружила себя глуповатым бессилием. Finis!”<sup>66</sup>.

Как писал в своих мемуарах Ф. Раскольников, “когда на другое утро Дыбенко и я рассказали Владимиру Ильичу о жалком конце Учредительного собрания, он, сощурив карие глаза, сразу развеселился.

– Неужели Виктор Чернов беспрекословно подчинился требованию начальника караула и не сделал ни малейшей попытки сопротивления? – недоумевал Ильич и, глубоко откинувшись в кресле, долго и заразительно смеялся”<sup>67</sup>.

Смех то был нездоровый. Через полтора десятка лет любимчик партии Бухарчик разговорится в дороге с соседом по железнодорожному купе: “В ночь разгона Учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе. У меня в кармане пальто была бутылка хорошего вина, и мы (следовало перечисление) долго сидели за столом. Под утро Ильич попросил повторить что-то из рассказанного о разгоне Учредилки и вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика и всё смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слёз. Хохотал.

Мы не сразу поняли, что это истерика. В ту ночь мы боялись, что мы его потеряем”.

...Через два месяца после разгона УС Горький отпишет своей первой и единственно законной жене Е. Пешковой, похоже, единственному человеку, с которым он мог говорить откровенно на любые щекотливые темы: “Здесь, “когда начальство ушло” (то есть бежало в Москву. – **Б. К.**), все его ругают, и особенно крепко – рабочие, что вполне естественно, ибо никогда ещё и никто не обманывал так нагло рабочий класс, как обманул его Ленин. Плохо, брат! Так плохо, что опускаются руки и слепнут глаза”<sup>68</sup>.

Это “когда начальство ушло” тоже весьма знаменательно: ведь это название книги В. В. Розанова о бунтах 1905 года.

### После бала

Через несколько дней после разгона УС в Первопрестольной отпевали демократию, право и законность. Разгон УС наталкивал на единственно возможный вывод: бороться с большевизмом политическими и правовыми средствами — невозможно. Остаётся лишь путь вооружённой борьбы. Сознавали ли большевики последствия своего решения — Бог весть. Во всяком случае, руководила ими иная идея: утвердить свою власть во что бы то ни стало, а средством обоснования её служили не какие-то лживые “буржуазные химеры”, а собственная воля. И делалось это демонстративно.

Разгон Учредительного собрания ознаменовал собой и окончательное падение страны в правовой нигилизм и, как следствие, в политический беспредел. ... Все усилия получить разрешение на перевозку тел покойных Шингарёва и Кокошкина в Москву оказались безрезультатными. Власти боялись, как бы это не вызвало слишком опасной демонстрации.

“Панихида, — писал известный кадет и масон Л. А. Кроль, — состоялась при невероятном стечении народа. Присутствовал весь наличный в Москве состав ЦК. По окончании панихиды, при выходе как-то невольно все остановились. Получилась весьма импозантная живая картина. Вся монументальная лестница храма была усеяна публикой, а наверху её резко выделялась знакомая москвичам фигура проф. Новгородцева. Импровизированный молчаливый митинг протеста говорил сильнее всяких слов. Очевидно, это действовало даже на большевиков. Несомненно, что их шпииков тут было вполне достаточно.

Но арестовать членов ЦК тут же не рисковали, хотя через несколько часов на их квартиры являлись<sup>69</sup>.

Тяжело переживали разгон УС записные русские либералы, приложившие свою длань к сокрушению “старого режима”, например, А. Ф. Кони. “Сановник, стяжавший известность защитой революционеров; человек, никогда не погрешивший против совести; государственный деятель, оказавшийся в плену предрассудков своего века и не разглядевший пророка в своём старшем современнике Достоевском... <...> ...свержение Временного правительства и особенно разгром Учредительного собрания потрясли Кони. Потрясли настолько, что дальше он жил уже раздвоенным, наполовину отрёкшимся от себя. В этом я видел неизбежную судьбу таких вот честно заблуждающихся людей XIX века, замороженных багровыми отсветами слова РЕВОЛЮЦИЯ...”<sup>70</sup>.

Совесть Кони оказалась... “с душком” — либеральным, антимоноархическим, а по сути антигосударственным. Отрезвили ли его последующие события — Бог весть. Но вот его клиентка — одержимая идеей революции Вера Засулич — тоже пришла от свершившегося в ужас.

Нельзя сказать, чтобы политические силы оставили разгон УС и расстрел его сторонников без внимания. Так, ЦК РСДРП(о) (объединённой, то есть меньшевистской. — **Б. К.**) принял резолюцию, в которой чёрным по белому сказано:

“5 января

Ввиду произведённого в Петрограде расстрела мирной рабочей демонстрации, выступившей для поддержки Учредительного Собрания, и ввиду того, что повсюду в провинции большевистская власть сделала такие же приготовления к кровавому подавлению рабочего движения, ЦК РСДРП (объединённой) постановляет:

1. Немедленно оповестить обо всём происшедшем весь рабочий Интернационал.

2. Призвать все партийные организации к проведению широкой кампании протеста против расстрела рабочих и к организации демонстративных похорон жертв большевистского террора, приурочив их по возможности к 9-му января.

Всюду, где местные Советы взяли на себя ответственность за расстрел мирных демонстрантов и где в этих расстрелах принимала участие красная гвардия, рекомендовать рабочим немедленные перевыборы в Советы и отзывание красногвардейцев, выступивших против своих братьев.

ЦК РСДРП (объединённой) призывает всех рабочих к революционной выдержке. Никаких актов мести! Рабочее дело победит, хотя две партии, имеющие себя социалистическими (большевиков и лев<ых> с.-р.), изменив рабочему классу, обагрили свои руки в пролетарской крови”<sup>71</sup>.

Выпустит свою листовку и плехановское объединение “Единство”: “Учредительное собрание разогнано насильниками. Это произошло потому, что на стороне господствующего меньшинства находится большинство людей вооружённых. 5 января 1918 года показало это весьма наглядно. События этого и последующих дней с большой ясностью обнаружили истинную сущность нынешней власти, её тиранический характер”<sup>72</sup>.

Следует сказать, что не менее жёстко выступило “Единство”, входившее во “Всероссийский Комитет спасения Родины и революции” и против самого октябрьского переворота. Им было выпущено воззвание “Гражданам Российской республики!”, в котором была дана характеристика происшедшему событию: “Мятеж большевиков наносит смертельный удар делу обороны и отодвигает всеми желанный мир. Гражданская война, начатая большевиками, грозит свергнуть страну в неопишываемые ужасы анархии и контрреволюции и сорвать Учредительное собрание. Не признавайте власти насильников”<sup>73</sup>.

Но всё это уже было лишь пустое сотрясение “воздухов”.

Уже на следующий день после разгона УС большевистские “Правда” и “Известия” разразятся хулой по адресу “учредителей”. Их назовут “прислужниками банкиров, капиталистов и помещиков”, “объявившими войну завоеваниям октября и революции”, “непримиримо-враждебными трудящимся”, “врагами народа”, “убийцами из-за угла” (*намёк на эсеровское прошлое. – Б. К.*), “холопами американского доллара” (*странно, что не немецких рейхсмарок... – Б. К.*), “агентурой контрреволюционной буржуазии”, которая, как писали “Известия”, “не будучи в состоянии одолеть трудящихся в открытом бою, решила взять их измором, тихой сапой”. Учредительное собрание “осудило себя само. Оно учинило над собой хакари”. Заканчивалась заметка словами Ф. Шиллера:

*Мёртвый, в гробе мирно спи:  
Жизнью пользуйся, живущий!*<sup>74</sup>

Незадавшийся литературный критик Троцкий назовёт Учредительное собрание “упразднительным собранием”, поскольку-де “оно имело единственной целью упразднить все завоевания октябрьской революции”<sup>75</sup>.

Весьма “изящен” в стилистическом отношении был и Декрет о роспуске Учредительного собрания. В нём повторялся совершенно неприличный, если не сказать жульнический, тезис о том, что УС было выбрано по спискам, составленным до Октябрьской (“октябрьской” с прописной литеры! – Б. К.) революции, а потому крестьяне, дескать, просто не могли проголосовать за левых эсеров. Но ведь вся Россия знала и не могла не знать, что раскол эсеров на “правых” и “левых” начался ещё во время подготовки выборов в УС, а в ряде губерний – Воронежской, Вятской, Тобольской – левые эсеры выставили свои списки, но потерпели жестокое поражение. Тем не менее, сей большевистский миф переживёт саму советскую власть и войдёт в учебники истории страны.

Однако читаем дальше: “Трудящимся пришлось убедиться на опыте, что старый буржуазный парламентаризм пережил себя, что он совершенно несовместим с задачами осуществления социализма. <...> Всякий отказ от полноты власти Советов, от завоеванной народом Советской Республики в пользу буржуазного парламентаризма и Учредительное собрание было бы теперь шагом назад и крахом всей октябрьской рабоче-крестьянской революции. <...> Вне стен Учредительного собрания правые эсеры и меньшевики ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся.

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов”. Налицо, как видим, ложь и демагогия.

Резолютивная часть была коротка: “Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постановляет: Учредительное собрание распускается”<sup>76</sup>.

А ещё через две недели – 18 (31) января – созванный в ураганном порядке некий III Всероссийский съезд Советов одобрит Декрет о роспуске Учредительного собрания и примет решение об устранении из законодательства указаний на временный характер советского правительства (“впредь до созыва Учредительного собрания”). Из приличий на съезд будут допущены в гомеопатических дозах меньшевики, среди которых отметится своим остроумием Ю. О. Мартов.

Разогнанные “учредители” подались в бега и 8 июня 1918 года организовали в Самаре Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (“Комуч” или “КОМУЧ”) – первое антибольшевистское всероссийское правительство России. Правду сказать, сие стало возможно благодаря взбунтовавшимся нежданно-негаданно бывшим пленным чехословакам. История сия темна и мутна. А 23 сентября Комуч поучаствовал уже в организации Временного (очередного **временного!** – **Б. К.**) Всероссийского правительства, так называемой “Уфимской Директории”. Реально её власть распространилась на часть Поволжья и южного Урала. Директорствовали директоры недолго: через два месяца их разогнали нагайками казаки А. В. Колчака. Адмирал был человек серьёзный и бомбистов с болтунами на дух не переносил.

Когда учредителей-директоров рассаживали по вагонам, оркестр на перроне исполнял народный гимн “Боже, Царя храни!”, что вызвало открытое возмущение представителя Антанты генерала М. Жанена – “генерала без чести”.

Назвать акцию адмирала переворотом, как это часто можно слышать, не поворачивается язык, ибо какая бы то ни было “легитимность” в условиях гражданской войны становилась издевательством не только над правом и идеей права, но и житейским здравым смыслом.

Кто из учредителей смог, тот сбежал за границу или был выдворен Колчаком из пределы России. Кому не посчастливилось, приняли от адмирала почётную смерть от пороха и свинца. Кто-то же должен был наказать нераскаившихся и нераскаянных бомбистов?

Смута накрыла Россию.

Самозванцы ополчились против самозванцев. Временные против временных.

Ради созыва Учредительного собрания свергалось Временное правительство. Свергнувшие объявили своё правительство тоже временным, оно подчиняться Учредительному собранию не собиралось и уже не хотело быть временным – оно объявило себя постоянным. Изгнанные “учредители” создали своё временное правительство, но их ликвидировали другие временщики. А те, кто объявил себя постоянными, стали со вкусом соревноваться на длину ножа. Вот и вся печальная история с Учредительным собранием.

После разгона Учредительного собрания ленинский коммунизм продолжит свое яростное наступление на людей. “Обнулятся” все сбережения в ценных бумагах, будут аннулированы государственные займы, ликвидированы государственные облигации, которыми владели граждане, в двухнедельный срок всех обяжут сдать всю имеющуюся на руках валюту. Будет отменена частная собственность на недвижимость в городах, начинается “уплотнение” и выселение. Будет упразднено право наследования – всё нажитое людьми будет передаваться “пролетарской диктатуре”.

Будет введён единовременный чрезвычайный десятиллиардный налог с имущих лиц: для Москвы – 2 млрд рублей, для Московской губернии – 1 млрд рублей, для Петрограда – 1,5 млрд рублей. Ленинским декретом местным органам власти будет предоставлено право “устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги”, которые “должны взиматься преимущественно наличными деньгами”.

А подача электричества станет признаком того, что ночью будут проводиться очередные обыски, аресты и конфискации.

И символом этого коммунизма мог бы стать ленинский череп со скрещенными под ним костями. Но от ленинского коммунизма, равнозначного гибели, страну спасут кронштадтские бузотёры и тамбовские повстанцы.

Через двадцать лет в “Кратком курсе истории ВКП(б)” разгону Учредительного собрания будет посвящено всего лишь одно предложение<sup>77</sup>, сама история с разгоном будет предельно мифологизирована и сведена к банальному эпизоду, досадному недоразумению. И это понятно: в доме повешенного

не говорят о веревке. Да и событий в советской истории накопится к тому времени немало.

### Финал-апофеоз

Теперь о судьбах членов УС. И начнём мы с проигравших – кадетов и эсеров.

Сначала о меньшинствах – о партии “Народной свободы”, а в просторечии – кадетов, силы которых в городе так опасался товарищ Сталин.

По декрету СНК были арестованы 2 депутата Учредительного собрания от конституционно-демократической партии (кн. П. Долгоруков и Ф. Ф. Кокошкин) и 2 бывших министра Временного правительства (В. А. Степанов и А. И. Шингарёв). 7 января 1918 года двое из них – Ф. Ф. Кокошкин и А. И. Шингарёв – были зверски убиты в Мариинской тюремной больнице пьяной братвой Железнякова-старшего.

Но были ещё члены УС от партии “Народной свободы” (в просторечии – “кадеты”).

Коновалов А. И. – крупный предприниматель, депутат Государственной Думы. Министр торговли и промышленности Временного правительства. Массон высоких градусов. 25 октября арестован и препровождён в Петропавловскую крепость. Находясь в заключении, был избран членом УС. 5 января 1918 года сидел в крепости. Освобождён в начале января 1918 года и уехал во Францию. Умер в Париже в 1949 году.

Кутлер Н. Н. – убеждённый либерал, противник Русского Самодержавия. Неоднократно арестовывался большевиками. Первый раз – 29 декабря 1917 года. При аресте случайно был ранен. Освобождён 26 января 1918-го. Встречался с коллегой по УС – Ульяновым-Лениным. Введён в состав правления Госбанка РСФСР, работал также в Наркомфине. Один из организаторов денежной реформы 1922–1924 годов. Едва не стал членом коллегии Наркомфина. Против его назначения бурно протестовал “железный Феликс”. Скончался в Москве в мае 1924 года. Важной частью церемонии его похорон стала киносъёмка – честь, которой удостоивались далеко не все высокопоставленные коммунисты.

Маклаков В. А. – адвокат, общественный деятель. Депутат Государственной Думы. Ярый противник Русского Самодержавия. Массон высоких градусов. Один из защитников Бейлиса. Членом УС был избран, будучи во Франции. В декабре 1917 года тайно переправил в США часть архивов Охранного отделения. Надо полагать, знатный компромат на революционную шатиюбратию. В апреле 1941 года арестован гестапо, пробыл пять месяцев в заключении. В 1945 году посетил советское посольство во Франции. Умер в 1957 году в Париже.

Милюков П. Н. – в представлении не нуждается. Массон. В деятельности УС не участвовал, так как гостил в это время у генерала Алексеева на Дону. Искренне радовался победе советских войск под Сталинградом. Умер в Саvoye в 1943 году.

Новгородцев П. И. – один из крупнейших русских теоретиков права. Уплыл из России на “философском пароходе” и умер в Праге, на три месяца пережив своего коллегу по УС – Ульянова-Ленина. Перед смертью публично каялся в своих и чужих либеральных грехах, а также в том, что стеснялся использовать в политическом лексиконе слово “русский”.

Винавер М. М. – адвокат, член Государственной Думы. В 1919 году бежит из Москвы в Крым, где становится министром внешних сношений. Умер в 1926 году во Франции.

Астров Н. Н. – товарищ комиссара Временного правительства в Москве. Затем Московский городской голова. Один из главных советников генерала А. И. Деникина. Умер в Праге в 1934 году.

Родичев Ф. И. – горячий поклонник Герцена. Ярый противник Русского Самодержавия. В 1876 году отправился добровольцем на войну сербов и черногорцев против турок. Позднее вспоминал: “Летом 1876 года я поехал волонтером за Дунай отыскивать свободу. Мне всё мерещились Лафайет или Костюшко. Я считал, что дело свободы славянской есть дело свободы русской”. Депутат Государственной Думы. Думский Цицерон. Автор мема “столыпинские

галстуки”. Комиссар Временного правительства по делам Финляндии. Противник её отделения от России. В 1919 году направлен командованием Добровольческой армии в Сербию, где агитировал за создание сербских легионов для участия в борьбе против большевиков. В 1920 году – представитель Добровольческой армии в Польше. Умер в Лозанне в 1933 году.

Трагично сложилась лишь судьба Л. А. Велихова – публициста, депутата Государственной Думы, февралиста. Он остался в России, был профессором Педагогического института, преподавал на хозяйственных курсах и в совпартшколе. С 1921 года профессорствовал в Ростовском университете по кафедре политической экономии. Получил степень доктора философии. Осенью 1923 года был арестован. От почётной должности агента-осведомителя отказался. Вернулся к преподаванию. В 1937 году получил инвалидность 2-й группы и вышел на пенсию. В августе 1938 года был арестован. Обвинялся по 58-й статье в организации террористической группы. Допрашивал его В. С. Абакумов (тот самый). Приговорён к 8 годам лагерей. По имеющимся сведениям, умер в 1942 году в Березняковском лагере.

Трудно сказать, повезло или не повезло назначенному Временным правительством председателю комиссии по выборам в УС (“Всевыборы”) В. Д. Набокову (отцу писателя В. В. Набокова) – аристократу-фрондёру, гордецу и убеждённому противнику русской монархии.

Он, как и другой председатель комиссии (но уже от большевиков) Урицкий, тоже был избран в Петрограде в УС. Набоков счастливо избежит ареста, уедет в Крым, а оттуда – за границу. Как и Урицкого, его тоже застрелят. Это случится в 1922 году в Берлине. В пылу борьбы он попадётся под руку русскому монархисту, покушавшемуся на П. Н. Милюкова. По словам нападавшего, причиной покушения стала месть за сознательную клевету экс-приват-доцента на последнюю Государыню.

И. А. Бунин напишет о Набокове некролог под титлом “Великая потеря”.

Право же, за свою долгую жизнь выдающийся русский писатель мало о ком сказал доброе слово.

А теперь о судьбах главных “героев” УС – видных эсерах и их “разгонщиках”. Начнём с потерпевших.

Чайковский Н. В. (“дедушка русской революции”). Видный масон. Входил в руководство “Великой ложи Франции”. Эмигрировал в 1919 году. Умер в 1926 году в Англии.

Брешко-Брешковская Е. К. (“бабушка русской революции”) – умерла в 1934 году в Чехословакии.

Пумпянский Н. П. – террорист, участник покушения на П. А. Столыпина. На Забайкальском Войсковом казачьем круге в августе–сентябре 1917 года призывал казачество “снять с себя пятно опричнины”. С 1919 года – уполномоченный Сибирского правительства на КВЖД. Затем плавно перетёк на советскую службу в Харбине, став главой правления КВЖД в Мукдене. Помер своей смертью в 1932 году в Пекине.

Минор О. С. – юрист. Сын раввина. Был приговорён к 10 годам каторги. Член ЦК партии эсеров, редактор газеты “Труд”. Едва не был убит во время заседания УС. С 1919 года в эмиграции. Возглавлял Политический Красный Крест. Умер в 1932 году в Париже.

Руднев П. П. – дворянин. Трижды арестовывался в царское время. С началом Великой войны ушёл на неё добровольцем. Служил врачом на госпитальном судне. Московский городской голова. После октябрьского переворота созвал экстренное заседание Думы, на котором заявил, что Москва не будет подчиняться советам. Глава Комитета общественной безопасности по борьбе с большевиками. С 1919 года в эмиграции. Соиздатель журнала “Современные записки” (Париж, 1920–1940). Умер в 1940 году во Франции.

Шрейдер Г. И. – городской голова Петрограда. Возглавлял Комитет общественной безопасности, созданный для сопротивления большевистскому перевороту. Подвергся аресту за отказ распустить городскую Думу. Бежал. В 1919 году выслан за границу по распоряжению командования Вооружённых сил Юга России. Умер в 1940 году в Париже.

Чернов В. М. – идеолог террора, автор воспоминаний, книжки “Русское в еврейском и еврейское в русском” и очерка “Мои дороги и тропинки к еврею”. Умер в 1942 году в США.

Авксентьев Н. Д. — видный масон. Автор монографии “Сверхчеловек. Культурно-этический идеал Ницше” (1906). В 1918 году арестован и выслан за границу. Соиздатель журнала “Современные записки”. Умер в 1943 году в США.

Зензинов В. М. — купеческий сын. Член БО (“Боевой организации”) эсеров. “Из Германии туманной привез учёности плоды”. Орнитолог и этнограф. Автор книги о русских поморах “Старинные люди у Холодного океана”. Боевик и смутьян, член ЦК партии эсеров. Под звуки народного гимна “Боже, Царя храни!” выслан из России А. В. Колчаком.

Во время советско-финской войны, пользуясь старыми связями с финнами, приехал в Финляндию, где ему организовали встречи с советскими военнопленными. По материалам собранных втайне от финского командования писем и разговоров с пленными опубликовал в 1944 году в Нью-Йорке книгу “Встреча с Россией. Письма в Красную армию 1939-1940”. Умер в 1953 году в США. Историк эсеровского террора. Из Зензинова: “Террористический акт есть акт, прямо противоположный самоубийству, — это, наоборот, утверждение жизни, высочайшее проявление её закона”<sup>78</sup>. Такого не предусмотрел даже Достоевский...

Церетели И. Г. — министр почт и телеграфа Временного правительства. Сторонник независимой Грузии. В 1919 году её представитель на Парижской (Версальской) конференции. Парламентский цицерон. С 1921 года в эмиграции. Умер в 1959 году в США.

Вишняк М. В. — активный участник бунта в Москве в 1906 году. Секретарь УС. С 1919 года в эмиграции. Публицист. Автор ряда статей по истории и праву. Соиздатель журнала “Современные записки”. В 1946-1958 — редактор русского отдела американского еженедельника “Тайм”. Умер в 1976 году в США.

Сорокин П. А. — своей работой по вопросу статистики разводов населения Петрограда разъярил Ильича. В 1922 году выслан за границу. В отличие от своих учёных коллег, уплывших на пароходе, уехал из России на поезде. Классик мировой социологической науки. Умер в 1968 году в почёте и славе в США.

Швецов С. П. — бесхитростный русский мужик (по натуре), дворянин по происхождению. Ходил в народ, был чернорабочим. В 1879 году приговорён судом к лишению всех прав состояния. Каторжный. В 1905 году — активный смутьян. После подавления бунта — эмигрант. После разгона УС ушёл в науку. Тихо занимаясь географией, умер своею смертью в 1930 году в Ленинграде.

Фигнер В. Н. — профессиональный борец за народное дело, жертва царского режима, “подорвавшая своё здоровье в царских казематах”. Дожила до 90 лет и умерла, оставаясь на свободе, в 1942 году. В 1933 году Совнарком увеличил ей пенсию. О себе она говорила: “Я часто думала, могла ли моя жизнь <...> кончиться чем-либо иным, кроме скамьи подсудимых? И каждый раз отвечала себе: нет!”

Никонов С. А. — врач-убийца. Натуральный. Потомственный дворянин. Сын царского адмирала. Подельник А. Ульянова. Участник подготовки покушения на императора Александра III, организатор “Боевой дружины эсеров”, организатор и участник третьего покушения на адмирала Г. П. Чухнина. Его племянник Б. А. Никитенко казнён в 1907 году за попытку покушения на императора Николая II.

При советской власти неоднократно арестовывался, но по ходатайствам сестры Ленина А. Ульяновой-Елизаровой неизменно отпускался на волю. Спокойно пережил сезон 1937-1938 годов. Умер в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Соколов Б. Ф. — врач-бактериолог. С 1916 года на фронте. Поручик. При гетмане П. П. Скоропадском — сотрудник Бактериологического института при университете Св. Владимира в Киеве. В 1918-м выехал во Францию. По возвращении в Россию вошёл в состав правительства Северной области. Был арестован большевиками. Выпущен за границу, жил в Чехословакии. Журналист, писатель, автор научных исследований по онкологии. В 1924 году защитил магистерскую диссертацию по протистологии в Праге. Умер в 1979 году в США.

Огановский Н. П. — автор воспоминаний и записок о работе УС. В 1931 году арестован и приговорён коллегией ОГПУ к пяти годам лишения свободы.



В 1933-м выслан на оставшийся срок в Башкирию. В 1935 году после окончания срока ссылки остался жить в Уфе. По некоторым данным, расстрелян в 1938 году. Реабилитирован в 1989 году.

Гоц А. Р. — идеолог терроризма и убийца. Один из немногих членов эсеровского большинства в УС, кому не слишком повезло. В момент работы УС находился в розыске. Брать его прямо в Таврическом не решились (дабы не нарушать парламентский иммунитет). Бежал, невзирая на усиленную охрану дворца. В 1922 году пойман и приговорён к высшей мере наказания. Два года ждал казни. В 1924 году расстрел был заменен на 5 лет тюрьмы. Через год сослан на три года на родину Ильича в Симбирск, ставший к тому времени Ульяновском. В 1937 году вновь арестован, а в 1939-м приговорён к 25 годам лагерей. Умер в КрасЛаге в 1940 году.

Не повезло и террористу-боевику из банды Б. Савинкова Е. Е. Колосову — потомственному бунтарю и перманентному сидельцу. Участник вооружённого бунта в Москве в декабре 1905 года. Два года отсидел в крепости. Бежал в Финляндию, оттуда перебрался во Францию, затем в Италию. В 1916 году вернулся в Россию и вновь был арестован. При советской власти арестовывался трижды, причём вместе с женой. Оба расстреляны в 1937 году.

Главным же выгодоприобретателем от всего случившегося станет Борис Ильич Збарский. На трупе Ильича он делает блестящую карьеру: станет профессором, академиком медицинских наук, Героем Социалистического Труда, кавалером трёх орденов своего подопечного Ленина, лауреатом Сталинской премии.

Он будет холить и лелеять прах своего политического врага и невольного благодетеля вплоть до своего ареста, последовавшего в 1952 году. Предлог звучал вполне абсурдистски: “недостаточное отражение в брошюре “Мавзолей Ленина” роли товарища Сталина в Великой Октябрьской социалистической революции”. Любопытно, что брошюрка сия выходила в главном издательстве страны — Госполитиздате — по крайней мере дважды — в 1945 и 1946 годах, — и никаких претензий к её содержанию вплоть до 1952 года не возникало. Похоже, это Ильич подшучивал из гроба над своим санитаром, бывшим когда-то его политическим противником.

На волю Борис Ильич выйдет лишь после смерти другого вождя. Збарский умрёт в 1954 году — через тридцать лет после смерти своего клиента и работодателя.

Петлюра С. В. (тот самый!) — стоит в сём списке особняком. Исключён из Полтавской духовной семинарии. Главный редактор издававшегося в Москве журнала “Украинская жизнь”. Позднее политические противники обвиняли его в русофильстве. Диктатор укродиректории. Масон. Великий мастер “Великой ложи Украины” (куратором украинских лож в 1913–1916 годах был А. Ф. Керенский). Состоял в одной ложе с гетманом П. Скоропадским и способствовал его первому побегу из Киева при наступлении “красных”. Убит в мае 1926 года в Париже приятелем Н. Махно, поэтом С. Шварцбардом. Есть веские основания полагать, что это была масонская казнь за ослушание и самодетельность в “украинском вопросе”. Похоронен на элитном кладбище Монпарнас в двух шагах от могилы обожаемого им Мопассана.

Гуковский А. И. — сын военврача. Публицист. Исключён из Московского университета. В момент работы УС находился под арестом в Петрограде. В 1919 году эмигрирует во Францию. Соиздатель журнала “Современные записки”. Наложит на себя руки в 1925 году в Париже. Его сын Евгений будет расстрелян в 1938 году.

Фундаминский (Фондаминский)-Бунаков И. И. — из купцов 1-й гильдии. Учился на философа в Гейдельберге. С 1901 года эсер. Боевик. Участник Московского бунта 1905 года. Несколько раз арестовывался, в том числе за участие в бузе на крейсере “Память Азова”. Масон. Комиссар Черноморского флота (до октября 1917 года). С 1919 года — в эмиграции. По мнению известного историка и мыслителя Г. П. Федотова, “собрал наиболее богатый материал для понимания души русского самодержавия”. Принял Православие. Соиздатель журнала “Современные записки”.

В 1940 году во Франции он напишет: “Россия — особый мир. Мир великий и самобытный, отличный от европейского по земле, по крови, по вере, по политическому строю — по всему ходу истории. <...> Историей всякого народа руководит Провидение, но русской историей в особенности. Ни одна история не

заключает в себе столько чудесного и сверхъестественного. Соображая события, её составляющие, невольно думаешь, что перст Божий ведёт Русский народ, как будто древле иудеев, к какой-то высокой цели”<sup>79</sup>.

Погиб в Аушвице (Освенциме) в 1942 году. В 2004 году канонизирован Константинопольской Православной Церковью.

А теперь о судьбах наиболее видных победителей УС – большевиках и левых эсерах.

“Да где у нас диктатура? Да покажите её! – будет яриться перед смертью своего коммунизма Ильич. – У нас – каша, а не диктатура”<sup>80</sup>. А позже, пребывая в гневе, выпалит: “Нас всех надо вешать на вонючих верёвках!” – вырвав надежду, что когда-нибудь “поделом повесят”<sup>81</sup>.

Вешать на верёвках – это понятно. Но отчего же именно на “вонючих”?

Через полвека соратник Ильича В. М. Молотов, беседуя с поэтом Ф. Чуевым, скажет по поводу этой пресловутой “каши”: “На месте стрелять, и всё! Такие вещи были. Это не по закону. А вот приходилось. Это диктатура, сверхдиктатура”<sup>82</sup>.

Разгон УС ознаменовал собой победу коммунизма – ленинского коммунизма, коммунизма рабовладельческого типа. П. А. Сорокин запишет в своих воспоминаниях резюме одного из таких подержавших (в кавычках или без – не суть важно) большевиков крестьян. “Земля наша, это правда, – говорил он, – но весь урожай – их. Леса наши, скот наш, но деревья – их, и всё молоко, масло и мясо тоже их. Вот что правительство сделало для нас. Пусть они заберут землю назад и едят её сами”<sup>83</sup>.

А вот ещё одно свидетельство, правда, уже не эсера, а записного либерала – писателя В. Г. Короленко: “Снаряжается экспедиция в деревню с целью собирания хлеба. Естественный обмен между городом и деревней прекратился. Город ничего не производит.

Иголка стоит теперь 100, а то и 150 рублей. Понятно, что давать хлеб, да ещё по “твёрдой цене”, у деревни нет никакой охоты. Вдобавок свободный ввоз хлеба в город воспрещён.

Обычный обмен замер, приходится прибегать к искусственному”<sup>84</sup>.

Запись в дневнике от 18/31 мая 1920: “Голод 1891-1892 года шутка в сравнении с тем голодом, который охватил теперь всю Россию. Одно из непосредственных последствий большевизма – обеднение России интеллигенцией. Одни погибают как инакомыслящие, другие – как прямые противники, третьи – прямо как “буржуи”, четвёртые – потому, что выбиты из колеи”<sup>85</sup>.

К 1921 году разрушительные последствия коммунистической программы стали очевидны всем, за исключением “твердокаменных” большевиков. Невспаханые поля заросли сорняками. Не было ни семян для сева, ни стимула к труду. Жизнь городов постепенно приближалась к мертвящему оцепенению. Национализированные заводы за неимением топлива прекратили работу. Железные дороги были разрушены. Здания превратились в руины. В школах почти совсем прекратились занятия. Суть отношения мужика к ленинскому коммунизму выразил в своём слове к пришедшим облагать его данью продотрядовцам безымянный крестьянин: “Когда мы не кормили в долг ваш пролетариат, у нас было много плугов и гвоздей. Три года мы отдавали вам в долг всё, что вырастили. Вы всё забирали бесплатно, и теперь у нас нет ни плугов, ни гвоздей. Думаю, что настало время перестать вас одалживать”<sup>86</sup>.

Причину разразившейся “на ровном месте” гражданской войны Ильич усмотрел в отказе правых эсров сотрудничать с большевиками.

Вдумаемся: “учредилку” разогнали “без шума и пыли”, сопротивления никто не оказывал. Ни мужик, ни солдат, ни рабочий не возмутился (это сущая правда!), напротив, отнёсся индифферентно, ибо “что те, что эти” – “красные” и “сицилисты”. Тогда с чего бы вдруг разразилась гражданская война?.. Ах, да – “белочехи” злосчастные, “иудушкой Троцким” спровоцированные, “учредители” недобитые, Колчаком недострелянные.

Как отмечал Г. М. Семёнов, “завоевав симпатии крестьянства, социалисты так же легко привлекли к себе интеллигенцию, воспитанную на антипатриотических идеях космополитизма эпохи 40–60-х годов. Утопические мечты о всеобщем уравнении, о вечном мире мира и социалистическом его переустройстве всецело овладели умами интеллигентного слоя населения, развращённого вредными литературными трудами и политическими выступлениями

руководящих лидеров интеллигенции из писателей, профессоров, адвокатов и пр.”<sup>87</sup>. Будем помнить одно из главных правил жизни — и науки тоже! — не путать причины и следствия. Говорили (и говорят поныне!), что Ленин со своей бригадой решил отказаться от военного коммунизма (“как вынужденной меры”) с окончанием гражданской войны. Не вернее ли было бы сказать, что гражданская война прекратилась именно после отказа от ленинского коммунизма? Но и то: известное присловье “хоть кол им на голове теши!” живёт и здравствует, увы, не на пустом месте.

И началось великое “временное отступление”, как называл его Ильич, по прозвищу “нэп”. Задумывалось ли оно Лениным и впрямь как “временное” или то было сказано для “красоты слога” для своих несмышлёных соратников — Бог весть. Спросите его самого. Если верить покойному стихослагателю А. Вознесенскому, Ленин отвечает на все вопросы. Мы же скажем, что Ильич был величайший оппортунист и ради завоевания и удержания власти менял мнение и озвучивал его в соответствии с требованиями момента, а моменты менялись непредсказуемо. Свой феерический оппортунизм Ильич объявлял “диалектикой”.

Но и с НЭПом вышел казус. Свято уверовавшие в химеры стали стреляться. А те, кто поумней и при власти, — использовать её в личных целях. Говорят, что НЭП вёл страну в тупик. Весьма возможно. А вот то, что нэп вымывал у власти почву под ногами — совершеннейший факт. Нэпману большевики были “без надобности”, а те были совершенно неспособны конкурировать с вышедшими из подполья “деловыми людьми”. Так что тот или иной вариант ухода большевиков с исторических подмостков России был делом времени и техники. А уйти со сцены они могли разве что в подвал.

Судьба нэпа была предreshена. И началось великое социальное и политическое контрнаступление, получившее прозвание “великого перелома”, — новая война.

Великое проявляется в малом. И первым делом в быту. Вот запись из дневника историка партии С. А. Пионтковского (дяди нынешнего неизвестного оппозиционера). Пионтковский был, судя по его записям, человек не вполне здоровый, но не в соматическом, а духовном плане — “духовно повреждённый”, одержимый, бесноватый, склонный к политическому садомазохизму. Правовойнейший из правовойнейших партийцев. Тем его дневник “матери-истории” и ценен.

Запись от 1 ноября 1930 года: “В политике кругом творятся странные дела. Сначала мы закручивали и завинчивали, дошли почти что до военного коммунизма, с рынка сняты были все товары широкого потребления, всё выдавалось только по ордерам. А получить ордер можно было только какими-то неизвестными каналами, да и, получивши ордер, говорят, не всегда можно было с ним устроиться. Человеку, например, нужны были штаны, а ему по розыгрышу, по развёрстке попадал ордер на стол или на комод. И он должен был искать несчастьливца, которому вместо комода доставались, предположим, штаны, чтобы совершить обмен и таким путём получить нужную вещь. Получалось, что на складах лежали товары, ордера на все эти товары были розданы, а получить эти товары никто не мог. Каналы оборота пустовали.

На одном конце происходило затоваривание, на другом — исчезновение денежных масс в резервуарах, куда они должны были стекаться. Деньги отслаивались в деревне, а государственные банки начинали прекращать платежи. Рос хозяйственный кризис, и росли катастрофически цены на вольном рынке. Зарплата не выдавалась. В Комакадемии, например, только сегодня заплатили за первую половину октября, а в университете ещё не известно, когда начнут платить, хотя до 5 ноября повсюду должны выплатить задержку в зарплате.

Наряду с этим развивали широкие ударнические кампании и в рабочих массах ставили задачу об увеличении колхозных и совхозных масс деревни. Всё это единственно приводило к тому, что классовая борьба в наших условиях начала усложняться и усиливаться”<sup>88</sup>.

Записано 10 марта 1930 года: “Кулак и собственник сопротивляются, и интересы собственности заставляют поддерживать кулацкие элементы тех, кто по объёму своей собственности к собственникам никак не причислен быть не может. На Кубани и в Чечне уже восставали. В Рязанской губернии сейчас восстание, правда, безоружное, но всё же там, как говорят, восстали уже

до 50 000 человек, правда, восстали безоружно и пока восстание просто сводится к большой бузе, но настроение пренеприятное и, по-видимому, крайний антисемитизм. МК (Московский комитет партии. — **Б. К.**) мобилизовал сейчас группу ребят в Рязань и строго предписал евреям не посылать”<sup>89</sup>.

Записано 2 апреля 1930 года: “В большом докладе Леонов (секретарь МК ВКП(б). — **Б. К.**) в несколько шутильной форме старался изобразить события в Московской области. По докладу <...> начали происходить массовые выступления. Выступления в ряде других мест распространялись сразу на 1,5-2 десятка деревень. Начиная с 23 февраля и до 15 марта были выступления в Рязанской губернии, в Бежецком уезде. Там разгромили сельсовет, от борьбы против совхозов перешли к борьбе против Советской власти вообще. Организовались, стали высылать разведчиков, вернули попов, открыли церкви, объявили свободу торговли, стали выкидывать лозунги явно антисоветского характера, учредили дежурства с целью учесть приближение войск и т. д. Недели полторы в захваченном районе не было Советской власти”<sup>90</sup>.

Записано 2 апреля 1930 года: “Цепь восстаний прокатилась волной по всему Союзу. Были восстания в Казахстане, на Северном Кавказе, в Армении и большая группа восстаний на Украине. На сегодня цепь этих восстаний разбита и подавлена”<sup>91</sup>.

Записано 23 июня 1930 года: “. . . для подавления восстаний в Закавказье потребовалось вмешательство всей Кавказской армии”<sup>92</sup>.

И это всё не сводки Би-Би-Си и “Голоса Америки”, а закрытая информация для партийцев. Мудрено ли, что в такой обстановке партии приходилось без усталости бороться не на живот, а на смерть с то и дело возникавшими “уклонами”, “загибами” и заговорами — подлинными и мнимыми?

А теперь о судьбах победителей, разогнавших Учредительное собрание и принявших Россию в свои руки.

Калинин М. И. — член УС, возглавивший через год орган, равный по своему государственно-правовому статусу и компетенциям Учредительному собранию. Из крестьян. Образование — два класса народного училища. Токарь высочайшей квалификации. За то был весьма уважаем Сталиным. Перед Великой (Первой мировой) войной собирался открыть пивную лавочку. Член нелегального кружка, который вёл В. М. Молотов (“студент Молотова”). По выражению своего наставника по марксизму, “он больше был для народа. . . И был преданным Сталину. Он был особенно близок для крестьянства, поскольку для крестьянства других большевиков не было”<sup>93</sup>.

После гибели Свердлова занял его пост. “Всесоюзный староста”. В дальнейшем — Председатель Президиума Верховного Совета СССР, безгласной пародии на парламент и Учредительное собрание.

В народе имел репутацию “добротного дедушки-заступника” за мужика и преступников-малолеток. В нужный момент мог проявить решительность и мужество.

Член Политбюро ЦК ВКП(б). В политические дела, как правило, не вмешивался, делал всё, “как велено”. Изредка, однако, проявлял строптивость и тем спасал людей. Занимался в основном вручением орденов и медалей. “Качало его немножко вправо, — сказывал о нём Молотов, — но он от нас старался не отбиваться”<sup>94</sup>. Любил читать современную ему художественную литературу и встречаться с “мастерами культуры”. Автор воспоминаний о Ленине. Награждён двумя орденами Ленина. За два года до смерти стал Героем Социалистического Труда. Любил жизнь во многих её проявлениях. Умер своей смертью после тяжёлой болезни в 1946 году. Его именем были названы Тверь, подмосковный городок Подлипки и вернувшийся в Россию после двухсотлетнего перерыва (длвшегося с 1761 года) Кёнигсберг.

Жена — Екатерина Ивановна (Иоганновна) Лорберг (по одним сведениям — эстонка; Молотов говорил, что еврейка). В 1924 году проявила принципиальность и заявила на родного брата-хозяйственника, после чего тот был расстрелян. Модница. Вместе с жёнами аппаратчиков неоднократно ездила в Париж обновлять свой гардероб. В 1938 году тотчас же по возвращении из-за границы была арестована. Получила семь лет лагерей. Как вспоминал Молотов, “она ничего из себя не представляла, но, вероятно, путалась с разными людьми”<sup>95</sup>. Освобождена в 1945 году после долгого и настойчивого ходатайства умирающего мужа.

Приёмный сын Калинина застрелился.

Натансон М. А. (л. с.-р.) — вконец разочаровавшийся в большевизме, отпущен Ильичом на волю в Швейцарию, где и окончил в 1919 году свои дни в тяжких мучениях.

Урицкий М. С. — застрелен в августе 1918 года своим соплеменником.

Черепанов С. А. — расстрелян “белочехами” через полгода после разгона УС.

Свердлов Я. М. — в 1919 году забит по-библейски камнями рабочими г. Орла. По официальной версии, умер от “инфлюэнцы”.

Шаумян С. Г. — бакинский комиссар. По официальной версии, “расстрелян англичанами и эсерами” в 1918 году. При эксгумации, последовавшей в январе 2009 года, останки его обнаружены не были.

Железняков А. Г. (анархист) — пошёл на Одессу, а вышел к Херсону. И при царе, и при Временном правительстве неоднократно привлекался к судебной ответственности за пропаганду пораженчества и террористическую деятельность.

Участвовал во взятии Зимнего дворца, аресте Временного правительства, помогал большевикам захватить власть в Москве в октябре-ноябре 1917 года. 6 июля 1918 года встал на сторону мятежников — противников Ленина и прочих “народных комиссаров”. В результате выходит приказ об аресте “Железняка”, и он объявляется вне закона. С помощью левых эсеров Железняков бежит от расстрела в тамбовские леса. Воюет с белыми на юге России. Убит при не до конца выясненных обстоятельствах в 1919 году. Превращён в культовую фигуру советской пропагандой.

Фрунзе М. В. — царским судом был приговорён к смертной казни. Умер на операционном столе в 1925 году. Врачебная ошибка не исключается.

Дыбенко П. Е. — после января 1918 года неоднократно предавал большевиков, переходил к эсерам. Казни пахана “братишек” вместе с его сожительницей А. М. Коллонтай требовал Троцкий. Через 20 лет — в 1938 году — его требование было выполнено, хотя и не полностью. Как враг народа расстрелян был лишь Дыбенко.

Антонов-Овсеенко В. А. — царским судом был приговорён к смертной казни. Активный участник октябрьского переворота. Тамбовский каратель. Консул в Испании. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Аросев А. Я. — старинный друг В. М. Молотова. Член ВРК Москвы во время октябрьского переворота. По его приказу вёлся обстрел Кремля из тяжёлых орудий. Дипломат, переводчик. Расстрелян в 1938 году как враг народа. “Он мог провиниться только в одном, — скажет спустя полвека Молотов, — где-нибудь какую-нибудь либеральную фразу бросил. Мог за бабой какой-нибудь, а та... Шла борьба”<sup>96</sup>.

Уншлихт И. С. — варшавский мещанин. Смутьян. Шесть раз арестовывался при старом режиме. Один из создателей и активистов советских карательных органов. Расстрелян как польский шпион и террорист в 1938 году. В 1956 году реабилитирован и восстановлен в партии.

Бухарин Н. И. — в юные годы выплюнул Святое Причастье, чем похвалялся всю оставшуюся жизнь. В 1917-1918 годах злоумышлял арестовать и убить тов. Ленина. Любимец партии. Образование гимназическое. В 1922 году в письме рейхсканцлеру Веймарской республики Й. Вирту Ильич называл Бухарина своим сыном. “Дьявольски неустойчив в политике” (по Ленину). В 1922 году выступал в качестве защитника на процессе по делу правых эсеров. С 1929 года — сталинский академик.

О своих коллегах по фракции в УС говорил: “Циник-убийца Каменев омерзительнейший из людей, падаль человеческая. Что расстреляли собак — страшно рад”.

На процессе по делу “Антисоветского правотроцкистского блока”, на котором он выступал уже в качестве обвиняемого, признался: “Я совершенно согласен с гражданином Прокурором насчёт значения процесса, на котором вскрыты наши злодейские преступления, совершённые “правотроцкистским блоком”, одним из лидеров которого я был”. Расстрелян в 1938 году как враг народа. “Не дали ему пожить”, — скажет через полвека Молотов<sup>97</sup>.

Зиновьев Г. Е. — политическая проститутка (по Ленину). Расстрелян в 1936 году как враг народа.

Каменев Л. Б. — политическая проститутка (по Ленину). Расстрелян в 1936 году как враг народа.

Камков (Кац) Б. Д. (л. с.-р.) — расстрелян в 1938 году как враг народа (вместе с женой).

Пятаков Г. Л. — отметился зверствами в Крыму. На процессе заявил, что готов лично расстрелять свою жену-заговорщицу. Расстрелян в 1937 году как враг народа. Его родного брата — тоже члена УС, так и не попавшего на заседание 5 января, — зверски убьют в Киеве некие самостийники.

Крыленко Н. В. (партийная кличка “Абрам”) — прапорщик, с конца ноября 1917-го по начало марта 1918 года — верховный главнокомандующий русской армией, точнее того, что от неё осталось. Такой взлёт даже не снился ни лейтенанту Бонапарту, ни поручику Тухачевскому. В дальнейшем нарком юстиции и Прокурор РСФСР. Доктор советских государственных и правовых наук. Пламенный борец с врагами народа. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Крестинский Н. Н. — сын учителя гимназии. В мирное время — присяжный поверенный (адвокат). Видный большевистский дипломат и бонза. По всему поведению — барин. Однажды обвинит Ленина в антисемитизме. “Похож даже на русского. Был Первым секретарём ЦК. Довольно злостный такой. Мы его не знали, куда девать, пока не арестовали”, — скажет о нём В. М. Молотов<sup>98</sup>. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Иоффе А. А. — сын купца-миллионера. Крупный дипломат. Политический деятель. Наложил на себя руки в 1927 году. На его могиле Троцкий произнесёт очередную пламенную речь: “...Такие акты, как самовольный уход из жизни, имеют в себе заразительную силу. Но пусть никто не смеет подражать этому старому борцу в его смерти — подражайте ему в его жизни!” Дочь от первого брака и вторая жена Иоффе отсидели в лагерях по 20 лет каждая. Сын расстрелян в 1937 году как враг народа.

Леплевский Г. М. — член Коллегии НКВД, заместитель Прокурора СССР. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Милютин В. П. — народный комиссар земледелия в первом Советском правительстве 1917 года. Член Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б). Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Игнатов Е. Н. — повар. Директор высших курсов советского строительства при Президиуме ВЦИК. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Нахимсон С. М. — из купцов. Зарублен шашками в Ярославле в гостинице “Бристоль” в 1918 году.

Невский В. И. (настоящая фамилия Ф. И. Кривобоков или Кривобок) — историк. В 1924–1935 годах — директор Румянцевской библиотеки, ставшей уже “Ленинской” (ныне — ФГБУ РГБ). Признан виновным в том, что “с 1929 года он являлся активным участником антисоветской террористической организации правых, а в 1933 году создал террористическую группу”. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Булатов Д. А. — из крестьян. Окончил сельскую школу. Рабочий-обойщик. 1-й секретарь Омского обкома ВКП(б). Делегат четырёх партсъездов. Расстрелян в 1941 году в тылу как враг народа.

Васильев (Южин) М. И. — из рабочих. Окончил физико-математический факультет Московского университета. Заместитель председателя Верховного суда СССР. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Васильченко С. Ф. — из крестьян, сын ж.-д. рабочего. Образование низшее. Слесарь. Ссылный. Беглый. Член Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Мостовенко П. Н. — из дворян. Ссылный. По донесению полиции, “неисправим по поведению. Очень грубый и дерзкий, злой пропагандист и опасный революционер”. Дипломат, ректор МВТУ им. Баумана. Расстрелян в 1939 году как враг народа.

Каминский Г. Н. — сын купца. Студент-медик. Недоучка. Нарком здравоохранения СССР. 17.2.1937 года подписал фальсифицированное врачебное заключение о том, что Г. К. Орджоникидзе скончался от паралича сердца. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Киселёв А. С. — сын мастерового. Заместитель наркома РКИ (Рабоче-крестьянской инспекции) СССР. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Окулов А. И. — сын разорившегося, промышленявшего золотом купца. В 1926-1927 годах — член правления “Главзолота”. С начала 1930-х годов — персональный пенсионер. В конце 1936 года, будучи уже на пенсии, исключён из ВКП(б), а в декабре 1937 года приговорён к 10-ти годам лагерей. Умер в АмурЛаге в 1939 году.

Оппок (А. Ломов) Г. И. — из дворян. “Левый коммунист”. Заместитель председателя ВСНХ, заместитель председателя Госплана СССР. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Оболенский В. В. (партийная кличка “Н. Осинский”) — заместитель Председателя Госплана СССР. Арестован вместе с сыном по подозрению в подготовке профашистского путча в Москве в интересах Германии, Польши и Японии с целью государственного переворота и территориального расчленения СССР. Расстрелян в 1938 году как враг народа. Его сын Валериан расстрелян годом раньше.

Рыков А. И. — первый (по счёту) предсовнаркома после Ленина. С учётом ограниченной трудоспособности последнего правил дольше предшественника (1924–1930). Его именем — “Рыковкой” — звалась в народе первая советская водка. Лечился от алкоголизма в Германии. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Раскольников (Ильин) Ф. Ф. — невозвращенец с 1938 года. Сошёл с ума и выбросился из окна психиатрической клиники г. Ниццы в 1939 году.

Рязанов Д. Б (Гольдендах) — ровесник Ильича. По его заданию вывез из Германии в голодном 1921 году купленные за русское золото манускрипты Маркса/Энгельса, которые в силу своей скандальности тотчас же были упрятаны в спецхран. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Сапронов В. Т. — маляр. С 1925 года — член коллегии Главконцесскома. С идеями. Ленину разонравится ленинский коммунизм, а тов. Сапронову — сталинский социализм.

Сложившийся в СССР 1930-е годы экономический уклад он определял как “своеобразный уродливый госкапитализм”. Автор работы “Агония мелкобуржуазной диктатуры”. “Называть такое хозяйство социалистическим, — писал Сапронов, — значит делать преступление перед рабочим классом и дискредитировать идеи коммунизма”. Угодить этой публике было совершенно невозможно. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Склянский Э. М. — фельдшер. Правая рука Троцкого по части военных дел. Утонул в августе 1925 года в озере Лонглейк, что в штате Нью-Йорк. Не исключено, что сам. Без посторонней помощи.

Смирнов А. П. — генеральный секретарь Крестьянского интернационала (“Крестинтерна”. Был и такой. — **Б. К.**), секретарь ЦК ВКП(б), член Оргбюро ЦК ВКП(б). Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Стуков И. Н. — сын священника, недоучка. Шесть лет провёл в царских тюрьмах. Перманентный оппозиционер. Расстрелян в 1936 году как враг народа.

Сокольников Г. Я. (Бриллиант) — дослужился до наркома финансов. По официальной версии, убит в мае 1939 года заключёнными в политизоляторе.

Евдокимов Е. Г. при царе — несовершеннолетний преступник. С началом Великой войны скрывался от призыва. Организатор и активный исполнитель красного террора, массовых расстрелов в Крыму, расказачивания, раскулачивания, фабрикации Шахтинского дела и “санаций” (в кавычках и без) 1936–1938 годов. Член особой тройки НКВД СССР. Член ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР. Расстрелян в 1940 году как враг народа. В 1956 году посмертно реабилитирован и восстановлен в партии.

Туров (Гинзбург) В. З. — агент Иностранного отдела ОГПУ. Убит неизвестными при перевозке крупной партии денег в 1927 году.

Цвиллинг С. М. — сын еврея-парикмахера. В 1905 году ограбил аптеку своего родственника и застрелил его. Был приговорён к смертной казни, которую заменили на пять лет тюрьмы. Устанавливал советскую власть в Челябинске и Оренбуржье. По некоторым данным, его красноармейский отряд занимался грабежами и возил с собой гарем. Ликвидирован оренбургскими казаками в 1918 году. Момумент члену УС Цвиллингу С. М. установлен в Челябинске на улице Цвиллинга. До 1993 года его разбойное имя носил Челябинский академический театр драмы.

Чудновский Г. И. — сын адвоката (присяжного поверенного). Участник штурма Зимнего. По одной из версий, застрелился, будучи окружён отрядом гетмана Скоропадского, в 1918 году.

Охтин А. Я. (настоящая фамилия Юров) — в 1906 году приговорён судом к смертной казни за участие в вооружённом бунте в Латвии. Приговор в исполнение приведён не был. С 1921 года на дипломатической службе. Начальник Главного таможенного управления Наркомата внешней торговли СССР. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Белобородов А. Г. в июле 1918 года подписал решение Уралоблсовета о расстреле Царской Семьи. Расстрелян в 1938 году как враг народа. Его жена расстреляна в том же году. В 1962 году посмертно восстановлен в КПСС. Вернули ли покойнику партбилет — неизвестно.

Троцкий Л. Д. — литератор, литературный критик. Нарком. Судьба его известна.

Яковлева В. Н. (зам. пред. ВЧК, её опасались даже коллеги) — расстреляна в 1941 году как враг народа в Орловском центре при подходе немцев к г. Орлу.

Спиридонова (“Маруся”) М. А. (л. с.-р.) — Террористка. “Психическая”. Возлюбившая Ильича. 6 июля 1918 года сердце её изменило вождю. Начиная с 1920 года неоднократно арестовывалась, последний раз — в 1937 году. Расстреляна в 1941 году как враг народа в Орловском центре при подходе немцев к г. Орлу.

Лозовский С. А. — сын меламеда, дипломат, публицист. Арестован в 1949 году, расстрелян в 1952 году как враг народа.

Ленин В. И. — страстный почитатель Д. И. Писарева (брал в ссылку его портрет). Плагиатор П. Н. Ткачёва (в части покражи идеи создания организации по захвату власти — “партии нового типа”, “партии захвата власти”, по выражению Г. В. Плеханова. Ненавистник религии.

Избран в УС по списку от армии и флота Финляндии (Балтфлота) — “депутат Балтики”. Приверженец “похабного Брестского мира” и творец ещё более похабного — Рижского — итога проигранной Польше войны. Перед смертью просил прощения у пустых стульев, — вероятно, видел кого-то сидящими на них. В моменты проблесков сознания просил яду.

“Самый человечный человек”, как писал о нём поэт В. Маяковский, на двух фотографических карточках запечатлён с кошкой на руках.

Мировой рекордсмен по числу установленных ему истуканов.

*Хотя страна давно его отпела  
На все свои стальные голоса,  
Но мать-земля не принимает тело,  
А душу отвергают небеса, —*

скажет о нём Поэт — наш с вами современник.

Сталин И. В. — виртуоз комбинационной игры. Принял страну в разрухе. Выиграл войну с Европой (официально — с “фашистской Германией”). Оставил страну с атомной бомбой. Убит своими верными соратниками в 1953 году. Дважды посмертно разоблачался собственной партией. Тихая реабилитация вождя, предпринятая в эпоху “застоя”, была жёстко купирована новой волной разоблачений, следовавших во времена “перестройки”.

Дзержинский Ф. Э. — умер в 1926 году. Положенное по такому случаю вскрытие не производилось.

Бош (Майш-Бош) Е. Г. — сожительница Г. Пятакова. “Психическая”. Пламенная комиссарша гражданской войны, возмнившая себя военным стратегом. Упомянута как агитаторша в мемуарах гетмана П. П. Скоропадского. Воевавший с ним В. М. Примаков (впоследствии враг народа) поставил Москву перед выбором: или Бош отзывают, или он её пристрелит. Лютовала в Пензенской губернии, провоцируя мужицкие бунты. Левая оппозиционерка. Наложила на себя руки в 1925 году. В том же году — уже посмертно — вышла её книжка “Год борьбы” (переиздана в 1990 году).

Глебов-Авилев Н. П. — первый народный комиссар почт и телеграфов в 1917 году. В мае 1918-го — комиссар Черноморского флота. Выполняя директивы со-члена по Учредительному собранию Ленина, отважно топил победоносный Черноморский флот в Новороссийске. Видный член Ленинградской



оппозиции. В 1937-м расстрелян по обвинению в террористической деятельности.

Апетер И. А. — из лифляндских мастеровых. Неполное высшее образование. В 1937-1938 годах — начальник Соловецкой тюрьмы. Расстрелян в 1937 году как враг народа. В реабилитации отказано.

Маслеников А. А. — расстрелян в Омске в 1919 году.

Феденёв И. П. — из мещан. Поднадзорный с 1904 года. В 1932 году добился публикации в журнале “Молодая гвардия” культового романа Н. Островского “Как закалялась сталь”. Выведен в нём под именем Леденёва. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Фрейман В. Н. — губпродкомиссар. Отсидел пять лет в лагерях. Дата смерти неизвестна.

Шейнман А. Л. — из купцов. Глава Госбанка РСФСР и СССР, нарком внутренней торговли. Директор Лондонского отдела “Интуриста”. Невозвращенец с 1939 года. Умер в Лондоне в 1944 году.

Шмидт В. В. — немец. Главный арбитр при СНК СССР. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Шотман А. В. — из крестьян. Уполномоченный Президиума ВЦИК. Автор “Записок старого большевика”. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Шлегель Н. В. — из мещан. В 1945 году осуждён на восемь лет лагерей как пособник немецких оккупантов.

Чешейко-Сохацкий С. В. — дослужился до профессора. Расстрелян в 1934 году как враг народа.

Седякин А. И. — из крестьян. Начальник управления ПВО РККА. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Скобелев М. И. — сотрудник Внешторга. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Смилга И. Т. — оппозиционер. Троцкист. Расстрелян в 1938 году как враг народа.

Смирнов И. Н. — из крестьян. Нарком почт и телеграфов. Троцкист. Расстрелян в 1936 году как враг народа.

Сырцов С. И. — известный функционер-оппозиционер. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Рындич А. Ф. — из крестьян. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Пинсон Б. Д. — из мещан. Сын портного. Функционер среднего звена. Расстрелян в 1936 году как враг народа.

Позерн Б. П. — из дворян. Ректор Ленинградского коммунистического университета. Прокурор Ленинградской области. Расстрелян в 1939 году как враг народа.

Окулов А. И. — известный функционер, писатель, преподаватель, член Реввоентрибунала. Расстрелян в 1939 году как враг народа.

Малютин Д. П. — сын чиновника. Член малого Совнаркома. Расстрелян в 1939 году как враг народа.

Лещинский Ю. М. — из мещан. Окончил историко-литературный факультет Краковского университета. С 1929 года — генсек польской компартии. Член исполкома Коминтерна. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Любимов И. Е. — из крестьян. Нарком лёгкой промышленности СССР. Награждён орденом Ленина и расстрелян в 1937 году как враг народа.

Коростелёв А. А. — из крестьян. Образование низшее. Управляющий трестом Наркомата местной промышленности РСФСР. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Кузнецов Н. В. — из крестьян. Токарь. “Чуждый элемент” (в период НЭПа был торговцем). В дальнейшем — на низших должностях. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Ермощенко В. И. — из крестьян. Образование низшее. Секретарь ВЦИК, управляющий конторой “Чайсбыт”. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Данилов С. С. — из чувашских крестьян. Окончил Симбирскую духовную семинарию. Сотрудник Института Маркса-Энгельса-Ленина. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Гжельщак (Гржегожевский) Ф. Я. — из рабочих. С 1929 года работал в Коминтерне. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Медведев С. П. — из крестьян. Вечный сиделец (при советской власти). Член “рабочей оппозиции”. Расстрелян в 1937 году как враг народа.

Скворцов-Степанов И. И. — отделался лёгким испугом. Партийный журналист и переводчик Маркса. Масон с 1915 года. Первый советский нарком финансов. Прослужил в этой должности 1 (один) день, так и не явившись в присутствие — брошен на взятие Москвы. Умер своей смертью (от тифа) в Москве в 1928 году.

Счастливым и непостижимым образом избежали насильственной смерти депутаты-большевички — жёны Дыбенко и Крыленко — А. М. Коллонтай и Е. Ф. Розмирович соответственно. Обе умерли своей смертью в 1952 и 1953 годах. Коллонтай оставила свои дневники. Похоже, что писала она их в спешке и задним числом.

Повезло и отставленному из наркомов незадававшемуся литератору А. В. Луначарскому (“Лупанарскому”, как звали его товарищи по партии) — знатоку, ценителю и покровителю советского искусства варьете. Сей фигляр и пацук умер в 1933 году по дороге в Испанию.

Губельман Е. М. (“Ярославский”) — главный безбожник, богохульник и кощунник СССР. Редактор журналов “Безбожник”, “Безбожник у станка” и даже “Безбожный крокодил”. Образование заочное (четыре класса гимназии). Больше нигде не учился. Сталинский академик и лауреат. Автор мема “вождь народов” (о тов. Сталине) и политической максимы “Борьба против религии — борьба за социализм”. Верный сталинец. Критиковался вождём. Был близок к помешательству. Культуртрегер большевизма. Рьяно выступал за запрет церковной музыки, в том числе произведений Чайковского, Рахманинова, Моцарта, Баха, Генделя, которые считал “реакционными”. Был глубоко уязвлён внезапным (временным) благоволением вождя народов к Русской Православной Церкви. Умер в тяжёлых мучениях в Москве в 1943 году.

Бонч-Бруевич В. Д. — наперсник Ильича. Автор работ о сектантах, брошюры в защиту Бейлиса, а также бестселлеров “Ленин и дети” и “Наш Ильич”. После смерти вождя отставлен от дел. Брошен на литературно-музейное дело. При советской власти не арестовывался, зато был расстрелян его зять — Л. Авербах, дочь отсидела семь лет в лагерях. С 1945-го и до самой смерти Бонч — директор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде. Забытый всеми, кроме пенсионного отдела, исчах в Москве в 1955 году.

Не дожив трёх недель до крушения советского государства, уйдёт в мир иной последний член УС — избранный по Могилёвскому округу большевик Лазарь Каганович (тот самый).

Как бы то ни было и что бы ни говорилось, а с ленинской революцией вскоре было покончено вместе с “ленинской гвардией”. Что осталось от лозунгов “Земля — крестьянам!”, “Фабрики — рабочим!”, “Мир без аннексий и контрибуций!”? Ровным счётом ничего. И Троцкий был совершенно прав, назвав Октябрьскую революцию преданной. И в ликвидации революции не было “ничего личного”: просто страна элементарно хотела выжить.

**P. S.:** Но не все из стана победителей погибли. Были и счастливики.

Воронков М. И. — из крестьян. Окончил Рязанскую учительскую семинарию, Московский коммерческий институт. В 1915 году мобилизован, окончил школу прапорщиков. Работал в просвещении. В 1924-м вышел из РКП(б). Умер своей смертью в Москве в 1973 году.

Васильев М. М. — из мещан. Окончил ремесленное училище. В советское время работал в ВСНХ, в торгпредстве в Италии. Умер своей смертью в Москве в 1957 году.

Горшков И. И. — из крестьян. Рабочий фабрики Хлудовых. Умер в 1966 году.

Громашевский Л. В. — окончил медицинский факультет Казанского университета. Врач. В царское время четырежды подвергался арестам. В советское время — крупный эпидемиолог, Герой Социалистического Труда, академик АМН. Умер в Москве в 1980 году.

Скажем кратко: выжили из стаи победителей единицы. А именно те, кто вовремя сообразил, что лезть наверх — значит попасть в подвал, сидеть надо тихо воды, ниже травы, чётко отслеживать колебания Генеральной Линии и не высываться, ибо всякая инициатива наказуема. Формулой же выживания является мудрость, озвученная всемирно знаменитым персонажем “бело-красно-чеха” Я. Гашека: “Рот на замок и служить дальше!”

Говорят, что “победителей не судят”. Ещё как судят! Объединяет же их то, что они яростно и никого не щадя сражались за свои идеалы и погибли от своих идеалов. “Таковую бо честь беси приносят любящим их”. Будем помнить это, реченное Авраамием Палицыным – героем борьбы со Смутой. Опасно быть при власти вместе с бесами – первыми погибают самые близкие к ним.

Объединяет ли что-нибудь побеждённых и победителей?

Да. Все они отреклись от Веры, от Царя и – как неизбежное следствие – от Отечества. Все они были противниками традиционной русской государственности.

У большевиков была сатанинская воля и некий “план”, у эсеров не было ни воли, ни плана.

В проигрыше оказались они все. Вернее, все мы.

Историки-безбожники любят задаваться вопросом: “А что было бы, если бы?..” В нашем случае: “Что случилось бы, если бы в 1918 году победили эсеры?”

Теперь уже яснее ясного, что победить эсеры просто не могли. Но и не в том дело. Для православного человека проблема видится в ином: обе стороны были противниками Православия и Самодержавия, то есть ярыми противниками традиционной русской государственности. Победа эсеров ничего в этом плане не меняла.

Обе стороны толкали страну в пропасть, и повезло тому, кто в сатанинстве своём шёл до конца, не останавливаясь ни перед чем. Наш народ разделился – и уже давно! – в себе и потому устоять не мог.

И пришлось умыться кровью за своё отступничество. Таково было попущение Божие. “Не захотят через слюну, будет им через понос кровавый”, – скажет за век до этого преподобный Серафим Саровский, прославленный усилиями и волей последнего Государя. И сбылось реченное о Серафимом. После “бескровного” разгона УС начнётся кровавая усобица: левозеро́вский мятеж, расстрел Царской Семьи, покушение на Ленина, объявление красного террора. Начнётся гражданская война, ответственность за развязывание которой доморощенные идеологи – от первых советских до нынешних анти- и постсоветских – спишут на “белочехов”.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ленин В. И. Плеханов о терроре // Полн. собр. соч. Т. 35. С. 185.

<sup>2</sup> Второй съезд РСДРП. Июль–август 1903 года. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. С. 181–182.

<sup>3</sup> Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. Части I и II. М.: Партиздат, 1933. С. 70.

<sup>4</sup> Второй Всероссийский Съезд Советов Р. и С. Д. М.–Л.: Государственное издательство, 1928. С. 7.

<sup>5</sup> XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. Государственное издательство, 1926. С. 356.

<sup>6</sup> Комуч – Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания – первое антибольшевистское правительство России, организованное 8 июня 1918 года в Самаре членами Учредительного собрания, не признавшими его разгон декретом ВЦИК от 6 января 1918 года.

<sup>7</sup> Зензинов В. М. Из жизни революционера. Париж: [б. и.], 1919. С. 93–94.

<sup>8</sup> Яковлев Я. А. Предисловие. // Второй Всероссийский Съезд Советов Р. и С. Д. М.–Л.: Государственное издательство, 1928. С. XXXVIII–XXXIX.

<sup>9</sup> Покровский М. Н. Что установил процесс так называемых “социалистов–революционеров”. // Октябрьская революция. Сборник статей. 1917–1927. М.: Издательство Коммунистической Академии, 1929. С. 290.

<sup>10</sup> Второй Всероссийский Съезд Советов Р. и С. Д. М.–Л.: Государственное издательство, 1928. С. 102.

<sup>11</sup> Там же. С. 104.

<sup>12</sup> Мстиславский С. Пять дней. Начало и конец февральской революции. М.: Издательство З. И. Гржебина, 1922. С. 84–85. Кстати, кто таков сей “Мстиславский”? Это сын профессора Академии Генерального штаба генерал-майора

- Д. Ф. Масловского. С 1904 года член партии эсеров. В дальнейшем — левый эсер. Подвергался партийному суду по подозрению в провокаторстве. Оправдан большинством в два голоса. “Мерцающая личность”, — то есть провокатор, скажет о нём вслед за его товарищами по партии З. Гиппиус. Участвовал в аресте Государя. Массон. Член Ложи Верховного Совета Великого Востока народов России (Генеральные секретари: Н. В. Некрасов, А. М. Колюбакин, А. Ф. Керенский). Советский писатель. С 1931 года — редактор издательства “Федерация” (солидная советская контора). В 1938 году назначен личным биографом В. М. Молотова. Умер в эвакуации в Иркутске в 1943 году. Репрессиям в советское время не подвергался. “Горьковский тип”, одним словом. Но не из босяков, а из аристократов.
- <sup>13</sup> Куприн А. И. Голос оттуда. 1919–1934. М.: Согласие, 1999. С. 135.
- <sup>14</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 135.
- <sup>15</sup> Наживин И. Ф. Записки о революции 1917–1921. Вена: Книгоиздательство “Русь”, 1921. С. 61.
- <sup>16</sup> Как это было. Дневник А. И. Шингарёва. Петропавловская крепость 1917–1918. М.: Издание Комитета по увековечению памяти Ф. Ф. Кокوشкина и А. И. Шингарёва, 1918. С. 1.
- <sup>17</sup> Там же. С. 6.
- <sup>18</sup> Протоколы съездов и конференций Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Восьмой съезд РКП(б) 18–23 марта 1919. Под ред. Ем. Ярославского. М.: Партийное издательство, 1933. С. 396.
- <sup>19</sup> Там же. С. 397.
- <sup>20</sup> Там же. С. 398.
- <sup>21</sup> См.: Троцкий Л. Д. Что такое СССР и куда он идёт? Paris, “Слово” [198-]. С. 16; Крицман Л. Героический период великой русской революции. Изд. 2-е. М.–Л., 1926. С. 77; Юровский Л. Н. Денежная политика советской власти (1917–1927). М.: Финансовое издательство, 1928. С. 51. Весьма символично, что и Крицмана, и Юровского в 1938 году расстреляли.
- <sup>22</sup> Короленко В. Г. Дневник 1917–1921. Письма. М.: Советский писатель, 2001. С. 327.
- <sup>23</sup> См.: Собрание Узаконений и Распоряжений (СУиР) Правительства за 1917–1918 гг. Для служебного пользования. М.: Управление делами Совнаркома СССР, 1942. — № 154, № 420, № 425, № 456, № 674 и др.
- <sup>24</sup> Сорокин П. А. Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар: ООО “Анбур”, 2015. С. 113–114.
- <sup>25</sup> Готье Ю. В. Мои заметки. М.: Терра, 1997. С. 52.
- <sup>26</sup> Петроград, 24 декабря. // Наш Век № 22 от 24 декабря (6 января) 1917.
- <sup>27</sup> Куприн А. И. Голос оттуда. 1919–1934. М.: Согласие, 1999. С. 312.
- <sup>28</sup> Раскольников Ф. Ф. На боевых постах. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1964. С. 243.
- <sup>29</sup> Бонч-Бруевич В. Д. Воспоминания о Ленине. 2-е изд. М.: Наука. 1969. С. 165.
- <sup>30</sup> Шавело Н. Октябрьская революция и Учредительное собрание. М.–Л.: Московский рабочий, 1928. С. 178.
- <sup>31</sup> Рубинштейн Н. К истории Учредительного собрания в России // Историк-марксист. № 10, 1928. С. 66.
- <sup>32</sup> Рубинштейн Н. К истории Учредительного собрания. М.–Л.: Государственное социально-экономическое издательство. 1931. С. 117–118.
- <sup>33</sup> Судебный процесс над социалистами–революционерами (июнь–август 1922 г.): Подготовка. Проведение. Итоги. Сборник документов / Сост. С. А. Красильников, К. Н. Морозов, И. В. Чубыкин. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. С. 348–349.
- <sup>34</sup> Покровский М. Н. Что установил процесс так называемых “социалистов–революционеров”. // Октябрьская революция. Сборник статей. 1917–1927. М.: Издательство Коммунистической Академии, 1929. С. 284.
- <sup>35</sup> Расстрел манифестации // Дело Народа. № 234 от 16 декабря 1917 года. С. 3.
- <sup>36</sup> Бунин И. А. Океанские дни. / Полное собрание сочинений в XIII томах. Т. 6. М.: Воскресенье. 2006. С. 363.
- <sup>37</sup> Гиппиус З. Н. Синяя книга. Петербургский дневник 1914–1918. Белград: Типография Раденковича, 1929. С. 233.

- <sup>38</sup> Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного собрания // Архив русской революции. Т. XIII. Берлин. Изд-во "Слово", 1924. С. 65.
- <sup>39</sup> Троцкий Л. Д. О Ленине. Материалы для биографа. М.: Государственное издательство, 1924. С. 93.
- <sup>40</sup> Соломон Г. Среди красных вождей. М.: Центрполиграф. 2015. С. 61.
- <sup>41</sup> Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного собрания. // Архив русской революции. Т. XIII. Берлин. Изд-во "Слово", 1924. С. 62.
- <sup>42</sup> Готье Ю. В. Мои заметки. М.: Терра, 1997. С. 48.
- <sup>43</sup> Там же. С. 50.
- <sup>44</sup> Там же. С. 51.
- <sup>45</sup> Бонч-Бруевич В. Д. Накануне. М.: Библиотека "Огонька". № 149, 1926. С. 24.
- <sup>46</sup> Бонч-Бруевич В. Д. Воспоминания о Ленине. 2-е изд. М.: Наука, 1969. С. 182.
- <sup>47</sup> Гиппиус З. Живые лица. Воспоминания. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 358.
- <sup>48</sup> Дыбенко П. Объявление по флоту // Известия Совета Рабочих и Солдатских Депутатов № 6 (270) 9-го января 1918 г.
- <sup>49</sup> Гиппиус З. Живые лица. Воспоминания. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 372-373.
- <sup>50</sup> Троцкий Л. Д. О Ленине. Материалы для биографа. М.: Государственное издательство, 1924. С. 93.
- <sup>51</sup> Гиппиус З. Н. Синяя книга. Петербургский дневник 1914–1918. Белград: Типография Раденковича, 1929. С. 221.
- <sup>52</sup> Зензинов В. М. Из жизни революционера. Париж: [б. и.], 1919. С. 98.
- <sup>53</sup> Огановский Н. П. Дневник члена Учредительного собрания. — "Голос минувшего". 1918. № 4–6. С. 152-153.
- <sup>54</sup> Зензинов В. М. Из жизни революционера. Париж: [б. и.], 1919. С. 100.
- <sup>55</sup> Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного собрания. // Архив русской революции. Т. XIII. Берлин. Изд-во "Слово", 1924. С. 66.
- <sup>56</sup> Там же.
- <sup>57</sup> Зензинов В. М. Из жизни революционера. Париж: [б. и.], 1919. С. 99.
- <sup>58</sup> Чернов В. Охлос и демос // Мысль. № 1. Петроград: Издательство "Революционная мысль", 1918. С. 200-201.
- <sup>59</sup> Там же.
- <sup>60</sup> Раскольников Ф. Ф. На боевых постах. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1964. С. 250.
- <sup>61</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 226.
- <sup>62</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 143.
- <sup>63</sup> Калинин М. И. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М.: Партийное издательство, 1934. С. 44.
- <sup>64</sup> Троцкий Л. Д. О Ленине. Материалы для биографа. М.: Государственное издательство, 1924. С. 94.
- <sup>65</sup> Там же. С. 95.
- <sup>66</sup> Троцкий Л. Д. О Ленине. Материалы для биографа. М.: Государственное издательство, 1924. С. 99.
- <sup>67</sup> Раскольников Ф. Ф. На боевых постах. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1964. С. 255.
- <sup>68</sup> Горький М. Полное собрание сочинений. Письма в двадцати четырёх томах. Т. 12. Письма: январь 1916 – май 1919. М.: Наука, 2006. С. 184.
- <sup>69</sup> Кроль Л. А. За три года. Воспоминания, впечатления и встречи. Владивосток: Типография Т-ва Изд-ва "Свободная Россия", 1921. С. 9.
- <sup>70</sup> Волков О. В. Век надежд и век крушений: Воспоминания, повести, рассказы, очерки. М.: Советский писатель, 1990. С. 214-215.
- <sup>71</sup> Большевики в большевистской России. 1918–1924. Большевики в 1918 году. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999. С. 92-93.
- <sup>72</sup> Карачёв А. В. Листовки группы "Единство" (1917-1918 гг.) // IV Плехановские чтения. Историческая философия проблемы общественных наук на рубеже тысячелетий. Вторая половина XIX-XX вв. (Современное видение истории) 30-31 мая 1996 г. Тезисы докладов, Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека. Дом Плеханова, 1996. С. 86-87.

- <sup>73</sup> Карачёв А. В. Указ. изд. С. 86.
- <sup>74</sup> Самоубийство Учредительного собрания // Известия № 5 (269) от 7 января 1918.
- <sup>75</sup> Третий Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Петербург, 1918. С. 17.
- <sup>76</sup> Декрет о роспуске Учредительного собрания, принятый в заседании Центр. Исп. К-та 6 января 1918 г. // Известия № 5 (269) от 7 января 1918.
- <sup>77</sup> История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год. М.: Издательство ЦК ВКП(б) Правда, 1938. С. 205.
- <sup>78</sup> Зензинов В. М. Пережитое. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1953. С. 275.
- <sup>79</sup> Бунаков-Фундаминский И. И. Пути России // Современные записки. Париж, 1940. № LXX. С. 189.
- <sup>80</sup> Троцкий Л. Д. О Ленине. Материалы для биографа. М.: Государственное издательство, 1924. С. 105.
- <sup>81</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 87.
- <sup>82</sup> Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 244.
- <sup>83</sup> Сорокин П. А. Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. С. 205.
- <sup>84</sup> Короленко В. Г. Дневник 1917–1921. Письма. М.: Советский писатель, 2001. С. 296.
- <sup>85</sup> Там же. С. 294.
- <sup>86</sup> Сорокин П. А. Листки из русского дневника. Социология революции. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. С. 205.
- <sup>87</sup> Семёнов Г. М. О себе: воспоминания, мысли, выводы. Б.м., 1938. С. 37.
- <sup>88</sup> Дневник историка С. А. Пионтковского (1927–1934). Казань: Казанский государственный университет, 2009. С. 361.
- <sup>89</sup> Там же. С. 290.
- <sup>90</sup> Там же. С. 311.
- <sup>91</sup> Там же. С. 312.
- <sup>92</sup> Там же. С. 336.
- <sup>93</sup> Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 501.
- <sup>94</sup> Там же. С. 501.
- <sup>95</sup> Там же. С. 553.
- <sup>96</sup> Там же. С. 498.
- <sup>97</sup> Там же. С. 330.
- <sup>98</sup> Там же. С. 258.

АЛЕКСАНДР СМОЛКО, ОЛЕГ СМИРНОВ

## СТРАНА АЭРОФЛОТ

*К столетию российской гражданской авиации*

Настоящая статья не совсем об истории гражданской авиации России, что было бы уместно накануне её 100-летнего юбилея. Это, скажем так, размышления ветеранов, для которых Аэрофлот и гражданская авиация стали немалой частью жизни. Но истории мы тоже касаемся, куда же без неё! Тем более что история страны, гражданской авиации и Аэрофлота как её части тесно связаны. Было время, когда авиалинии Аэрофлота скрепляли огромную страну под названием СССР в единое целое. По странному, а может быть и не странному совпадению, за развалом Аэрофлота последовал и развал страны.

Договор об образовании СССР, как известно, был утверждён 30 декабря 1922 года первым Всесоюзным съездом Советов. Через месяц с небольшим, 9 февраля 1923 года Советом труда и обороны СССР было принято постановление “О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации”. Именно эта дата официально считается днём рождения советской, а с 1991 года российской гражданской авиации. За электрификацией всей страны последовала её аэрофикация: самолётам Аэрофлота стали доступны самые дальние точки нашей необъятной страны.

Решение высшего органа государственной власти, председателем которого был В. И. Ленин, о создании гражданской авиации свидетельствует о том, что правительство СССР уже тогда хорошо понимало её роль в развитии страны. Название “Аэрофлот” было принято в 1932 году и тогда же появилось на бортах самолётов советской гражданской авиации. С этого момента в СССР слова “гражданская авиация” и “Аэрофлот” становятся синонимами.

С полным основанием можно считать, что СССР и Аэрофлот – близнецы-братья. Они росли и развивались вместе, поддерживая и помогая друг другу. Менее чем за 70 лет СССР стал супердержавой, а Аэрофлот стал самой крупной в мире авиакомпанией. В лучшие годы Аэрофлот ежегодно перевозил около 140 миллионов пассажиров в 3 600 больших и малых населённых пунктов нашей страны, 146 городов в 105 странах, на 5 континентах принимали самолёты Аэрофлота, более 14 000 воздушных судов различного типа отечественного производства насчитывал его парк.

Не будет преувеличением сказать, что Аэрофлот определял жизненный уклад всех без исключения граждан нашей огромной страны. Даже сельские бабушки летали тогда в гости в соседние деревни легендарными самолётами АН-2. Лётчики санитарной авиации помогали медикам спасти жизни наших граждан там, куда “только самолётом можно долететь”. Самолёты сельхозавиации ежегодно обрабатывали около 100 млн гектаров угодий. Без пилотов,

самолётов и вертолётв Аэрофлота было бы невозможно открыть и освоить месторождения нефти и газа — в наше время основных источников наполнения российского бюджета и карманов российских олигархов.

Спустя 100 лет нам остаётся только удивляться прозорливости правительства, которое в нищей аграрной стране, пережившей две революции, мировую и гражданскую войны, считало создание в стране гражданской авиации приоритетной задачей. В те годы в мире гражданская авиация как вид транспорта только начинала развиваться, и то, что советское правительство поставило перед страной такую далеко не простую задачу, достойно и уважения, и удивления. Имя одного кремлёвского мечтателя нам известно, но, похоже, он в том правительстве был не единственным. Отдадим им должное: это они заложили фундамент, на котором был построен Аэрофлот.

Позднее в СССР появилось другое, рабоче-крестьянское правительство. Члены этого правительства не мечтали, они делали. Выходцы из народа, ставшие наркомками, руководителями предприятий и конструкторских бюро, учёными и инженерами, провели в стране индустриализацию, создали промышленность, которая помогла выиграть мировую войну, освоили производство ядерного оружия, вывели в космос ракету с человеком на борту. Страна многим обязана тому правительству, в том числе и тем, что созданная практически на пустом месте авиакомпания Аэрофлот стала крупнейшей в мире.

Члены того правительства хорошо понимали значение гражданской авиации для жизни страны и её граждан и делали всё для её развития. Почему этого не делает правительство современной России — это вопрос, ответ на который во многом определит будущее России. Может быть, потому, что для этого правительства гражданская авиация является не более чем воздушным извозчиком, в то время как советский Аэрофлот был системообразующей отраслью экономики.

Покажем это на примере той части авиационной промышленности, которая производила самолёты и вертолёты для гражданской авиации. Аэрофлот определял тогда, сколько и каких самолётов и вертолётов необходимо народному хозяйству страны, давал заказ промышленности на их производство, занимался их эксплуатацией. Аэрофлот определял характеристики этих самолётов и требовал от промышленности их выполнения.

Уровень этих требований заставлял промышленность работать с напряжением и производить технику мирового уровня. Конфликт на почве разногласий в части требований к авиационной технике между МГА (Министерство гражданской авиации) и МАП (Министерство авиационной промышленности) иногда приводил к тому, что министры Б. П. Бугаев и П. В. Дементьев месяцами не здоровались друг с другом.

Государственный подход министра гражданской авиации Б. П. Бугаева хорошо демонстрирует следующий пример. В связи с ростом пассажиропотока на авиалиниях большой протяжённости у Аэрофлота в начале 70-х годов появилась потребность в широкофюзеляжном дальнемагистральном самолёте типа Боинг-747. Наша авиационная промышленность самолёт такого класса тогда не производила.

По инициативе МГА правительство СССР начало переговоры с правительством США и компанией “Боинг” о лизинге 10 самолётов Боинг-747 и покупке необходимых нашей авиационной промышленности технологических линий по производству этого самолёта, что позволило бы ей выйти на новый уровень. Б. П. Бугаев лично участвовал в переговорах с “Боингом” по этому проекту. По причине отставки президента Никсона в 1974 году, который поддерживал этот проект, успеха он не имел. Но постановка вопроса заслуживает внимания. Сейчас в российских авиакомпаниях летают сотни самолётов иностранного производства, но нашу авиационную промышленность это не развивает, а убивает.

Но мало сделать самолёт и “научить” его летать — его нужно ввести в строй. Аэрофлот делал это совместно с промышленностью, проводил опытную эксплуатацию новых типов самолётов, доводил их до серийного производства. Подтверждением тому, что без Аэрофлота появление в СССР гражданской авиационной промышленности было бы невозможно, является тот факт, что после исчезновения советского Аэрофлота за 30 лет авиационная промышленность России так и не смогла освоить массовое производство современных самолётов для гражданской авиации.



В 100-летней истории нашей гражданской авиации выделим 3 периода. Это почти 70 лет советской и 30 лет постсоветской гражданской авиации, и короткий по времени, но важный по содержанию период перехода из первого состояния во второе. В советский период гражданская авиация была представлена одной авиакомпанией под названием “Аэрофлот”, в постсоветский период появилось множество новых авиакомпаний, и Аэрофлот был одной из них.

В начале 90-х годов победители в “холодной войне” праздновали победу и по праву победителя уничтожали богатства побеждённого государства под названием “СССР”. Сейчас с дистанции в 30 лет это видно особенно отчётливо. Сотрудники мозговых центров США и Западной Европы – реальные авторы сценария развала экономики СССР – действовали очень грамотно. Сейчас, спустя 30 лет наличие такого сценария сомнения не вызывает. Сырьевые отрасли, в создание которых СССР вложил колоссальные средства, они сохраняли, не без оснований полагая, что в обозримом будущем станут их собственниками. Как версию, не лишённую, по нашему мнению, логики, приведём следующий пример.

Считается, что заслуга сохранения Газпрома как единой компании принадлежит В. С. Черномырдину, на тот момент второму человеку в государстве. Думается, что это не совсем так. Если его заслуга в этом и есть, то она не прямая, а косвенная. Понятно, что иностранные консультанты ГКИ действовали в интересах транснациональных компаний. Было бы странно, если бы они действовали в интересах России. Им было хорошо известно, какую ценность представляет собой Газпром, сколько средств было вложено в его создание. Они понимали, что разделить Газпром на отдельные самостоятельные компании означает разорвать производственно-технологические связи и потерять его навсегда.

Иностранные консультанты, а по сути, агенты иностранного капитала в интересах крупных международных компаний этот актив сохраняли, не без основания полагая, что его владельцами очень скоро станут совершенно другие люди. На тот момент интересы сторон совпадали, и Газпром был сохранён как единая компания. В те непростые годы председатель правительства В. С. Черномырдин в проблемы приватизации предпочёл не вмешиваться. Опытный бюрократ знал, чем это может для него закончиться. Пример В. П. Поливанова говорил о многом.

Вице-премьер В. П. Поливанов, который сменил А. Б. Чубайса на посту руководителя ГКИ, попытался проводить самостоятельную политику приватизации, отличную от политики своего предшественника, но продержался на этом посту 70 дней и по требованию Международного валютного фонда (МВФ) указом президента Ельцина был уволен. МВФ поставил условие – или транш 6 млрд долларов, или Поливанов. Выбор Ельцина известен. Ставить условия президенту Путину МВФ не рискнул.

В результате Газпром – эту курицу, которая несёт золотые яйца, – для России удалось сохранить. Заметим, что сейчас России принадлежит чуть больше половины Газпрома, кому принадлежит вторая половина – тайна сия велика есть. Аэрофлоту, как и многим другим имеющим стратегическое значение отраслям советской экономики, в отличие от Газпрома, повезло меньше. Им предназначалась другая судьба – их надо было разрушить.

Советские высокотехнологичные отрасли мирового уровня были, в основном, уничтожены. То, что так действовали иностранные агенты, удивления не вызывает, они и не могли действовать по-другому. Удивляться надо тому, что делалось это руками представителей новой российской власти. Что это было, преступление или ошибка, которая хуже преступления?

Что касается Аэрофлота, иностранные агенты хорошо понимали его значение в общественно-политической и экономической жизни государства, и сохранять его в их планы не входило. Согласно этим планам советский Аэрофлот был обречён. О том, как это делалось, речь впереди. Но в реальной жизни не всегда всё идёт так, как задумано. Вопреки планам наших врагов, а это реально были враги, Аэрофлот сохранился. Правда, сейчас это не та единая, на тот момент самая крупная в мире авиакомпания, самолёты которой летали в самые дальние уголки огромной страны и мира.

История советского Аэрофлота хорошо известна, множество легендарных исторических событий и легендарных людей делали эту историю. Множество

талантливых людей писало эту историю для современников и будущих поколений. Но история Аэрофлота — это не только самолёты и лётчики, которые на них летали, не только лётные происшествия и катастрофы, которые иногда случались. В истории Аэрофлота были события, известные достаточно узкому кругу лиц, и вспомнить о них в год 100-летия Аэрофлота было бы не лишним.

Интересно, например, то, что имя человека, придумавшего название “Аэрофлот”, ставшее всемирно известным брендом стоимостью порядка миллиарда долларов, для истории осталось не известным. Интересно и то, что советский Аэрофлот формально никогда не был авиакомпанией. У него не было государственной регистрации, юридического адреса, счёта в банке, генерального директора. Государственное предприятие, содержащее в своём названии слово “Аэрофлот”, появилось только в 1991 году.

К этому времени Аэрофлот как авиакомпания уже много лет был известен всему миру. И здесь уместно вспомнить слова отца китайских реформ: “Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей”. А по этой части авиакомпаний, равных Аэрофлоту, в мире тогда не было. Подтверждением тому являются его рекорды, занесённые в книгу рекордов Гиннеса.

Если использовать современную терминологию, то советский Аэрофлот можно представить как крупную государственную корпорацию, в состав которой входили сотни различных предприятий и организаций. Объединяло их то, что все они решали одну задачу — удовлетворение потребностей огромной страны в услугах гражданской авиации. Управляло этой корпорацией МГА. Его можно назвать правлением корпорации. Если использовать военную терминологию, а участие и заслуги Аэрофлота в Великой Отечественной войне сделать это позволяют, МГА можно назвать генеральным штабом отрасли. Военные называют генеральный штаб мозгом армии. Для Аэрофлота таким мозгом было МГА.

На уровне союзных республик и регионов Аэрофлотом управляли республиканские и территориальные управления гражданской авиации. В РСФСР территориальные управления были образованы по географическому признаку, в 1991 году таких управлений было 15. В союзных республиках были республиканские управления гражданской авиации, всего их было 15 — по числу республик. На базе республиканских управлений после ликвидации СССР и создавались национальные авиакомпании новых независимых государств.

Производственно-хозяйственную деятельность осуществляли государственные эксплуатационные авиапредприятия Аэрофлота (производственные объединения, объединённые авиаотряды, объединённые авиаэскадрильи, авиационные звенья), на балансе которых были самолёты, вертолёт, другая авиационная техника, здания и сооружения, необходимые для осуществления производственной деятельности, в том числе аэропорты и взлётно-посадочные полосы. В РСФСР было 148 таких авиапредприятий, во всех союзных республиках их было 93.

В состав Аэрофлота входили также службы управления воздушным движением, учебные заведения по подготовке лётчиков и инженерно-технического персонала, научно-исследовательские институты, авиаремонтные заводы. По причине секретности точная численность работников союзного Аэрофлота неизвестна. По данным открытой печати, она в советское время доходила до 600 тысяч.

Исторические аналогии в судьбе СССР и Аэрофлота не могут не поражать. Как ранее отмечалось, СССР и Аэрофлот — тогда, правда, он назывался по-другому — появились практически в одно время, и без малого через 70 лет они прекратили своё существование. Можно полагать, что это совпадение не случайное. Развал СССР темой настоящей статьи не является, а вот о развале Аэрофлота поговорим подробнее, тем более что причины развала и СССР, и Аэрофлота во многом совпадают.

Старт началу процесса развала дал, как это ни покажется странным, Закон о государственном предприятии, принятый в 1987 году. Новое положение об отраслевом министерстве, принятое в 1990 году, этот процесс ускорило. Закон давал предприятиям право выбора директора и существенным образом увеличивал их самостоятельность в части хозяйственной деятельности. Выбор директоров привёл к тому, что в директорские кресла вместо грамотных и требовательных специалистов сели популисты, которые умели обещать, но не умели эти обещания выполнять.

Новым постановлением контрольные функции государства в лице отраслевых министерств сокращались. В этих условиях у руководителей предприятий появилась возможность поработать на себя, а не на государство. Знакомая картина, не правда ли? Как оказалось, это было ошибкой, последствием которой была потеря управляемости и развал плановой экономики, а затем и страны. Но тогда, во времена перестройки, не к ночи будь помянутой, появление либеральных законов считалось благом. Куда ведут благие намерения, известно.

Продолжая тему исторических аналогий, отметим, что похожие деструктивные процессы происходили в России и в 1917 году. Цитирую А. И. Деникина: “Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие. Развалило армию военное законодательство последних месяцев”. Речь идёт о приказе № 1 об отмене единоначалия в российской армии. За развалом армии, как известно, последовал развал Российской империи. За развалом Аэрофлота последовал распад СССР. Ставшие крылатыми слова “хотели, как лучше, а получилось, как всегда” имеют у нас давнюю историю.

Но вернёмся к теме Аэрофлота. Получив самостоятельность, хозяйствующие субъекты пустились, как говорится, во все тяжкие. На базе предприятий Аэрофлота стали создаваться различные объединения, ассоциации, авиакомпании. Распад СССР в 1991 году и ликвидация МГА в 1992-м процесс распада Аэрофлота ускорили.

За сохранение пусть трансформированного, но единого Аэрофлота тогда вполне можно было побороться. Дело в том, что уже в 90-е годы в мире стали создаваться глобальные международные альянсы национальных авиакомпаний. Теоретически таким альянсом, объединяющим авиакомпании бывших союзных республик, ставших независимыми государствами, мог бы стать и Аэрофлот, и его разрушение было не самым правильным решением правительств новых государств.

Но к власти в этих новых государствах (Россия не исключение) пришли тогда не самые дальновидные и компетентные люди. Они были далеки от понимания места, которое занимает гражданская авиация в жизни любой страны. Примем это как факт, подчеркнув ещё раз, что все ведущие авиакомпании России вышли из Аэрофлота, равно как и национальные авиакомпании новых независимых государств. А созданная в бывших союзных республиках во времена советского Аэрофлота инфраструктура (аэропорты, взлётно-посадочные полосы, различные здания и сооружения) и в наше время служит новым независимым государствам.

И если выход из Аэрофлота авиапредприятий, расположенных в бывших союзных республиках, был тогда предопределён, то развал российской части Аэрофлота, а это 148 авиапредприятий, был ошибкой уже российской власти. Госкомимущество (ГКИ) в то время было хозяином и распорядителем практически всех богатств, созданных второй экономикой мира, и сотрудники ГКИ под контролем иностранных консультантов решали судьбу этих богатств.

С точки зрения государственных интересов российскую часть Аэрофлота, учитывая мобилизационное значение последнего (не случайно главами Аэрофлота в разное время были один маршал и два главных маршала авиации), а также значение Аэрофлота в общественно-политической и экономической жизни страны, его следовало бы сохранить как единую компанию и преобразовать в государственную корпорацию. Таким прецедентом было создание на базе Министерства путей сообщения СССР “ОАО РЖД”, что позволило сохранить в России единую систему железных дорог.

Многие союзные отраслевые министерства МАП (авиационная промышленность), МОМ (космос) и другие с входящими в их состав научно-производственными объединениями по существу представляли собой государственные корпорации. Их можно было модернизировать, но не разрушать. Под лозунгом борьбы с монополизмом разрушили всё. Победили тогда МВФ и Всемирный банк, а не государственный интерес. Спohватившись, правительство из этих осколков начало потом создавать то, что сейчас называется государственными корпорациями. Результаты работы этих корпораций известны мало, зато широко известны миллионные зарплаты их топ-менеджеров.

Идея сохранения единого Аэрофлота обсуждалась тогда в авиационном сообществе, но скорее теоретически, чем практически. В России не нашлось тогда человека с достаточным политическим весом, который мог бы противостоять разрушительной политике чиновников из ГКИ и стоящих за ними иностранных консультантов и убедить президента России в необходимости сохранить российский Аэрофлот как единую компанию.

В результате самая большая на тот момент в мире компания “Аэрофлот” распалась на множество отдельных самостоятельных авиакомпаний. Только в России насчитывалось тогда около 400 авиакомпаний. Самой крупной из них стала авиакомпания “Аэрофлот – Российские международные авиалинии”. Известное всему миру имя авиакомпания сохранила. О том, какой ценой, речь впереди. Станет ли эта авиакомпания достойной этого славного имени, сможет ли она своими авиалиниями соединить огромную страну? От ответа на этот вопрос во многом зависит, останется Россия единым государством или превратится в отдельные территории.

Но если сохранить российскую часть Аэрофлота в виде единой компании не удалось, – сотрудники ГКИ и их иностранные консультанты развалили её без особых проблем, – то за сохранение международного Аэрофлота развернулась настоящая война, которая продолжалась более 4 лет. Противниками в этой войне были, с одной стороны, трудовые коллективы ЦУМВС (Центрального управления международных воздушных сообщений) и МКУ (Международного коммерческого управления) гражданской авиации. С другой стороны, главными и наиболее активными, но не единственными противниками были чиновники ГКИ во главе с П. П. Мостовым, первым заместителем А. Б. Чубайса. Они в авиации не понимали ничего, но их иностранные консультанты, в отличие от чиновников, знали, в какие точки надо наносить удары. Надо было компанию раздробить на малые части и ликвидировать Аэрофлот как субъект международного права. Силы сторон были не равны, но на войне, как на войне: побеждает не сильный, а умелый.

Созданное в 1971 году на базе ТУ МВЛ (Транспортное управление международных воздушных линий) ЦУМВС многие годы было единственным авиапредприятием, выполняющим международные полёты как авиакомпания “Аэрофлот – Советские авиалинии”. ЦУМВС было витриной советского Аэрофлота. В ЦУМВС были самые лучшие самолёты, самые подготовленные пилоты и инженерно-технический состав, самые красивые стюардессы. Только в коммерческой службе ЦУМВС были специалисты в области международных авиаперевозок.

МКУ ГА было создано в 1988 году решением правительства СССР на базе коммерческой службы ЦУМВС. Начавшаяся в СССР в конце 90-х годов либерализация внешнеэкономической деятельности позволила начать международные полёты новым российским авиакомпаниям, возникшим на базе авиапредприятий Аэрофлота. Специалистов-международников в этих компаниях на тот момент не было, и специалисты МКУ должны были оказывать им помощь в освоении внешних рынков. Решением правительства МКУ ГА было дано право под торговой маркой “Аэрофлот – советские авиалинии” представлять за рубежом все авиакомпании СССР, выполняющие международные полёты, координировать их деятельность на международном рынке авиаперевозок.

Сотрудники МКУ поставленные задачи решали достаточно успешно. В 1991 году более 50 новых авиакомпаний имели договорные отношения с МКУ ГА. На их долю приходилось уже 28% международных пассажирских перевозок. Для обучения специалистов-международников МКУ совместно с Московским институтом инженеров гражданской авиации создали Высшую школу авиабизнеса, где сотрудники новых авиакомпаний изучали коммерческие вопросы организации международных полётов. Эти авиакомпании начинали выполнять международные полёты сначала под флагом Аэрофлота, но по мере накопления опыта стали отказываться от услуг МКУ и летать под собственным именем.

Аэрофлот в лице ЦУМВС монопольно представлял СССР на мировом рынке авиаперевозок. Новые авиакомпании, возникшие в СССР в начале 90-х годов, не без оснований обвинили Аэрофлот в монополизме и потребовали свою долю на международном рынке. Они не понимали одного: долю на рынке не дают, её берут. А вот как её взять, на тот момент они представляли слабо. Тема борьбы с монополизмом Аэрофлота тогда активно обсуждалась

в разных кругах. Она не связана напрямую с историей Аэрофлота, но понимание её позволит лучше понять процессы, которые происходили тогда в гражданской авиации России.

Противники сохранения международного Аэрофлота по причине его монопольного положения на рынке авиаперевозок были не только в ГКИ, но и в отрасли, в том числе в МГА, в авиапредприятиях, в правительстве, в Верховном Совете РСФСР. Не зная специфики авиационного бизнеса, противники Аэрофлота полагали, что вместо Аэрофлота появится множество авиакомпаний, которые будут конкурировать между собой, снижать цены за билеты и улучшать сервис. Но это теоретически. Чем руководствовались те, кто проблему понимал практически, оставим на их совести.

Кстати, о конкуренции и ценах на авиабилеты. В советское время на студенческую стипендию можно было купить 4 авиабилета из Ленинграда в Москву, а сейчас – только 1, и то, если повезёт. Человек, работающий на Курилах, за месячную зарплату мог тогда купить 4 авиабилета в любую точку Советского Союза. Сейчас для этого он должен работать 6 месяцев. “Хотели, как лучше...”

Не является секретом то, что авиационный бизнес низкорентабельный. Имена олигархов в гражданской авиации нам не известны. Зато известно выражение “хочешь потерять деньги, купи авиакомпанию”. Примеров тому множество. В цену авиабилета, помимо прочих, заложены расходы, которые, как минимум, должны покрывать затраты на обеспечение безопасности полётов. Эти затраты нельзя сократить, что существенным образом ограничивает возможности авиакомпании снижать цены на авиабилеты.

Отсюда следует, что появление избыточного количества авиакомпаний приводит не к снижению цен на авиабилеты, а к их банкротству. К тому же заведомо убыточные рейсы, а местные воздушные линии, например, во всём мире являются убыточными и дотируются из бюджета... В этом случае никакой конкуренции не может быть в принципе, поскольку перевозчика определяет организация, выделяющая деньги, и критерии выбора в этом случае могут быть самые разные.

Крупная авиакомпания, каким был, например, союзный Аэрофлот, имеющая большой парк самолётов и обширную географию полётов, может за счёт высокодоходных рейсов дотировать рейсы убыточные, но малые авиакомпании этого сделать не могут в принципе. Поэтому задачей правительства является создание больших и эффективных национальных авиакомпаний, что не исключает наличие местных авиакомпаний.

Но именно крупные авиакомпании определяют авиационное лицо государства. В своё время Правительство России не стало помогать первой российской частной авиакомпании “Трансаэро”, в то время второй в России по пассажиропотоку. Попав в тяжёлое финансовое положение и не получив помощи от государства, она прекратила существование, что, безусловно, является ошибкой, к сожалению, непоправимой. Авиакомпания-лоукостеры, которые летают по низким тарифам, используют особую модель, которую мы в этой статье обсуждать не будем. Но надо понимать главное: все авиакомпании использовать эту модель не могут.

Во всех странах, и СССР не был исключением, гражданская авиация считается отраслью стратегической. Не секрет, что глав государств и руководителей крупнейших национальных авиакомпаний связывают хорошие личные отношения, что свидетельствует о понимании национальными лидерами значения гражданской авиации для страны и даёт возможность этим руководителям решать проблемы своих авиакомпаний в приоритетном порядке, а главам государств быть в курсе проблем гражданской авиации своей страны.

Президент “Бритиш эрвэйз” лорд Кинг, например, который спас в своё время от банкротства эту одну из крупнейших в мире авиакомпанию, был личным другом Маргарет Тэтчер. Президент “Эр Франс” Бернард Аттали имел дружеские отношения с президентом Миттераном. Именно тогда правительство Франции приняло решение купить успешную французскую авиакомпанию “Эр Интер” и присоединить её к “Эр Франс”, в тот момент убыточной. До того как стать Президентом США, Джим Картер был губернатором штата Джорджия. И не без помощи Картера авиакомпания “Дельта”, штаб-квартира которой находится в столице этого штата Атланте, стала крупнейшей в мире, тогда как символ США – авиакомпания “Пан Америкен” – обанкротилась.

СССР не был исключением. Сказать, что глава Советского государства И. В. Сталин лично занимался авиацией, значит, ничего не сказать. Авиация была его слабым местом. Он лично знал главных конструкторов, директоров крупных заводов, известных лётчиков. Популярность последних была тогда сродни популярности кинозвёзд. Такое внимание главы государства к проблемам авиации не было чудачеством. И. В. Сталин хорошо понимал её значение для страны и для её развития делал всё, что мог.

Период активного развития Аэрофлота начался в 1959 году с приходом Е. Ф. Логинова. При нём Главное управление гражданского воздушного флота было преобразовано в Министерство гражданской авиации, и он стал первым министром гражданской авиации. Е. Ф. Логинов был маршалом авиации, членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР, что позволяло ему в приоритетном порядке решать проблемы гражданской авиации.

Особое место в истории Аэрофлота занимает период, когда министром гражданской авиации стал Б. П. Бугаев, в прошлом личный пилот Л. И. Брежнев. Имея поддержку главы государства, Б. П. Бугаев этот шанс не упустил и создал самую крупную в мире авиакомпанию. Его заслуга в этом неоспорима. Не будет большой ошибкой предположить, что и в наше время успехи Аэрофлота связаны с личностью его руководителя В. Г. Савельева, представителя питерского клана.

Резюмируя этот небольшой экскурс, отметим, что авиационный рынок перевозок регулировался и будет регулироваться всегда. Каким образом, в какой мере и с каким результатом это регулирование проводится, зависит от компетентности авиационной администрации – регулятора рынка. Монополия на авиационном рынке, мягко скажем, несколько отличается от монополии на рынке продуктовом. Хотя и продуктовый рынок тоже регулируется. В России, к сожалению, он регулируется не государством, а криминалом. Поэтому обвинять международный Аэрофлот в монополизме было тогда модно, но, по меньшей мере, неграмотно. В то время он не мог быть другим. Но это не значило, что его надо было разрушать. Аэрофлот поставленные задачи решал тогда успешно. Заметим, в интересах граждан своей страны, а не в интересах акционеров.

Надо отметить, что производственные показатели “монополиста” ЦУМВС, которое представляло Аэрофлот за рубежом, на фоне 140 миллионов в год пассажиров, перевозимых союзным Аэрофлотом, были достаточно скромными. Даже в лучшие годы это было чуть более 4 млн пассажиров, что в мировой таблице о рангах соответствовало тогда 9-му месту в Европе и 19-му в мире. Это к вопросу о монополии Аэрофлота. Но бренд (употребим этот современный термин) “Аэрофлот – советские авиалинии” имел мировую известность, что не лишне повторить.

По причине политического влияния СССР в аэропортах всех государств, куда летали самолёты Аэрофлота, он имел лучшие слоты (время прилёта и вылета). Аэрофлот имел коммерческие права на полёты в 146 городов 105 стран мира по двусторонним межправительственным соглашениям. В этих странах Аэрофлот имел свои представительства.

Аэрофлот как коммерческая организация был субъектом международных соглашений, по которым иностранные авиакомпании платили ему так называемые роялти за полёты по транссибирским маршрутам (ТСМ). Эти платежи могли достигать 500 миллионов долларов в год и более. Надо пояснить, что получателем роялти, но не их владельцем, мог быть только Аэрофлот, поскольку именно Аэрофлот был субъектом международного права. Как авиакомпания, на то момент единственная в СССР, он имел эксклюзивное право полётов по ТСМ и за уступку части этих коммерческих прав иностранным перевозчикам получал от них компенсацию в виде роялти. В 2019 году сумма роялти составила около 625 млн долларов.

Создавалось это богатство не одно десятилетие. Лучше других понимали это сотрудники международного Аэрофлота, но понимали это и его враги. И если первые боролись за то, чтобы это богатство сохранить, то целью вторых было его уничтожить, что они тогда и делали всеми правдами и неправдами.

В это время новые российские авиакомпании начинали выходить на международный рынок под собственным именем, и их число увеличивалось. МКУ, которое правительством СССР было уполномочено представлять Аэрофлот за рубежом, самостоятельно выполнять международные полёты не могло, поскольку авиакомпанией не являлось. Реально ситуация складывалась так,

что бренд “Аэрофлот – советские авиалинии” и всё, что за ним стояло на международном рынке авиаперевозок, мог быть потерян за ненадобностью, что и было целью иностранных консультантов.

В этой ситуации руководство и трудовой коллектив МКУ ГА обратились к трудовому коллективу ЦУМВС с предложением об объединении и создании на базе двух компаний производственно-коммерческого объединения (ПКО) “Аэрофлот – советские авиалинии”. Авторы настоящей статьи были в то время сотрудниками МКУ ГА и активными участниками войны за сохранение Аэрофлота, правильнее сказать – его остатков, и знают эту тему, что называется, из первых рук.

Надо сказать, что руководство ЦУМВС, в отличие от руководства МКУ, поддерживая проект создания ПКО на словах, на деле его тормозило. В команде генерального директора ЦУМВС В. В. Потапова, а он был командным игроком, единого мнения на этот счёт не было. Поэтому его решения, как мы это увидим, были иногда, мягко скажем, противоречивыми. Но явно препятствовать объединению он не решался.

Активными сторонниками объединения были, прежде всего, лётчики ЦУМВС, понимающие, насколько важно коммерческое обеспечение деятельности на международном рынке авиаперевозок. Выступить против лётного состава руководства ЦУМВС не рискнуло, и решение об объединении трудовыми коллективами двух организаций было принято. Министр Б. Е. Панюков, не без сопротивления некоторых высокопоставленных сотрудников МГА, проект объединения поддержал, пакет необходимых документов был подготовлен и передан на регистрацию в Московскую регистрационную палату.

Московская регистрационная палата зарегистрировать ПКО “Аэрофлот – советские авиалинии” отказалась, мотивируя это монопольным положением Аэрофлота на рынке авиаперевозок. Это решение было незаконным, и нам было понятно, что за ним стоит первый заместитель председателя ГКИ П. П. Мостовой. Вначале это было предположение, позднее мы в этом убедились. Почему он был против Аэрофлота, мы не узнаем никогда. Но, что важно, П. П. Мостовой был тогда не единственным противником регистрации ПКО. Дальнейший ход событий это подтвердил.

Получив отказ в Московской регистрационной палате, мы приняли решение провести регистрацию ПКО по месту нахождения ЦУМВС и МКУ в Ленинградском райисполкоме г. Москвы. Сделать это закон позволял. Мы предполагали, что П. П. Мостовой такой вариант не просчитывал, и можно было рассчитывать на успех, если бы не одно обстоятельство. Генеральный директор ЦУМВС В. В. Потапов контролировал ситуацию в Ленинградском райисполкоме, и без его согласия зарегистрировать там ПКО было нельзя, а его согласия как раз и не было.

Тем более что у него появлялась возможность, оставаясь как бы в стороне, торпедировать там регистрацию ПКО, сохраняя хорошую мину при плохой игре. Но не проинформировать Потапова о планах зарегистрировать ПКО в Ленинградском райисполкоме мы не могли, поскольку он и начальник МКУ В. М. Тихонов должны были подписывать необходимые документы. Нужно было найти способ передать документы на регистрацию в Ленинградский райисполком так, чтобы об этом не узнал В. В. Потапов. Задача была решена следующим образом.

Было подготовлено два комплекта документов на объединение: один комплект – для регистрации в Ленинградском райисполкоме, второй – для Московской регистрационной палаты. Оба руководителя, Тихонов и Потапов, документы подписали. Один комплект документов был передан Потапову для передачи в Ленинградский райисполком. Расчёт был на то, что он эти документы передавать туда не станет, что потом и подтвердилось, и регистрация ПКО в Ленинградском райисполкоме не состоится. В Ленинградский райисполком был передан второй комплект документов, предназначенный как бы для Московской регистрационной палаты. На войне, как на войне: военная хитрость тоже оружие.

В результате этой в каком-то смысле тайной операции, а это действительно была операция с разработкой легенды и дезинформацией противника, устав ПКО “Аэрофлот – советские авиалинии” был зарегистрирован 27.07.91 года сначала в Ленинградском райисполкоме, а затем и внесён в реестр Министерства финансов РФ.

Впервые в истории Аэрофлот как ПКО “Аэрофлот – советские авиалинии” стал юридическим лицом со всеми необходимыми атрибутами. Генеральным директором ПКО стал В. В. Потапов, оставаясь в то же время генеральным директором ЦУМВС. Коммерческим директором стал начальник МКУ В. М. Тихонов, потом он станет генеральным директором авиакомпании “Аэрофлот – российские международные авиалинии (РМА)”.

Вот что он пишет по этому поводу в своей книге “Вре́мён и судеб перемены”: “Если бы в 1991 г<оду> не было создано и зарегистрировано ПКО со своим уникальным статусом, вряд ли в 1992 г<оду> удалась бы попытка организовать авиакомпанию “Аэрофлот – российские международные авиалинии”.

Но до создания такой авиакомпании было ещё далеко. В. В. Потапов, одной рукой создавая ПКО, другой подписывает приказ по ЦУМВС о создании на базе лётных отрядов четырёх дочерних авиакомпаний. Отказав ранее в регистрации ПКО “Аэрофлот”, Московская регистрационная палата зарегистрировало их как самостоятельные государственные предприятия. Принципиальный момент – в названиях этих компаний слова “Аэрофлот” не было.

Позднее В. В. Потапов, поняв, что приказ о создании дочерних авиакомпаний был ошибкой, его отменил. Но отменить государственную регистрацию он своим приказом не мог. Существующие лишь на бумаге авиакомпании потребовали передать им самолёты, что было с пониманием встречено ГКИ в лице П. П. Мостового. Угроза остаться без самолётного парка для ПКО становилась реальностью. Перипетии борьбы за создание авиакомпании “Аэрофлот – Российские международные авиалинии” подробно описаны в упомянутой книге В. М. Тихонова. По возможности кратко напомним их читателю.

После регистрации ПКО события развивались следующим образом. Правительство РФ 27 июля 1992 года принимает решение “О мерах по организации международных воздушных сообщений Российской Федерации”. Этим решением предписывается “преобразовать производственно-коммерческое объединение “Аэрофлот – советские авиалинии” с входящими в его состав структурами в акционерное общество открытого типа – “Аэрофлот – российские международные авиалинии” с закреплением контрольного пакета акций в федеральной собственности на срок до трёх лет”.

Во исполнение этого постановления была создана правительственная комиссия, которая разработала основные положения преобразования ПКО в акционерное общество под названием авиакомпания “Аэрофлот – Российские международные авиалинии” и подготовила Постановление Правительства РФ № 267 “Об акционерном обществе “Аэрофлот – российские международные авиалинии”, которое было подписано председателем правительства В. С. Черномырдиным 1 апреля 1993 года. Это постановление правительства выполнено не было.

Потребовался ещё год на согласование на уровне различных ведомств необходимых процедур по созданию этого акционерного общества. Результатом было появление Постановления Правительства РФ № 314 от 12 апреля 1994 года “Об утверждении устава акционерного общества “Аэрофлот – российские международные авиалинии”. Но и этого постановления было недостаточно для того, чтобы начать процедуру реорганизации ПКО в акционерное общество “Аэрофлот – РМА”, и оно выполнено не было.

Потребовалось выпустить ещё одно Постановление Правительства РФ № 653 от 6 июня 1994 года. Отличие этого постановления от предыдущего было в том, что согласно этому постановлению назначению генерального директора общества производится приказом министра транспорта РФ, тогда как предыдущее постановление предписывало согласовывать эту кандидатуру с ГКИ.

Бесспорным кандидатом на этот пост был начальник МКУ В. М. Тихонов. Министр транспорта РФ В. Б. Ефимов знал, что ГКИ эту кандидатуру никогда не поддержит, и борьбе с Мостовым предпочёл подготовить ещё одно Постановление Правительства, которое такого согласования не требовало. Мощной фигурой был П. П. Мостовой, даже министр транспорта РФ не рискнул с ним побороться. Приказом министра транспорта РФ В. М. Тихонов был назначен генеральным директором авиакомпании “Аэрофлот – РМА” 10 июня 1994 года. Надо сказать, что по заслугам.

Его роль в создании авиакомпании “Аэрофлот – Российские международные авиалинии” была определяющей. Он реально был локомотивом развернувшейся кампании за сохранение этого дорогого для ветеранов союзного



Аэрофлота и страны имени. Проработал он в этой должности чуть больше года – до осени 1995 года. *C'est la vie*, как говорят французы. В жизни белая полоса сменяется чёрной и наоборот. Правда, иногда полоса, которую ты считал чёрной, оказывается белой.

На место В. М. Тихонова пришёл главный маршал авиации Е. И. Шапошников – человек, близкий к президенту Ельцину. Вместе с ним в Аэрофлот пришла команда Б. А. Березовского, а затем в Аэрофлот пришла прокуратура. Развивать эту тему не будем, это совсем другая история. Е. И. Шапошников на посту генерального директора сменил В. М. Окулов, бывший штурман Аэрофлота и зять президента Ельцина. Ни тот, ни другой особыми заслугами перед Аэрофлотом не отметились. Как оказалось, близость к президенту не гарантирует успешного руководства авиакомпанией.

В Аэрофлот на место В. М. Окулова в 2009 году пришёл В. Г. Савельев. При нём пассажиропоток Аэрофлота вместе с дочерними авиакомпаниями с 11,1 млн пассажиров в 2009 году увеличился до 60,7 млн в 2019 году, а самолётный парк со 116 самолётов вырос до 245. Успешная деятельность В. Г. Савельева на посту генерального директора Аэрофлота привела его в кресло министра транспорта РФ. В России, как давно известно, две беды: «дураки и дороги». Последнюю беду должен разруливать министр транспорта. Если к этому добавить проблемы других видов транспорта, за которые отвечает министр, гражданскую авиацию в том числе, то ему остаётся только посочувствовать и пожелать нашему успеху на этой, как раньше говорили, расстрельной должности!

Московская регистрационная палата зарегистрировала открытое акционерное общество «Аэрофлот – РМА», и 21 июня 1994 года акционерное общество открытого типа «Аэрофлот – российские международные авиалинии» получило свидетельство о регистрации № 0321175 и по российскому законодательству стало юридическим лицом.

Но П. П. Мостовой не дремал. Вместо того чтобы начать передачу самолётов из ЦУМВС этому акционерному обществу, он уже 28 июля 1994 года даёт письменное распоряжение генеральному директору ЦУМВС В. В. Потапову подписать договора аренды и передать самолёты дочерним авиакомпаниям. В. В. Потапов договора аренды подписал – не посмел ослушаться П. П. Мостового! – но самолёты не передал.

Надо сказать, что это распоряжение ГКИ было не только безграмотным с точки зрения организации полётов, но и грозило Аэрофлоту прямыми убытками. Дочерние авиакомпании существовали в тот момент только на бумаге. У них не было свидетельства эксплуатанта, не было лицензий на выполнение полётов, не было кодов международных авиационных организаций. Даже получив самолёты, эксплуатировать их под собственным именем дочерние авиакомпании не могли.

Использовать права Аэрофлота они тоже не могли, поскольку эти права принадлежали теперь официально зарегистрированному государственному предприятию «Аэрофлот – РМА». ЦУМВС, передавая самолёты дочерним авиакомпаниям, сокращал свой парк и ставил под угрозу выполнение собственной программы полётов, что грозило авиакомпании прямыми убытками. Председатель ГКИ А. Б. Чубайс, разобравшись в ситуации, распоряжение своего первого заместителя приостановил, но не отменил.

Положение спас случай. На место А. Б. Чубайса в ГКИ в ноябре 1994 года – как раз в тот момент, когда возник этот конфликт, – пришёл В. П. Поливанов. Разобравшись в ситуации, он предложил П. П. Мостовому отменить распоряжение о передаче самолётов дочерним компаниям. 5 декабря 1994 года на совещании у В. П. Поливанова П. П. Мостовой подтвердил, что распоряжение о передаче в аренду дочерним авиакомпаниям самолётного парка отозвано. Можно сказать, что П. П. Мостовой признал своё поражение, и далее процесс создания авиакомпании «Аэрофлот – РМА» пошёл без особых проблем.

Приводимые подробности могут показаться излишними, но они хорошо демонстрируют накал борьбы за сохранение международного Аэрофлота, которая шла, как говорится, до последнего патрона. У нас нет сомнений, что П. П. Мостовой, сопротивляясь до последнего, выполнял заказ МВФ и Всемирного банка, а чей заказ выполняли они, тайна великая есть. Этого мы не узнаем никогда.

Наш великий современник Л. Н. Гумилёв говорил: “Кто владеет прошлым, владеет настоящим, кто владеет настоящим, владеет будущим”. О прошлом поговорили, поговорим о настоящем. Напомним, что в лучшие годы советский Аэрофлот перевозил около 140 млн пассажиров в год, из них на долю авиапредприятий РСФСР приходилось порядка 94,3 млн пассажиров. Перевозки на международных линиях составляли тогда 4,2 млн пассажиров. Авиапредприятия союзных республик международными перевозками не занимались. Следовательно, на внутренние перевозки в РСФСР приходилось порядка 90 млн пассажиров. На территории РСФСР было 1 300 аэропортов различного класса, парк летательных аппаратов авиапредприятий насчитывал 14 тысяч воздушных судов советского производства.

Через 30 лет в 2019 году в РФ мы имели 107 зарегистрированных авиакомпаний, из них 18 магистральных, 21 региональную и 68 местных. В начале 90-х их было 382, почти 250 авиакомпаний бесследно исчезли. Задачу, поставленную МВФ и Всемирным банком, ГКИ выполнил. Из существующих 107 авиакомпаний 92% пассажиров перевозят 15 авиакомпаний. На долю остальных 92 авиакомпаний приходится примерно 7 млн пассажиров. В среднем на одну такую авиакомпанию приходится чуть больше 75 тысяч пассажиров.

Парк российских авиакомпаний насчитывает сейчас около 800 самолётов иностранного и 150 отечественного производства, из них около 50 – советского производства. Из бывших 1 300 аэропортов в России остался 241. В США их более 13 тысяч, при том, что территория России почти в 2,5 раза больше, чем территория США. Дорожную сеть и автомобильный транспорт как альтернативу авиации в США и в РФ сравнивать не будем. Это к вопросу о конституционном праве на свободу перемещения граждан РФ, проживающих в отдалённых районах страны, доступных только самолётам или вертолётам гражданской авиации.

В 2019 году все авиакомпании России перевезли 128 млн пассажиров: 55 млн – на международных и 73 млн – на внутренних линиях. По международным перевозкам доперестроечный уровень перекрыт многократно, по внутренним перевозкам (90 млн) этот уровень пока не достигнут.

Самолётами иностранного производства перевозится уже 93% российских пассажиров. В случае принятия антироссийских санкций производители самолётов будут обязаны прекратить поставку документации по продлению ресурсов различных узлов и агрегатов самолётов, что приведёт к их остановке. Можно не сомневаться, что иностранные авиакомпании примут это как подарок, так как все российские пассажиры перейдут к ним.

Нельзя не отметить, что число перевезённых пассажиров в 2019 году по сравнению с 2009 годом увеличилось почти в 3 раза. Такие темпы роста могли бы внушать оптимизм, если бы не два обстоятельства. Первое – пандемия 2020 года, результатом которой будет падение пассажиропотока минимум на 50% и в связи с этим неизбежное банкротство многих авиакомпаний. Второе – всё познаётся в сравнении.

В 1990 году авиакомпании США перевезли 499 млн пассажиров, в 2018 году – 889 млн. Авиакомпании Китая увеличили количество перевезённых пассажиров с 229 млн в 2009 году до 551 млн в 2017 году и около 600 млн в 2019 году. Численность населения в Китае и в России несопоставима, но ещё в 1995 году перевозки авиапассажиров в Китае были порядка 50 млн. Поэтому более чем 10-кратный рост пассажиропотока в Китае не может не впечатлять.

Катастрофой для гражданской авиации всего мира стал 2020 год, что стало проблемой не только авиакомпаний, но и правительств. После напряжённых переговоров между заинтересованными сторонами Сенат США 26 марта 2020 года одобрил закон о крупнейшем в истории США пакете помощи авиационной индустрии.

Эта помощь будет оказана авиационной отрасли в связи с катастрофическим падением объёмов перевозок в результате пандемии. На помощь авиакомпаниям будет направлен 61 миллиард долларов. Ещё 10 миллиардов долларов будет выделено аэропортам. На выплату зарплаты работникам пассажирских авиакомпаний будет направлено 25 миллиардов, грузовых – 2 миллиарда долларов. Дополнительно авиакомпании получают государственные гарантии на 29 млрд долларов по займам и освобождаются от выплат в 2020 году некоторых налогов.

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в 2020 году упадут примерно на 50%. Правительство РФ объявило о поддержке авиационной отрасли в объёме 23 млрд рублей. Много это или мало? Финансовая помощь на одного перевозимого пассажира в США составит 78,7 доллара, в России – 182,8 руб. В пересчёте на доллары, а значительную часть расходов российские авиакомпании оплачивают валютой, это будет 2,6 доллара на одного пассажира. Почувствуйте разницу...

От настоящего переходим к будущему. Согласно Л. Н. Гумилёву, будущее определяется как прошлым, так и настоящим. Что касается прошлого, возникает вопрос. Как П. П. Мостовой, чиновник государственного ведомства, под разными предлогами осмелился торпедировать выполнение четырех постановлений правительства РФ и до последнего сопротивляться созданию авиакомпании “Аэрофлот – РМА”? Какие силы за ним стояли? Понятно, что это должны были быть силы более мощные, чем правительство РФ, решения которого П. П. Мостовой просто игнорировал.

Две силы нам известны. Первая сила – это МВФ, который заставил президента Ельцина уволить вице-преьера В. П. Поливанова, последний, кстати, был его назначенцем. Вторая сила – Всемирный банк. В докладе Всемирного банка “Стратегия Российской Федерации в области транспорта”, опубликованном в мае 1993 года, касательно Аэрофлота было написано следующее:

“При приватизации или корпоратизации предприятий Аэрофлота, занимающихся международными авиационными перевозками, распустить производственно-коммерческое объединение и приватизировать его отдельные предприятия таким образом, чтобы разрушить связи собственности авиакомпаний и аэропортов и содействовать конкуренции”.

Эксперты Всемирного банка не могли не знать, что именно крупные авиакомпании, например, “Эр Франс” во Франции, “Бритиш эрвэйз” в Великобритании, “Люфтганза” в Германии, “Дельта” и “Американ эрлайнз” в США определяют авиационное лицо государства. Многочисленные мелкие авиакомпании в этих странах лишь придают этому лицу дополнительные краски.

Эксперты Всемирного банка, давая своё заключение, не могли не знать, что в мировой гражданской авиации идут процессы укрупнения и национализации авиакомпаний с целью создания мега-компаний. Почему, зная это, Всемирный банк, оперирующий миллиардами долларов, настаивал на ликвидации ПКО с пассажиропотоком чуть более 4 млн пассажиров в год и копеечными в масштабах Всемирного банка финансовыми потоками? Это вопрос из прошлого.

Из настоящего вопрос следующий. Почему правительства двух крупнейших экономик мира такое большое внимание уделяют развитию национальных авиакомпаний и гражданской авиации? Правительства других крупных экономик мира тоже поддерживают и развивают национальные авиакомпании и авиационную индустрию. Но рост авиакомпаний США и Китая, двух крупнейших экономик мира, не может не поражать. Наш вариант ответа на оба вопроса следующий.

Крупные национальные авиакомпании – это не только экономика, это не только политика, это глобальная политика и суверенитет государства. Всемирный банк, требуя разбить Аэрофлот на мелкие авиакомпании и приватизировать их, обрекал многие из них на уничтожение, что в дальнейшем и произошло. Уничтожение гражданской авиации государства означает потерю государственного суверенитета. Экономические потери – это уже потери второго порядка.

Если оценивать действия МВФ и Всемирного банка, а правильнее сказать, мировой закулисы, определяющей их действия, с таких позиций, всё становится понятно. Советскому Союзу тогда была объявлена война, а на войне все средства хороши. Как факт отмечу, что в войне за сохранение международного Аэрофлота мы своих противников тогда победили. Но важно понимать, что война эта продолжается, противником мировой закулисы в этой войне является теперь РФ и её гражданская авиация в том числе.

У авторов настоящей статьи нет цели давать рекомендации правительству: как говорится, не по чину. Но высказать некоторые соображения, исходя из своего советского и постсоветского опыта, мы позволить себе можем. На наш субъективный, естественно, взгляд, гражданская авиация России,

равно как и авиационная промышленность, на мировом уровне выглядят в настоящее время скромно, можно даже сказать, проблемно.

Число пассажиров, перевозимых российскими авиакомпаниями, составляет сейчас менее 1% от мирового уровня, в советское время это было примерно 20%. Приведённые цифры практически совпадают с ВВП России и СССР, чуть больше 1% сейчас и 20% в годы СССР. Если в СССР самолёты выпускались сотнями, то сейчас, в лучшем случае, десятками. Что касается авиационной промышленности, меры по её развитию правительство предпринимает, что могло бы внушать оптимизм, если не обращать внимания на то, как развивалось наше авиастроение последние 30 лет.

Неплохие по своим конструктивным параметрам самолёты, ещё советской разработки Ту-204 и ИЛ-96 и Суперджет-100 российской разработки, которые российская промышленность начала производить после развала Советского Союза, так и не были доработаны промышленностью до уровня, конкурентного с аналогичными самолётами иностранного производства. В этой связи судьба самолёта МС-21 не может не вызывать беспокойства.

В советское время все выпускаемые промышленностью самолёты вводились в эксплуатацию с участием Аэрофлота. Задачей промышленности было изготовить самолёт, эксплуатацией его занимался Аэрофлот. Такая практика сложилась в советское время, но в нынешних условиях она не работает. Производитель должен изготовить самолёт, провести опытную эксплуатацию, устранить неизбежные дефекты, обеспечить послепродажное обслуживание и только после этого передать авиакомпании. Наша авиационная промышленность до сих пор этого так и не поняла.

Должен, но это не значит, что производитель может и будет это делать. Он не делал этого в советское время, не делает и сейчас: нет школы, нет традиций. Именно по этой причине российские и иностранные авиакомпании всеми правдами и неправдами стараются отказаться от самолёта Суперджет-100. Будет ли эта проблема решена в случае МС-21, нам предстоит увидеть. Гражданская авиация может быть для авиационной промышленности как драйвером, как это было в СССР, так и тормозом, как это произошло с Суперджетом-100.

Это означает, что правительство РФ должно считать задачу развития российской гражданской авиации не менее важной, чем развитие авиационной промышленности. Проблемы авиационной промышленности темой настоящей статьи не являются, касаться их не будем. Нам достаточно проблем, связанных с гражданской авиацией, что нам ближе и роднее.

В своё время МГА отвечало за состояние и результаты работы гражданской авиации в стране и поставленные правительством задачи решало успешно на протяжении почти 70 лет. В настоящее время за состояние российской гражданской авиации отвечают Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и Ространснадзор. Что касается Росавиации, то общим в деятельности МГА и Росавиации является только то, что её руководитель занимает кабинет, который когда-то занимал министр гражданской авиации. Это не означает, что нынешний хозяин кабинета является слабым руководителем.

Структура управления гражданской авиацией у нас построена так, что если бы даже самый успешный в истории нашей гражданской авиации министр Б. П. Бугаев вернулся в свой кабинет, ничего изменить он не смог бы, поскольку организации, которая отвечает за состояние гражданской авиации в целом, в России нет.

Росавиация под разными названиями входит в структуру Минтранса уже почти 30 лет. По положению Минтранс отвечает за транспортную политику РФ, в том числе и за политику в области воздушного транспорта. Комментировать эту политику не является задачей этой статьи, хотя сделать это очень легко. Эта политика, особенно, что касается воздушного транспорта, просто отсутствует. Росавиация для Минтранса, как чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко.

Отсюда следует, что Минтрансу надо помочь. Надо вывести Росавиацию из Минтранса, напрямую подчинить её правительству, расширить её полномочия, предоставить право законодотворческой инициативы и право выпуска нормативных актов в области гражданской авиации и сделать единым исполнительным органом, ответственным за состояние гражданской авиации России, как это рекомендует международная организация гражданской авиации ИКАО.

В. Г. Савельев до того, как стать министром транспорта РФ, более 10 лет проработал генеральным директором Аэрофлота. Он хорошо представляет, насколько тяжёл этот “чемодан”, тем более что в этом “чемодане”, кроме Аэрофлота, находятся ещё более сотни авиакомпаний. У него появляется хороший шанс избавиться от этого “чемодана” и сконцентрироваться на проблемах других видов транспорта.

Масштаб задач, которые стоят перед гражданской авиацией РФ, требует, прежде всего, осознания того, что гражданская авиация является стратегически важной отраслью и от её состояния зависит будущее нашей страны. Руководитель отрасли должен напрямую подчиняться правительству, а финансирование гражданской авиации должно осуществляться в приоритетном порядке.

Если Правительство РФ посчитает необходимым принять меры по развитию гражданской авиации, то первое, что должен будет сделать её руководитель, – это сформировать генеральный штаб, мозг отрасли, который определит, что делать и куда наступать. Перефразируем известные слова И. В. Сталина, “...либо мы сделаем это, либо нас сомнут”. Если мы это не сделаем, то Россия существовать не перестанет, даже какие-то авиакомпании в ней будут. Но о претензиях на статус великой державы придётся забыть. Хочется надеяться, что не навсегда.

ТАТЬЯНА НИКОЛЬСКАЯ

## “ДАВНО МЫ НОЧАМИ ЗЛЫМИ...”

С детства помню эпизод из фильма “Ленин в 1918 году” (“Мосфильм”, 1939): на сцене театра танцуют “лебеди”, в зале – разношерстная публика, от революционных матросов, жующих воблу, до сотрудников иностранных посольств. Все наслаждаются искусством. И вдруг, сея лёгкую панику среди балерин, на сцене появляется некий комиссар в кожанке и объявляет: “Товарищи и граждане! Имеются два внеочередных вопроса. Первое. По постановлению Екатеринбургского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов бывший царь Николай Романов расстрелян!”...

Это одно из немногих в советском кино упоминание о событии, что стало для большевиков и для всей России “точкой невозврата”. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний император Николай II, императрица Александра Феодоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей, а также доктор Е. С. Боткин и трое слуг – А. Е. Трупп, И. М. Харитонов, А. С. Демидова. И если о смерти Николая II власти сообщили довольно быстро, то участь его семьи долгое время оставалась в тайне.

Монарх и революция – тема неизбежно полемическая. Несёт ли он главную и прямую вину за гибель своего государства или сам является жертвой трагических обстоятельств, “козлом отпущения” грехов рухнувшей системы? Всегда ли бывший монарх расплачивается казнью за потерянную власть? Ведь оставили же в живых юного Ромула Августула, последнего императора Рима... А в более поздние века под революционный “каток” попадали далеко не худшие монархи: английский король Карл I, суд над которым и казнь смогли состояться лишь после “зачистки” Кромвелем парламента, французский король Людовик XVI, узаконивший веротерпимость к гугенотам, и Николай II, подписавший Указ “Об укреплении начал веротерпимости”...

Может, потому, что кинематограф появился в конце XIX века, когда революционные страсти XVII–XVIII веков уже улеглись, в мировом кино свергнутые монархи той эпохи изображены обычно с сочувствием. Французская королева Мария-Антуанетта, ненавидимая современниками, потомкам запомнилась не только дворцовым блеском, но и достойным, мужественным поведением в дни революции. О ней создан целый ряд картин. Современный фильм “Побег Людовика XVI” (Франция, 2009) рассказывает о событиях 20–21 июня 1791 года, когда королевская семья предприняла попытку тайно

---

*НИКОЛЬСКАЯ Татьяна Кирилловна родилась в Ленинграде. По профессии историк, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского христианского университета. Автор более 70 научных работ по истории христианства в XX в., а также нескольких книг разных жанров. Стихи, проза, статьи публиковались в журналах “Север”, “Чело”, “МолОко”, “Молодая гвардия”, “Великороссъ”, “Вологодский ЛАД”, других периодических изданиях и коллективных сборниках. С 2017 г. – член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.*

уехать из революционного Парижа. При этом Людовик XVI представлен положительным героем, вызывающим больше симпатии, чем его преследователи. Правда, неудачное бегство лишь ускорило окончательную победу революции и гибель последнего монарха...

В сериале “Французская революция”, снятом к 200-летию Великой французской революции (1989, совместное производство Франции, Италии, ФРГ, Канады и Великобритании), королевская чета с достоинством переносит удары судьбы, издевательства, унижения, трусость и измену бывших клеветников. Во время суда над Людовиком (актёр Жан-Франсуа Бальмер) даже его противники невольно восхищены мужеством “гражданина Капета”. На эшафоте он объявляет толпе, что невиновен и что прощает по-христиански своих убийц. Их моральное поражение показала сама жизнь: казнь короля не принесла счастья народу, а усилившийся революционный террор, в конце концов, “перемолол” и его зачинателей.

Но вернёмся к фильму “Ленин в 1918 году” режиссёра Михаила Ромма. После объявления о расстреле Николая II в театральном зале слышатся растерянный ропот и короткий женский визг, перекрываемые аплодисментами. На предложение высказаться ревматрос (к тому времени уже доевший воблу) отвечает за всех, что вопрос ясен. Словом, весть о екатеринбургской казни не вызвала в зале ни ликования, ни ярко выраженного осуждения. Публика осталась равнодушной; вернее, она гораздо больше взволнована вторым объявлением – о предстоящей проверке документов. Человеческая жизнь настолько обесценена, что каждый озабочен, прежде всего, собственным выживанием, а реакция на чужую смерть, даже на смерть бывшего монарха, притупилась (о его семье и вовсе никто не вспоминает).

Одновременно авторы фильма, вероятно, хотели подчеркнуть политическое равнодушие общества: и впрямь, если во Франции жители Вандеи восстали “за короля и веру”, то в России ни одна сколько-нибудь значимая антибольшевистская сила не выступила за реставрацию монархии, а Белое движение возглавили люди, поддержавшие Февральскую революцию.

Непопулярность самодержавия сатирически показана в другом советском фильме – “Новые приключения неуловимых” (“Мосфильм”, 1968) режиссёра Эдмонда Кеосаяна. Когда в ресторане занятой белыми Одессы Валерка заказал пение гимна “Боже, царя храни...”, это вызвало бурный скандал: лишь немногие офицеры встали при звуках гимна, прочие посетители выразили решительный протест, ратуя за парламентскую республику, Учредительное собрание, диктатуру Врангеля, но только не за возвращение царя.

Впрочем, в некоторых советских картинах присутствуют и монархисты. Например, в 4-серийном телефильме о чекистах “Операция “Трест” (“Мосфильм” – “Телефильм”, 1967) режиссёра Сергея Колосова, снятом по роману Льва Никулина “Мёртвая зыбь”. Действующие там монархисты-подпольщики не лишены привлекательных черт, особенно племянница А. П. Кутепова Мария Захарченко в исполнении Людмилы Касаткиной. Они отважны, бескорыстны, искренне преданны идее монархии. Тем не менее, когда в Ленинграде участники монархического подполья в день тезоименитства расстрелянного императора заказали в Исаакиевском соборе (в книге – в Казанском) панихиду о его упокоении, это стало последней каплей для одного из членов организации – лейтенанта флота Забелина: “Панихиды служите по убиенному монарху, по Николаю Второму! А кто Петра Третьего убил?.. А кто императора Павла убил? Не матросы, не латышские стрелки... Господам, значит, дозволено...”.

Здесь авторы устами своего персонажа проводят исторические параллели гибели Николая II с предшествующими цареубийствами, в частности, императоров Петра III и Павла I. В обоих случаях убийцы не получили ни уголовного наказания, ни церковного или общественного осуждения (скорее наоборот – извлекли из своего преступления прямые выгоды для себя и потомков). Причины смерти Петра III и Павла I долгое время скрывались; сами же императоры посмертно подверглись клевете и нападкам, яростным и совершенно нелогичным в монархической стране (своеобразная фрондёрская попытка оправдать высокопоставленных убийц путём унижения венценосных жертв). Забелин возмущён, что его товарищи, осуждая расстрел Николая II, равнодушны к цареубийствам, совершённым представителями элиты. Нечто подобное высказывал в своих стихах и поэт-эмигрант Арсений Несмелов:

*И один ли, одно ли имя —  
Жертва страшных нетопырей?  
Нет, давно мы ночами злыми  
Убивали своих Царей.  
И над всеми легло проклятье,  
Всем нам давит тревога грудь:  
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,  
Некий давний кровавый путь?*

Поборники монархии действуют и в телесериале “Государственная граница” режиссёра Бориса Степанова (“Беларусьфильм”). Так, в 1-м фильме “Мы наш, мы новый...” (1980) на свадьбе офицера-пограничника Владимира Давновича поручик Серж Алексеев исполняет романс: “Государь император сегодня поутру расстрелян // И наследник престола Российского отдан во власть палачу”. Поскольку на дворе осень 1917 года, слушатели удивлены и растеряны, ещё не зная, что слова песни вскоре исполнятся. В 3-м фильме того же сериала “Восточный рубеж” (1982) Алексеев возглавляет крупную монархическую организацию в Харбине, ведя жестокую, неравную борьбу за возведение на российский престол царя из Дома Романовых. Он чтит память последнего императора и членов его семьи, погибших в 1918 году. Правда, его пассия, певица Ольга Разметальская (в действительности сотрудница ОГПУ Анисимова), возражает ему, что имена Романовых “давно забыты в России навсегда”. В фильме её утверждение созвучно исторической и личной обречённости самого Алексеева: с каждым эпизодом у него всё меньше сторонников, меньше доверия и поддержки со стороны влиятельных лиц; он вынужден запугивать разочарованных эмигрантов, добывать деньги грабежами, а в его самое близкое окружение проникают чекисты... В конце фильма Алексеев, один из последних борцов за русскую монархию, арестован, и его печальная участь предрешена.

В начале 1970-х годов за рубежом появился фильм “Николай и Александра”, рассказывающий о семейной жизни последнего императора — от рождения царевича Алексея до расстрела семьи в Ипатьевском доме (США, 1971). Картина стала заметным кинособытием, отзвуки которого дошли и до советских людей. Поэтому в СССР вскоре появился своеобразный ответ: книга М. К. Касвинова “Двадцать три ступени вниз”. В 1970–1980-е годы она пользовалась большим успехом среди советских читателей. Цифра 23 — это число лет царствования последнего императора и одновременно число ступеней в подвал Ипатьевского дома. Собственно, из этого вытекает и концепция книги: годы правления Николая II были “ступенями” к гибели — его самого, его семьи и российской монархии. Надолго книга Касвинова стала единственной публикацией, где подробно описаны последние полтора года жизни императора, причём с использованием источников, недоступных для большинства советских людей (например, дневников Николая II).

Концепция этой книги перекликается с фильмом “Агония” (“Мосфильм”) режиссёра Элема Климова, который вышел на экраны в 1985 году, хотя был снят значительно раньше. Картина повествует о последних месяцах жизни и убийстве Григория Распутина. Николай II (актёр Анатолий Ромашин) изображён здесь человеком слабохарактерным и словно придавленным несчастьями: он разрывается между семейными проблемами, болезнью сына и долгом самодержца, государство которого стремительно приближается к гибели. Действие фильма не доходит до событий Февральской революции и тем более до 1918 года, но почти в каждом эпизоде авторы стараются подчеркнуть обречённость, нежизнеспособность русской монархии (отсюда и название — “Агония”).

Таким образом, вплоть до перестройки тема убийства царской семьи трагивалась в советском художественном кино лишь косвенно. Впервые его показали напрямую в картине Карена Шахназарова “Цареубийца” (“Мосфильм”, 1991).

Но хотя в советское время о расстреле императора вспоминали редко и неохотно, некоторые цареубийцы вошли в историю именно в этом качестве (например, П. Л. Войков, А. Г. Белобородов), а комендант Ипатьевского дома Яков Юровский написал “Записку”, наводящую на мысль, что екатеринбургский расстрел был едва ли не самым светлым событием его жизни.



Помнится, ещё до выхода фильма было опубликовано интервью с английским актёром Малкольмом Макдауэллом, сыгравшим коменданта Ипатьевского дома, который сказал, что в каждом своём персонаже он старается найти положительные черты. Журналист поинтересовался, а что же положительного есть в Юровском, и получил ответ: “Преданность делу”. Можно, конечно, не соглашаться с оценкой британского актёра, но показательно, что авторы фильма действительно попытались увидеть екатеринбургскую трагедию с разных сторон, понять мысли и чувства обоих – убийцы (Якова Юровского) и его жертвы (Николая II).

Некоторые сцены показаны в фильме дважды – поочерёдно глазами Юровского и Николая II (приезд Романовых в Екатеринбург, утро 16 июля 1918 года). Согласно версии авторов, император (актёр Олег Янковский) воспринимает своё будущее мистически: ещё ребёнком, увидев умирающего деда Александра II, он понял, что тоже будет убит, причём ещё более страшно. Такое же фаталистическое чувство он испытывает при виде Юровского в канун смерти. Но, размышляя о своей участи, он по-прежнему осознаёт себя императором России – пусть свергнутым и вместе с семьёй обречённым на гибель, однако несущим ответственность за страну и народ: “Может быть, Россия действительно станет счастливой, если вы убьёте нас всех?”

Что же касается убийцы, то они изображены скорее равнодушно-хладнокровными, чем кровожадными. Комендант Ипатьевского дома вежлив со своими узниками, по распоряжению Войкова отправляет на родину поварёнка Леонида Седнёва, избавляя его от страшной участи остальных узников (Л. И. Седнёв был репрессирован в 1942 году). Сцена расстрела показана жёстко и сухо. Убийцы настроены идти до конца и одновременно словно сами напуганы тем, что предстоит им сделать.

Есть в фильме и косвенная сюжетная линия: Юровский, хладнокровно достреливший юного царевича (этот ракурс – Юровский сверху вниз целится в тело Алексея – почти в точности повторяется в фильме “Распутин”; США – Венгрия, 1996), всерьёз переживает, когда его заподозрили в гибели девочки, пропавшей близ Ипатьевского дома. Даже много лет спустя, находясь в больнице, он вспоминает этот случай и шепчет: “Я не убивал её...” Любопытен и эпизод беседы Юровского с Войковым: обоим щекочет нервы сознание их “исторической роли” – уничтожение великой династии. И оба несколько разочарованы, как просто и “невеличественно” это произошло.

Однако фильм мог бы получиться глубже, драматичнее, если бы авторы полностью посвятили его теме царевубийства, а не сделали бы исторические события вставкой в “современную” линию, скучную и совершенно лишнюю, где показаны надуманные отношения врача и психического больного, вообразившего себя одновременно Юровским и Гриневицким (народовольцем, убившим Александра II). Можно лишь предположить, что режиссёр либо сам не решился посвятить картину исключительно убийству царской семьи, либо в годы перестройки даже ему, сыну генерала КГБ, не позволили это сделать.

Далее идёт 10-серийный фильм “Конь белый” (“Лада” – “Диапазон”, 1993), снятый “неровно”, с подчёркнутой симпатией к белым и ненавистью к красным. Последнее несколько озадачивает, ведь в прошлом сценарист и режиссёр Гелий Рябов сделал себе имя на картинах о героических чекистах, по виду сущих “лапочек” (“Тайник у Красных камней”, “Государственная граница” и др.). Например, в “Таинственном монахе” (“Мосфильм”, 1967) председателя ЧК сыграл Валентин Зубков, а его соратников-чекистов – Александр Белявский и Станислав Чекан; впрочем, посланница барона Врангеля в исполнении Татьяны Коноховой была им под стать.

В “Коне белом” красные показаны либо физическими и моральными уродами, либо “зомбированными” фанатиками, вроде Веры Рудневой, дочери казнённого белыми большевика. “Нормальные” люди прибиваются к красному стану случайно и ненадолго: одних убивают (как, например, юного белоказака, спасшего Веру), другие сбегают сами (как красный командир Новожилов), что, впрочем, не спасает их от лютости чекистов.

Но хотя фильм имеет несколько сюжетных линий, центром повествования является убийство царской семьи. Значительная часть действия происходит в Екатеринбурге и его окрестностях, а среди персонажей присутствуют Николай II (актёр Геннадий Глаголев) и его семья, а также участники или свидетели екатеринбургской трагедии и связанных с ней событий.

Момент убийства царской семьи остаётся закрытым для зрителей, словно в напоминовение, что он долго был тайной для советских людей. С улицы в ярко освещённом окне первого этажа видны пустые комнаты, в одну из которых убийцы приводят своих жертв и закрывают двери. Затем звучат слова Юровского и беспорядочные выстрелы, после чего двери вновь открываются. Всё это видит и слышит с улицы некий случайный свидетель.

Элементы мистики, заметные в “Цареубийце”, в “Коне белом” существенно усилены: расстрел царской семьи — это не просто жестокое преступление, а сверхъестественное торжество тёмных сил, их временная победа. Своё ликование в момент цареубийства они выражают замогильным воем и хохотом, подобно тому, как в фильме “Вий” (“Мосфильм”, 1967) жуткие ночные звуки словно призывают Хому Брута навстречу гибели.

Один из главных героев фильма, полковник Александр Дебольцов (актёр Владимир Симонов), встречает то ли во сне, то ли в полях убитого императора и его семью. В дальнейшем видение побуждает его принять участие в расследовании преступления вместе с юристом Н. А. Соколовым. Тот проделывает огромный путь, чтобы как честный профессионал выяснить правду, однако наталкивается на равнодушие белых властей: в стране, охваченной гражданской войной, где люди гибнут ежедневно, почти никому нет дела до участи последнего императора и его семьи. Не без труда Соколов добывается разрешение на расследование. Кстати, именно эта сюжетная линия наиболее “цепляет” зрителя, в отличие от сцен с участием большевиков.

Фильм “Романовы. Венценосная семья” режиссёра Глеба Панфилова (“Вера” — Роскомкино, 2000) посвящён последнему периоду жизни Николая II и его семьи — от начала Февральской революции 1917 года вплоть до их гибели в Ипатьевском доме 17 июля 1918 года. Хотя картина сделана добротной, от её просмотра остаётся впечатление, что авторы задалась целью не столько показать трагедию последних Романовых или их святость, сколько доставить удовольствие зрителям красивой мелодрамой о дружной и любящей друг друга семье, каких теперь мало, но которой, увы, почти нет дела до происходящего в стране за пределами их семейного круга. Один лишь царевич волнуется из-за отречения отца, пытается понять “рок событий” (на мой взгляд, это самый убедительный образ в исполнении Владимира Грачёва).

Николай II (актёр Александр Галибин) носит с собой ворох карточек балеринок (или одной балеринки?), которые рассматривает в поезде в первый день Февральской революции (самое время!). А раздеваясь для купания по дороге в Тобольск, он случайно рассыпает карточки прямо на глазах у императрицы. Между ним и супругой, заметившей безобразие, происходит бурное объяснение — в присутствии многих свидетелей, от собственных детей до солдат-охранников. Не говоря уж о сомнительности сцены с точки зрения истории и характеров героев (даже менее воспитанные люди избегают объясняться при посторонних), она выглядит, мягко говоря, пошло. И если в “Цареубийце” бывший император перед смертью размышляет о России, то здесь он признаётся супруге: “Мне открылось вдруг, что любить тебя, растить детей — и есть моё главное назначение”.

Мог ли Николай II вот так запросто признать своим главным назначением сугубо семейную жизнь, фактически отречься и от своего царствования, — кстати, не худшего в российской истории, — и от своего призвания монарха? Даже одна, ставшая знаменитой фраза из его дневника: “Кругом измена, трусость и обман!” — показывает, что отречение (если оно вообще было — о чём до сих пор идут споры) далось ему нелегко. Последний царь не был властолюбив, мог иметь невысокое мнение о своих политических способностях, но, сдаётся мне, как человек верующий, он всерьёз относился к своей миссии самодержца великой империи. Также вполне можно было обойтись без романа великой княжны Ольги Николаевны и молодого охранника Денисова. Авторы фильма явно перестарались “очеловечить” венценосную семью (хотя она и так была “человечной”). Даже в последних кадрах, где показано прославление царственных страстотерпцев в 2000 году в храме Христа Спасителя, слова Патриарха почему-то перекрывает мелодия песни “В той степи глухой...” (её пел Николай II в начале фильма). Остаётся сожалеть, что вместо профессиональных историков и писателей в подготовке сценария участвовал “семейный подряд” (авторы сценария — Глеб Панфилов, Иван Панфилов, Инна Чурикова).

Во всех трёх фильмах расстрел императора и его семьи совершается по инициативе центральной власти. В “Цареубийце” Юровский получает шифрованную телеграмму из Москвы; упоминается о ней и в “Коне белом”. Правда, если в первом фильме комендант Ипатьевского дома со своими подчинёнными немедленно приступают к подготовке, то во втором участники расстрела до последнего момента заняты пьяной оргией. Уродливые, тупые, бездушные, они напоминают карикатурных немцев из фильмов 1940-х годов. По сравнению с ними Юровский – единственный из всех трезвый и опрятно одетый – выглядит примером респектабельности. В фильме “Романовы. Венценосная семья” Ленин, Свердлов и Троцкий коротко совещаются об участии императора за кулисами Большого театра (видимо, перед началом заседания съезда Советов).

Как в “Цареубийце”, так и в “Венценосной семье” присутствует сцена отказа двоих охранников от участия в расстреле. В первом случае это венгры, и Юровский тут же заменяет их русскими. Во втором – русский Дорофеев и латыш Лепиньш получают за свой бунт по несколько суток ареста. После этого Юровский почему-то обращается к молчащему Имре Надю с вопросом: “Ты тоже с ними?” (видимо, чтоб зрители не усомнились в позиции будущего лидера венгерских коммунистов) – и слышит ответ: “Нет, я с вами”.

В “Цареубийце” и “Коне белом” Николай II перед смертью успевает лишь переспросить: “Что-что?..” – как это, собственно, и было, согласно показаниям убийц. В “Венценосной семье” он произносит целую фразу из Евангелия: “Господи, прости их, не ведают, что творят!” Однако вставка выглядит надуманно, и не только потому, что у жертвы не было на неё времени. Учитывая скромность и беспартийный характер последнего императора, сомнительно, что ему пришло бы в голову сравнивать себя с Иисусом Христом. Тем более что в отличие от иерусалимской толпы, здесь убийцы прекрасно “ведали”, кого казнят. А надпись о Валтазаре на стене комнаты показывает, что, по крайней мере, некоторые из них попытались подвести под своё преступление подобие “идеологической базы”.

Косвенно тема убийства царской семьи затрагивается в приключенческом фильме “Господа офицеры: Спасти императора” (“Мосфильм”, 2008) режиссёра Олега Фомина. Степень его историчности характеризуют первые же вступительные фразы: “После отречения Николая II офицеры белой армии в знак протеста отказались от всех знаков отличия. Император Николай II вместе с семьёй был арестован большевиками...”. Зрителю приходится “переваривать” сообщение, что белая армия, оказывается, уже существовала на момент отречения императора, а Николай II и его семья были арестованы большевиками, а не Временным правительством. Сюжет фильма незамысловат: летом 1918 года группа белогвардейцев с приключениями добирается до Екатеринбурга, чтобы освободить императора. Им противостоит уполномоченный ЧК Бейтикс (актёр Анатолий Белый). Действие развивается по законам кинобоевика, далёкого от реальности: положительные герои (белые) гибнут по очереди (по одному в каждой сцене); при этом каждый убивает бессчётное количество красных, которые послушно, без сопротивления падают от выстрелов. В конце фильма один из героев в одиночку истребляет весь состав местной ЧК. При таком раскладе совсем недалеко до полного изменения истории – подобно тому, как в одном зарубежном фильме герои спасают и вывозят из революционной Франции юного Людовика XVII, в действительности умершего в заключении.

Однако бессилие своих подчинённых с лихвой компенсирует Бейтикс, который в смелости и воинских навыках не уступает “господам-офицерам”, а по уму, пожалуй, превосходит их. Из фильма может сложиться впечатление, что только Бейтикс и помешал белым спасти царскую семью или найти место захоронения погибших.

Получается, что, несмотря на большой общественный интерес к истории жизни и смерти Николая II, отечественных фильмов о нём не так уж много. Даже к 100-летию революции появилась лишь провально забытая “Матильда”, шумиха вокруг которой выглядит теперь рекламным фейком, а кинозрители во время просмотра развлекались обнаружением множества “ляпов” (чего стоит, например, падение Николая II в обморок вместе с короной во время венчания на царство!). Совершенно непонятно, зачем режиссёр Алексей Учитель обратился к этой явно чужой для него теме. Признавая свой провал, он и сам

больше не заговаривал о представлении фильма на премию “Оскар”, как первоначально намеревался. Ведь на фоне его “шедевра” упомянутый американский фильм “Николай и Александра”, где персонажи, празднуя Пасху 1918 года, пляшут на фоне “сибирского” заснеженного пейзажа подобие украинского гопака, кажется верхом художественности и историчности.

Итак, монарх и революция... Похоже, российский кинематограф успел сказать на эту тему пока немного. Но несомненно, новые фильмы будут появляться, потому что продолжается духовное, историческое и художественное осмысление той давней трагедии, где переплелись мужество и трусость, честь и предательство, подвиг и низость человеческая...

АЛЕКСАНДР НЕСТРУГИН

## “ПО ЛУГОВОЙ ТРОПИНКЕ ВДОЛЬ МЛЕЧНОГО ПУТИ...”

*О книге Николая Алешкова “Причастие”*

Выпущенная Татарским книжным издательством к 75-летию автора книга стихов Н. Алешкова “Причастие” имеет подзаголовок: “Избранная лирика”. Аннотация уточняет, что в книгу вошли стихотворения, написанные в первые двадцать лет XXI века. Итак, это избранное поэта, вступившего в новый век — и в диалог, и в непростой спор с ним — уже человеком зрелым, перешагнувшим свой полувековой рубеж.

Человеком — каким? Усталым, злым, сломленным, разуверившимся во всём? Ведь мир, в котором родился Николай Алешков, в котором он состоялся как поэт, рухнул, не “достояв” целого десятилетия до конца “своего” века. А он казался таким прочным, победительно-несокрушимым. Его не смогла разрушить даже страшная война. А теперь? Что произошло теперь — со страной, с нами всеми, с автором этой книги?

Поэт — частица доли народной, его извечной нелёгкой судьбы. А народ, как ни гнули его окаймные “перестроечно-рыночные” времена, выстоял. И поэт, ровесник Победы, выстоял вместе с ним. Что помогло ему в этом, что дало силы? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте откроем книгу. И мы увидим, что с первых страниц на нас смотрит широко открытыми глазами деревенское детство — трудное, не сытое, но такое счастливое!

“Луга за Камой. Полночь. Блеск зарниц...” — одна строка-мазок — и мне, читателю, столько знакомого видится-откликается в этом коротком заречном взблеске. Будто услышал вдруг чей-то дальний зов, дорогой чей-то оклик...

*Озёра плавятся в закате.  
И запах трав, и вкус ухи!  
Растут из этой благодати  
Мои негромкие стихи.*

Казалось бы — идиллия полная. А это — из стихотворения о рано познавшем труд послевоенном детстве, о колхозе, где автору в 12 лет бригадир “доверил” кнут и должность подпаска. И — “благодать”, и — затаённо-тёплое чувство причастности к важному и нужному общему делу, благодарность за то, что всё это в жизни было:

*Вот по лугам вечерним кони  
Бредут чуть слышно. И верхом,*

*Небрежно повод сжав в ладони,  
Я восседаю на Лихом.*

Начало биографии. И – начало поэзии. Поэзии как постижения не только своей “луговой тропинки”, но и народной судьбы, которую не надо специально изучать, потому как она – здесь, рядом с тобой. Как этот собравший всю деревню после сенокоса сельский престольный праздник, где и радость, и память, и боль – общие, роднящие людей, дающие жизни воздух и смысл:

*Небо в глазах опрокинется навзничь.  
Воздух июньской полынью горчит.  
И одноногий Максим Афанасьич:  
— Мы победили! — сквозь слёзы кричит...  
 (“Только услышу — гармонь заиграла...”)*

Концовка этого стихотворения, посвящённого памяти брата Саши, – казалась бы, узко-биографического, личного, – звучит как молитвенно-исповедальный, рвущий сердце реквием эпохе – и стране, которую мы потеряли:

*Сплет пшеница. Луга покосили.  
И нагулялись. Пора и домой!  
Как же охота вернуться в Россию  
Послевоенную, Боже ты мой!*

Потом, после детства, много случилось всякого: тревожащие сердце дальние дороги, города, Литинститут, жизнь столичная, хмелем надежд и дружеских посиделок не на шутку закружившая голову... И была дорога обратная, в родные места – к себе, к изначальному слову. И очень естественным кажется это раздумье: “Может быть, не случаен // Предначертанный круг...”. Во всяком случае, поэт ни о чём не жалеет:

*Я не знаю об этом,  
Но у всех на виду  
Деревенским поэтом  
По Отчизне иду.*

“Деревенским поэтом” – это не поза, не ряженный под архаику эпатаж, а правда. И тихое мужество: не следуя за куражным, помешавшимся на “цифре” урбанистическим веком, остаться там, где истоки жизни, судьбы, увиденного, как в полон, в иную реальность Отечества. Это осознание – “деревенский” – ничуть не мешает Николаю Алешкову видеть не только поля и поймы родного Прикамья, но и главные смыслы творчества. В стихотворении, посвящённом памяти Леонида Остапенко, это явлено естественно и ёмко:

*Жили, стихи и картины творили,  
Женщин любили и пили вино.  
Мало о вечном с тобой говорили,  
Но через нас говорило оно.*

Именно так оно и говорит – “через нас”, без ложного пафоса, обыденно и негромко, только мы в молодой горячке, в творческой своей гордыне не сразу (и не все) это понимаем...

В поэзии Н. Алешкова немало таких строк, глубоких и мудрых. Когда речь идёт о главном, его лирика не чурается высокого “державного” строя, который так не по нраву расплодившейся нынче на ниве отечественной словесности, как головня на оставшемся без хозяйского пригляда пшеничном поле, всякого рода антипатриотической плесени:

*Наши отцы заплатили сполна –  
Заживо в танках сгорали.  
Родина, значит, на то и дана,  
Чтоб за неё умирали.*

Не прячется поэт и от вывихнувшей ум “злобы дня”, пытающейся, что называется, запудрить нам мозги рядящимися в одежды непреложных гуманистических истин словесами:

*Всё понимаю, кроме одного.  
Витии, объясните всё же, что есть  
Свобода совести? Скажите, от чего  
Освободить хотите нашу совесть?*

И в строках Н. Алешкова о роли поэта в современном обществе, об отношении властей предержавших к нему не личная обида сквозит, а печаль, умеющая говорить ясным языком высоких обобщений.

Каждый настоящий поэт — это не только неповторимый, ни на кого не похожий голос, но и путь. Свой путь Николай Алешков искал трудно, оступаясь и клонясь, но выбрал — навсегда.

*Прильнут к ногам травинки,  
И мне легко идти  
По луговой тропинке  
Вдоль Млечного пути.*

Холодному, нудному уму трудно такое представить, а вот сердце, бесстрашное и ранимое, всю жизнь рвущееся к горнему и страшящееся его, всё понимает и откликается горячими чёткими толчками. ... Ведь и там, на поэтических своих высотах Н. Алешков остаётся земным, понятным, близким нам человеком:

*Последнее тревожное тепло.  
Душе созвучна мука листопада.  
Как будто душу музыкой свело  
И ничего разгадывать не надо.*

Это “тревожное тепло”, разлитое по страницам книги, согревая и утешая нас, помогает о многом задуматься — и многое увидеть, почувствовать... И вовсе не поэтической “красивостью” кажется мне это признание:

*Люблю это мокрое поле  
И эту туманную взвесь.  
Была бы на то моя воля —  
И душу оставил бы здесь.*

Я думаю, что она и останется здесь, душа русского поэта Николая Алешкова: в этих чутких, честных, оплаченных судьбой строках, в мокрых полях и туманах, в согревающей взгляд звёздной млечности, что обязательно проступит сквозь пригнутые тяжёлой взвесью печалей и скорбей облетевшие ветки наших надежд — какое бы тёмное, горькое, позднее время нам ни выпало.

ЕВГЕНИЙ ЭРАСТОВ

## “ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БОЛЬШОМУ ГОРОДУ НУЖНЫ...”

**Олег Рябов. Когда-то в городе Горьком. – Нижний Новгород: Деком, 2020. 480 с.**

У Олега Рябова есть удивительная черта – ему ничего не стоит замутить миф, причем замутить так, что все поверят. Вымысел писателя не знает границ. И поразительная черта есть у этого вымысла – между ним и реальностью нет отчётливой границы. Так, например, Толик Земляной, маргинал и интеллигент в одном лице, живущий на территории Нижегородского кремля (говоря современным языком, бомж!), выступает как некий носитель мифа о библиотеке, оставленной в катакомбах разрушенного участка кремля самим Иваном Грозным во времена знаменитого Казанского похода. Не случайно о нём говорит автору профессор Агафонов: “Легенды и мифы большому городу нужны”.

Классический миф уходит в сторону, уступая место мифу местному, нижегородскому. Оказывается, что вовсе не граф Сен-Жермен, известный миллионам по гениальной повести Пушкина и опере Чайковского, открыл в пух и прах проигравшейся красотке “ценой одного randevu” тайну трёх карт, а некий “соляной мужик”. Но написано так, что читатель верит всему – и мистическим предпосылкам встречи князей Бориса и Глеба в селе Кидекша Суздальского района, и тому, как стремился прославленный Александр Дюма посетить грандиозный (по тем временам!) нижегородский публичный дом. И никогда не придёт никому в голову сказать: “Да что это ты, братец, насочинил такого...”. Не придёт потому, что всё это написано очень профессионально и художественно.

Есть у Рябова и другой тип рассказов, я бы сказал, “классический”. Лично мне, наверное, эти рассказы нравятся даже больше. В них мифология отсутствует полностью, а на первое место выходит тот самый “маленький человек”, которого вывел Пушкин в лице Самсона Вырина первым если не в мировой, то, во всяком случае, в русской литературе. В рассказе “Диктатор” выступает реальное историческое лицо, Генеральный, а затем и Первый секретарь коммунистической партии Венгрии Матьяш Ракоши. Далекое не все, в том числе и профессиональные историки, знают, что этот крайне самолюбивый, властный и амбициозный человек доживал свои годы в нашем городе под недремлющим оком КГБ. Кровавый диктатор выступает в рассказе Рябова как типичный “маленький человек”. На склоне лет Ракоши обращается к обычным жизненным ценностям, говоря о своих планах на день: “Вот снегирия



своего покормлю, кофе поплюю, побреюсь и пойду в домоуправление: надо проследить, чтобы они там ёлку для детей поставили”. Автор специально игнорирует всякую политику – увечный, бесхвостый снегирь, которого кормит Ракоши семечками подсолнуха с фарфорового сырного подноса, ему куда интересней пресных, не имеющих ни вкуса, ни запаха публицистических слов.

Даже такую вечную и традиционную для нашей литературы тему великой Победы советского народа над фашизмом Олег Рябов решает своеобразно. Рассказ “Космеи Нины Верёвочкиной” стоит особняком в книге, хотя внешне очень напоминает другие рассказы. Возможно, автор и не ставил себе больших задач при написании этой миниатюры, а получился маленький шедевр. Поссорившись с соседкой на бытовой почве, тётка Марья вытоптала космеи на клумбе Нины, не зная, что семена космеи были привезены с братской могилы на Прохоровском поле и что эти вытопанные неказистые цветы, напоминающие сорняки, – единственное, что осталось у вдовы на память о сгоревшем заживо в танке муже. Узнав об этом, тётка Марья переживает катарсис, а вместе с ней и читатель. Быт становится явлением бытийным, а такое в литературе случается нечасто и, как говорится, дорогого стоит.

Герои Рябова очень узнаваемы. Бывшая комсомольская работница Елизавета Троицкая, вынужденная в девяностые годы стать сиделкой при отце нувориша, старушка Василиса Васильевна, ютящаяся в коммуналке и безбожно ругающаяся матом, красивая и страстная молодая женщина Мальвина, скоропостижно умирающая от порока сердца на борту теплохода... “Это всё мне родное и близкое”, – как сказал известный поэт.

Словом, читайте Олега Рябова. Не пожалеете!

*Нижний Новгород*

# ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 2020 ГОДА

**ПРЕМИЯ ИМЕНИ В. В. КОЖИНОВА** за многолетнее служение русской культуре присуждена Мушни ЛАСУРИА за поэму “Молитва” (№ 1)

**ПРЕМИЯ ИМЕНИ Л. М. ЛЕОНОВА** (номинация “Молодые прозаики”) за рассказы “Такие разные люди” (№ 8) присуждена Ольге ЗЮКИНОЙ

**ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ю. П. КУЗНЕЦОВА** (номинация “Молодые поэты”) за подборку стихов “Дождь в дорогу, верится, к удаче...” (№ 8) присуждена Дмитрию ХАНИНУ

**ПРЕМИЯ ИМЕНИ А. Г. КУЗЬМИНА** (номинация “Молодые историки и публицисты”) за статью “Синдром Водолазкина”: почему филологи пишут плохие романы?” (№ 8) присуждена Сергею ПЕТУНИНУ

## Ежегодные премии за лучшие произведения 2020 года присуждены:

– Николаю ИВАНОВУ, прозаику – за роман “Реки помнят свои берега” (№ 10, 11, 12);

– Михаилу ПОПОВУ, прозаику – за повесть “Сталинский дом” (№ 10);

– Алексею ЛИТВИНОВУ, прозаику – за подборку рассказов “Бокс” (№ 2);

– Алевтине ИСТОМИНОЙ, прозаику – за подборку рассказов “Я и другие мамы” (№ 3);

– Виктору КИРЮШИНУ, поэту – за подборку стихов “Трава из-под снега” (№ 2);

– Диане КАН, поэтессе – за подборку стихов “Опять иду под красные флажки” (№ 4);

– Александру НЕСТРУГИНУ, поэту – за подборку стихов “Бесстрашно, молодо, светло” (№ 11);

– Юрию ПЕРМИНОВУ, поэту – за подборку стихов “Ничего от сердца не отрину...” (№ 11);

– Геннадию КРАСНИКОВУ – за статью “Кто тайное в явном откроет” (№ 10);

– Валентину КРУГОВЫХ – за статью “В огнедышащих стихиях” (№ 10);

– Петру ТКАЧЕНКО – за статьи “На руинах великих идей” (№ 2), “Во мгле мерцающие строчки” (№ 4);

– Наталье ПЕТРОВОЙ – за статью “Царство ветров” (№ 12);

– Анатолию ГРЕШНЕВИКОВУ – за статьи “Здоровье Волги — здоровье России” (№ 7), “Сгорело 15 млн га русского леса” (№ 1);

– Василию КИЛЯКОВУ – за статьи “Записки пожившего человека” (№ 9), “Предстояние” (№ 11);

– Геннадию МОРОЗОВУ – за статьи “Ратник Великой Отечественной” (№ 12), “Памяти Федора Абрамова” (№ 2).

**Поздравляем лауреатов!**